

# История римской литературы с самого раннего периода до эпохи Августа.

## Том II

Джон Колин Данлоп

---

### History of Roman Literature from its Earliest Period to the Augustan Age. Vol. II

John Colin Dunlop



# The Project Gutenberg eBook of History of Roman Literature from its Earliest Period to the Augustan Age. Том II

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинстве других частей света без каких-либо затрат и почти без ограничений. Вы можете копировать, дарить или повторно использовать ее на условиях Лицензии Проекта Гутенберга, прилагаемой к этой электронной книге, или в режиме онлайн на сайте [www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org). Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь.

**Название:** История римской литературы с древнейших времен до эпохи Августа. Том II

**Автор:** Джон Колин Данлоп

**Дата выхода:** 1 апреля 2011 [eBook #35751]

**Язык:** Английский

\*\*\* НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK HISTORY OF ROMAN LITERATURE FROM ITS EARLIEST PERIOD TO THE AUGUSTAN AGE. VOL. II \*\*\*

---

ИСТОРИЯ РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО АВГУСТОВСКОЙ ЭПОХИ.

В ДВУХ ТОМАХ.

ДЖОН ДАНЛОП,  
АВТОРА ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

ИЗ ПОСЛЕДНЕГО ЛОНДОНСКОГО ИЗДАНИЯ.

VOL. II.

PUBLISHED BY  
E. ЛИТТЕЛЛ, КАШТАНОВАЯ УЛИЦА, ФИЛАДЕЛЬФИЯ.  
G. & C. CARVILL, BROADWAY, NEW YORK.  
1827

---

Джеймс Кей, младший. Принтер,  
S. E. Угол Раса и Шестой улицы,  
Филадельфия.

---

## Содержание.

- [Сельское хозяйство].
  - Марк Порций Катон
  - Марк Теренций Варро
  - Нигидий Фигул
  - История
  - Квинт Фабий Пиктор
  - Саллюстий
  - Юлий Цезарь
  - Цицерон
  - Приложение
  - Ливий Андроник, Невий
  - Энний
  - Плавт
  - Теренций
  - Луцилий
  - Лукреций
  - Катулл
  - Лаберий-Публилий Сир
  - Катон-Варро
  - Саллюст
  - Цезарь
  - Цицерон
  - Хронологическая таблица
  - Указатель
  - Примечание транскриптора
- 

## HISTORY ROMAN LITERATURE, &c.

---

[pg 5]

### ИСТОРИЯ РОМАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ и т.д.

Почти во всех государствах поэтическое произведение использовалось и значительно усовершенствовалось раньше прозаического. Во-первых, потому что воображение развивается быстрее, чем разум или суждение; и, во-вторых, потому что ранний язык

народов лучше всего приспособлен к целям поэзии и к выражению тех чувств и настроений, с которыми она связана.

Так, в первые века существования Греции стих был обычным письменным языком, а проза впоследствии стала искусством и изобретением. Точно так же в Риме, во время ранних достижений поэзии, прогресс которой был подробно описан в предыдущем томе, проза продолжала оставаться в состоянии пренебрежения и варварства.

Древнейший прозаик, по крайней мере из тех, чьи произведения дошли до нас, был человеком, не обладавшим ни чувствами, ни воображением, но здравым рассудком и непреклонным характером, который упражнялся в написании сочинений на тему сельского хозяйства, которое из всех мирных искусств наиболее высоко ценилось его соотечественниками.

Длинное извилистое побережье Греции, изобилующее гаванями, и бесчисленные острова, которыми усыпаны ее моря, издревле делали греков народом, занимающимся торговлей, мореплаванием и пиратством: И многие из произведений их старейших поэтов в значительной степени обращены к тому, что можно назвать морским вкусом или чувством, которое преобладало среди их соотечественников. Эти настроения сохранялись до тех пор, пока главное литературное государство Греции сохраняло [pg 6] суверенитет на морях, заставляло своих союзников поставлять военные суда и полагалось на свое военно-морское вооружение, чтобы сохранить свое превосходство в течение самых ярких веков Греции. Ни в одном из дорийских или ионийских государств сельское хозяйство не имело такого значения, чтобы оказывать большое влияние на нравы или литературу. Их территории были настолько ограничены, что жители никогда не удалялись от столицы на такое расстояние, чтобы проникнуться идеями земледельцев. В Фессалии и Лакедемонии сельское хозяйство считалось унижительным, а заботы о нем возлагались на рабов. Долины Беотии были плодородны, но опустошались наводнениями. На ограниченных, но прекрасных островах Эгейского и Ионического морей едва ли можно было заложить сколько-нибудь значительное хозяйство. Бесплодная почва и горы в центре Пелопоннеса ограничивали аркадян пастбищами - занятием, имеющим некоторую аналогию с сельским хозяйством, но совершенно иным по своим умственным последствиям, ведущим к праздности, созерцанию и бродяжничеству, вместо трудолюбивых, практичных и оседлых привычек земледельцев. Хотя афиняне дышали чистейшим воздухом под чистейшим небом, а их долгое лето было озолочено ярчайшими лучами Аполлона, почва Аттики была бесплодной и металлической, а из-за чрезмерной неравномерности ее поверхности все сельскохозяйственные работы были самыми трудными и опасными. Ручьи, переполненные потоками, размывали почву, оставляя лишь легкий песок, на котором едва ли могло вырасти зерно. Но именно с началом Пелопоннесской войны земледелие в Аттике прекратилось. Страна, оставшаяся без защиты из-за неосмотрительной политики Перикла, ежегодно разорялась спартанцами, и земледельцы были вынуждены искать убежища в стенах Афин. В начале эпохи Перикла афиняне владели украшенными виллами за городом, но вечером всегда возвращались в [город](#)<sup>1</sup>. Мы не слышим, чтобы великие люди раннего периода республики, такие как Фемистокл и Аристид, были земледельцами; а герои ее последних веков, такие как Ификрат и Тимофей, выбирали себе убежища во Фракии, на островах Архипелага или на побережье Ионии.

Картину, во всех отношениях обратную этой, представляет нам Agreste Latium. Древнеиталийский образ жизни был почти полностью сельскохозяйственным и сельским; за исключением, пожалуй, этрусков, ни одно из итальянских государств не было в какой-либо степени морским или торговым. Италия была хорошо приспособлена для всех видов

сельского хозяйства и была [pg 7] справедливо названа ее величайшим поэтом magna parens frugum. Дионисий [Галикарнасский](#)<sup>2</sup>, [Страбон](#)<sup>3</sup> и [Плиний](#)<sup>4</sup> с восторгом рассказывают о ее плодородной почве и благодатном климате. Там, где земля была наиболее пониженной и болотистой, простирались луга для выпаса скота. В равнинной части страны богатые пахотные земли, такие как Кампанские и Капуанские равнины, простирались на огромных пространствах и давали обильные плоды всех видов, а на возвышенностях, где края гор распадалась на небольшие холмы и покатые поля, оливы и виноградная лоза грелись на почвах, прославленных мессапским маслом и винами, само название которых веселит и оживляет нас. Сами горы производили мрамор и древесину, а с их склонов стекало множество восхитительных ручьев, которые орошали поля, радовали пастбища и увлажняли луга до самого берега. И тогда Вергилий мог воскликнуть в порыве патриотизма и поэзии, который никогда не был превзойден

"Sed neque Medorum sylvæ, ditissima terra,  
Nec pulcher Ganges, atque auro turbidus Hermus,  
Laudibus Italiæ certent; non Bactra, neque Indi,  
Totaque thuriferis Panchaia pinguis arenis.  
Hic ver assiduum, atque alienis mensibus æstas;  
Bis gravidæ pecudes, bis pomis utilis arbor.

\* \* \* \*

Salve, magna parens frugum, Saturnia [tellus](#)<sup>5</sup>!"

Нельзя предположить, что забота о сельском хозяйстве, по крайней мере в небольшом государстве, хорошо сочетается с частыми войнами. Но ни в один период своей республики римляне не пренебрегали теми преимуществами, которые давала населенная ими земля для ведения хозяйства. Ромул, получивший деревенское воспитание и проведший молодость на охоте, не испытывал привязанности ни к каким мирным искусствам, кроме сельского труда; это чувство проникло и в его законодательство. Его сабинский преемник Нума Помпилий, хорошо понимавший и исполнявший обязанности государя, разделил всю территорию Рима на различные кантоны. Ему был предоставлен точный отчет о том, как они обрабатываются; время от времени он лично выезжал для их обследования, чтобы поощрить тех крестьян, чьи земли были хорошо обработаны, и упрекнуть других в недостаточной [рачительности](#)<sup>6</sup>. Благодаря учреждению различных религиозных праздников, связанных с сельским хозяйством, к нему стали относиться с неким священным почтением. Анкус Марций, который ступал по [pg 8] стопам Нумы, рекомендовал своему народу усердно возделывать свои земли. После изгнания царей был принят и некоторое время неукоснительно соблюдался аграрный закон, по которому каждому гражданину отводилось только семь акров земли. Точность и экономия в различных видах сельскохозяйственной деятельности были естественными следствиями таких правил. Каждый римлянин имел лишь небольшой участок земли, отведенный ему, и содержание его семьи полностью зависело от продуктов, которые она приносила, поэтому ее культура обязательно занимала все его внимание.

В ранний период существования римского государства, когда крупнейшие люди владели лишь несколькими акрами земли, ее обрабатывали сами владельцы. Внедрение торговли и, как следствие, приобретение богатства еще не позволили частным лицам покупать поместья своих сограждан и получать доход от аренды земли, а не от ее возделывания.

Патриции, которые в городе так отличались от плебейских орденов, в деревне смешивались с ними в общих занятиях земледелием. После управления гражданскими делами республики или командования армией самые знатные граждане безропотно возвращались к обработке земель своих предков. Цинциннат, которого те, кто пришел объявить о его избрании диктатором, застали за работой на своих полях, был нередким примером того, как рука, державшая плуг, направляла и штурвал государства, и воздвигала штандарт его легионов. Еще во время первой карфагенской войны Регул, в разгар своей победоносной карьеры в Африке, попросил у сената разрешения вернуться в Италию, чтобы возделывать свою ферму в семь акров, которая была заброшена во время его [отсутствия](#)<sup>7</sup>. Многие прославленные имена среди римлян возникли благодаря сельскохозяйственным работам или каким-то обстоятельствам, связанным с деревенским мастерством и трудом, которыми отличались основатели семей. Предполагается, что Фабии и Лентулы прославились выращиванием бобовых, а Асинии и Вителлии - искусством разведения животных. Во времена старшего Катона, хотя ручные работы выполнялись в основном слугами, великие люди жили главным образом на своих [фермах](#)<sup>8</sup>; они продолжали изучать и практиковать сельское хозяйство еще долго после того, как вынесли победоносное оружие своей страны за пределы Италии. Они, конечно, не занимались сельским хозяйством как своим единственным увлечением, но они [pg 9] занимались им в мирное время и во время отдыха на Форуме. Это искусство, которым занимались люди с высокими способностями, получало пользу от всех открытий, изобретений и экспериментов, предложенных талантами и силой интеллекта. Римские воины обрабатывали свои поля с тем же умом, с каким разбивали свои лагеря, и сеяли кукурузу с той же тщательностью, с какой подготавливали свои армии к битве. Hence, as a modern Latin poet observes, dilating on the expression of Pliny, the earth yielded such an exuberant return, that she seemed as it were to delight in being ploughed with a share adorned with laurels, and by a ploughman who had earned a triumph:—

"Hanc etiam, ut perhibent, sese formabat ad artem,

Cūm domito Fabius Dictator ab hoste redibat:

Non veritus, medio dederat qui jura Senatu,

Ferre idem arboribusque suis, terræque colendæ,

Victricesque manus ruri præstare serendo.

Ipsa triumphales tellus experta colonos,

Atque ducum manibus quondam versata suorum,

Majores fructus, majora arbusta [ferebat](#)<sup>9</sup>".

Римляне не довольствовались лишь обработкой земли: Они также давали наставления по ее правильному выращиванию, которые, будучи зафиксированы в письменном виде, образовали как бы новую науку и, будучи полученными из реального опыта, отличались оригинальностью, редко проявлявшейся в их литературных произведениях. Такие наставления пользовались у римлян большим уважением, поскольку считались основанными на наблюдениях людей, проявивших самые выдающиеся способности и знания в управлении государством, в разработке его законов и руководстве армиями.

Эти наставления, которые легли в основу трудов сельскохозяйственных писателей - *Rusticæ rei scriptores*, - чрезвычайно интересны и всеобъемлющи. У римлян было гораздо большее, чем у нас, разнообразие зерновых, бобовых и кореньев; кроме того, у них были

виноградники, оливки и другие плантации, которые считались прибыльными культурами. Расположение и строительство виллы с необходимыми помещениями для рабов и рабочих, винными и масляными погребами, зернохранилищами, хранилищами для сохранения фруктов, птичьим двором и вольерами - все это требует особого внимания и подробностей. Все это было приложением к villa rustica, или полноценному фермерскому дому, который строился только для проживания трудолюбивого крестьянина и с целью получения прибыли от сельскохозяйственных работ. С ростом роскоши вилла была приспособлена для [pg 10] проживания богатого римского гражданина, и в деревню прибегали скорее для отдыха, чем для прибыльного труда. Что подумал бы Катон Цензор, отличавшийся своим трудолюбием и неустанным вниманием к полевым работам, о следующих строках Горация?

"O rus, quando ego te aspiciam? quandoque licebit

Nunc veterum libris, nunc somno et inertibus horis,

Ducere sollicitæ jucunda oblivia vitæ?"

Именно это более утонченное чувство к деревне, которым так остро наслаждались римляне в роскошные века государства, послужило темой для лучших отрывков и аллюзий в произведениях латинских поэтов, которые, кажется, соперничают друг с другом в восхвалении деревенской жизни и сладости чисел, в которых они отмечают ее простые и безмятежные удовольствия. Эпод Горация, начинающийся,

"Beatus ille, qui procul negotiis".

который рисует прелести сельского существования в различные времена года, известные отрывки из "Георгик" Вергилия и второй книги Лукреция, являются самыми изысканными и прекрасными произведениями этих триумфиров римской поэзии. Но древние прозаики, с которыми мы сейчас будем иметь дело, рассматривали сельское хозяйство скорее как искусство, чем как развлечение, а деревенскую жизнь - как подчиненную прибыльному труду, а не изящному отдыху. Однако сами по себе эти сочинения весьма любопытны; любопытны они и тем, что служат комментарием и иллюстрацией к предметам,

"Quas et facundi tractavit Musa Maronis".

Интересно также сравнить их с трудами современных итальянцев по земледелию, такими как Liber Ruralium Commodorum Кресценцио, написанная в конце XIII века, Coltivazione Toscana Даванцати, трактат Витторио "Degli Ulivi" и даже поэма Аламанни "Coltivazione", которая в точности следует, особенно в отношении положения и строительства виллы, наставлениям Катона, Варро и Колумеллы. Плуг, используемый в наши дни крестьянами в Кампанье ди Рома, имеет ту же форму, что и плуг древних латийских [земледельцев10](#); и многие другие моменты сходства могут быть обнаружены при прочтении [pg 11] самых последних авторов по теме итальянского [земледелия11](#). Диксон, который в своей книге "Земледелие древних" рассказывает о римском сельском хозяйстве в той мере, в какой оно связано с трудами британского фермера, показал, что, несмотря на большие различия в почве и климате, многие изречения древнеримских земледельцев, переданные Катонем и Варро, соответствуют системе земледелия, которой придерживались в Англии в его время.

Среди выдающихся римских граждан, занимавшихся сельским хозяйством, не было никого более выдающегося, чем Катон и Варро; они же закрепили в письменном виде и предписания этого искусства. Их работы представляют собой оригинальные сочинения, основанные на опыте, а не на греческих образцах, как многие другие латинские произведения. Варро перечисляет около пятидесяти греческих авторов, которые до него

писали на тему сельского хозяйства; а карфагенянин Маго написал на пуническом языке одобренный трактат на ту же тему в тридцати двух книгах, который впоследствии был переведен на латынь по желанию сената. Но ранние греческие работы, за исключением "Экономики" Ксенофонта и поэмы Гесиода "Труды и дни", были полностью утрачены; трактаты, опубликованные в сборнике под названием "Геопоника", относятся к эпохе Варро.

## МАРК ПОРЦИЙ КАТО,

более известный под именем Катон Цензор, написал самую раннюю книгу по земледелию, которую мы имеем на латинском языке. Этот выдающийся гражданин родился в 519-м году жизни Рима. Как и другие римляне его времени, он был приучен к воинскому ремеслу. В короткие мирные периоды своей юности он жил в небольшом загородном доме на территории Сабин, который унаследовал от своего отца. Рядом с ним стоял домик, принадлежавший Манию Курию Дентату, который неоднократно одерживал победы над сабинянами и самнитами и в конце концов изгнал Пирра из Италии. Катон имел обыкновение часто заходить в скромное жилище этого прославленного полководца, где его восхищала бережливость хозяина и умелое ведение хозяйства, которое к нему прилагалось. Поэтому он решил подражать своему знаменитому соседу и взять его за [образец](#)<sup>12</sup>. Составив смету своего дома, земель, рабов, [pg 12] и расходов, он с новым рвением принялся за хозяйство и отбросил все лишнее. Утром он отправлялся в окрестные города, чтобы отстаивать и защищать дела тех, кто обращался к нему за помощью. Затем он возвращался на свои поля, где, накинув на плечи простой плащ зимой и почти обнаженный летом, трудился вместе со своими слугами, пока они не заканчивали работу, после чего садился вместе с ними за стол, ел тот же хлеб и пил то же [вино](#)<sup>13</sup>. В более зрелом возрасте войны, в которых он командовал, заставляли его часто удаляться от Италии, а судебная практика задерживала его в городе; но все свободное время он по-прежнему проводил на сабинской ферме, где продолжал заниматься выгодным возделыванием земли. По всеобщему признанию современников, он стал лучшим фермером своей эпохи, а по мастерству и успешности сельскохозяйственных работ ему не было [равных](#)<sup>14</sup>. Несмотря на то что он везде был строгим экономом, на своей ферме он жил, как говорят, более гостеприимно, чем в городе. Поначалу его развлечения на вилле были скудными и давались редко; но по мере роста его богатства он становился все более любезным и деликатным. "Сначала, - говорит Плутарх, - когда он был всего лишь бедным солдатом, он не проявлял никаких затруднений в том, что касалось его питания; но потом, когда он стал богаче и устраивал пиры для своих друзей, то, когда ужин был закончен, он брал кожаный шнурок и бичевал тех, кто не оказывал должного внимания или был одет [небрежно](#)<sup>15</sup>". Под конец своей жизни он почти ежедневно приглашал к себе на трапезу друзей, живших по соседству; и разговор на этих трапезах касался в основном не сельских дел, как можно было бы ожидать, а восхваления великих и выдающихся людей среди [римлян](#)<sup>16</sup>.

Можно предположить, что по вечерам после утренних сельскохозяйственных трудов и после того, как друзья покидали его, он записывал наставления, подсказанные наблюдениями и опытом дня. То, что он писал такие наставления для собственного использования или для обучения других, не вызывает сомнений; но трактат De Re Rustica, который сейчас носит его имя, похоже, был сильно искажен, поскольку Плиний и другие авторы ссылаются на темы, рассматриваемые Катонем, и на мнения, высказанные им в этой книге, которых нет ни в одной из дошедших до нас частей произведения.

В своем нынешнем виде она представляет собой лишь бессвязный дневник простого фермера, изложенный с грубой, иногда [pg 13] почти оракульной краткостью; в ней отсутствуют все те изящные темы для украшения и иллюстрации, которые так естественно могли бы быть предложены темой. Она состоит исключительно из самых сухих правил сельского хозяйства и некоторых рецептов приготовления различных видов пирогов и вин. Сервий утверждает, что она адресована сыну автора, но в настоящее время такого обращения не сохранилось. Она начинается довольно резко и в манере, чрезвычайно характерной для простых манер автора: "Было бы выгодно искать прибыль в торговле, если бы это не было опасно; или в ростовщичестве, если бы это было честно; но наши предки постановили, что вор должен лишиться двойной суммы, которую он украл, а ростовщик - четверной суммы, которую он взял; отсюда можно заключить, что они считали ростовщика худшим из двух. Когда хотели похвалить хорошего человека, то называли его хорошим земледельцем. Купец с усердием добивается своего, но его ремесло опасно и подвержено неудачам. Но из фермеров получаются самые храбрые люди и самые стойкие солдаты. Их прибыль самая честная, самая стабильная и менее всего подвержена зависти. Те, кто занимается сельским хозяйством, из всех остальных меньше всего подвержены дурным мыслям".

Далее наш автор переходит к своим правилам, многие из которых достаточно очевидны. Так, он советует, чтобы человек, собирающийся приобрести ферму, проверил, хороши ли климат, почва и воздействие: он должен убедиться, что она легко снабжается большим количеством воды, - что она находится по соседству с городом и недалеко от судоходной реки или моря. Указания по определению качества земли не столь однозначны и очевидны. Он рекомендует выбирать ферму, где мало орудий труда, так как это свидетельствует о том, что почва легко обрабатывается; с другой стороны, где есть множество бочек и сосудов, что свидетельствует об изобилии продукции. Что касается того, как лучше всего обустроить купленную ферму, предположим, в сто акров, то выгоднее всего виноградник; затем сад, который можно поливать; затем ивовая роща; в-четвертых, плантация оливок; в-пятых, луговые земли; в-шестых, кукурузные поля; и, наконец, лесные деревья и хворост. Варро цитирует этот отрывок, но отдает предпочтение лугам: Они не требовали больших затрат; к тому же к его времени культура виноградной лозы в Италии настолько возросла, и было импортировано такое количество иностранного вина, что виноградники стали менее ценными, чем во времена Цензора. Колумелла, однако, согласен с Катонem: он последовательно сравнивает прибыль, получаемую от лугов, пастбищ, деревьев и кукурузы, с прибылью от виноградников, и, оценив, отдает предпочтение последним.

Когда ферма куплена, новый владелец должен [pg 14] обойти поля в день своего приезда или, если он не может этого сделать, на следующий день, чтобы увидеть, что уже сделано и что еще предстоит сделать. Даны правила для самой усердной работы без дверей и самой строгой экономии внутри. Когда слуга болен, ему требуется меньше еды. Все старые волы и хрупкий скот, старые повозки и старые сельскохозяйственные орудия должны быть распроданы. Подлая скупость цензора приводит к тому, что он предписывает, чтобы предусмотрительный отец продавал всех своих рабов, которые состарились и немощны; эта рекомендация вызвала заслуженное негодование [Плутарха](#)<sup>17</sup>. Таковы некоторые из обязанностей хозяина; далее следует любопытное описание квалификации и обязанностей villicus, или надсмотрщика, которому, в частности, запрещено совершать религиозные обряды и консультироваться с авгурами.

Вероятно, во времена Катона римляне начали значительно расширять свои виллы, что заставляет его предостеречь собственников земли от необдуманных действий при

строительстве. Когда землевладельцу исполняется тридцать шесть лет, он может строить, если его поля приведены в надлежащее состояние. Его указания относительно размеров виллы лаконичны, но кажутся очень правильными; он советует строить так, чтобы вилла не нуждалась в ферме, а ферма - в вилле. Лукулл и Сцевола оба нарушили это золотое правило, как мы узнаем от Плиния; он добавляет, что, исходя из их характеров, можно легко предположить, что именно ферма Сцеволы нуждалась в вилле, а вилла Лукулла - в ферме.

Римляне выращивали огромное разнообразие сельскохозяйственных культур, и разные виды их с большой тщательностью приспособлялись к различным почвам. Катон очень подробно излагает свои предписания на этот счет. Поле с богатой и благоприятной почвой следует засеивать кукурузой, а если оно сырое или влажное, то репой и редькой. Инжир следует сажать на меловой почве; и ивы - на водянистой, чтобы они служили прутьями для подвязывания лоз. В соответствии с этим, наш автор подробно описывает хозяйство, необходимое для его поддержания: количество рабочих, орудия труда, хозяйственные помещения и материалы, необходимые для их строительства.

Далее он рассказывает об уходе за виноградниками и маслинами, о правильном способе посадки, прививки, подпорки и ограждения: И здесь он, естественно, вынужден дать указания по изготовлению и сохранению различных сортов вина и масла, а также [pg 15] указать, сколько каждого из них должно быть разрешено слугам семьи.

Рассуждая о возделывании полей под кукурузу, Катон предписывает фермеру собирать всевозможные сорняки для навоза. Голубиный помет он предпочитает навозу всех животных. Он приказывает выжигать известь, а из веток и сучьев деревьев делать древесный уголь и золу. Римляне, похоже, уделяли много внимания осушению своих полей; Катон предписывает строить как открытые, так и крытые стоки. Для вспашки полей использовались волю, и Катон дал указания по их кормлению и уходу за ними. Римский плуг был предметом многочисленных дискуссий: Катон упоминает два вида, которые он называет *Romanicum* и *Sampanicum*: первый подходит для жесткой, а второй - для легкой почвы. Диксон предполагает, что у *Romanicum* была железная доля, а у *Sampanicum* - кусок дерева, как у шотландского плуга, и надетый на него носок. Плуг, а также другие сельскохозяйственные орудия, такие как ящики, растрем, лиго и саркулум, большинство из которых упоминает Катон, составляют любопытную часть римских древностей.

Сохранение кукурузы после жатвы - важная тема, которой Катон уделил особое внимание. Во времена римлян в Италии это было весьма сложным делом, и все их сельскохозяйственные писатели очень подробно описывают, как сохранить кукурузу от гниения и от нападения насекомых, которые часто ее поедали.

Большая часть работ Катона больше подходит для домохозяйки, чем для фермера. Мы имеем рецепты приготовления всевозможных пирогов и пудингов, откорма кур и гусей, сохранения инжира на зиму; а также медицинские предписания для лечения различных болезней, как человека, так и животных. *Mala punicia*, или гранат, является главным ингредиентом в его средствах от диареи, диспепсии и странгурии. Иногда, однако, его средства от болезней - это не медицинские рецепты, а жертвоприношения, искупления или чары. Самое главное из них - его средство от вывиха или перелома: "Возьмите, - говорит он, - зеленый тростник, разрежьте его посередине, бросьте нож вверх, соедините две части тростника и привяжите его так к месту перелома или перелома, и произнесите это заклинание - "Дари, Дардари, Астатари, Диссунапитер". Или так: "Хуат, Ханат, Хуат, Иста, Писта, Фиста, Домиабо, Дамнаустра". Это заставит часть звучать снова<sup>18</sup>".

Самой примечательной особенностью работы Катона является ее [pg 16] полная неупорядоченность. Он, правда, разделен на главы, но автор, очевидно, никогда не брал на себя труд свести свои наставления к какому-либо методу или следовать какому-либо общему плану. Сто шестьдесят две главы, из которых состоит его работа, кажутся таким количеством правил, изложенных в письменном виде, сколько ежедневных трудов на поле. Он дает указания относительно виноградаря, затем отправляется на кукурузные поля и снова возвращается к виноградарю. Таким образом, его трактат, очевидно, задумывался не как регулярная или хорошо составленная книга, а просто как дневник случайных наблюдений. О том, что именно на это он и претендовал, свидетельствует и краткость наставлений, и недостаток иллюстраций и приукрашиваний. О стиле он, конечно, не заботился, поскольку его "Записки" предназначались только для членов его семьи и рабов. Поэтому он всегда прост, иногда даже груб; но он не плохо подходит к теме, и соответствует нашему представлению о суровых нравах его автора и характере древних римлян.

Кроме этой книги о сельском хозяйстве, Катон оставил после себя различные произведения, которые почти полностью исчезли. Он оставил сто пятьдесят [ораций19](#), которые существовали во времена Цицерона, хотя и были почти полностью забыты, и книгу о военной [дисциплине20](#), обе из которых, если бы они сохранились, были бы очень интересны, как исходящие от того, кто одинаково отличился в лагере и на форуме. Многие из его ораций были направлены на опровержение или поддержку определенных законов и государственных мер, как, например, те, что озаглавлены: "Ne quis iterum Consul fiat-De bello Carthaginensi", за войну с которым он горячо ратовал: "Suasio in Legem Voconiam, -Pro Lege Oppia" и т. д. Почти третья часть этих ораций была произнесена в его собственную защиту. Его около пятидесяти раз [обвиняли21](#) и столько же раз оправдывали. Когда его обвинили в смертном преступлении на 85-м году жизни, он выступил в свою защиту, не обнаружив ни провалов в памяти, ни упадка сил, ни дрожи в [голосе22](#). Своей готовностью, настойчивостью и ожесточением он полностью измотал своих [противников23](#) и заслужил репутацию если не самого красноречивого, то, по крайней мере, самого упорного оратора среди римлян.

Ораторская речь Катона в поддержку Оппиева закона, который ограничивал дорогие платья римских [pg 17] матрон, приводится [Ливием24](#). Она была произнесена в противовес трибуну Валерию, который предлагал ее отменить, и дает нам некоторое представление о его стиле и манере, поскольку, если историк не скопировал ее из своей книги ораций, она, несомненно, была адаптирована им к характеру Катона и его манере говорить. Аулу Геллий приводит, как столь же отличающийся красноречием и энергией, отрывок из его речи о разделе добычи между солдатами, в котором он жалуется на их безнаказанное разврат и распущенность. Одной из самых знаменитых его речей была речь в защиту родосцев, древних союзников римского народа, которые попали под подозрение в оказании помощи Персею во время второй македонской войны. Оратория была произнесена после свержения этого монарха, когда родосские посланники были введены в сенат, чтобы объяснить поведение своих соотечественников и осудить месть римлян, сваливших одиозную вину за явную враждебность на буйство нескольких развратных личностей. Она была произнесена в ответ тем сенаторам, которые, выслушав мольбы родосцев, высказались за объявление им войны; в ней главным образом говорилось о древней, давно испытанной верности этого народа - с особым упором на то обстоятельство, что помощь, оказанная Персею, не была национальным актом, вытекающим из публичного постановления народа. Тиро, вольноотпущенник Цицерона, написал длинную и подробную критику на эту ораторию. На многочисленные порицания, содержащиеся в ней, Аулу Геллий дал пространственный ответ и обвинил Тиро в том, что тот выделил из столь богатой и так удачно связанной речи небольшие и изолированные части, ставшие объектом его опасливой сатиры. Все

разнообразные темы, добавляет он, которые раскрываются в этой оратории, если бы они были представлены с большей проницательностью, методом и гармонией, не могли бы быть переданы с большей энергией и [силой](#)<sup>25</sup>.

И Цицерон, и Ливий очень полно высказались по поводу ораций Катона. Первый признает, что его "язык устарел, а некоторые фразы грубы и неуклюжи: но только измените то, - продолжает он, - что не в его власти было изменить, - добавьте число и каденцию, придайте предложениям более легкий оборот, отрегулируйте структуру и связь слов (искусство, которым так же мало занимались древние греки, как и он сам), и вы не найдете никого, кто мог бы претендовать на предпочтение Катона". Сами греки признают, что главная красота композиции проистекает из частого использования тех форм выражения, [pg 18] которые они называют тропами, и тех разновидностей языка и чувств, которые они называют фигурами; но почти невероятно, с какой обильностью и с каким разнообразием все они используются [Катоном](#)<sup>26</sup>". Ливий в основном говорит о ловкости, язвительности и свободе его [языка](#)<sup>27</sup>. Аулус Геллий сравнил Кая Гракха, Катона и Цицерона в отрывках, где эти три оратора выступали против одного и того же вида жестокости - незаконного бичевания римских граждан; и Геллий, хотя и признает, что Катон не достиг великолепия, гармонии и пафоса Цицерона, считает его намного превосходящим Гракха по силе и [изобильности](#)<sup>28</sup>.

Из книги "О военной дисциплине" многое вошло в труд Вегеция, а оратории Цицерона могут утешить нас за неимением ораций Катона. Но потеря семи книг De Originibus, которые он начал писать в преклонном возрасте и закончил незадолго до смерти, должна вызывать глубокое сожаление у историков и антикваров. Считается, что Катон начал изучать историю, древность и язык римского народа, чтобы противостоять влиянию греческого вкуса, привнесенного Сципионами; чтобы отнять у греков честь колонизации Италии, он попытался обнаружить на латинской земле следы древних национальных нравов и исконной цивилизации. Первая книга ценного труда De Originibus, как сообщает нам Корнелий Непос в своем кратком жизнеописании Катона, содержала подвиги римских царей. Катон был первым автором, попытавшимся установить эпоху основания Рима, которую он вычислил в своей книге Origines и определил ее как первый год 7-й Олимпиады. Чтобы определить эту эпоху, он прибег к мемуарам цензоров, в которых отмечалось, что взятие Рима галлами произошло через 119 лет после изгнания царей. Прибавив этот период к суммарной продолжительности царствования царей, он обнаружил, что сумма соответствует первой седьмой Олимпиаде. Этого расчета придерживается Дионисий Галикарнасский в своем великом труде о римских древностях. Вероятно, он настолько близок к истине, насколько мы можем надеяться достичь; но даже во времена Катона расчетная продолжительность царствования царей не основывалась ни на древних памятниках, дошедших до нас, ни на свидетельстве какого-либо заслуживающего доверия историка. Вторая и третья книги посвящены происхождению различных государств Италии, откуда весь труд получил название Origines. Четвертая и [pg 19] пятая книги включали в себя историю первой и второй Пунических войн; а в двух оставшихся книгах автор рассказывал о других походах римлян до времен сира Гальбы, свергнувшего лузитанцев.

В своем рассказе об этих более поздних состязаниях Катон просто изложил факты, не называя имен полководцев и вождей; но, хотя он и опустил это, Плиний сообщает нам, что не забыл заметить, что слона, который сражался в карфагенской армии наиболее стойко, звали Сурусом, и ему нужен был один из его [зубов](#)<sup>29</sup>. В этом же труде он попутно рассказывал обо всех чудесных и восхитительных вещах, существовавших в Испании и Италии. Некоторые из его ораций, как мы узнаем от Ливия, также были включены в этот труд, например, о предоставлении свободы лузитанским заложникам; далее Плутарх упоминает, что он не

упускал возможности восхвалять себя и превозносить свои заслуги перед государством. Работа, тем не менее, демонстрирует огромную изобретательность и образованность, и если бы она дошла до нас, то, несомненно, пролила бы много света на ранние периоды римской истории и древности различных государств Италии. Дионисий Галикарнасский, который сам был усердным исследователем древностей, убедительно свидетельствует об исследовании и точности той части, которая касается происхождения древних итальянских городов. Автор жил в то время, которое благоприятствовало этому исследованию. Хотя самниты, этруски и сабиняне были лишены независимости, они не утратили памятников и записей своей истории, своей индивидуальности и национальных манер. Цицерон хвалит простой и лаконичный стиль "Оригинов" и сетует, что в его время этим произведением пренебрегали из-за раздутой манеры письма, которая была принята в последнее время; подобно тому, как пышные и украшенные периоды Теопомпа снизили уважение к лаконичному и не украшенному повествованию Фукидида, или как возвышенное красноречие Демосфена ослабило вкус к крайней аттической простоте [Лисия30](#).

В той же части диалога, озаглавленной "Брут", Цицерон спрашивает, какого цветка или света красноречия не хватает Оригенам: "Quem florem, aut quod lumen eloquentiæ non habent?". Но Атик, посчитав похвалу чрезмерной, ограничивает ее, добавляя, что для завершения штрихов карандаша автора не требовалось ничего, кроме живого сияния красок, которые не были открыты в его эпоху: "Intelliges, nihil illius lineamentis, nisi eorum pigmentorum, quæ inventa nondum erant, florem et calorem [defuisse31](#)."

[pg 20]

Притворные фрагменты Origines, опубликованные доминиканцем Нанни, более известным под именем Анний Витербиенсис, и вставленные в его Antiquitates Variæ, напечатанные в Риме в 1498 году, являются подделкой, и подделка была обнаружена вскоре после их появления. Немногочисленные остатки, впервые собранные Риккобонусом и опубликованные в конце его "Трактата по истории" (Basil, 1579), считаются подлинными. Они были расширены Авсонием Попмой и добавлены им, с примечаниями, к другим сочинениям Катона, опубликованным в Лейдене в 1590 году.

Любая грубость стиля и языка, проявляющаяся как в орациях Катона, так и в его сельскохозяйственных и исторических трудах, не может быть объяснена полной небрежностью или пренебрежением к грациям композиции, поскольку он был первым человеком в Риме, который рассматривал ораторское искусство как [искусство32](#), в трактате под названием De Oratore ad Filium.

Катон также был первым из своих соотечественников, кто написал на тему [медицины33](#). В течение 500 лет Рим существовал без профессиональных [врачей34](#). Народ, которому пока была чужда роскошь и который состоял из земледельцев и солдат (хотя хирургические операции могли быть часто необходимы), был бы избавлен от нашествия "гносного отряда", столь поощряемого праздностью и распутством. Как и все полуварварские народы, они верили, что болезни должны излечиваться особым вмешательством высших существ, и что религиозные церемонии более эффективны для восстановления здоровья, чем медицинские средства. Заимствуя, как и они, большую часть своего культа у этрусков, они, вероятно, заимствовали у них и практику попыток преодолеть болезнь с помощью магии и заклинаний. Авгуры и Аруспики были, таким образом, самыми древними врачами Рима. Во время эпидемий обращались к сивиллиным книгам, а предписанные ими способы лечения были суеверными обрядами. Мы видели, что именно для того, чтобы избавить город от напасти такого рода, в Риме впервые были введены живописные представления. Во время очередной

эпидемии был построен храм [Аполлону35](#); и поскольку каждый периодический мор со временем, естественно, стихал, вера в действенность обрядов, к которым прибегали, подтверждалась. Все слышали о том, как Эскулапа в виде змеи перенесли из Эпидавра на островок в Тибре, который впоследствии был посвящен этому божественному врачу. В предчувствии болезней воздвигались храмы Фебрису и Туссису, а также [pg 21] другим воображаемым существам, принадлежащим к болезненному семейству смерти, чтобы предотвратить расстройства, которые они должны были причинить. Однако было замечено, что религиозные обряды, люстрации и лектистернии были неэффективны для лечения этих жалоб, которые в VI веке роскошь начала усугублять и делать более частыми в Риме. В конце концов, в 534 году Архагат, свободнорожденный грек, прибыл в Италию, где профессионально занимался медициной как искусством и получил в обмен на свои исцеления ласковое прозвище [Карнифекс36](#). Но хотя Архагат был первым, кто занялся медициной, Катон был первым, кто написал о болезнях и их лечении как о науке, в своем труде под названием *Commentarius quo Medetur Filio, Servis, Familiaribus*. В этой книге по домашней медицине он рекомендовал больным в основном утку, голубя и [зайца37](#). Его средства в основном извлекались из трав; любимым лекарством был кошениль, или [капуста38](#). Рецепты, содержащиеся в его труде по сельскому хозяйству, показывают, что его медицинские познания не превышали тех, что обычно существуют у полуварварской расы, и распространялись только на самые обычные средства, которые давала природа. Катон ненавидел сложные лекарства, введенные греческими врачами, считая этих иностранных профессоров медицины противниками своей собственной системы. Его антипатия была настолько велика, что он верил или делал вид, что верит, будто они заключили соглашение, чтобы отравить всех варваров, к которым они причисляли и римлян: *Et hoc ipsum mercede faciunt, ut fides iis sit, et facile disperdant39*." Катон, обнаружив, что пациенты живут, несмотря на этот отвратительный заговор, стал считать греческих врачей нечестивыми колдунами, которые противодействуют ходу природы и возвращают умирающих к жизни с помощью нечестивых чар; поэтому он посоветовал своим соотечественникам сохранять стойкость, придерживаясь не только древних римских принципов и манер, но и почтенных приправ и целебных бальзамов, которые дошли до них от мудрости их бабушек. Старые медицинские пилюли Катона, какими бы они ни были, еще долго пользовались в Риме заслуженным авторитетом. Очевидно, что они все еще пользовались уважением во времена Плиния, который выражает те же опасения, что и Цензор, опасаясь, что горячие ванны и снадобья сделают его соотечественников женоподобными и испортят их [манеры40](#).

[pg 22]

Всем известно, чем обернулась неприязнь Катона к греческим философам, которые были изгнаны из города по постановлению сената. Но что стало с Архагатом и его последователями, точно не известно. Автор "Современной Диогены", которого цитирует Тирабоски, говорит, что Архагата забили камнями до [смерти41](#), но цитирующий его историк литературы сомневается, что у него есть достаточные основания для этого утверждения. Вопрос о том, были ли врачи включены в общий приговор об изгнании, вынесенный ученым грекам, или были исключены из него, стал предметом большого литературного спора в современной Италии и во [Франции42](#).

Аулус [Геллий43](#) упоминает "Libri quæstionum Epistolicarum" Катона, а Цицерон - его "[Aprophthegmata](#)" 44, которые, вероятно, были первым примером того класса произведений, которые под названием "Ана" стали столь модными и распространенными во Франции.

Единственное произведение Катона, которое я упомяну, - это "Кармен де Морибус". Она, однако, написана не в стихах, как можно было бы предположить по названию. Карминами

назывались наставления, прошения и молитвы, а также всевозможные формулы. Я не знаю, какие максимы прививались в этой кармине, но, вероятно, они не отличались строгой моралью, по крайней мере, если судить по "Sententia Dia Catonis", упомянутой Горацием:

"Quidam notus homo cùm exiret fornice, Macte

Virtute esto, inquit sententia dia [Catonis](#)<sup>45</sup>."

[стр. 23].

Введенные в заблуждение названием, некоторые критики ошибочно приписывают Цензору "Дистих о Морибусе", который теперь обычно приписывают Дионисию Катону, жившему, согласно Скалигеру, в эпоху Коммода и Септимия [Севера](#)<sup>46</sup>.

Работа

## МАРКА ТЕРЕНЦИЯ ВАРРО,

о сельском хозяйстве, дошел до нас более полным, чем труд Катона на ту же тему; однако он не представляется полным. В первые времена республики римляне, как и древние греки, постоянно подвергаясь опасности вторжения врагов, мало предавались роскоши дорогих и декоративных вилл. Даже вилла Сципиона Африканского, соперника и современника Катона Цензора, который во многих других отношениях предвосхитил изысканность последующей эпохи, была самой простой. Он находился в Литернуме (ныне Патрия), в нескольких милях к северу от Сутæ, и стоял во времена Сенеки. Этот философ навещал своего друга, жившего в нем в эпоху Нерона, и впоследствии описал его в одном из своих посланий, выразив удивление и восхищение бережливостью великого [Африкана](#)<sup>47</sup>. Однако, когда бедствия войны были устранены из непосредственной близости, сельское хозяйство и садоводство перестали занимать римлян, как во времена Цензора, когда большие урожаи зерна выращивались ради прибыли, а поля лука засеивались для пропитания работающих слуг. Теперь патриции увлекались декоративными садами, фонтанами, террасами, искусственными пустырями и гротами, рощами лавров для укрытия зимой и восточных платанов для тени летом. Короче говоря, дела быстро приближались к состоянию, описанному в одной из од Горация.

[pg 24]

"Jam pauca aratro jugera regiæ,

Moles relinquent: undique latius

Extenta visentur Lucrino

Stagna lacu: platanusque cœlebs

Evincet ulmos: tum violaria, et

Myrtus, et omnis copia narium,

Spargent olivetis odorem

Fertilibus domino priori.

Tum spissa ramis laurea fervidos

Excludet ictus. Non ita Romuli

Præscriptum, et intonsi Catonis

Auspiciis, veterumque [norma](#)<sup>48</sup>".

Однако сельское хозяйство по-прежнему оставалось настолько уважаемым занятием, что его практика не считалась недостойной друга Цицерона и Помпея, а его наставления - недостойными того, чтобы их излагал тот, кто был бесспорно первым ученым своего века, кто славился глубокой эрудицией и глубоким пониманием законов, литературы и древностей своей страны, и кого Петрарка назвал третьим великим светилом Рима, уступая в блеске лишь Цицерону и Вергилию: "Qui' vid' ie".

"Qui' vid' io nostra gente aver per duce

Varrone, il terzo gran lume Romano,

Che quanto 'l miro più, tanto più [luce](#)<sup>49</sup>."

Варро родился в 637 году в Риме и происходил из древнего senatorского рода. Вероятно, его юность и даже большая часть зрелого возраста прошли в литературных занятиях и приобретении тех потрясающих знаний, которые обеспечили ему прозвище самого ученого из римлян, поскольку его имя не встречается в гражданской или военной истории его страны до 680 года, когда он был консулом вместе с Кассием Варом. В 686 году он служил под началом Помпея в его войне с пиратами, в которой командовал греческими [кораблями](#)<sup>50</sup>. К судьбе этого вождя он продолжал крепко привязываться и был назначен одним из его лейтенантов в Испании, вместе с Афранием и Петреем, в начале войны с Сезаром. Ему была специально доверена Испанская империя, и под его командование были переданы два легиона. После капитуляции его коллег в Нижней Испании Сезар лично выступил против него. Варро, судя по всему, был мало подготовлен к борьбе с таким противником. Один из легионов дезертировал на его глазах, и его отступление в Кадис, куда он намеревался уйти [pg 25], было отрезано, он сдался по собственному желанию вместе с другим легионом в окрестностях [Кордовы](#)<sup>51</sup>. С этого времени он отчаялся в спасении республики или, по крайней мере, убедился, что не в состоянии ее спасти; хотя, получив свободу от Сезара, он отправился в Диракий, чтобы сообщить Помпею подробности происшедших бедствий, он почти сразу же уехал из него в Рим. По возвращении в Италию он отстранился от всех политических забот и до конца жизни предавался литературному досугу. Единственная услуга, которую он оказывал Сезару, заключалась в том, что он приводил в порядок книги, которые диктатор приобретал сам или которые были приобретены теми, кто предшествовал ему в управлении государственными [делами](#)<sup>52</sup>. Во время правления Цезаря он жил в самой тесной близости с Цицероном, и его чувства, как и поведение, в этот период напоминали чувства его прославленного друга, который во всех своих письмах к Варро с большой свободой сетует на полное разорение государства и предлагает им жить вместе, занимаясь только теми занятиями, которые раньше были их развлечением, а теперь стали их главной поддержкой. "И если никто не требует от нас услуг по восстановлению руин республики, давайте потратим наше время и мысли на моральные и политические вопросы. Если мы не можем принести пользу содружеству на форуме или в сенате, давайте постараемся, по крайней мере, сделать это своими исследованиями и сочинениями; и, следуя примеру самых ученых древних, внесем вклад в благосостояние нашей страны полезными рассуждениями о законах и правительстве". Некоторое представление о том, как Варро проводил время в этот

период, можно почерпнуть из другого письма Цицерона, написанного в июне 707 года. "Ничто, - говорит он, - не поднимает твой характер выше в моем уважении, чем то, что ты благоразумно отступил в гавань - что ты наслаждаешься счастливыми плодами ученого досуга и занят делами, которые приносят больше общественной пользы, а также личного удовлетворения, чем все честолобивые подвиги или сладострастие этих развратных победителей. Часы созерцания, которые вы проводите на своей тускуланской вилле, по моей оценке, действительно заслуживают того, чтобы называться [жизнью53](#)".

Варро проводил большую часть своего времени на различных виллах, которыми он владел в Италии. Одна из них находилась в Тускулуме, а другая - в окрестностях Кумæ. Последнее место было одним из самых ранних греческих поселений в Италии и долгое время считалось выдающимся по силе и [pg 26] населения. Он распространял процветание на прилегающие побережья; его оракулы, сивиллы и храмы долгое время привлекали избирателей и посетителей. По мере усиления римской власти Кумæ приходила в упадок, а ее роскошь значительно уменьшилась ко времени Варро. Его окрестности даже не часто выбирали для строительства вилл. Римляне питали вполне обоснованную пристрастность к побережью ПUTEОЛИ и Неаполя, которое по красоте и солёности превосходило плоские и болотистые окрестности Кумæ. Положение другой виллы Варро, в Тускулуме, должно быть, было бесконечно более приятным, благодаря чистому воздуху и великолепному виду, открывавшемуся с нее.

Помимо огромных отар овец в Апулии и множества лошадей в сабинском округе [Peate54](#), Варро имел значительные хозяйства на своих половецких и тускуланских виллах, возделывание которых, несомненно, служило приятным отдыхом от суровых и малоподвижных занятий. Кроме того, у него была ферма на третьей вилле, где он иногда останавливался, недалеко от города Казинум, на территории древних [вольсков55](#), расположенной на берегу Кассинуса, притока Лириса. Этот поток шириной в пятьдесят семь футов, глубокий и чистый, с галечным руслом, протекал через середину его восхитительных владений. Мост, перекинутый через реку от дома, вел прямо к острову, который находился немного ниже, в месте слияния Кассинуса с речушкой под названием [Виниус56](#). Вдоль берегов большой воды тянулись просторные прогулочные дорожки, которые вели к ферме; а рядом с местом, где они соединялись с полями, находился обширный [вольер57](#). Место, где находилась вилла Варро, посетил сэр Р. К. Хоар, который утверждает, что она стояла недалеко от Казинума, ныне Святого Германа: некоторые незначительные останки все еще указывают на ее местоположение; но память о ней, добавляет он, вскоре сохранится только на страницах [историка58](#).

После убийства Цезаря эта резиденция вместе с почти всем богатством Варро, которое было огромным, была насильно захвачена Марком [Антонием59](#). Ее незаконное занятие этим распутным и кровожадным триумвиром по возвращении из беспутной экспедиции в Капую Цицерон вводит в один из своих "Филиппиков" и делает темой самой красноречивой и горькой инвективы. Контраст, который оратор рисует между характером Варро и Антония - между благородными и мирными занятиями, проводимыми в этой восхитительной резиденции законным владельцем, и постыдным дебошем [pg 27] весельем негодяя, которым она была узурпирована, - создает картину, которой трудно найти параллель в древней или современной ораторской речи: "Сколько дней ты позорно веселился, Антоний, на этой вилле? С третьего часа это была одна сплошная сцена пьянства, азартных игр и беспорядков. Сами крыши были достойны жалости. О, какая смена хозяев! Но как он может называться хозяином? А если хозяин - боги! как он не похож на того, кого сменил! Маркус Варро сделал свой дом обителью муз и пристанищем для учебы, а не притоном для

полуночного разврата. Какие темы обсуждались в этом восхитительном доме, пока он там жил? Я отвечу на этот вопрос: права и свободы римского народа, память о наших предках, мудрость, проистекающая из разума в сочетании со знанием. Но пока ты, Антоний, был ее обитателем (ибо тебя нельзя назвать ее хозяином), в каждой комнате раздавались крики пьянства, тротуары купались в вине, а стены были мокрыми от буйства".

Антоний не был человеком, который удовлетворился бы тем, что лишил Варро его имущества. При создании памятного триумvirата имя Варро оказалось в списке проскрибированных, среди других друзей Помпея, которых пощадило милосердие Сезара. Этому прославленному и непорочному человеку уже перевалило за семьдесят; и ничто не может служить более страшным доказательством кровожадного духа, которым руководствовались советы триумvиров, чем то, что они отдали на кинжал наемного убийцы человека, столь же почтенного по годам и характеру, и который должен был быть защищен если не своими учеными трудами, то хотя бы отшельничеством от столь бесчеловечного преследования. Но, хотя он был обречен на смерть как друг закона и свободы, его друзья боролись друг с другом за опасную честь спасти его. Кален, получив предпочтение, перевез его в свой загородный дом, куда часто приезжал Антоний, не подозревая, что в нем находится запрещенный заключенный. Здесь Варро скрывался до тех пор, пока консул М. Планка не издал специальный указ за триумvиральной печатью, исключив его и Мессалу Корвина из общей [резни](#)<sup>60</sup>.

Но, хотя Варро и прошел в безопасности час опасности, он не смог спасти свою библиотеку, которая была размещена в саду одной из его вилл и попала в руки неграмотных солдат.

После битвы при Актиуме Варро спокойно прожил в Риме до своей кончины, которая случилась в 727 году, когда ему было [pg 28] девяносто лет. Однако трагическая смерть Помпея и Цицерона, гибель других его друзей, разорение страны, изгнание из своих вилл и утрата литературных сокровищ, которые он копил как утешение в старости и недостаток которых был бы вдвойне ощутим для того, кто хотел посвятить все свое время учебе, должны были набросить глубокую тень на последние дни этого прославленного ученого. Август вернул ему богатство, но книги так и не смог достать.

Не исключено, что рассеяние библиотеки, препятствовавшее продолжению его занятий и созданию таких трудов, которые требовали справок и консультаций, побудило Варро посвятить оставшиеся часы своей жизни изложению тех наставлений по сельскому хозяйству, которые были результатом долгого опыта и для воплощения которых требовалось лишь воспоминание. Через некоторое время после утраты своих книг, когда ему уже почти исполнилось восемьдесят лет, Варро написал труд о земледелии, о чем он сам свидетельствует во введении. "Если бы у меня был досуг, я мог бы написать эти вещи более удобно, которые я сейчас объясню, насколько смогу, думая, что я должен спешить; потому что, если человек - это пузырь воздуха, то тем более старик, ибо теперь мой восьмидесятый год советует мне собрать свой багаж, прежде чем я покину мир. Поэтому, поскольку вы купили ферму, которую желаете сделать прибыльной путем обработки земли, и поскольку вы просите меня взять на себя эту задачу, я постараюсь посоветовать вам, что нужно сделать не только во время моего пребывания здесь, но и после моего отъезда". Остальная часть предисловия в своей показной эрудиции составляет замечательный контраст с простотой Катона. Варро говорит о сиренах и сивиллах, упоминает все римские божества, которые, как предполагалось, должны были следить за сельскими делами, и перечисляет всех греческих авторов, которые писали на тему сельского хозяйства до его собственного времени.

Первая из трех книг, в которые входит этот сельскохозяйственный трактат, адресована Варро Фунданию, недавно купившему ферму, в управлении которой он хотел получить наставления. Информация, которую Варро обязуется предоставить, передается в форме диалога. Он притворяется, что в назначенное для обрядов время посевной (*sementivis feriis*) он по приглашению жреца отправился в храм Теллуса. Там он встретил своего тестя К. Фундания, рыцаря Агрия и крестьянина Аграсия, которые разглядывали карту Италии, нарисованную на внутренних стенах храма. Священник, в обязанности которого входило священнодействовать, был вызван *ædile* [pg 29] к нему по важным делам, и они ждали его возвращения; чтобы скоротать время до его прихода, Аграсий завел разговор (навеянный картой Италии), расспрашивая остальных присутствующих в храме, не посещали ли они, много путешествовавшие, страну более возделанную, чем Италия. После этого начинается восхваление почвы и климата этого благодатного края, а также его разнообразных обильных плодов - апулийской пшеницы, венафрийской оливы и фалернского винограда. Все это, опять же, заставляет задуматься о том, какими сельскохозяйственными искусстваами и промышленностью, помогающими роскошной почве, было достигнуто такое беспримерное плодородие. С этими вопросами обратились к Лицинию Столо и Треллиу Скрофе, которые присоединились к партии и были хорошо квалифицированы, чтобы пролить свет на интересную дискуссию: первый принадлежал к семье, отличавшейся стараниями в отношении аграрных законов, а второй был хорошо известен как обладатель одной из лучших ферм в Италии. Скрофа также сам писал о земледелии, как мы узнаем от Колумеллы, который говорит, что он первым сделал сельское хозяйство красноречивым. Первая книга Варро, соответственно, посвящена правилам обработки земли, будь то для производства зерна, бобовых, оливок или винограда, и созданию необходимых условий для хорошо управляемой и прибыльной фермы; исключая из рассмотрения то, что является сугубо делом пастуха и скотовода, а не фермера.

После нескольких общих замечаний о цели и назначении сельского хозяйства, а также изложения некоторых общих принципов, касающихся почвы и климата, Скрофа и Столо, которые являются главными пролокуторами, приступают к определению размера, а также расположения виллы. Они рекомендуют расположить ее у подножия холма, поросшего лесом, и открыть для наиболее здорового ветра. Предпочтительнее восточная сторона, так как летом здесь будет тень, а зимой - солнце. Далее они советуют не ставить его в пологой долине, поскольку там он подвержен бурям и наводнениям; ни перед рекой, поскольку зимой там холодно, а летом нездорово; ни вблизи болота, где он может быть заражен мелкими насекомыми, которые, будучи невидимыми, проникают в тело через рот или ноздри и вызывают упорные болезни. Фунданий спрашивает, что делать тому, кто унаследует такую виллу; ему отвечают, что он должен продать ее за любую сумму, которую она может принести; если же она ничего не принесет, то он должен отказаться от нее. После этого следуют темы об огораживании, необходимых орудиях земледелия, количестве слуг и волов, а также о почве, на которой следует сеять различные культуры. Далее мы имеем [pg 30] своего рода календарь, указывающий, какие операции следует выполнять в каждый сезон года. Так, автор рекомендует проводить дренаж в период между зимним солнцестоянием и приходом зефиров, который считался примерно началом февраля. Не следует начинать посев зерновых до осеннего равноденствия и задерживаться после зимнего солнцестояния, потому что семена, посеянные до равноденствия, всходят слишком быстро, а посеянные после солнцестояния едва появляются над землей через сорок дней. Во времена Варро в Риме начало преобладать пристрастие к цветам, поэтому он рекомендует их выращивать и указывает времена года для посадки лилий, фиалок и крокусов.

Остальная часть первой книги Варро хорошо и естественно организована. Он рассматривает свой предмет с момента выбора семени до того, как зерно взойшло, созрело, было собрано, сохранено и отправлено на рынок. Того же курса он придерживается при рассмотрении виноградной лозы и оливы. Когда разговор зашел о выгодной продаже сельскохозяйственной продукции, его внезапно прервало появление вольноотпущенника священника, который поспешил извиниться перед гостями за столь долгую задержку и попросить их присутствовать на следующий день на похоронах своего хозяина, только что убитого неизвестной рукой на людной улице. Собравшиеся в храме немедленно разошлись: "De casu humano magis querentes, quam admirantes id Romæ factum."

Обсудив в первой книге тему сельского хозяйства, так называемого земледелия, Варро переходит во второй, адресованной Нигеру Туррану, к рассмотрению вопросов ухода за стадами и скотом (De Re Rescuaria). Знания, которые он здесь передает, являются результатом его собственных наблюдений, смешанных с информацией, которую он получил от великих пастухов Эпира в то время, когда он командовал греческими кораблями на его побережье во время морской войны Помпея с пиратами. Как и в первой книге, наставления даются в форме диалога. Варро находится в доме человека по имени Коссиний, и хозяин отказывается отпустить его, пока тот не объяснит ему происхождение, достоинство и искусство пастбищ. Наш автор берется удовлетворить его по первому и второму пунктам, а по третьему отправляет его к Скрофе, другому из гостей, который управлял обширными овчарнями на территории Брутиев. В той части, которую он скромно отвел себе, Варро выглядит педантично. Его рассказ о происхождении скотоводства - не что иное, как несколько весьма банальных наблюдений о ранних стадиях развития общества; его достоинство доказывается тем, что несколько знаков зодиака [pg 31] названы в честь животных, а также некоторые из самых знаменитых мест на земном шаре - гора Таурус, Босфор, Эгейское море и Италия, которые Варро выводит от Витула. Скрофа, начиная свою часть диалога, делит животных, о которых ему предстоит рассказать, на три класса: 1. меньших, которых три вида - овцы, козы и свиньи; 2. больших, которых также три - лисицы, ослы и лошади; и, наконец, тех, которые сами по себе не приносят прибыли, но необходимы для ухода за остальными - собака, мул и пастух. При покупке или приобретении всех животных необходимо учитывать четыре фактора: их возраст, форму, родословную и цену. После того как животное приобретено, необходимо заняться еще четырьмя вещами - кормлением, разведением, воспитанием и лечением болезней. В соответствии с этим методичным разделением предмета Скрофа переходит к изложению правил выбора лучших из перечисленных им видов животных, а также указаний по уходу за ними после покупки и их обращению с наибольшей выгодой. Любопытно узнать, какие достоинства козла, свиньи или лошади считались хорошими во времена Помпея и Цезаря; в каких регионах они достигали наибольших размеров и совершенства; что считалось наиболее питательным кормом для каждого из них; и какое количество составляло обычное стадо или отару. Качества, указанные как лучшие в быке, возможно, удивят современного пастуха; но следует помнить, что они относятся к способности к труду, а не к переноске говядины. Римляне кормили свиней желудями, бобами и ячменем и, как и наши, не стеснялись роскоши трясины, которая, по словам Варро, освежает их так же, как ванна - человеческие существа. Римляне, однако, не держали, как мы, одинокую невзрачную свинью в хлеву, а имели большие стада, иногда до двух-трех сотен голов.

Из того, что автор пишет о пастьбе овец, мы узнаем, что в Италии преобладала практика, схожая с той, которая сегодня существует в Испании, в управлении мериносами, принадлежащими мекста. Отары овец, пасшиеся зимой в Апулии, перегонялись на большое расстояние от этого региона, чтобы провести лето в Самниуме; а мулов в определенные

сезоны перегоняли из шампанских угодий Розеи в высокие Гургурийские горы. Наряду со многими ценными и любопытными сведениями по всем этим различным темам, здесь перемежается множество странных суеверий и басен, или того, что можно назвать вульгарными заблуждениями, например, что свиньи дышат ушами, а не ртом или ноздрями, что когда волк забирает свиноматку, первое, что он делает, это [pg 32] погружает ее в холодную воду, что на берегу Лузитании кобылы начинают от ветра, но их жеребята не живут дольше трех лет, и, что еще более необъяснимо, один из участников диалога утверждает, что сам видел в Аркадии свиноматку, настолько жирную, что полевая мышь устроила в ее плоти удобное гнездо и вывела потомство.

В конце книги рассказывается о том, что составляет самую прибыльную часть пастбищного хозяйства - молочном животноводстве и стрижке овец.

Третья книга, которая, безусловно, является самой интересной и лучше всего написанной в этом труде, посвящена *de villicis pastionibus*, что означает провизию или умеренную роскошь, которую простой фермер может приобрести, независимо от обработки земли или пастбища, - птицу на своем постоялом дворе, форель в ручье, которым ограничена его ферма, и дичь, которую он может заключить в парки или случайно взять в дни отдыха. Если другие сельскохозяйственные писатели были более подробны в отношении строительства самой виллы, то именно Варро мы обязаны тем, что до нас дошли сведения о таких ее принадлежностях, как вольеры, вольеры и рыбные пруды. Диалог на эти темы начинается следующим образом: во время комиции по избранию эдила Варро и сенатор Аксий, отдав свои голоса за кандидата, которому они отдавали предпочтение, и желая быть у него дома, чтобы принять его по возвращении домой, после того как все голоса будут отданы, решили подождать решения вопроса в тени общественной виллы. Там они нашли авгура Аппия Клавдия, которого Аксий начал убеждать в великолепии его виллы, расположенной на краю *Campus Martius*, которую он сравнивает с выгодной равниной своей собственной фермы в районе Реатин. "Твой роскошный особняк, - говорит он, - украшен живописью, скульптурой и резьбой; но, чтобы компенсировать их недостаток, у меня есть все, что необходимо для возделывания земли и кормления скота. В вашей великолепной обители нет ни малейшего признака близости пахотных земель или виноградников. Мы не находим там ни волов, ни лошадей - ни винограда в погребах, ни кукурузы в зернохранилищах. В каком отношении это напоминает виллу ваших предков? Дом не может называться фермой или виллой только потому, что он построен за пределами города". Этот вежливый протест порождает дискуссию о том, как правильно определить понятие "вилла" и можно ли применять это название к жилью, где нет ни пашни, ни пастбищ. В конце концов, кажется, было решено, что особняк, который не имеет всего этого и является просто декоративным, не может называться виллой; но что он правильно называется так, хотя нет ни обработки земли, ни пастбища [pg 33] ярости, если рыбные пруды, голубятни и ульи содержатся ради прибыли; и обсуждается, являются ли такие виллы, или сельскохозяйственные фермы, наиболее прибыльными.

Наш автор делит пастбища *Villaticæ* на домашнюю птицу, дичь и рыбу. К первому классу он относит птиц, таких как дрозды, которых держат в вольерах, чтобы употреблять в пищу, но не дичь. Для их содержания даются правила и указания, аналогичные тем, что касаются животных, упомянутых в предыдущей книге. Вольеры в римских виллах были удивительно продуктивными и прибыльными. Очень подробно рассказывается о строительстве вольера. Варро сам имел такой вольер на своей ферме, недалеко от Казинума, но он предназначался скорее для удовольствия и отдыха, чем для прибыли. Описание, которое он дает, очень подробное, но не очень четкое. Голубятня рассматривается отдельно от вольера. Что

касается дичи, то инструкции относятся не к полевым видам спорта, а к способу содержания диких животных в вольерах или вольерах. В более простые и умеренные века республики это были просто заячьи или кроличьи вольеры, не отличавшиеся большой площадью; но по мере роста богатства и роскоши они увеличивались до размеров 40 или 50 акров и часто содержали в своих пределах коз, кабанов и оленей. Автор даже опускается до инструкций по содержанию и откорму улиток и дормисов. О рыбе он говорит очень кратко, потому что это скорее предмет дорогой роскоши, чем домашней пищи; к тому же сейчас ожидался кандидат. Рыбные пруды росли в той же пропорции, что и воронки, и в эпоху Варро часто создавались за огромные деньги. Приводятся примеры большой глубины и протяженности прудов, принадлежавших главным гражданам, некоторые из которых имели подземное сообщение с морем, а другие снабжались реками, свернувшими со своего русла. В этой части диалога крики и необычная суматоха возвестили об успехе кандидата, которому отдавал предпочтение Варро: услышав этот шум, собравшиеся оставили свои сельскохозяйственные рассуждения и с триумфом проводили его до Капитолия.

Этот труд Варро полностью отличается от ранее упомянутого труда Катона на ту же тему. Это не журнал, а книга, и вместо свободной и несвязной манеры, в которой излагаются краткие предписания Цензора, она составлена по плану не просто регулярному, но, пожалуй, даже слишком строгому и формальному. Его точное и методичное расположение особенно привлекло внимание Скалигепа: "Unicum Varronem inter Latinos habemus, libris tribus de Re Rustica, qui vere ac μεθοδικως philosophatus sit. Immo nullus [pg 34] est Græcorum qui tam bene, inter eos saltem qui ad nos [pervenerunt](#)<sup>61</sup>." Вместо непосредственности и простоты, которые никогда не отступают от самых простых предписаний по сельскому хозяйству, труд Варро украшен и проиллюстрирован эрудицией, которую можно было бы ожидать от образованности его автора, знакомого с пятьюдесятью греческими писателями, которые рассматривали этот вопрос до него. "Катон, знаменитый цензор, - говорит Мартин, - пишет как древний деревенский джентльмен с большим опытом: Он изобилует короткими язвительными предложениями, перемежает свою книгу моральными наставлениями и считался своего рода оракулом. Варро пишет скорее как ученый, чем как человек с большим опытом: Он увлекается исследованиями античности, интересуется этимологией названий людей и вещей. Катон тоже говорит о деревенской жизни и о земледелии лишь в той мере, в какой оно может способствовать получению прибыли. Варро также говорит о нем как о мудром и счастливом государстве, склонном к справедливости, умеренности, искренности и всем добродетелям, которое укрывает от дурных страстей, предоставляя постоянную работу, оставляющую мало досуга для тех пороков, которые преобладают в городах, где создаются и поставляются средства и поводы для них".

Кроме трудов Катона и Варро, существовали и другие латинские труды по сельскому хозяйству, но они были написаны позже того времени, на которое рассчитаны настоящие тома. Строго говоря, даже труд Варро был написан после битвы при Актиуме: однако знания, на которых основаны его наставления, были получены задолго до этого. Стиль также относится к Римской республике, а не к эпохе Августа. Поэтому я считаю Варро принадлежащим к тому периоду, о котором мы сейчас говорим.

Действительно, история его жизни и сочинений почти отождествляется с литературной историей Рима, в течение долгого периода, на который пришлось его существование. Но трактат о сельском хозяйстве - единственное из его многочисленных произведений, дошедшее до нас в полном объеме. Остальные труды этого знаменитого полиграфа, как называет его [Цицерон](#)<sup>62</sup>, можно разделить на филологические, критические, исторические,

мифологические, философские и сатирические; и, в конце концов, для составления полного каталога, вероятно, потребуется добавить удобный и всеобъемлющий класс "Разное".

Работа "De Lingua Latina", хотя и дошла до нас в неполном виде, является наиболее полным произведением Варро, за исключением "Трактата о сельском хозяйстве". Именно благодаря этому [pg 35] филологическому произведению Аулус Геллий причисляет его к грамматикам, которые составляют многочисленный и важный класс в истории латинской литературы. Римляне называли их *grammatici* - слово, которое лучше перевести как "филологи", а не "грамматики". Грамматическая наука у римлян не сводилась к изучению склонений слов или правил синтаксиса. Она составляла один из великих разделов критического искусства и охватывала все те различные вопросы, которые включает в себя филология, - не только грамматику, как ее правильно называть, но и словесную и буквальную критику, этимологию, объяснение и справедливое толкование авторов, а также исправление испорченных отрывков. Действительно, название грамматик (*grammaticus*) часто применяется древними авторами<sup>63</sup> к тем, кого мы сегодня называем критиками и комментаторами, а не грамматиками.

Легко понять, что люди, которые, подобно первым римлянам, были заняты в основном войной, а отдыхом для них было сельское хозяйство, не придавали большого значения науке, целью которой было обучение тому, как правильно говорить и писать. Соответственно, прошло почти шестьсот лет, прежде чем у них сформировалось представление о такой науке<sup>64</sup>. Кратес Маллотес, современник Аристарха, отправленный Атталом, царем Пергама, в качестве посла в Рим в конце VI века<sup>65</sup>, был первым, кто пробудил вкус к грамматическим исследованиям. Случайно сломав ногу во время своего посольства, он использовал период своего выздоровления для приема посетителей, которым читал лекции, содержащие грамматические изыскания; он также читал и комментировал поэтов, до сих пор неизвестных в Риме<sup>66</sup>. Однако эти дискуссии, скорее всего, касались исключительно греческих слов и толкования греческих авторов. Вряд ли Кратес настолько хорошо знал латинский язык, чтобы читать лекции по предмету, требующему детального и обширного знакомства с языком. Однако его наставления привлекли внимание римлян к их родному языку и к их младенческой литературе. Появились люди, которые комментировали [pg 36] и объясняли те немногие латинские стихи, которые в то время существовали. К. Октавий Лампадий проиллюстрировал Пуническую войну Невия, а также разделил эту поэму на семь книг. Примерно в то же время К. Варгунтей читал лекции по "Анналам Энния" в определенные дни перед многочисленными аудиториями. Вскоре после этого К. Филоком оказал аналогичную услугу в отношении сатир своего друга Луцилия. Среди этих ранних грамматиков Суетоний особенно упоминает Юлия Преконина и Сервия Хлодия. Первый был учителем Варро и Цицерона; он также был выдающимся ритором и написал ряд ораций для патрициев, к делу которых он был так горячо привязан, что, когда Метелл Нумидий был изгнан в 654 году, он сопровождал его в изгнание. Сервий. Хлодий был зятем Лелия и мошенническим путем присвоил, как говорят, грамматический труд, написанный его выдающимся родственником, что свидетельствует о почете и уважении, которые к этому времени в Риме оказывались подобным занятиям. Хлодий был римским рыцарем, и на его примере знатные люди не гнушались писать о грамматике и даже преподавать ее принципы. Тем не менее, большинство грамматиков, по крайней мере, словесных грамматиков, были рабами. Если они хорошо разбирались в этой науке, то, как мы узнаем из Суетония, платили за них непомерно высокую цену. Луктатий Дафнис был куплен Квинтом Катуллом за 200 000 кусков денег и вскоре после этого отпущен на свободу. Это было сильным стимулом для

хозяев обучать своих рабов грамматике, а их самих - ее правилам. Сэвий Никанор и Аврелий Опилий, написавший комментарии в девяти книгах к разным писателям, были вольноотпущенниками, как и Антоний Гнифо, галл, которого учили греческому языку в Александрии, куда он был перевезен в юности, а затем обучили латинской литературе в Риме. Несмотря на то, что он был весьма сведущ в науке, которую исповедовал, он оставил лишь два небольших тома по латинскому языку - его время было занято в основном преподаванием. Сначала он преподавал в доме отца Юлия Сезара, а затем читал лекции на дому для тех, кто хотел его посещать. Величайшие люди Рима, достигшие преклонного возраста и достоинства, не гнушались посещать его школу. Многие из его наставлений распространялись на риторику и декламацию - искусства, в которые римляне стремились быть посвящены больше всего. Теперь их преподавали в школах почти все грамматики, которых в Риме в одно время насчитывалось около двадцати. Долгое время публично объясняли только греческих поэтов, но со временем стали комментировать и иллюстрировать и латинских поэтов. Примерно в тот же период начали исследовать этимологию латинских слов [pg 37] : Илиус Галлус, юрист, которого цитирует Варро, написал работу о происхождении и правильном значении терминов юриспруденции, которые в большинстве языков остаются неизменными, пока не становятся почти неразборчивыми; а Илиус Стило попытался, хотя и не совсем успешно, объяснить правильное значение слов салических стихов, выяснив их [производные](#)<sup>67</sup>.

Наука грамматики и этимологии находилась на этой стадии развития и в этой степени известности в то время, когда Варро написал свой знаменитый трактат *De Lingua Latina*. Первоначально этот труд состоял из двадцати четырех книг: первые три были посвящены Публию Септимию, который был его квестором в войне с пиратами, а остальные - Цицерону. Это последнее посвящение, а также посвящение "Академики" Цицерона Варро, сделало их дружбу бессмертной. О том, какое значение придавали таким посвящениям великие люди Рима, и в частности, какое значение Цицерон придавал комплименту такого рода от Варро, свидетельствует письмо оратора к Аттику: "Ты знаешь, - говорит он, - что до недавнего времени я сочинял только оратории или другие подобные произведения, в которые я не мог прилично ввести имя Варро. Впоследствии, когда я занялся работой более общей эрудиции, Варро сообщил мне, что намерен адресовать мне труд значительного объема и важности. Однако прошло уже два года, а он все не продвигался. Тем временем я занимался приготовлениями к возвращению ему [комплимента](#)<sup>68</sup>". И снова: "Мне хотелось бы знать, как вы догадались, что такой человек, как Варро, который так много написал, не обращаясь ко мне, должен пожелать, чтобы я сделал ему [комплимент](#)<sup>69</sup>". Академики" были посвящены Варро до того, как он выполнил свое обещание адресовать сочинение Цицерону; из письма Цицерона к Варро, отправленного вместе с "Академиками", явствует, с каким нетерпением он ожидал их исполнения и как настойчиво просил его об этом: "Требовать исполнения обещания, - говорит он, - это своего рода дурные манеры, в которых редко виновны сами жители. Однако я не могу удержаться - не скажу, что требую, но напоминаю вам об услуге, которую вы давно уже дали мне повод ожидать. С этой целью я послал вам четырех наставников (четыре книги *Academica*), которых, возможно, вы не сочтете чрезвычайно [скромными](#)<sup>70</sup>". Любопытно, что, когда Варро, наконец, выступил со своим [pg 38] посвящением, несмотря на то, что он был высоко оценен в *Academica*, он не добавил ни одного слова комплимента Цицерону - то ли потому, что Варро не имел дела с комплиментами, то ли ему была противна ненасытная тяга его друга к похвалам, то ли потому, что Цицерон считался настолько возвышенным, что его нельзя было возвысить панегириками.

В работе "De Lingua Latina", которая была написана зимой, предшествующей смерти Цезаря, мы находим ту же методичную организацию, что и в трактате "De Re Rustica". Двадцать четыре книги, из которых он состоял, были разделены на три большие части. Первые шесть книг были посвящены этимологическим исследованиям, или, как выражается сам Варро, *quemadmodum vocabula essent imposita rebus in lingua Latina*. В первой, второй и третьей книгах этого раздела своего труда, все из которых исчезли, автор изложил то, что поклонник этимологической науки мог бы выдвинуть в ее пользу, и то, что обесценивающий мог бы сказать против нее; и то, что можно было бы сказать о ней без энтузиазма или предрассудков - "*Quæ contra eam dicentur, quæ pro ea, quæ de ea*". Сохранившиеся фрагменты этого великого труда Варро начинаются с четвертой книги, которая, как и две последующие книги, посвящена происхождению латинских терминов и поэтическим вольностям, которые были допущены при их использовании: Сначала он рассматривает происхождение названий мест и тех вещей, которые в них находятся. Он делит места на небо и землю: "Небо" он выводит из "*cavum*", а "земля" - из "*chaos*"; "*terra*" называется так потому, что "*teritur*". Происхождение названий многих земных регионов столь же причудливо. Наиболее рациональными являются названия различных мест в Риме, которые в основном названы в честь отдельных людей, например, Тарпейская скала - от Тарпеи, девственницы, убитой сабинами; Келийская гора - от Келия, этрусского вождя, который помогал Ромулу в одном из его состязаний с соседями. Следуя той же схеме в отношении вещей, которые находятся в местах, он сначала рассказывает о бессмертных, или богах неба и земли. Спустившись к смертным вещам, он рассматривает животных, которые, по его мнению, обитают в трех местах - воздухе, воде и земле. Существа, населяющие землю, он делит на людей, скот и диких зверей. Из названий, приличествующих человечеству, он говорит прежде всего об общественных почестях, например о должности претора, который так и назывался: "*quod præiret exercitui*". Затем мы имеем дело с производными как родовых, так и специальных названий животных. Так, *Armenta* (*quasi aramenta*) происходит от *arō*, поскольку волы используются для пахоты; *Lepus* - *quasi Levipes*. Остальная часть книги занята теми словами, которые относятся к пище, одежде и различным видам [pg 39] утвари. Для них приводится деривация, как правило, надуманная. Но из всех его этимологий самой причудливой является та, что содержится в его книге "Божественные вещи", где он выводит мех из *furvus*, (сумрачный), потому что воры обычно крадут в ночной [темноте](#)<sup>71</sup>.

Пятая книга посвящена словам, выражающим время и его деление, а также тем вещам, которые совершаются в течение времени. Он начинается с месяцев и дней, посвященных служению богам или исполнению привычных обрядов. То, что происходит в течение времени, делится на три класса, в соответствии с тремя великими человеческими функциями - мыслью, речью и действием. Третий класс, или действия, совершаются с помощью внешних органов чувств; упоминание о них вводит объяснение тех терминов, которые выражают различные действия органов чувств; книга завершается списком вокабул, заимствованных из греческого языка. В этих двух книгах рассказывается об обычном употреблении слов. В шестой книге автор рассматривает поэтические слова и поэтическое или метафорическое использование обычных терминов, приводя примеры. Здесь он придерживается той же схемы, что и в предыдущей книге: сначала говорит о местах, затем о времени и по ходу дела показывает, как поэты изменили или испортили первоначальное значение слов.

Таков первый раздел работы Варро, составляющий то, что он сам называет этимологической частью. Он признает, что эта тема была очень сложной и неясной, так как многие исходные слова со временем вышли из употребления, а у тех, что сохранились, значение было изменено или никогда не накладывалось с точностью. Второй раздел, простирающийся от

начала седьмой до конца двенадцатой книги, охватывает случайности слов и различные изменения, которые они претерпевают от склонения, спряжения и сравнения. Автор признает только два вида слов - существительные и глаголы, к которым он относит все остальные части речи. Он различает два вида склонений, из которых одно он называет произвольным, а другое - естественным или необходимым; и далее он попеременно занимается аналогией и аномалией. В седьмой книге он обсуждает тему аналогии в целом и приводит аргументы, которые могут быть приведены против ее существования в собственных существительных: В восьмой книге он рассуждает как те, кто находит аналогии повсюду. Девятая книга посвящена аналогии и аномалии глаголов, и на ней заканчивается фрагмент трактата Варро, которым мы располагаем. Три другие книги, завершающие вторую часть, были [pg 40] , конечно, заняты сравнением и различными склонениями слов.

Третья часть труда, состоящая из двенадцати книг, посвящена синтаксису, или соединению слов, чтобы образовать фразу или предложение. В ней также содержался своего рода глоссарий, который объяснял истинное значение латинских вокабул.

Этот труд, который можно считать одним из главных произведений Варро, был, безусловно, трудоемким и изобретательным; но автор, очевидно, слишком увлекается заимствованием слов из древних диалектов Италии, вместо того чтобы обратиться к греческому языку, который после взятия Тарентума стал большим источником латинских терминов. В целом, римляне, как и греки до них, были очень неудачливы в своих этимологиях, будучи лишь равнодушными критиками и недостаточно информированными обо всем, что не касалось их собственной страны. Блэквелл в своем "Суде Августа", признавая, что проницательность Варро удивительна в использовании знаний, которыми он обладал в сабинском и тосканском диалектах, замечает, что его работа "De Lingua Latina" ошибочна в двух частностях; первая - из-за того, что автор прибегает к надуманным аллюзиям и метафорам на своем родном языке, чтобы проиллюстрировать свою этимологию слов, вместо того чтобы сразу обратиться к греческому. Второй - из-за незнания восточных и северных языков, в частности арамейского и [кельтского](#)<sup>72</sup>; первый, по мнению Блэкуэлла, дал имена большому числу богов, а второй - тем, что встречаются на войне и в деревенской жизни.

Неизвестно, были ли "Либри де Симилитудин Верборум" и "Де Утилита Сермонис", упоминаемые Присцианом и Харизием как филологические труды Варро, частями его великого произведения "De Lingua Latina" или отдельными сочинениями. Однако существовал и отдельный трактат, De Sermone Latino, адресованный Марцеллу, несколько фрагментов которого сохранились у Аулуca Геллия.

Критические работы этого универсального ученого назывались "De Proprietate Scriptorum-De Poetis-De Poematis- Theatrales, sive de Actionibus Scenicis-De Scenicis Originibus-De Plautinis Comœdiis-De Plautinis Quæstionibus-De Compositione Satirarum-Rhetoricorum Libri". Эти работы восхваляются или упоминаются Геллием, Нонием Марцеллом и Диомедом, но об их содержании почти ничего не известно.

Несколько больше можно узнать о мифологических или теологических работах Варро, поскольку они были хорошо изучены, и [pg 41] очень часто цитировались ранними отцами, особенно Святым Августином и Лактанцием. Главным из них является трактат De Cultu Deorum, о котором упоминает святой Августин в своей седьмой книге De Civitate Dei, где он говорит, что Варро считает Бога не только душой мира, но и самим миром. В этой работе он также рассматривает происхождение гидромантии и других суеверных гаданий. Шестнадцать книг трактата De Rerum Humanarum et Divinarum Antiquitatibus, адресованного Юлию Цезарю как понтифику Максиму, касались теологических или, по крайней мере, тех

вопросов, которые мы можем назвать церковными. Он делит теологию на три вида - мифическую, физическую и гражданскую. Первый вид используется главным образом поэтами, которые выдумали много вещей, противоречащих природе и достоинству бессмертных, например, что они произошли из головы, или бедра, или из капель крови, что они совершали кражи и нечистые поступки и были слугами людей. Второй вид теологии - тот, что мы встречаем в книгах философов, в которых обсуждается, были ли боги от вечности и какова их сущность, из огня ли, из чисел или из атомов. Гражданская, или третий вид теологии, относится к учреждениям, придуманным людьми для поклонения богам. Первый вид наиболее подходит для сцены, второй - для мира, третий - для города. Варро был ревностным сторонником физического объяснения мифологических басен, к которому он всегда прибегал, когда сталкивался с трудностями их буквального [смысла](#)<sup>73</sup>. Он также, по-видимому, придерживался мнения, что изображения богов изначально предназначались для того, чтобы направить тех, кто был знаком с тайными доктринами, к созерцанию настоящих богов и бессмертной души с ее составными [частями](#)<sup>74</sup>. Первая книга этого труда, как мы узнаем от святого Августина, была вводной. В трех последующих речь идет о служителях религии - понтификах, авгурах и сивиллах; упоминая о них, он приводит известную историю о той, что предлагала свои тома на продажу Тарквинию Приску. В следующем цикле глав он рассуждает о местах, отведенных для религиозного поклонения, и о праздновании священных обрядов. Третья глава посвящена праздникам, четвертая - посвящениям, частным и общественным жертвоприношениям, а пятая содержит перечисление всех божеств, которые следят за человеком с того момента, как Янус открывает ему врата жизни, и до тех пор, пока песнопения Нэнии не проводят его в могилу. Вся вселенная, говорит он в заключение, делится на небо [pg 42] и землю; небо, опять же, на эфир и воздух; земля - на землю и воду. Все они полны душ, смертных в земле и воде, но бессмертных в воздухе и эфире. Между высшим кругом неба и орбитой луны находятся бесплотные души звезд и планет, которые понимаются, а на самом деле кажутся, как небесные божества; между сферой луны и высшей областью бурь обитают те воздушные духи, которые представляются уму, но не видны ушедшим в себя героям, Ларесам и Гениям.

Эта работа, которая, как говорят, внесла основной вклад в блестящую репутацию Варро, сохранилась до начала четырнадцатого века. Петрарка, которому мир безгранично обязан своим пылким рвением в открытии ученых трудов римлян, видел его в юности. Она и в дальнейшем оставалась объектом его усердных поисков, а неудачи были для него источником постоянных огорчений. Об этом мы узнаем из одного из писем, которые этот восторженный поклонник древних адресовал им, как если бы они были живы, и своим современникам. "Nullæ tamen exstant, - говорит он Varro, - vel admodum laceræ, tuorum operum reliquæ; licet divinarum et humanarum rerum libros, ex quibus sonantius nomen habes, puerum me vidisse meminerim, et recordatione torqueor, summis, ut aiunt, labiis gustatæ dulcedinis. Hos alicubi forsitan latitare suspicor, eaque, multos jam per annos, me fatigat cura, quoniam longâ quidem ac sollicitâ spe nihil est laboriosius in vitâ."

Плутарх в своей жизни Ромула говорит о Варро как о человеке, наиболее сведущем в истории из всех римлян. К историческим и политическим трудам относятся "Анналы" (Annales Libri-Belli Punici Secundi Liber-De Initiis Urbis Romanæ-De Gente Populi Romani-Libri de Familiis Trojanis), в последней из которых рассказывается о семьях, последовавших за Энеем в Италию. К этому же классу можно отнести "Hebdomadum, sive de Imaginibus Libri", содержащую панегирики 700 знаменитых людей. К каждому из них прилагалось изображение с легендой или стихом, как в детских историях английских королей. До сих пор сохранилась надпись, приложенная к портрету Деметрия Фалерия, которому афиняне воздвигли около 300 медных статуй: "Hic Demetrius Salerius".

"Hic Demetrius æneis tot aptus est

Quot luces habet annus absolutus".

В каждой книге было по семь картин и панегириков, отчего все произведение получило название "Гепдомады". Варро перенял суеверные представления древних о [pg 43] инге конкретных чисел, и число семь, похоже, вызывало у него особое почитание. В мире было семь чудес, среди греков было семь мудрецов, в играх черкесов было семь колесниц, и семь вождей были выбраны для войны с Фивами: Все это он подытоживает замечанием, что сам он тогда вступил в двенадцатый период семи лет, за который он написал семьдесят раз по семь книг, многие из которых, вследствие его запрета, были потеряны при разграблении его библиотеки. Из слов Авсония следует, что десятая книга этого труда была занята изображениями и панегириками выдающимся архитекторам, поскольку в своем "Эдиллиуме", озаглавленном "Мозелла", он отмечает, что здания на берегах этой реки не были бы презираемы самыми знаменитыми архитекторами, и что те, кто их спланировал, вполне могли бы заслужить место в десятой книге "Гепдомы" Варро: -...

"Forsan et insignes hominumque operumque labores

Hic habuit decimo celebrata volumine Marci

Hebdomas." --

Однако из одного из писем Симмаха, адресованного его отцу, явствует, что, хотя этот труд и был признан панегириком, Варро был очень скуп и скуден на похвалы даже самым великим персонажам: "Ille Pythagoram qui animas in æternitatem primus asseruit; ille Platonem qui deos esse persuasit; ille Aristotelem qui naturam bene loquendi in artem redegit; ille pauperem Curium sed divitibus imperantem; ille severos Catones, gentem Fabiam, decora Scipionum, totumque illum triumphalem Senatam parca laude perstrinxit". Варро также написал панегирик Порции, жене Брута, на который Цицерон ссылается в одном из своих писем к Аттику. Среди его повествований о знаменитых персонажах, к большому сожалению, Liber de Vita Sua, цитируемая Харисием, разделила ту же судьбу, что и большинство других ценных работ Варро. Трактат, озаглавленный "Сисенна, или История" (Sisenna, sive de Historia), был трактатом о составлении истории, написанным Сисенной, римским историком, который написал рассказ о гражданских войнах Мария и Силлы. В нем, как утверждают, содержалось множество прекрасных наставлений относительно подходящего стиля истории и точного исследования фактов. Но самой большой услугой, оказанной Варро истории, стала его попытка установить хронологию мира. Цензорин сообщает нам, что он был первым, кто регулировал хронологию с помощью затмений. Этот ученый грамматик также упоминает о делении на три больших периода, установленном Варро. Он не определил, было ли у самого раннего [pg 44] из них начало, но определил его конец потоком в Оигии. К этому периоду абсолютной исторической темноты он предположил, что наступил своего рода полумрак, который продолжался с того потопа до учреждения Олимпийских игр, и это он назвал баснословным веком. Начиная с этого времени греки претендуют на то, чтобы переварить свою историю с некоторой степенью порядка и ясности. Варро, таким образом, рассматривал ее как рассвет или начало исторического века. Однако хронология событий, произошедших в начале этого второго периода, столь же неопределенна и запутана, как и тех, что непосредственно предшествовали ему. Таким образом, историческая эра, очевидно, помещена Варро слишком высоко. Самые ранние авторы истории жили только после олимпийской эпохи, и они снова надолго опередили самых ранних хронологов. Тимей,

примерно во времена Птолемея Филадельфа, был первым, кто переварил события, записанные этими древними историками, в соответствии с исчислением [олимпиад](#)<sup>75</sup>. Предшествующие авторы, действительно, упоминают эти знаменитые эпохи, но способ подсчета по ним вошел в обиход лишь через много веков после олимпийской эры. Арнобий далее сообщает нам, что Варро подсчитал, что от потопа Оигии до консульства Гиртия и Пансы прошло не более 2000 лет. Строительство Рима он отнес на два года выше, чем Катон в своих *Origines*, основывая свои расчеты на затмении, которое ненадолго предшествовало рождению Ромула; но, к сожалению, это затмение не засвидетельствовано ни современными авторами, ни каким-либо историком, который мог бы поручиться за него с уверенностью. Оно было вычислено спустя долгое время после предполагаемого явления судебным астрологом Таррутием Фирманом, который развлекался составлением гороскопов. Варро попросил его узнать дату рождения Ромула, вычислив ее по известным событиям его жизни, как геометрические задачи решаются путем анализа; Тарруций считал, что это относится к тому же искусству (и, несомненно, выводы одинаково верны), когда рождение ребенка дается для предсказания его будущей жизни, а случаи из жизни даются, чтобы отбросить рождение. Так, Тарруций, рассмотрев действия Ромула, способ его смерти и объединив все происшествия, объявил, что он был зачат в первый год второй Олимпиады, 23 числа египетского месяца Хиок, в этот день произошло полное затмение солнца.

Помпей, собираясь впервые вступить в должность консула, не зная городских нравов и сенаторских [pg 45] форм, попросил Варро составить для него письменный комментарий или руководство, из которого он мог бы узнать, какие обязанности ему надлежит исполнять при созыве сената. Эта книга, озаглавленная *Isagogicum de Officio Senatus habendi*, по словам Варро, в письмах, которые он написал Оппиану, была утеряна. Но в этих письмах он повторил многое по этому вопросу, поскольку то, что он написал раньше, [погибло](#)<sup>76</sup>.

Философские труды Варро немногочисленны, но его главная работа такого рода, озаглавленная *De Philosophia Liber*, кажется, была очень обширной. Святой Августин сообщает нам, что Варро рассмотрел в нем все различные секты философов, которых он перечислил около 280. Секта старой Академии была той, которой придерживался он сам, и ее догматов он придерживался в противовес всем остальным. Он классифицировал эти многочисленные секты следующим любопытным образом: Все люди главным образом желают или ставят свое счастье в четырех вещах - удовольствии и отдыхе - этих двух объединенных вещах (которые Эпикур, однако, называл удовольствием), или телесном и душевном благополучии. Философы утверждали, что к добродетели следует стремиться ради получения одного или другого из этих четырех предметов; или что к какому-то из этих четырех предметов следует стремиться ради добродетели; или что к ним и к добродетели следует стремиться ради них самих, и из этих различных мнений, согласно которым к каждому из четырех великих предметов человеческого желания стремятся с тремя различными взглядами, образовалось двенадцать сект философов. Эти двенадцать сект удваиваются вследствие различных мнений, порожденных соображениями социального общения: одни утверждают, что четыре великих желания должны удовлетворяться ради нас самих, а другие - что их следует удовлетворять только ради наших ближних. Вышеупомянутые двадцать четыре секты превращаются в сорок восемь, поскольку каждая система отстаивается как несомненная истина или как лишь ближайшее приближение к вероятности - двадцать четыре секты отстаивают каждую гипотезу как несомненную, а двадцать четыре - как лишь вероятную. Их число снова удвоилось из-за различий во мнениях относительно подходящего одеяния, внешних привычек и поведения философов.

По очень странному подсчету мы получили девяносто шесть сект, и все они должны быть утроены, в соответствии с различными мнениями о том, как лучше проводить жизнь - в литературном досуге, в бизнесе или в том и [другом](#)<sup>77</sup>.

Варро, который предпочел секту старой Академии всем остальным, приступил к опровержению принципов [pg 46] перечисленных им сект. Он расчистил путь, отбросив как недостойные названия философских все те секты, чьи разногласия не касались того, что является высшим конечным благом; ведь философствовать бесполезно, если только это не сделает нас счастливыми, а то, что делает нас счастливыми, и есть конечное благо. Но те, кто спорит, например, о том, должен ли мудрец следовать добродетели, спокойствию и т. д. частично ради других или исключительно ради себя, спорят не о том, что является конечным благом, а о том, должно ли это благо быть общим. Так и киник спорит не о высшем благе, а о том, в какую одежду или привычку должен быть облачен тот, кто следует высшему благу. Так же и в отношении споров о неопределенности знания. Таким образом, число сект сократилось до двенадцати, с которых начал наш автор и в которых весь вопрос сводится к тому, что есть конечное благо. Из них он, однако, выделил секты, которые считают конечным благом удовольствие, отдых или соединение того и другого - не то чтобы он совсем пренебрегал ими, но считал, что их можно включить в здоровое состояние тела и ума, или то, что он называл *prima Naturæ*. Таким образом, есть только три вопроса, которые заслуживают всестороннего обсуждения. Следует ли желать этих *prima Naturæ* ради добродетели, или добродетели ради них самих, или же и их, и добродетель следует желать ради них самих.

Поскольку в философии мы стремимся к высшему блаженству человека, мы должны спросить, что такое человек. Его природа состоит из души и тела. Следовательно, *sumtum bonum* обязательно состоит из *prima Naturæ*, или совершенного здоровья души и тела. Их, следовательно, нужно искать самих по себе; к ним можно отнести и добродетель, которая является частью душевного здоровья, будучи великим руководителем и первопричиной благополучия жизни.

Таковы были доктрины старой Академии, которые Варро был представлен как сторонник в "Академике" Цицерона. "Я изложил, - говорит этот прославленный оратор и философ в письме к Аттику, - всю академическую систему в четырех книгах, вместо двух, в которых Варро защищает доктрины [Антиоха](#)<sup>78</sup>. Я вложил в его уста все аргументы, которые так точно собрал Антиох против мнения тех, кто утверждает, что в человеческом знании нет никакой уверенности. На них я ответил сам. Но роль, отведенная Варро в этом споре, настолько хороша, что я не думаю, что дело, которое я поддерживаю, выглядит лучше".

[pg 47]

Я не уверен, к какому классу следует отнести "Novem libri Disciplinarum" Варро, поскольку в нем, вероятно, содержатся поучительные уроки по всему спектру искусств и наук. Одна из глав, согласно Витрувию, была посвящена архитектуре. Варро особенно полно и рассудительно высказался о строительстве и расположении римских вилл и, похоже, заложил основу того, что Палладий и Колумелла впоследствии составили по этой интересной теме. Еще одна глава была посвящена арифметике; Фабриций упоминает, что Ветраний Маурис в своей "Жизни Варро" заявил, что видел эту часть работы "De Disciplinis" в Риме, в библиотеке кардинала Лоренцо Строцци.

Варро приобрел большую известность благодаря своим сатирическим сочинениям. Его "Трикарена", или "Триципитина", была сатирической историей триумvirата Сезара, Помпея и Красса. Много приятности и сарказма было также в его книгах под названием *Logistorici*; но самым знаменитым его произведением в этой области была сатира, которую он сам назвал

Menippean. Она была названа так по имени киника Мениппа из Гадары, города в Сирии, который, как и его соотечественник Мелеагр, имел привычку с шуткой высказываться по самым серьезным и важным вопросам. Он был автором симпозиума в манере Ксенофонта. Его сочинения перемежались стихами, пародировавшими Гомера и трагических поэтов или смехотворно применявшимися в целях бурлеска. Неизвестно, однако, чтобы он писал какие-либо сатиры. Таким образом, название "Мениппея" было дано его сатире Варро не на основании какого-либо произведения Мениппа, а потому, что он подражал его общему стилю юмора. По своей внешней форме она, по-видимому, была своего рода литературной аномалией. Греческие слова и фразы перемежались с латынью; проза смешивалась со стихами разной меры, а приятность с серьезными замечаниями. Что касается цели и замысла, то Цицерон представляет самого Варро, объясняющего это в *Academica*. Приведя причины, по которым он не писал на философские темы, он продолжает: "В эти наши древние сочинения мы, подражая Мениппу, не переводя его, влили немного веселья и радости вместе с частью нашей самой тайной философии и логики, чтобы даже наши неученые читатели могли легче понять их, будучи, как бы, приглашены читать их с некоторым удовольствием. Кроме того, в речах, которые мы сочинили в честь умерших, и во вступлениях к нашим древностям мы хотели писать так, как подобает философам, и мы достигли желаемого". Из того, что Цицерон потом говорит в этом диалоге, обращаясь к Варро, следует, что он [pg 48] действительно затронул философские темы в своей сатире на Мениппея, но что, как бы он ни был учен, его целью было скорее развлечь читателей, чем научить их: "Ты затронул темы философии в манере, достаточной для того, чтобы привлечь читателей к ее изучению, но недостаточной для того, чтобы передать полное наставление или продвинуть ее прогресс".

Многие фрагменты этой сатиры Мениппея сохранились до наших дней, но они сильно потрепаны и испорчены. Главы различных предметов, или глав, содержащихся в ней, которых насчитывается около ста пятидесяти, приведены Фабрициусом в алфавитном порядке. Некоторые из них написаны на латыни, другие - на греческом. Несколько глав имеют двойные названия; и хотя от них мало что осталось, кроме названий, они показывают, какое бесконечное разнообразие тем рассматривал автор. В качестве примера я привожу те, что идут под буквой А. *Aborigines*, -Περὶ Ἀνθρωπῶν φύσεως, -*De Admirandis, vel Gallus Fundanius*, -Ἀγαθὸν, -*Age modo*, -Αἰεὶ διβῆν, vel περὶ Αἰρεσεων, -*Ajax Stramentitius*, -Ἄλλος οὗτος Ἰθακλῆς, -*Andabatae*, -*Anthropopolis*, -περὶ Ἀρχῆς, seu *Marcopolis*, -περὶ Ἀρχαιρεσιων, seu *Serranus*, -περὶ Ἀρετῆς κτησεως, -περὶ Ἀφροδισιων, seu *vinalia*, -*Armorum iudicium*, -περὶ Ἀρρενοτητος, seu *Triphallus*, -*Autumedus*, -*Mæonius*, -*Baiæ*, &c.<sup>79</sup>

Есть глава о долге мужа (*De officio Mariti*), в которой автор замечает, что ошибки жены нужно либо лечить, либо терпеть: Тот, кто их искореняет, делает свою жену лучше, а тот, кто терпит их, совершенствуется сам. Другая надпись гласит: "Не знаешь, что может принести поздний вечер или ужин" (*Nescis quid vesper serus vehat*). В этой главе он отмечает, что число гостей не должно быть меньше, чем у Граций, или больше, чем у Муз. Чтобы сделать развлечение идеальным, должны совпасть четыре вещи: подходящая компания, подходящее место, удобное время и тщательная подготовка. Гости не должны быть болтливыми или неразговорчивыми. Молчание - для опочивальни, красноречие - для форума, но ни то, ни другое - не для пира. Разговор не должен касаться тревожных или сложных тем, он должен быть веселым и располагающим, чтобы польза сочеталась с некоторой долей удовольствия и соблазна. Лучше всего это удастся, если говорить о тех вещах, которые относятся к обычным событиям или делам жизни, о которых не досуг говорить на Форуме или при ведении дел. Хозяин пира должен быть скорее опрятным и чистым, чем роскошно одетым; а если он вводит в развлечение чтение, то оно должно быть так [pg 49] подобрано, чтобы

развлекать, не доставляя при этом ни хлопот, ни [утомительности](#)<sup>80</sup>. Третья глава называется "περὶ ἑδεσμάτων" и посвящена более редким деликатесам, особенно иностранной роскоши. Аи. Геллий передал нам смысл некоторых стихов, в которых Варро упоминает различные страны, поставляющие самые изысканные продукты питания. Павлины привозились с Самоса, журавли - с Мелоса, дети - из Амбракии, а лучшие устрицы - из [Тарентума](#)<sup>81</sup>. Часть главы γυνθὶ σεαυτοῦ была направлена против латинских трагических поэтов.

То, что осталось от стихов, вплетенных в сатиру Мениппея, слишком незначительно, чтобы мы могли составить какое-либо точное суждение о поэтических талантах Варро.

Стиль сатиры, введенный Варро, был подражанием Луцию Аннею Сенеке в его сатире на обожествление Клавдия Сезара, которого на земле называли Дивом Клавдием. Сатира Петрония Арбитра, в которой этот писатель обличает роскошь, скупость и другие пороки своего века, представляет собой сатиру варроновского типа, где проза смешивается со стихами, а шутка с серьезным замечанием. Таковы же "Симпозиум о Сезарах" императора Юлиана, в котором он характеризует своих предшественников, и его "Μισοπώγων", направленная против роскошных нравов граждан Антиохии.

Кроме вышеупомянутых произведений Варро, существует еще целый сборник предложений или изречений, которые приписываются ему, хотя неизвестно, в какой части его многочисленных трудов они были первоначально представлены. Бартиус нашел семнадцать из этих предложений в одном из MS средних веков и напечатал их в своей Adversaria. Затем Шнайдер обнаружил в "Историческом справочнике" Винсента де Бове, монаха XIII века, гораздо более обширное собрание этих предложений, которое он включил в свое издание "Scriptores rei [Rusticae](#)<sup>82</sup>". Они состоят из нравоучительных сентенций в стиле тех, что сохранились в "Мимах" Публия Сира, и, несомненно, были сорваны, как цветы, из произведений Варро, в то время, когда огромный сад вкуса и образованности, который он посадил, еще не был опустошен рукой времени или [губителя](#)<sup>83</sup>.

[pg 50]

Хотя приведенный выше список произведений Варро далеко не полон, в нем упомянуто достаточное количество, чтобы оправдать восклицание Квинтилиана: "Quam multa, immo rene omnia tradidit Varro!" и более полный панегирик Цицерона: "Его труды вернули нас домой, когда мы были чужестранцами в своем городе и скитались, как чужие, чтобы мы узнали, кто и где мы находимся; Ибо в них открыта хронология его страны, - описание времен года, - законы религии, - постановления священников, - бытовые и военные происшествия, - положение стран и мест, - имена всего божественного и человеческого, - породы животных, - нравственные обязанности, - и происхождение [вещей](#)<sup>84</sup>."

Своими трудами Варро не только радовал и наставлял сограждан. Своим вниманием к приобретению самых ценных книг и созданию библиотек он, возможно, еще эффективнее, чем своими учеными сочинениями, способствовал прогрессивному совершенствованию и цивилизации своих соотечественников. Создание частных или публичных библиотек в Риме было запоздалым, поскольку римляне поздно обратились к литературным занятиям. Тирабоски цитирует ряд авторов, которые обнаружили библиотеку в публичных записях, сохранившихся в [Риме](#)<sup>85</sup>, и в книгах [сивилл](#)<sup>86</sup>. Но их, замечает он, можно отнести к библиотеке, которая, по мнению Мадеро, существовала до потопа, и к библиотеке, принадлежавшей Адаму, точный каталог которой составил [Хильшер](#)<sup>87</sup>. Из Сиракуз и Коринфа римляне привезли статуи, картины и другие памятники изобразительного искусства, но мы не знаем, чтобы они перевезли в столицу какие-либо произведения литературы или науки. Некоторые сельскохозяйственные книги попали в Рим из Африки

после разрушения Карфагена, но остальные сокровища его библиотек, хотя они и попали под власть завоевателя, не лишённого вкуса и эрудиции, были подарены африканским князьям в союзе с [римлянами](#)<sup>88</sup>.

По словам Плутарха, Паулус Эмилий позволил своим сыновьям выбрать несколько томов из библиотеки Персея, царя [Македонии](#)<sup>89</sup>, которого он привел в плен в Рим в 585 году. Но честь первого обладания библиотекой в Риме по праву принадлежит Силле, который, захватив Афины в 667 году, приобрел библиотеку Апелликона, обнаруженную им в храме [pg 51] Аполлона. Это собрание, содержавшее, среди прочих книг, труды Аристотеля и Теофраста, Силла оставил себе из разграбленного имущества; после того как оно было доставлено в Рим, его упорядочил грамматик Тираннио, который также снабдил и исправил изуродованный текст [Аристотеля](#)<sup>90</sup>. Силла, постоянно занятый то внутренними распрями, то внешними войнами, мог мало пользоваться этой библиотекой, и он не сообщил о ее пользе ученым, открыв ее для публики; но пример Диктатора побудил других полководцев не упускать из виду библиотеки при разграблении захваченных городов, и книги таким образом стали модным приобретением. Иногда, правда, эти коллекции скорее свидетельствовали о могуществе и богатстве римских полководцев, чем об их литературном вкусе или таланте. Определенную ценность теперь придавали рукописям, которые, как следствие, собирались ими из духа хищничества и принципа не оставлять после себя ничего, что можно было бы унести силой или хитростью. В одном примечательном случае, однако, образованность владельца полностью соответствовала собранному им литературному сокровищу. Лукулл, человек суровой учености и прекрасно владевший всеми изящными искусствами, после долгих лет занятий литературой и гражданским управлением республикой, был неожиданно призван, вследствие политической интриги, возглавить римскую армию в опасном поединке с Митридатом; и, хотя ранее он не был знаком с военным делом, во время путешествия из Рима в Азию он стал первым капитаном эпохи, не имея более обширного опыта, чем изучение военного искусства. Его попытки провести реформу в коррумпированном управлении азиатскими провинциями нажили ему врагов, благодаря которым он был смещен с поста командующего армией тем, кто не превосходил его в талантах, но значительно уступал в добродетели. После отъезда из Понта и перехода на частную службу он предстал перед своими соотечественниками в новом свете. Он не стал, подобно Фабрицию и Цинциннату, пахать на своей ферме и есть репу в коттедже, не бросил, подобно Африкану, свою страну в отвращении, потому что она недостойно обошлась с ним; не стал, подобно Силле, тратить свое богатство и досуг на полуночный разврат с шутами и тунеядцами. Приобретенные во время походов богатства он использовал для строительства восхитительных вилл, расположенных на берегу моря или возвышающихся на склонах холмов. Сады и просторные портики, которые он украсил со всем изяществом живописи [pg 52] и скульптуры, заставили римлян устыдиться своей древней деревенской простоты. Все это, несомненно, вызывало восхищение современников; но именно его библиотека, в которой было размножено или сохранено столько копий ценных произведений, и его выдающееся покровительство учености заслуживают благодарности потомков. "В его библиотеке, - говорит Плутарх, - были прогулки, галереи и кабинеты, которые были открыты для всех посетителей; и гениальные греки прибегали в эту обитель муз для литературных бесед, к которым Лукулл с удовольствием [присоединялся](#)<sup>91</sup>". Другие римские патриции покровительствовали литературе, оказывая покровительство немногим избранным, как старший Сципион Африканский - Эннию, младший - Теренцию; но Лукулл был первым, кто поощрял все искусства и науки и содействовал обучению с княжеской щедростью.

Но раб Тиранний соперничал с самыми выдающимися римлянами в накопленных им литературных сокровищах. Уроженец Понта, он попал в плен к Лукуллу во время войны с

Митридатом и, будучи доставлен в Рим, был отдан Мурене, от которой получил [свободу](#)<sup>92</sup>. Оставшуюся часть жизни он посвятил преподаванию риторики и грамматики. Он также организовал библиотеку Цицерона в [Антиуме](#)<sup>93</sup> и обучал своего племянника, Квинта, в доме [оратора](#)<sup>94</sup>. Эти разнообразные занятия оказались настолько выгодными, что позволили ему приобрести библиотеку из 30 000 [томов](#)<sup>95</sup>. Библиотеки значительных размеров были также у Аттика и Цицерона; Варро не уступал никому из своих ученых современников в умении собирать и переписывать рукописи как на греческом, так и на латинском языках.

Однако библиотека Варро, как и все другие, о которых мы упоминали, была частной - правда, открытой для литераторов благодаря общей любезности владельцев, но доступ к ней зависел от их доброй воли и снисходительности. Юлий Цезарь первым задумал создать большую публичную библиотеку, а Варро поручил упорядочить приобретенные им книги. Этот план, который был прерван безвременной судьбой Цезаря, был осуществлен Асинием Поллио, который посвятил часть богатства, приобретенного за счет военных трофеев, строительству великолепной галереи, примыкающей к храму [pg 53] Свободы, которую он заполнил книгами и бюстами ученых. Варро был единственным из ныне живущих авторов, который в этой публичной библиотеке удостоился чести иметь [изображение](#)<sup>96</sup>, воздвигнутое ему в знак уважения к его универсальной эрудиции. Он также помогал Августу своими советами в создании двух библиотек, которые основал этот император и которые были частью его общей системы поощрения науки и обучения. Когда тираны понимают свое дело и когда их рассудительность равна их храбрости или ремеслу, они становятся самыми ревностными и либеральными поборниками интересов обучения; ведь они знают, что им выгодно отвлечь умы своих подданных от политических дискуссий и дать им взамен утешительные удовольствия воображения и неисчерпаемые занятия научной любознательности.

Если бы я писал историю римских искусств, то должен был бы упомянуть, что Варро преуспел в знании всего полезного и во вкусе всего изящного. Он был создателем того, что можно считать первыми часами, сделанными в Риме, которые измеряли время с помощью стрелки, полностью перемещаемой механизмом. О том, что он также владел музеем, украшенным изысканными произведениями скульптуры, мы узнаем от Плиния, который упоминает, что в нем была восхитительная группа, выполненная скульптором Архелаем из одного блока мрамора и изображающая львицу с амурами вокруг нее - одни дают ей пить из рога; другие надевают носки на ее лапы, а третьи связывают ее. Тот же автор рассказывает, что в 692 году Варро, который в то время был курульным эдилом, приказал привезти из Спарты в Рим фресковую картину, чтобы украсить Комициум - она была вырезана целиком и заключена в деревянные ящики. Картина была превосходна и вызвала восхищение; но больше всего удивления вызвало то, что ее удалось снять со стены без повреждений и доставить в [Италию](#)<sup>97</sup>.

Боюсь, я слишком задержал читателя этим рассказом о жизни и сочинениях Варро, но остановиться на таком персонаже не так уж неприятно. Он был современником Мариуса и Силлы, Сезара и Помпея, Антония и Октавия, этих людей раздора и резни; и среди потрясений, в которые они ввергли свою страну, не будет неблагодарностью проследить Secretum Iter, который он молча продолжал в течение периода, не имевшего анархии и преступлений. Не прерываясь ни на минуту из-за раздоров и честолюбия, он [pg 54] продолжал свои литературные труды до самого конца своего долгого существования. "In eodem enim lectulo", - говорит Валерий Максим с духом и красноречием, превосходящими его обычную манеру изложения, - "In eodem enim lectulo, et spiritus ejus, et egregiorum operum cursus extinctus est."

## НИГИДИЙ ФИГУЛ

был человеком, очень похожим на Варро, и рядом с ним считался самым ученым из [римлян](#)<sup>98</sup>. Он был современником Цицерона и одним из его главных советников и помощников в подавлении заговора [Катилины](#)<sup>99</sup>. Вскоре после этого он достиг сана претора, но, выступив на стороне Помпея в гражданских войнах, был изгнан в связи с приходом к верховной власти Цезаря и умер в 709 году, прежде чем Цицерон смог добиться его отзыва из [изгнания](#)<sup>100</sup>. Он сильно увлекался судебной астрологией, и древние писатели приводят множество его предсказаний, в частности, о переходе империи к Августу, которое он предсказал сразу после рождения этого [принца](#)<sup>101</sup>.

Нигидий соперничал с Варро в разносторонней эрудиции и количестве сочинений - грамматике, критике, естественной истории и происхождении человека, последовательно сменявших друг друга. Его труды высоко оценили Цицерон, Плиний, Аулус Геллий и Макробий; однако они были почти полностью непригодны для использования в народе из-за своей тонкости, загадочности и [неясности](#)<sup>102</sup> - недостатки, которым, возможно, в значительной степени способствовали его увлечение судебной астрологией и принятие пифагорейской философии. Аулус Геллий приводит множество примеров неясности или, скорее, невразумительности своих грамматических [трудов](#)<sup>103</sup>. Главным его трудом были "Грамматические комментарии" в тридцати книгах, в которых он пытался показать, что имена и слова закреплены не случайным применением, а определенной силой и порядком природы. Один из его примеров того, что термины скорее естественны, чем произвольны, был взят из слова Vos, произнося которое, он заметил, что мы используем определенное движение рта, согласующееся с тем, что выражает само слово: Мы выпячиваем, постепенно, кончики наших губ и направляем дыхание и ум к тем, с кем мы ведем беседу. С другой стороны, когда мы говорим pos, мы не произносим его с широким и [pg 55] ded взрывом голоса, не выпячиваем губы, но сдерживаем дыхание и губы, как бы внутри себя. Такие же естественные знаки сопровождают произнесение слов tu и ego-tibi и [mihi](#)<sup>104</sup>. Нигидий также написал работы под названиями De Animalibus, De Ventis, De Extis и множество трактатов о природе богов. Все они давно исчезли, за исключением нескольких фрагментов, которые были собраны и объяснены Янусом Рутгерсиусом в третьей книге его Variæ Lectiones, опубликованной в Лейдене в 1618 году; 4то. В этот сборник он также включил греческий перевод другой утраченной работы Нигидия, посвященной предсказаниям, которые следует извлекать из грома. Латинский оригинал, как говорят, был взят из книг, носивших имя этрусского Тагеса, предполагаемого основателя науки гадания. Греческая версия была выполнена Лаврентием, философом эпохи Юстиниана, а его перевод был обнаружен Мурсием в начале семнадцатого века в библиотеке Палатина. Это своего рода альманах, содержащий предвестия грозы на каждый конкретный день года, начиная с июня. Если гром прогремит 13 июня, это означает, что жизнь или судьба какого-то великого человека находится под угрозой, если 19 июля - что объявлена война, если 5 августа - что женщины, с которыми мы имеем дело, станут несколько более разумными, чем они проявляли [себя](#) до сих пор<sup>105</sup>.

К Варро и Нигидию Фигулу можно отнести Тиро, знаменитого вольноотпущенника Цицерона и постоянного помощника во всех его литературных делах. Он написал много книг по использованию и формированию латинского языка, а также другие книги на разные темы, которые он назвал [Pandectas](#)<sup>106</sup>, как охватывающие все виды литературных тем.

Квинт Корнифиций, старший, также был весьма обширным ученым. Он написал любопытный трактат об этимологии названий небесных и земных вещей, в котором обнаружил большие познания как в римских древностях, так и в самой изысканной греческой литературе. Именно здесь он представил объяснение мрачной басни Гомера, в которой Юпитер и все боги пируют двенадцать дней в Эфиопии. Работа была написана в 709 году, во время последней экспедиции Сезара в Испанию, и, вероятно, предназначалась в качестве дополнения к трактату Варро на аналогичную тему.

[pg 56]

## ИСТОРИЯ.

Исходя из предположения, что то, что касалось наших предков, может касаться нас, а то, что касалось нас, должно касаться потомков, мы любим собирать памятники о событиях прошлого, а также сохранять память о происшествиях, случившихся в наш век. Историческая страсть, если ее можно так назвать, естественным образом разделяется на два желания - удовлетворить собственное любопытство и рассказать о том, что произошло с нами или нашими современниками.

Для этого воздвигались памятники и сочинялись грубые гимны людьми, едва научившимися пользоваться буквами. Среди цивилизованных народов страсть растет пропорционально средствам ее удовлетворения, а сила примера ощущается настолько сильно, что его сила и влияние вскоре используются исторически.

Римляне во все эпохи особенно любили наставлять людей всякого рода примерами. Они помещали изображения своих предков на Форуме и в притворах своих домов, так что эти почтенные формы повсюду встречались с их глазами; и, напоминая о славных деяниях умерших, возбуждали живых к подражанию своим предкам. Таким образом, добродетель одного поколения передавалась, благодаря магии примера, тем, кого оно сменило, и дух героизма сохранялся на протяжении многих эпох республики.

"Has olim virtus crevit Romana per artes:

Namque foro in medio stabant spirantia signa

Magnanimûm heroum; hîc Decios, magnosque Camillos

Cernere erat: vivax heroum in imagine virtus,

Invidiamque ipsis factura nepotibus, acri

Urgebat stimulo Romanum in prælia [robur](#)107".

История, таким образом, у римлян сочинялась не только для удовлетворения любопытства или насыщения исторической страсти, но и для того, чтобы силой примера побудить к подражанию в воинской доблести. Неутолимая жажда военной славы, безграничное стремление к расширению империи, безграничная уверенность в собственной силе и мужестве, стремительный властный дух, с которым осуществлялись все их предприятия, составляли в первые дни Республики характерные черты римлян. Разжечь и придать им новую [pg 57] силу было главной задачей истории. "Я записал эти вещи", - говорит старый латинский анналист после рассказа о Регуле, - "чтобы те, кто читает мои комментарии, могли стать на его примере больше и лучше".

Соответственно, у римлян были журналисты или анналисты, начиная с самых ранних периодов существования государства. Анналы понтификов, если верить Цицерону, датируются тем же временем, что и основание [города108](#); другие же относят их начало к правлению [Нумы109](#), а Нибур - не ранее битвы при Регилле, которая положила конец надеждам [Тарквина110](#). Чтобы сохранить память о государственных делах, понтифик Максим, который был официальным историком Республики, ежегодно записывал на деревянных табличках главные события каждого года, а затем вывешивал их в своем доме для обучения [народа111](#). Эти Анналы продолжались вплоть до понтификата Муция в 629 году и назывались *Annales Maximī*, как периодически составляемые и хранящиеся понтификом Максимом, или *Publicī*, как записывающие общественные дела. Будучи начертанными на деревянных табличках, они обязательно были короткими и лишенными всех существенных деталей; а будучи ежегодно составляемыми сменяющимися друг друга понтификами, они не могли иметь вида непрерывной истории. Они, как замечает лорд Болингброк, были бы не более чем короткими протоколами или памятками, развешанными в доме понтифика, как правила игры в бильярдной: их содержание напоминало бы эпитомы, приложенные к книгам Ливия, или реестр примечательных происшествий в современных альманахах.

Но, несмотря на краткость, небрежность и отсутствие украшений, как записи фактов, эти анналы, если бы их пощадили, составили бы неоценимое сокровище ранней истории. Территория Рима в первые века существования государства была настолько ограничена, что каждое событие можно считать прошедшим под непосредственным наблюдением священного летописца. Кроме того, метод, который, как сообщает нам Цицерон, был соблюден при подготовке этих Анналов, и забота о том, чтобы не включить ни одного факта, истинность которого не была бы подтверждена столькими свидетелями, сколько граждан было в Риме, которые имели право судить и делать свои замечания о том, что следует добавить или отменить, должны были сформировать самый достоверный свод истории, который только можно было пожелать. Память о сделках, которые были еще недавно, и сопутствующие обстоятельства которых каждый мог вспомнить, передавалась потомкам. Благодаря этим средствам [pg 58] Анналы были защищены от фальсификации, а их достоверность была неоспоримо установлена.

Однако эти ценные записи большей частью сгорели во время пожара в городе, последовавшего за его захватом галлами - событием, которое стало для ранней истории Рима тем же, чем английское вторжение Эдуарда I стало для истории Шотландии. После этого насыщенного событиями периода практика сохранения таких записей понтификом Максимом была прекращена. Слабая попытка возродить ее была предпринята в конце второй Пунической войны, и с тех пор этот обычай не был полностью отменен до понтификата Муция в 629 году. Именно на эту вторую серию анналов или на какую-то другую позднюю и неэффективную попытку возродить древнеримскую историю, должно быть, ссылается Цицерон, говоря о Великих анналах в своем труде *De Legibus*[112](#), поскольку несомненно, что понтификальные записи о событиях, предшествовавших взятию Рима галлами, почти полностью погибли при пожаре [города113](#). Соответственно, Ливий никогда не цитирует эти записи, и нет никаких свидетельств того, что у него была возможность с ними ознакомиться; не упоминает их и Дионисий Галикарнасский в длинном каталоге записей и памятников, которые он использовал при составлении своих "Исторических древностей". Книги понтификов, некоторые из которых были найдены в ходе поисков того, что пощадило пламя, действительно, иногда упоминаются. Но это были труды, объясняющие тайны религии, с указаниями церемоний, которые необходимо соблюдать при ее практическом исполнении, и они могли быть не более полезны для римлян, чем собрание бревиариев или миссалов для современной истории.

Статуи, надписи и другие общественные памятники, помогающие увековечить память о выдающихся личностях и передать потомкам заслуги, которые они оказали своей стране, считались у римлян самой почетной наградой, которую можно было получить за великие деяния; а добродетель в те древние времена считала, что нет более достойного вознаграждения, чем бессмертие, которое, казалось, обещали такие памятники. Рим, давший столько примеров бескорыстного патриотизма и доблести, должен был быть полон памятников такого рода, когда его взяли галлы. Но эти почетные памятники были сброшены вместе со зданиями и погребены в руинах. Если кому-то и удалось спастись, то лишь немногим; а большая часть [pg 59] тех, что можно было увидеть в Риме в восьмом веке существования города, была основана на сказочных преданиях, доказывающих, что утрата подлинных памятников привела к замене их фальшивыми. Если бы подлинные памятники сохранились в Риме даже до того времени, когда начали составляться первые регулярные анналы, то хотя их и не хватило бы для полного восстановления истории, они послужили бы, по крайней мере, для того, чтобы увековечить память о различных важных фактах, зафиксировать их даты и передать потомкам славу великих людей.

На чем же, спрашивается, была основана римская история, и какие подлинные записи сохранились в качестве материала для ее составления? Сначала были *Leges Regiæ*. Их усердно искали, и они были обнаружены вместе с Двенадцатью таблицами после разграбления города: А все те царские законы, которые не касались священных вопросов, были выставлены на всеобщее обозрение, чтобы народ мог их увидеть и [опознать](#)<sup>114</sup>, чтобы до потомков не дошли подозрения в подделке или фальсификации. Эти меры предосторожности не оставляют нам места для сомнений в том, что *Leges Regiæ*, или Законы таблиц, были сохранены, и что они остались в том виде, в каком их первоначально обнародовали короли и децемвиры. Однако для римской истории такие законы будут не более полезны, чем *Regiam Majestatem* для истории Шотландии. Они могли бы быть полезны для прослеживания ранней конституции государства, происхождения некоторых обычаев, церемоний, государственных должностей и других моментов антикварного исследования, но они могли бы быть мало полезны в установлении дат, выяснении фактов и представлении событий в их истинном свете, которые составляют особый объект гражданской истории.

Мирные договоры, служившие залогом спокойствия общества извне, рядом с законами имели наибольшее значение для государства, поэтому после изгнания галлов много внимания уделялось восстановлению как можно большего их количества, которое пощадило пламя. Некоторые из них было тем легче восстановить, что они хранились в храме Юпитера Капитолина, до которого ярость врага не могла [добраться](#)<sup>115</sup>. Те же, что удалось спасти, продолжали очень бережно храниться, и нет никаких оснований подозревать их в фальсификации. Среди спасенных от уничтожения договоров Гораций упоминает договоры царей с габиями и сабинами (*Fœdera Regum*<sup>116</sup>.) Первый был заключен Тарквинием Супербом, который, как сообщает нам Дионисий [pg 60] Галикарнасский, в его время все еще хранился в Риме, в храме Юпитера Фидия, на деревянной пряжке, покрытой бычьей шкурой, на которой древними буквами были написаны статьи [договора](#)<sup>117</sup>. Дионисий упоминает два договора с сабинянами: первый был заключен между Ромулом и их царем [Татием](#)<sup>118</sup>, а другой, условия которого были начертаны на колонне, воздвигнутой в храме, был заключен с ними Туллом Гостилием в конце сабинской [войны](#)<sup>119</sup>. Ливий также приводит договор, заключенный с [ардеатами](#)<sup>120</sup>; а Полибий сохранил еще один договор, заключенный с карфагенянами в год изгнания [царей](#)<sup>121</sup>. Плиний также упоминает об одном из условий договора, который Порсенна, союзник Тарквина, предоставил римскому [народу](#)<sup>122</sup>. Эти договоры с габиями, сабинами, ардеатами и один или два с латинами - почти единственные договоры, на которые ссылаются древние латинские историки; похоже, что

они не проявили особого усердия, обращаясь к этим оригинальным документам или черпая из них при составлении своих историй ту помощь, которую могли оказать. Договоры, цитируемые Полибием и Плинием, полностью противоречат отношениям латинских летописцев; те, что цитирует Полибий, доказывают, в противовес их утверждениям, что карфагеняне владели значительной частью Сицилии примерно за столетие до даты, которую Ливий определил для их первой экспедиции на этот остров; и те, которые цитирует Плиний, что Порсенна, вместо того чтобы вести с римлянами равные отношения, как это представляют их историки, фактически запретил им применять оружие, разрешив им использовать железо только для обработки [земли](#)<sup>123</sup>.

Libri Lintei (названные так потому, что написаны на льне) Ливий цитирует вслед за старым анналистом Лицинием Мацером, который, судя по всему, тщательно их изучил. Эти книги хранились в храме Юноны Монеты, но, вероятно, имели меньшее значение, чем другие государственные записи, которые были начертаны на свинцовых листах. Очевидно, что это была не очень большая работа, так как Ливий, который ссылается на них в четырех разных случаях в течение десяти лет, сразу после разложения децемвиров, не цитировал их раньше и никогда не ссылается на них снова. Кроме того, по-видимому, существовали разные копии, которые не совсем совпадали, и Ливий, кажется, [pg 61] далек от того, чтобы считать их авторитет решающим даже в тех вопросах, по которым на них [ссылаются](#)<sup>124</sup>.

Мемуары цензоров - это дневники, сохраняемые лицами, занимавшими должность цензора. Они передавались ими своим потомкам, как священные залогов, и хранились в семьях, прославленных этим саном. Они представляли собой серию хвалебных речей о тех, кто возвысил славу своего дома, и содержали сведения о памятных деяниях, совершенных ими при исполнении высокой цензурной должности, в которую они были [вложены](#)<sup>125</sup>. Поэтому их следует рассматривать как часть семейных мемуаров, которые, к сожалению, были великим и неполноценным источником ранней римской истории.

В обычае древних римских семей было хранить с религиозной тщательностью все, что могло способствовать увековечиванию славы их предков и воздавать почести их роду. Так, помимо титулов, которые помещались под дымящимися изображениями предков, в их апартаментах находились столы, на которых лежали книги и мемуары, в которых в стиле общего панегирика записывались заслуги, оказанные ими государству во время исполнения тех обязанностей, которыми они были [удостоены](#)<sup>126</sup>.

Если бы эти семейные мемуары были достоверно составлены, они оказали бы неоценимую услугу истории; и хотя все другие памятники погибли, только они могли бы восполнить этот недостаток. Они представляли собой записи тех, кто имел наилучший доступ к знаниям, о высоких должностях, которые занимали их предки, и обо всех памятных событиях, происходивших в то время, когда они занимали возвышенные посты претора или консула: Даже даты событий, как видно из фрагмента, который приводит Дионисий Галикарнасский, были записаны со всей возможной точностью. Каждый набор семейных мемуаров, таким образом, образовывал серию биографий, которые, сохраняя память о великих деяниях отдельных людей и не опуская ничего, что могло бы послужить их иллюстрацией, охватывали и главные государственные дела, в которых они принимали участие. Из фрагментов генеалогической книги семьи Порциев, процитированных Аулутом Геллием, и выдержек из мемуаров семей Клавдиев и Ливиев, сохраненных Суэтонием в первых главах его "Жизни Тиберия", мы можем понять, насколько важны были бы такие мемуары и какой свет они могли бы бросить на историю, если бы обладали печатью верности. Но, как ни странно, при их составлении больше внимания уделялось репутации семьи, чем исторической правде. Все, что стремилось возвысить ее имя, было приукрашено и преувеличено. Все, что могло

приглушить его блеск, старательно убиралось. Обстоятельства, тем временем, стали особенно благоприятствовать этим высоким семейным притязаниям. Уничтожение публичных памятников и летописей понтификов дало широкий простор тщеславию и плодovitому воображению тех, кто решил сфабриковать титулы и придумать претензии на отличия, фальшивость которых уже невозможно было доказать. "Все памятники, - говорит Плутарх, - уничтоженные при взятии Рима, были заменены другими, подделанными из угодничества частными лицами, которые выдавали себя за представителей знатных семей, хотя на самом деле не имели к ним никакого [отношения](#)<sup>127</sup>". Великие семейства так бессовестно пользовались этой благоприятной возможностью, что Ливий жалуется, что эти частные мемуары были главной причиной неопределенности, в которой он был вынужден колебаться в ранние периоды своей истории. "Главное, что запутало историю, - говорит он, - это то, что каждая семья приписывает себе славу великих деяний и почетных занятий. Поэтому, несомненно, подвиги отдельных людей и общественные памятники были фальсифицированы; мы не имеем ни одного писателя этих времен, на авторитет которого можно было бы [положиться](#)<sup>128</sup>". Погребальные оратории по умершим, которые было принято произносить в Риме и которые сохранялись в семьях так же бережно, как мемуары, также способствовали увеличению этого зла. Цицерон утверждает, что история была полностью фальсифицирована этими погребальными панегириками, в них было вставлено многое из того, что никогда не совершалось и не существовало - фальшивые триумфы, лишние консульства и поддельные [родословные](#)<sup>129</sup>.

С этими прозаическими легендами были связаны и упоминавшиеся ранее старые героические баллады, на которых в значительной степени были построены анналы Энния и к которым можно отнести некоторые из тех удивительных происшествий римской истории, придуманных главным образом для того, чтобы возвеличить военные достижения страны. Многие, что по праву относятся к таким древним поэмам, до сих пор существуют под маской исторической одежды в повествованиях римских анналистов. Нибур, немецкий историк Рима, недавно проанализировал эти легенды и многое взял из римской истории, выявив, какие происшествия не имеют под собой иного основания, кроме их химерических или приукрашенных изображений, и показав, как [pg 63] происшествия, сами по себе не связанные между собой, были искусственно объединены с их помощью. Таковы, по его словам, истории о рождении Ромула, измене Тация, гибели Фабиев и события почти полной Эпопеи, от престолонаследия Тарквиния Приска до битвы при Регилле. Эти старые баллады, более привлекательные и легкодоступные, чем подлинные записи и памятники, предпочитались им в качестве авторитетов; и даже будучи переложенными на прозу, они сохранили большую часть своего оригинального и поэтического духа. Например, в них притворялись, что Тулл Гостилий был сыном Хостуса Гостилия, погибшего в войне с сабинянами, что, согласно хронологии, Туллу было бы не менее восьмидесяти лет, когда он вззошел на трон; но считалось прекрасным представить его сыном настоящего римского героя, павшего на службе своей стране. Вероятно, как я уже показал, Нибур приписывает этим старым героическим балладам слишком много и приписывает им масштабы и значение, которые не имеют достаточных доказательств. Но я сильно подозреваю, что героические или исторические поэмы Энния служили основным документом для римских летописцев о событиях во времена монархии и ранней республики, и к ним, как к "Шад-Наме" Фердоуси, обращались для объяснения событий, которые, вероятно, были скорее выдумками фантазии, чем историческими событиями.

Греческие писатели, от которых происходит несколько басен и преданий о младенчестве Рима, жили не намного выше эпохи Фабия Пиктора и упоминают о его делах лишь вскользь, рассказывая об Александре или его преемниках. Полибий, правда, считает их повествования

просто вульгарными [традициями](#)<sup>130</sup>, а Дионисий говорит, что они написали несколько вещей о римлянах, которые они собрали из общих сообщений, без точности и усердия. Им правдоподобно приписывают те басни о подвигах римлян, которые имеют столь поразительную аналогию с происшествиями в греческой [истории](#)<sup>131</sup>. С ними во всех отношениях схожи и истории, которые некоторые римляне публиковали на греческом языке о древних делах своего народа.

Таким образом, мы видим, что подлинные материалы для ранней истории Рима были скудны и несовершенны, что анналы понтификов и общественные памятники погибли, что *Leges Regiæ*, Двенадцать таблиц и остатки религиозных или ритуальных книг понтификов, не могли пролить свет на историю, а недостаток лучших материалов восполнялся ложными, [pg 64] и порой невероятными сведениями, почерпнутыми из семейных традиций - "*ad ostentationem scenæ gaudentis miraculis aptiora quàm ad [fidem](#)*<sup>132</sup>." Изуродованные надписи, скудные договоры и семейные мемуары из-за различий в языке становились в значительной степени непонятными для поколения, сменившего то, в котором они были составлены. Полибий сообщает нам, что самые ученые римляне его времени не могли прочесть договор с карфагенянами, заключенный после изгнания царей. Таким образом, исторические документы, какими они были, становились бесполезными для историка или, по крайней мере, представляли такую сложность, что он иногда ошибался в их значении, а в других случаях удерживался от исследования.

Если учесть все это, а также то, что в начале своего существования Рим был обителью грубого и невежественного народа, живущего за счет насилий, что искусство письма, единственного надежного хранителя памяти о событиях, мало практиковалось, что критическая экспертиза была совершенно неизвестна; и что писатели ни одной другой нации не думали о точной передаче потомкам событий, которые стали интересны только благодаря последующим завоеваниям и расширению Римской империи, должно быть очевидно, что материалы, предоставленные для работы историка, обязательно будут неясными и неопределенными.

Нельзя отрицать великие общие результаты, зафиксированные в римской истории в течение первых пяти веков. Нельзя сомневаться в том, что Рим в конечном итоге одержал победу над соседними народами и завладел их территориями; ведь без этих успехов Рим не стал бы тем, чем, как мы знаем, он был в шестом веке. Но в конкретных событиях, записанных в римской истории, есть достаточно внутренних доказательств ее неопределенности или, скорее, ложности; и здесь я не имею в виду лживые басни и нелепые проделки, которые летописцы могли вставить в угоду предрассудкам народа, или почти невероятную смелость и выносливость Сцеволы, Коклеса или Курция, которые можно объяснить диким духом полуцивилизованного народа и не отличить от действий, о которых мы слышим среди индейских племен; Но я ссылаюсь на полную неправдоподобность исторических деталей, касающихся сделок с соседними племенами и возникновения внутренних институтов. Как, например, после столь долгой череды поражений, с редкими промежутками процветания, итальянские государства могли обладать ресурсами, достаточными для постоянного возобновления военных действий, в которых они [pg 65] всегда были агрессорами? И как, с другой стороны, римляне с их постоянным перевесом в силе и удаче (если можно рассчитывать на повторение и масштабность их побед) должны были так долго заниматься их полным подчинением? Число убитых, согласно рассказу Ливия, настолько огромно, что трудно представить, как население таких умеренных территорий, как принадлежавшие независимым итальянским общинам, могло обеспечить такие потери. Поэтому мы не можем не прийти к выводу, что частота и важность этих кампаний были преувеличены консульскими

семьями, предававшимися тщеславию преувеличивать достижения своих [предков](#)<sup>133</sup>. Иногда эти кампании представляются как проводимые против всего народа вольсков, самнитов или этрусков, когда на самом деле в них участвовала лишь часть; в других случаях сражения, которые никогда не происходили, извлекались из семейных мемуаров, где они были составлены для иллюстрации каждого консульства; ведь что такое консул без триумфа или победы? Я бы превысил свои полномочия, если бы стал указывать на различные неправдоподобности и очевидные несоответствия такого рода, зафиксированные в ранних периодах римской истории. Что касается внутренних институтов Рима, то все (несомненно, ради эффекта и достоинства) представляется как возникшее благодаря утонченной политике и прозорливости первых царей. Разделение народа на племена и курии, отношения покровителей и клиентов, выборы сенаторов - словом, вся структура конституции - представлена как заранее разработанный план политической мудрости, а не (как это было в любом другом государстве и должно было быть в Риме) постепенный результат случайностей и прогрессивных улучшений, отстаивания прав и борьбы за власть.

Мнение Полибия о неопределенности римской истории достаточно ясно из отрывка четвертой книги его замечательного труда, который написан со всей философией и глубокими исследованиями Тацита, без явного жеманства: "Вещи, которые я взялся описать, - говорит он, - это те, которые я сам видел, или те, которые я получил от людей, которые были их очевидцами. Ибо, если бы я вернулся в более ранний период и заимствовал свои рассказы из сообщений людей, которые сами только слышали их прежде от других, вряд ли бы я сам смог узнать истинное положение вещей, которые тогда происходили, так что и я не смог бы написать что-либо о [pg 66] них с уверенностью". Действительно, что мы можем ожидать узнать о царях Рима, когда мы находим столько неопределенности в отношении самых памятных событий республики, как период первого создания диктатора и народных трибунов? Те же сомнения существуют и в биографиях прославленных персонажей. Цицерон говорит, что Кориолан, перейдя на сторону вольсков, подавил борьбу своего негодования добровольной смертью; "ибо, хотя ты, мой Аттик, - продолжает он, - представляешь его смерть иначе, ты должен извинить меня, если я не подпишусь под справедливостью твоих [представлений](#)<sup>134</sup>". Аттик, как я полагаю, рассказывал, как мы теперь знаем, что он был убит во время беспорядков вольсков, а Фабий Пиктор писал, что он дожил до [старости](#)<sup>135</sup>. О том, насколько следует полагаться на события, произошедшие между смертью Кориолана и окончанием второй Пунической войны, можно судить по той неопределенности, которая царил в отношении Сципиона Африканского, героя, наиболее выдающегося из всех остальных, и расцветшего, сравнительно, в недавнее время. Однако некоторые из наиболее важных событий его жизни вовлечены в противоречия и почти безнадежную неясность. "Цицерон, - говорит Бервик в своих "Мемуарах о Сципионе", - с большой уверенностью говорит о годе, в котором он умер, но Ливий обнаружил такое большое расхождение во мнениях историков по этому вопросу, что он объявляет себя неспособным установить его. Из фрагмента Полибия мы узнаем, что в его время авторы, писавшие о Сципионе, не знали некоторых обстоятельств его жизни и ошибались в других; а из Ливия следует, что рассказы о его жизни, суде, смерти, похоронах и могиле были настолько противоречивы, что он не мог определить, какой традиции или чьим писаниям он должен доверять".

Но, хотя ранние события римской истории были такого рода, что Цицерон и Аттик не были согласны в их отношении, Полибий не мог ничего написать о них с уверенностью, а Ливий не брался ни утверждать, ни опровергать их, все же все остатки римской древности не исчезли. Хотя анналы понтификов были уничтожены, те, кто их писал, кто их хранил и читал, не могли полностью утратить память о фактах, которые они фиксировали. Даже из семейных мемуаров, полных неправды, рассудительный и острый историк мог бы извлечь много

правды. Журналы разных соперничающих семей, должно быть, часто служили исторической проверкой друг друга, и можно было бы собрать много реальной информации, сравнивая [pg 67] и противопоставляя тщеславную ложь этих семейных [легенд136](#).

Таково было состояние материалов для римской истории в середине шестого века, с момента постройки города, когда впервые начали составляться регулярные анналы; и, несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, даже в этот период можно было бы многое сделать для установления и выяснения дат и обстоятельств предыдущих событий, если бы самый ранний летописец Рима был хоть в какой-то степени приспособлен для этой трудной и важной задачи; но, к сожалению,

## КВИНТ ФАБИЙ ПИКТОР,

который первым взялся изложить дела Рима с момента его основания в формальном и регулярном порядке и которого Ливий назвал *Scriptorum antiquissimus*, похоже, был плохо подготовлен к взятой на себя работе, либо [pg 68] в плане верности, либо в плане исследования: и его небрежности и неточности, даже больше, чем потере памятников, можно приписать болезненную неопределенность, которая по сей день висит над ранними веками римской истории.

Фабий Пиктор жил во времена второй Пунической войны. Род получил свое название от Кая Фабия, который, проживая в Этрурии и приобретая там некоторые познания в изобразительном искусстве, расписал фигурами храм Салуса в [450137](#) году. Плиний упоминает, что видел это произведение искусства, которое оставалось целым до тех пор, пока само здание не было разрушено, в правление императора Клавдия. Сын художника достиг высших государственных почестей, став консулом вместе с Огульнием Галлом в 485 году. От него произошел историк, который, следовательно, был внуком первого Фабия Пиктора. В ранней юности он был провинциальным квестором, а в 528 году служил под началом консула Луция Эмилия, когда его послали отразить грозное вторжение галлов, которые в том году огромными полчищами перешли Альпы. Он также участвовал во второй Пунической войне, начавшейся в 534 году, и присутствовал в битве при Фрасимене. После поражения при Каннах он был послан сенатом, чтобы узнать у оракула в Дельфах, каков будет исход войны, и какими мольбами можно утихомирить гнев [богов138](#).

Анналы Фабия Пиктора начинаются с основания города и доводят череду римских событий до времени самого автора, то есть до конца второй Пунической войны. Дионисий Галикарнасский сообщает нам, что для значительной части событий, предшествовавших его эпохе, Фабий Пиктор не имел лучшего авторитета, чем вульгарная [традиция139](#). Вероятно, он пришел к выводу, что если бы он ограничился только тем, что было достоверно известно в эти ранние времена, его история была бы сухой, скучной и неполной. Это, возможно, побудило его принять басни, которые греческие историки придумали о происхождении Рима, и вставить все, что он нашел в семейных традициях, пусть даже противоречивых или неопределенных. Дионисий также привел нам множество примеров своих неправдоподобных рассказов, непоследовательности, небрежности в исследовании истинности того, о чем он говорит как о фактах, и неточности в хронологии. "Я не могу удержаться, - говорит он, говоря о возрасте Тарквиния Приска, - чтобы не обвинить Фабия Пиктора в недостаточной точности [хронологии140](#);" и из различных других отрывков следует, что все древние [pg 69] истории Фабия, не основанные на слухах, были взяты у греческих авторов, которые имели мало возможностей быть в курсе римских дел и восполняли

недостаток реальных знаний изобретением басен. В частности, как сообщает нам [Плутарх141](#) , в своем рассказе об основании Рима он следовал неясному греческому автору Диоклу Пепаретянину, и из этого запятнанного источника пошли все истории о Марсе, весталке, волчице, Ромуле и Реме.

Таким образом, очевидно, что на историю Фабия Пиктора о событиях, предшествовавших его собственному возрасту и произошедших за 500 лет от основания города, нельзя полагаться; но что следует считать более необычным и прискорбным, так это то, что, будучи сенатором и выходцем из знатной семьи, он дал предвзятый и неточный отчет о делах, происходивших в то время, когда он жил, и в управлении которыми он имел некоторое отношение. Полибий, который жил вскоре после этого времени и старался точно информировать себя обо всех событиях второй Пунической войны, извиняется за то, что в одном случае цитирует Фабия в качестве авторитета. "Возможно, меня спросят, - говорит он, - как мне пришло в голову упомянуть Фабия: Дело не в том, что я считаю его слова достаточно вероятными, чтобы заслужить доверие: то, что он пишет, настолько абсурдно и имеет так мало похоже на правду, что читатель и без моего внимания легко заметит, как мало доверия следует возлагать на этого автора, чья непоследовательность очевидна сама по себе. Поэтому я хочу лишь предупредить тех, кто будет читать его историю, чтобы они судили не по названию книги, а по тому, что в ней содержится, ибо есть много людей, которые, считая автора больше, чем то, что он пишет, считают себя обязанными верить всему, что он говорит, поскольку он сенатор и [современник142](#)". Полибий также обвиняет его в грубом пристрастии к собственному народу в рассказе о Пунической войне: он не похвалил врагов даже там, где они этого заслуживали, и бесцеремонно усугубил их [недостатки143](#) . В частности, он обвиняет его в неправде в том, что он сообщил о причинах второй битвы с карфагенянами. Фабий утверждал, что жадность Ганнибала, унаследованная им от Асдрубала, и его желание в конечном итоге править своей страной, для чего он считал римскую войну необходимой ступенью, были главными причинами возобновления военных действий, к которым карфагенское правительство было совершенно не готово. По [pg 70] либий спрашивает его, если это правда, почему карфагенский сенат не выдал своего полководца, как требовалось, после взятия Сагунтума; и почему они поддерживали его в течение четырнадцати лет пребывания в Италии частыми поставками денег и огромными [подкреплениями144](#).

Чувства, высказанные Дионисием Галикарнасским по поводу изложения Фабием Пиктором событий первых веков существования Рима, и мнения [Полибия145](#) о событиях, очевидцем которых он был сам, позволяют нам довольно точно оценить степень доверия к его истории в целом. Дионисий, который сам писал о древностях Рима, был компетентен высказать мнение о работах тех, кто предшествовал ему в этом деле; и для общего мнения, которое он принял, было бы скорее благоприятно установить достоверность Фабия. Мы также можем смело полагаться на мнение Полибия о том, как этот старый летописец описывает события той эпохи, в которой он жил, поскольку Полибий не пожалел усилий, чтобы быть тщательно информированным обо всем, что могло бы сделать его собственный рассказ о них полным и безупречным.

Мнение, которое естественным образом должно сложиться из настроений этих двух выдающихся историков, скорее подтверждается теми немногими и несвязанными фрагментами, которые остались от "Анналов" Фабия Пиктора, поскольку они демонстрируют дух легкомыслия и доверчивости, совершенно недостойный историка великой республики. В одном отрывке рассказывается о человеке, который видел сороку; в другом - о человеке, которому ласточка принесла послание; в третьем - о партии *loup garous*, которые после превращения в волков восстановили свои собственные фигуры и, более того, получили

обратно свою брошенную одежду, если они в течение девяти лет воздерживались от поедания человеческой плоти!

[pg 71]

Таковы были заслуги самого раннего летописца Рима, которого все последующие историки государства копировали в той мере, в какой он продвигался вперед, или, по крайней мере, негласно следовали ему как своему авторитету и проводнику фактов и хронологии. К сожалению, его характер сенатора и очевидца многих событий, о которых он писал, придал его работе печать подлинности, которой она по своей сути не заслуживала. Его преемники, вместо того, чтобы потрудиться над устранением трудностей, с которыми была сопряжена история прежних веков и которые привели бы к долгим и трудоемким дискуссиям, предпочитали полагаться на авторитет Фабия. Они переписывали его древние времена, не обращая даже к тем немногим памятникам, которые сохранились, а затем довольствовались добавлением событий, произошедших после того периода, который охватывала его история. Так, Дионисий [Галикарнасский](#)<sup>146</sup> сообщает нам, что Цинций, Катон Цензор, Кальпурний Пизон и большинство других историков, сменивших его, безоговорочно приняли рассказ Фабия о рождении и воспитании Ромула; и он добавляет множество ярких примеров того, что они не проявили должной проницательности, следуя за ним в тех вопросах, где, проведя небольшое исследование, они могли бы обнаружить, насколько вопиюще он ошибался. Даже сам Ливий признает, что его рассказ о второй Пунической войне был основан главным образом на сведениях Фабия [Пиктора](#)<sup>147</sup>.

Этого древнего и сомнительного летописца сменили Скрибоний Либо и Кальпурний Пизон. Либо служил под началом сира Гальбы в Испании, а по возвращении в Рим подверг своего командира обвинению в предательстве по отношению к туземцам этой провинции. Пизон был консулом вместе с Муцием Сцеволой в 620 году, когда был убит Тиб Гракх. Как и Фабий, он написал "Анналы Рима" с самого начала существования государства, которые Цицерон считает *exiliter scripti*<sup>148</sup>: но хотя его стиль был нескладным, [Плиний](#) называет его глубоким писателем, *gravis auctor*<sup>149</sup>; а Ау. Геллий говорит, что в некоторых частях его работ есть приятная простота - краткость, которая не нравилась Цицерону, казалась ему *simplicissima suavis et rei et orationis*<sup>150</sup>. Он рассказывает анекдот о Ромуле, который, находясь за ужином, выпил мало вина, поскольку на следующий день должен был заняться важными делами. Один из гостей заметил, "что если бы все люди поступали так же, как он, то вино было бы дешевым." - "Нет, - ответил Ромул, - я [pg 72] пил столько, сколько хотел, и вино было бы дороже, чем сейчас, если бы все поступали так же". Этот летописец впервые предложил Варро знаменитую деривацию слова Италия, которое он вывел от *Vitulus*. Его также часто цитируют Плутарх и Дионисий [Галикарнасский](#)<sup>151</sup>. Нибур считает, что из всех римских анналистов именно ему принадлежит главная заслуга в том, что он ввел в историю предания древних героических [баллад](#)<sup>152</sup>.

Примерно в одно время с Пизоном жили два историка, которых звали Кай Фанний, и они были почти родственниками друг другу. Один из них был зятем Лелия и служил под началом младшего Сципиона при окончательном разрушении Карфагена. Цицерон отзывался о нем положительно, хотя его стиль был несколько [резковат](#)<sup>153</sup>; но главная его похвала заключается в том, что Саллюст, упоминая латинских историков, хотя и отдает Катону пальму первенства за краткость, присуждает ее Фаннию за точность [фактов](#)<sup>154</sup>. Херен также упоминает, что он был авторитетом, которому в основном следовал Плутарх в своей жизни [Грахов](#)<sup>155</sup>.

Целий Антипатр был современником Гракхов и учителем Луция Красса, знаменитого оратора, и других выдающихся людей того времени. От Валерия Максима мы узнаем, что он был авторитетом для истории о том, как тень Тиберия Гракха явилась во сне его брату Каю, чтобы предупредить его, что его постигнет та же участь, что и его [самого156](#); историк свидетельствует, что он слышал об этом видении от многих людей при жизни Кая Гракха. Главной темой истории Антипатра, посвященной Лелию, были события, произошедшие во время второй Пунической войны. Цицерон говорит, что для своего возраста он был *Scriptor luculentus*[157](#); что он значительно возвысился над своими предшественниками и придал истории более возвышенный тон; но он, кажется, считает, что самая высокая [pg 73] похвала, на которую он имел право, это то, что он превзошел тех, кто ему предшествовал, поскольку он все еще не обладал ни красноречием, ни образованностью, и его стиль был еще неотшлифованным. Валерий Максим, однако, называет его подлинным писателем (*certus auctor*[158](#)), а император Адриан считал его выше Саллюста, в соответствии с тем чернотенным вкусом, который заставил его предпочесть Катона Цензора Цицерону, а Энния - [Вергилию159](#).

Семпроний Аселлий служил военным трибуном при младшем Сципионе Африканском во время Нумантийской [войны160](#), которая началась в 614 году и закончилась в 621 году разрушением этого города. Он написал историю кампаний, в которых он сражался под началом Сципиона, в Испании, по крайней мере, в 40 книгах, поскольку 40-я цитируется Харисием. Однако его труд был написан лишь спустя значительное время после того, как произошли описанные им события: То, что он писал после Антипатра, подтверждается Цицероном, который говорит, что "на смену Клию Антипатру пришел Аселлий, который не подражал его усовершенствованиям, но впал в тупость и неумелость, свойственную самым ранним [историкам161](#)". Это вовсе не похоже на мнение самого Аселлиона, поскольку, судя по отрывку, извлеченному Аулу Геллием из первой книги его "Анналов", он, похоже, считал себя бесспорным отцом философской [истории162](#).

Квинт Лутаций Катул, более известный как искусный оратор, чем историк, был консулом вместе с Марием в 651 году и разделил с ним его выдающийся триумф над кимврийцами. Хотя эти старые коллеги когда-то были объединены самой тесной дружбой, они поссорились во время гражданской войны с Силлой; и Катул, как говорят, чтобы избежать эmissсаров, посланных неумолимым Марием, чтобы предать его смерти, закрылся в недавно оштукатуренной комнате и, разведя огонь, задохнулся от ядовитых испарений. Он написал историю своего консульства и различных государственных дел, в которых он участвовал, в частности, войны с кимврийцами. [Цицерон163](#), который так невыгодно отзывался о стиле старых анналистов, признает, что Катул писал на очень чистой латыни, и что его язык имел некоторое сходство со сладостью Ксенофонта.

Q. Клавдий Квадригарий составил "Анналы Рима" в двадцати четырех книгах, которые, хотя сейчас почти полностью утрачены, существовали еще в конце XII века; на них ссылается Иоанн Солсберийский в своей книге *De Nugis Curialibus*. Некоторые отрывки, однако, все еще сохранились, [pg 74] особенно рассказ о вызове гигантского галла, украшенного цепью, всей римской армии, и его битве с Титом Манлием, впоследствии прозванным Торкватом, из-за этой цепи, которую он отобрал у своего противника. "Кто был этот противник, - говорит Ау. Геллий, - рассказывает Клавдий Клавдий, - о том, какой он был великий и грозный, какой дерзкий вызов бросил и в какой битве они сражались, Клавдий Клавдий рассказал с большой чистотой и изяществом и в простой, ничем не приукрашенной сладости древнего [языка164](#)".

Из этих же "Анналов" сохранилась история о том, как консул К. Фабий Максим заставил своего отца, который в то время был проконсулом, сойти с коня, когда тот вышел ему навстречу. У нас также есть письмо римских консулов Фабриция и К. Эмилия к Пирру, в котором они сообщают ему о предательстве его уверенного в себе Никия, который предложил римлянам за вознаграждение сбежать со своим хозяином. Оно заслуживает цитирования как прекрасный пример античного достоинства и простоты: "Nos, pro tuis injuriis, continuo animo, strenue commoti, inimiciter tecum bellare studemus. Sed communis exempli et fidei ergo visum est, uti te salvum velimus; ut esset quem armis vincere possimus. Ad nos venit Nicias familiaris tuus, qui sibi pretium a nobis peteret, si te clam interfecisset: Id nos negavimus velle; neve ob eam rem quidquam commodi expectaret: Et simul visum est, ut te certiore faceremus, nequid ejusmodi, si accidisset, nostro consilio putares factum: et, quid nobis non placet, pretio, aut premio, aut dolis pugnare." "Анналы Квадригария", должно быть, по крайней мере, довели историю до гражданских войн Мария и Силлы, поскольку в девятнадцатой книге автор подробно описывает обстоятельства защиты Пирея от Силлы Архелаем, префектом Митридата. Что касается стиля этих анналов, то Аурус Геллий сообщает, что они были написаны в разговорной манере<sup>165</sup>.

Квинт Валерий Антиас также оставил "Анналы", которые, должно быть, представляли собой огромный труд, поскольку Присциан цитирует семьдесят четвертую книгу. Они начинаются с основания города, но на их точность нельзя полагаться, поскольку автор был склонен к преувеличениям. Ливий, упоминая, со слов Антиаса, о победе, одержанной проконсулом К. Минуцием, добавляет, говоря о количестве убитых со стороны врага: "Этому автору можно верить мало, так как никто никогда не был более несдержан в таких преувеличениях"; а Аурус Геллий упоминает обстоятельство, которое он утверждал, вопреки записям трибунов и [pg 75] авторов древних [Анналов](#)<sup>166</sup>. Эта история также, похоже, была напичкана самыми абсурдными и суеверными баснями. Рассказывается нелепая история о том, как Нума получил гром от Юпитера; также рассказывается о возгорании озера Фрасимен перед поражением римского консула и о пламени, которое играло вокруг головы Сервия Туллия в его детстве. Из его слов также следует, что у римлян были судебные процессы, столь же ужасные, как и те, что позорят наших ведьм. К. Невий, прежде чем отправиться в Сардинию, провел по городам Италии вопросы о заклинаниях и приговорил к смерти, по-видимому, без особого расследования, не менее двух тысяч человек. В другом месте этот летописец опровергает известную историю о непостоянстве Сципиона и утверждает, что дама, которую он, как принято говорить, вернул своему любовнику, была "in deliciis amoribusque usurpata"<sup>167</sup>. Его мнение о моральном облике Сципиона, похоже, основано на некоторых сатирических стихах Невия, посвященных низкой интриге, в которой он был уличен в юности. Но какими бы ни были его частные увлечения, из этого не следует, что он был неспособен проявить благородство и целомудрие в присутствии своей армии и под пристальным вниманием двух великих соперничающих народов.

Лициний Мацер, отец Лицина. Кальв, выдающийся поэт и оратор, о котором мы уже упоминали<sup>168</sup>, был автором "Анналов" под названием Libri Rerum Romanarum. В них он часто цитирует Libri Lintei. Его считали не слишком беспристрастным историком, и, в частности, Ливий обвиняет его в том, что он придумывает истории, чтобы придать блеск своей собственной семье.

Л. Корнелий Сисенна был другом Мацера, ровесником Антиаса и Квадригария, но он намного превосходил своих современников, как и предшественников, в искусстве исторического повествования. Он происходил из той же семьи, что и диктатор Силла, и вел свой род от того Сисенны, который был претором в 570 году. В молодости он занимался ораторским

искусством, и Цицерон характеризует его как человека образованного и остроумного, но не отличавшегося большой промышленностью и знаниями в [делах](#)<sup>169</sup>. В более зрелом возрасте он был претором Ахайи и другом Аттика. Воссииус говорит, что его история началась после взятия Рима галлами и закончилась войнами Мария и Силлы. Не исключено, что он мог дать некоторый очерк римских дел с момента сожжения города галлами, но очевидно, что он [pg 76] слегка коснулся этих ранних частей истории, поскольку, хотя его труд состоял из двадцати, или, по мнению других, из двадцати двух книг, из фрагмента второй, который сохранился, следует, что он продвинулся в своем повествовании вплоть до Социальной войны, которая разразилась в 663 году. Поэтому, как я подозреваю, большая часть была посвящена истории гражданских войн Мария; и действительно, Веллеус Патеркул называет его работу *Opus Belli Civilis Sullani*<sup>170</sup>. Большой недостаток его истории заключался, как говорят, в том, что она не была написана с достаточной политической свободой, по крайней мере, в отношении характера и поведения Силлы, о чем сожалеет Саллюст в отрывке, содержащем многочисленные свидетельства о заслугах Сисенны в других отношениях: "L. Sisenna," говорит он, "optume et diligentissime omnium, qui eas res dixere persecutus, parum mihi libero ore locutus [videtur](#)<sup>171</sup>." Цицерон, признавая свое превосходство над предшественниками, добавляет, что он был далек от [совершенства](#)<sup>172</sup>, и жалуется, что в его "Анналах" есть что-то бессодержательное, как будто он не изучал никого из греческих историков, кроме [Клитарха](#)<sup>173</sup>. Я процитировал эти мнения, поскольку теперь мы должны полностью довериться чувствам других людей при вынесении суждения о достоинствах Сисенны; ведь хотя сохранившиеся фрагменты его истории более многочисленны, чем у любого другого старого латинского анналиста, их около 150, они также короче и более несвязанны. Действительно, едва ли найдется два предложения, соединенных вместе.

Итак, большой недостаток, вменяемый в вину перечисленному выше классу летописцев, заключается в скудости их изложений, лишенных всех украшений стиля, всех философских наблюдений над причинами и последствиями действий и всех характерных картин самих действующих лиц. То, что они часто извращали правду истории, чтобы возвеличить имя своей страны за счет ее врагов, - недостаток, общий для многих национальных историков, то, что они иногда возвышали одну политическую фракцию или вождя, чтобы обесценить другую, было почти неизбежно в условиях анархии и гражданских разногласий Рима, то, что они были крайне легковжны в своих отношениях к предзнаменованиям и чудесам, - недостаток, от которого не были избавлены их великие преемники: Легковерие Ливия хорошо известно. Даже философствующий Тацит, кажется, отдает должное тем предвестиям, которые мрачно возвещали судьбу людей и империй; а Юлий Обсекенс, серьезный писатель в самый просвещенный век Рима, собрал в одном [pg 77] труде все предвестия, замеченные от его основания до эпохи Августа.

Период расцвета древних анналистов также породил несколько биографических трудов; и эти труды, будучи житиями выдающихся государственных деятелей, могут быть причислены к числу историй.

Луций Эмилий Скавр, родившийся в 591 году и умерший в 666 году, написал мемуары о своей жизни, которые, по словам Тацита, были признаны верными и беспристрастными. К сожалению, они утрачены, но их содержание можно предположить по известным событиям из жизни Скавра. Они охватывают очень насыщенный событиями период и написаны без каких-либо грубых нарушений правды. От Цицерона мы узнаем, что эти мемуары, как бы полезны и поучительны они ни были, мало читались даже в его времена, хотя его современники внимательно изучали "Киропедии"; труд, продолжает он, несомненно,

достаточно изящен, но не так связан с нашими делами, и ни в каком отношении не может быть предпочтен заслугам [Скавра174](#).

Рутилий Руф, который был консулом в 649 году, также написал мемуары о своей жизни. Он был человеком совсем иного склада, чем Скавр, отличался безупречной честностью во всех сферах своего поведения и, как сообщает нам Цицерон, обладал почти святостью в поведении. Все это не спасло его от несправедливого изгнания, к которому он был приговорен и которое он спокойно провел в Смирне. Биографические мемуары утрачены, и мы знаем о его заслугах только по отзывам [Ливия175](#), [Плутарха176](#), Веллея [Патеркула177](#) и Валерия [Максима178](#). Поскольку автор служил под началом Сципиона в Испании, под началом Сцеволы в Азии и под началом Метелла в кампании против Югурты, об утрате этого труда следует сильно сожалеть.

Но отсутствие мемуаров Силлы о его собственной жизни и делах, в которых он сам принимал участие, вызывает более глубокое сожаление, чем утрата мемуаров Скавра или Рутилия Руфа. Эти мемуары должны были быть посвящены Лукуллу с условием, что он приведет их в порядок и [исправит179](#). Силла работал над ними вечером перед смертью и закончил их рассказом о том, что накануне [pg 78] ночи он увидел во сне одного из своих детей, умершего незадолго до этого, который, протянув руку, показал ему его мать Метеллу и увещевал его немедленно оставить заботы жизни и поспешить насладиться покоем вместе с ними на лоне вечного отдыха. "Таким образом, - добавляет автор, который не считал ничего столь определенным, как то, что было явлено ему во сне, - я заканчиваю свои дни, как было предсказано мне халдеями, которые объявили, что я должен преодолеть зависть своей славой и иметь удачу пасть в полном расцвете своего [процветания180](#)". Эти воспоминания Эпикада, вольноотпущенник Силлы, послал Лукуллу, чтобы тот придал им законченность. Если бы они были сохранены, то пролили бы свет на самые важные дела римской истории, поскольку исходили от человека, который, должно быть, был лучше всех осведомлен о них. Плутарх цитирует их как авторитет для многих любопытных фактов, например, что в великой битве, в которой было отражено вторжение кимвров, главная казнь была совершена в том квартале, где находился Силла; основное тело под командованием Мария было введено в заблуждение облаком пыли и в результате долгое время блуждало по окрестностям, не находя [врага181](#). Плутарх также упоминает, что в этих комментариях автор опроверг бытующую версию о том, что во время беспорядков в начале гражданских войн с Марием он укрылся в доме своего соперника, который, как сообщалось, приютил и уволок его в безопасное место. Мемуары Силлы, помимо их важности для истории событий, должны были представлять большой интерес как развитие, в некоторой степени, самого любопытного персонажа в римской истории. "С потерей его "Мемуаров", - пишет Блэкуэлл в своем обычном раздутом стиле, - навсегда исчезла самая сильная тяга человеческих страстей, самые высокие колеса фортуны и броски [власти182](#)". Характер Сезара, хотя и более великого, был менее непонятен, чем характер Силлы; а ум Августа, хотя и непостижимый для его современников, донесся до потомков; но трудно проанализировать нрав, который вдохновлял непоследовательное поведение Силлы. Утомленный властью, кровью и местью, он, кажется, отступил от того, чего жаждал больше всего, словно пресытившись; но ни это отступление, ни старость не могли успокоить его сердце; ни болезнь, ни приближение смерти, ни воспоминания о прошлой жизни не могли нарушить его спокойствия. Ни одна часть его жизни не была более странной, чем ее окончание; и ничто не может быть более [pg 79] необычным, чем то, что он, который в день своей кончины по легкомыслию задушил в своем присутствии провинциального судью, должен был накануне вечером наслаждаться столь возвышенным и нежным сном. Вероятно, "Мемуары" были хорошо написаны с точки зрения стиля, поскольку Силла любил искусства и науки и даже был человеком

образованным, хотя Сезар, как сообщается, сказал, услышав восхваление его литературных способностей, что он, должно быть, был всего лишь безразличным ученым, оставившим диктатуру.

Характерной чертой большинства летописей и мемуаров, о которых я до сих пор упоминал, была предельная краткость. Удовлетворившись сбором массы фактов, их авторы приняли стиль, который в поздние века Рима стал пресловуто скудным и скупым. Цицерон относит Клавдия Квадригария и Аселлиона к тем же порицателям, что и их предшественников, Фабия Пиктора, Пизона и Фанния. Но, несмотря на то, что, возможно, они столь же бесплодны по стилю, анналистам времен Мария и Силлы можно доверять гораздо больше, чем летописцам времен второй Пунической войны.

Некоторые из этих более современных летописцев написали "Историю Рима" с самого начала существования государства; другие взялись за нее после сожжения Рима галлами или ограничились событиями, произошедшими в их собственное время. Их рассказы обо всем, что происходило до вторжения галлов, действительно были столь же малодостоверны, как и сообщения Фабия Пиктора, поскольку они беспрекословно следовали этому писателю и не проводили новых исследований в застывших памятниках своей страны. Но их рассказы о том, что произошло после восстановления Рима, не подвержены таким же подозрениям и неуверенности; общественные памятники и записи с этого периода сохранились должным образом и в большем изобилии, чем у любого другого народа в мировой истории. Римские авторы обладали всеми вспомогательными материалами, которые помогают в составлении исторических трудов: постановлениями сената, в основном по государственным делам, лигами с дружественными народами, условиями сдачи городов, таблицами триумфов и договорами, которые бережно хранились в сокровищнице или в храмах. Велись даже списки сенаторов и рыцарей, а также численность легионов и кораблей, задействованных в каждой войне; но публичные депеши, адресованные сенату командующими армиями, образцы которых мы имеем в "Посланиях" Цицерона, были документами, которые, должно быть, больше всего способствовали составлению истории. Вероятно, они были точными, поскольку сенат и народ в целом слишком хорошо разбирались в военных делах, чтобы легко впасть в заблуждение, и легаты часто получали от них [pg 80] для выяснения истинности отношений. Об огромном количестве таких документов свидетельствует тот факт, что Веспасиан, восстанавливая Капитолий, нашел в его руинах не менее 3000 медных табличек, содержащих постановления сената и народа, касающиеся лиг, ассоциаций и иммунитетов, которые предоставлялись кому бы то ни было с раннего периода существования государства и которые Суетоний справедливо назвал *instrumentum imperii pulcherrimum ac vetustissimum*<sup>183</sup>. Соответственно, когда поздние анналисты стали писать о делах своего времени, они нашли исторические документы более полные и удовлетворительные, чем документы почти любой другой страны. Но в дополнение к этим богатым источникам информации следует отметить, что сами летописцы часто были лично знакомы с фактами, о которых они рассказывали. Правда, историки, современники событий, которые они записывают, не всегда обладают лучшей квалификацией, чтобы представить их в поучительном свете, поскольку, хотя они и могут понять, как они возникают из предыдущих происшествий, они не могут предвидеть их влияние на будущие события. Важность одних вещей переоценивается, а других недооценивается, пока время, которое оказывает на события такое же влияние, как расстояние на внешние объекты, не затушевывает все мелкое, в то время как очертания огромного становятся более четкими и ощутимыми. Но хотя разум современного историка не может охватить всю драму, которая разворачивается перед ним, он, несомненно, лучше всех осведомлен об отдельных происшествиях каждой отдельной сцены и акта и наиболее приспособлен для детализации тех деталей, которые

потомки смогут объединить в единую массу, демонстрирующую одним взглядом величие и интерес целого. Из предыдущих страниц стало ясно, что все римские летописцы, начиная со времен Фабия Пиктора и заканчивая Силлой, были консулами и преторами, командующими армиями или главами политических партий, и, следовательно, главными участниками событий, которые они описывали. В Греции раньше, чем в Риме, произошло разделение между активной и умозрительной жизнью. Многие греческие историки принимали мало участия в тех событиях, память о которых они передали. Они писали на расстоянии, так сказать, от места событий, поэтому смотрели на войны и раздоры своих соотечественников непредвзятым взглядом иностранца или потомков. Это, естественно, распространяет спокойный философский дух на страницы историка и дает широкое поле для догадок о мотивах и причинах действий. Римские анналисты, с другой стороны, писали из совершенного знания и памяти; они были людьми, которые планировали [pg 81] и выполняли каждый проект; они сражались в битвах, которые они описывали, или возбуждали войну, перипетии которой они записывали. Поэтому факты, которые раскрывали их страницы, могли нести на себе печать истины, а анализ мотивов и причин поступков мог быть абсолютным откровением. Однако в этих, наиболее благоприятных для исторического сочинения обстоятельствах, бессознательно закрадывались предрассудки, от которых греческие историки были свободны: Такие писатели, как Силла или Эмилий Скавр, имели много поводов для оправдания и сильное искушение многое опустить по злему [умыслу](#)<sup>184</sup>.

Не всегда достаточно быть свидетелем великого события, чтобы хорошо его описать и с той полнотой, которая превращает его в урок законодательства, этики или политики. До сих пор римские анналы были в основном сухим реестром фактов, тем, что лорд Болингброк называет "Nuntia Vetustatis", или "Вестником древности". История, правильно названная так, и если рассматривать ее в противоположность таким произведениям, представляет собой полный ряд операций, сопровождаемых дедукцией их непосредственных и отдаленных причин, а также последствий, к которым они привели, - все они связаны в полном объеме, с такими подробностями обстоятельств, которые переносят нас в то самое время, делают нас участниками советов и актерами, как это было, на всей сцене событий. Только тогда история становится *magistra vitæ*; и в этом смысле

## САЛЛЮСТИЙ

считается первым среди римлян, кто заслужил звание историка. Этот знаменитый писатель родился в Амитернуме, на территории сабинян, в 668 году. Образование он получил в Риме, а в ранней юности, судя по всему, хотел посвятить себя литературному труду. Но жителю столицы было нелегко избежать заразительного желания военных или политических отличий. В возрасте двадцати семи лет он получил должность квестора, которая давала ему право на место в сенате, а примерно через шесть лет после этого был избран народным трибуном. Находясь на этом посту, он был привязан к судьбе Цезаря и вместе с одним из своих коллег по трибунату вел судебное преследование Милона за убийство Хлодия. В 704 году он был исключен из сената под предлогом аморального поведения, но, скорее всего, [pg 82] от насилия патрицианской партии, против которой он выступал. Аулус Геллий, опираясь на трактат Варро "Pius aut de Pace", сообщает нам, что он попал в немилость из-за того, что был застигнут врасплох во время интриги с Фаустой, женой Милона, мужем, который заставил его бичевать своих [рабов](#)<sup>185</sup>. Однако современные критики сомневаются в том, что именно историк Саллюст был таким образом уличен и наказан, или его племянник, Крисп

Саллюстий, которому Гораций адресовал вторую оду второй книги. Действительно, маловероятно, чтобы в столь развращенный век любовная связь с женщиной с брошенным характером Фаусты стала настоящей причиной его изгнания из сената. Претерпев это бесчестье, которое на данный момент лишило его всех надежд на преференции, он покинул Рим и присоединился к своему покровителю, Цезарю, в Галлии. Он продолжал следить за судьбой этого полководца и, в частности, принимал участие в экспедиции в Африку, где объединились разрозненные остатки партии Помпея. Окончательно покорив этот регион, Саллюст был оставлен Цезарем в качестве претора Нумидии; примерно в то же время он женился на Теренции, разведенной жене Цицерона. Он пробыл у власти всего год, но за это время обогатился, опустошив провинцию. По возвращении в Рим он был обвинен нумидийцами, которых грабил, но безнаказанно бежал, воспользовавшись покровительством Цезаря, и получил разрешение спокойно предаться роскошному отдыху со своим незаконно нажитым богатством. Он выбрал для своего любимого убежища виллу в Тибуре, которая принадлежала Цезарю; кроме того, он построил великолепный дворец в пригороде Рима, окруженный восхитительными площадками для прогулок, которые впоследствии были хорошо известны и прославлены под названием "Сады Саллюстия". Один фасад этого великолепного особняка выходил на улицу, где он построил просторную рыночную площадь, на которой в изобилии продавались все предметы роскоши. Другой фасад выходил на сады, которые примыкали к садам Лукулла и занимали долину между оконечностью Квиринальского и Пинциевого холмов<sup>186</sup>. Во времена Саллюстия они находились сразу за стенами Рима, но были включены в новую стену Аврелиана. В них, кажется, были собраны все красоты природы и все украшения искусства, способные восхитить или удовлетворить чувства. Здесь можно было увидеть возвышенные аллеи, открытые партеры и прохладные портики. Среди кустарников и цветов всех оттенков и запахов, перемежаемых статуями самой изысканной работы, чистые потоки [pg 83] воды сохраняли зелень земли и температуру воздуха; и в то время как, с одной стороны, далекая перспектива привлекала взгляд, с другой стороны, близкое уединение приглашало к отдыху или медитации<sup>187</sup>. Эти сады включали в себя самые великолепные бани, храм Венеры и цирк, который Саллюстий отремонтировал и украсил. Обладая такими достопримечательностями, дворец и сады Саллюстия после смерти их первоначального владельца стали резиденцией сменявших друг друга императоров. Август выбрал их в качестве места для своих самых роскошных развлечений. Вкус Веспасиана предпочел их дворцу Цезарей. Даже добродетельный Нерва и суровый Аврелиан были настолько привлечены их красотой, что, находясь в Риме, они были их постоянным пристанищем. "Дворец, - пишет Юстас, - был сожжен огнем в ту роковую ночь, когда Аларих вошел в город. Храм необыкновенной красоты, посвященный Венере, был обнаружен примерно в середине XVI века при разрытии сада и разрушен для продажи материалов: От цирка мало что осталось, только куски стен, которые лишь указывают на его местоположение; а статуи и мрамор, которые находят время от времени, продолжают служить доказательством его бывшего великолепия<sup>188</sup>". На том же месте было найдено множество статуй изысканной работы, но, возможно, они были поставлены здесь благодаря великолепию императорских оккупантов, а не первоначального владельца.

В своем городском саду, или вилле в Тибуре, Саллюст провел последние дни своей жизни, деля время между литературными занятиями и обществом своих друзей, среди которых он числил Лукулла, Мессалу и Корнелия Непоса.

Если у него были такие друзья и занятия, кажется крайне маловероятным, что он предавался чрезмерному распутству, которое ему приписывают, ошибочно полагая, что он был тем Саллюстом, о котором упоминает Гораций в первой книге своих "Сатир"<sup>189</sup>. Вопрос о

характере Саллюстия вызвал определенный интерес и интерес исследователей, и по нему были сформированы самые разные мнения. То, что он был человеком свободных нравов, очевидно; нельзя отрицать и того, что он хищнически грабил свою провинцию, как и другие римские правители того времени. Но сомнительно, чтобы он был таким чудовищем беззакония, каким его иногда представляют. Первое постоянное внимание современников к его персоне было крайне неудачным. Решительный враг Помпея и его фракции, он сказал об этом прославленном вожде в своей общей истории, что тот был человеком "oris probi, animo [pg 84] inverecundo". Ленеи, вольноотпущенник Помпея, отомстил за своего господина, самым яростным образом понося своего [врага190](#), в произведении, которое скорее следует рассматривать как яростную сатиру, чем как исторический документ. О несправедливости, которую он допустил по отношению к жизни историка, мы можем в некоторой степени судить по тому, что он сказал о нем как об авторе. Он называл его, как мы узнаем от Суэтония, "Nebulonem, vitâ scriptisque monstrosum: præterea, priscorum Catonisque ineruditissimum furem." Жизнь Саллюста, написанная Асконием Педианом в эпоху Августа, которая в наши дни могла бы послужить исправлением или смягчением неблагоприятного впечатления, произведенного этим вредным пасквилем, к сожалению, погибла; А следующее произведение на эту тему, сохранившееся до наших дней, - это риторическая декламация против характера Саллюста, которая была представлена миру от имени Цицерона, но написана лишь спустя долгое время после смерти этого оратора, и теперь критики обычно приписывают ее ритору времен правления Клавдия по имени Порций Латро. Клевета, придуманная или преувеличенная Ленеем и распространяемая в схоластической теме Порция Латро, была принята Ле Клерком, профессором иврита в Амстердаме, и профессором Мейснером из [Праги191](#) в их соответствующих изложениях жизни Саллюста. Его характер получил больше справедливости благодаря предисловию и заметкам де Бросса, его французского переводчика, и исследованиям Виланда в Германии.

Из того, что было сказано выше о Фабии Пикторе и его ближайших преемниках, следует, что искусство исторической композиции в Риме находилось в самом низком состоянии, и что у Саллюста не было образца для подражания среди писателей своей страны. Поэтому он, естественно, обратился к произведениям греческих историков. Родная пышность и болтливая фамильярность Геродота не соответствовали его вкусу, а простота, как у Ксенофонта, является наиболее труднодостижимой из всех вещей: поэтому он в основном подражал Фукидиду и пытался перенести на свой язык энергичность и краткость греческого историка; но строгое подражание, с которым он следовал ему, намного уменьшило эффект его собственного оригинального гения.

Первой книгой Саллюста был "Заговор Катилины". Однако существуют некоторые сомнения относительно точного периода ее написания. По общему мнению, она была написана сразу после того, как автор покинул пост народного трибуна, то есть в 703 году: а сочинение Югуртинской войны, как и общей истории, Ле Клерк определил [pg 85] между этим периодом и его назначением на пост претора Нумидии. Но другие полагают, что все они были написаны в промежутке между его возвращением из Нумидии в 708 году и смертью, которая произошла в 718 году, за четыре года до битвы при Актиуме. Сторонники этой последней идеи утверждают, что до управления Нумидией он был слишком занят политическими волнениями, чтобы иметь досуг для таких важных сочинений, что во вступлении к "Заговору Катилины" он говорит о себе как об отстраненном от государственных дел и опровергает обвинения в сладострастной жизни, которые относились только к этому периоду; И что, проводя сравнение между Сезаром и Катоном, он говорит о существовании и соперничестве этих знаменитых противников как о вещах, которые уже прошли: "Sed mea memoria, ingenti virtute, diversis moribus, fuere viri duo, Marcus Cato et Caius Cæsar." На этом отрывке Гиббон, в

частности, утверждает, что такой льстец и партийный инструмент, как Саллюст, не стал бы при жизни Сезара ставить Катона на одну ступень с ним в сравнении, установленном между ними. Де Бросс согласен с Ле Клерком в том, что "Заговор Катилина", по крайней мере, должен был быть написан сразу после 703 года, поскольку Саллюст не стал бы после свадьбы с Теренцией вспоминать о позоре ее сестры, ведь она, похоже, была той самой девственницей, об интриге которой с Катилином пишет наш историк. Но как бы ни относиться к "Заговору Катилина", совершенно ясно, что "Югуртинская война" была написана после пребывания автора в Нумидии, которая, очевидно, подсказала ему эту тему и дала возможность собрать информацию, необходимую для завершения работы.

Выбранные Саллюстием темы составляют две наиболее важные и заметные темы в истории Рима. Периоды, которые он описывает, действительно были болезненными, но интересными. Полные заговоров, узурпаций и гражданских войн, они в основном демонстрируют взаимную ярость и беззаконие озлобленных фракций, яростную борьбу между патрициями и плебеями, открытую коррупцию в сенате, продажность в судебных инстанциях и грабежи в провинциях. Такое положение вещей, столь убедительно нарисованное Саллюстом, породило заговор и даже в какой-то степени сформировало характер Катилина: Но именно непомерные долги частных лиц, нрав солдат Силлы и отсутствие Помпея с его армией дали возможность и даже перспективу успеха заговору, который затронул жизненно важное существование содружества и который, хотя и был задержан в своем начале, стал одним из тех сильных потрясений, которые ускоряют падение государства. [pg 86] История Югуртинской войны, если и не столь важная и угрожающая жизненным интересам и непосредственной безопасности Рима, демонстрирует более обширное поле действия и больший театр военных действий. Ни один князь, за исключением Митридата, не давал столько работы оружию римлян. Ни в одной из войн, в которых они когда-либо участвовали, даже во второй карфагенской, народ не был более унылым, и ни в одной он не был более воодушевлен конечным успехом. Ничто не может быть более интересным, чем рассказ о перипетиях этого поединка. Бесконечные ресурсы и побеги на волосок от гибели Югурты, его легкомыслие, его переменчивый неверный нрав, контрастирующие с упорством и благоразумием римского полководца Метелла, - все это описано в самой яркой и живописной манере.

Саллюсту исполнилось двадцать два года, когда разразился заговор Катилина, и он был очевидцем всех событий. Поэтому у него было достаточно возможностей, чтобы точно и правдиво описать ход и окончание заговора. Саллюст, безусловно, заслужил похвалу правдивого историка, и я не знаю, чтобы он был уличен в фальсификации какого-либо факта в сфере его знаний. Действительно, мало найдется исторических сочинений, истинность которых можно доказать на таких доказательствах, как "Заговор Катилина". Факты, подробно изложенные в орациях Цицерона, хотя и отличаются в некоторых деталях, совпадают во всем, что имеет значение, и в значительной степени способствуют иллюстрации и проверке работы историка. Но Саллюст жил слишком близко к тому периоду, о котором рассказывает, и был слишком вовлечен в политические бури того времени, чтобы дать достоверный отчет, не запятнанный враждой или пристрастием; он не мог возвыситься над всеми надеждами, страхами и предрассудками, а потому не мог во всем объеме выполнить обязанности беспристрастного писателя. Современный историк таких бурных времен был бы склонен преувеличивать из-за преклонения или скрывать из-за страха, прививать заповеди не философа, а партизана, и окрашивать факты в соответствии со своей собственной системой патриотизма или дружбы. Покорный последователь Сезара, он был обвинен в недостатке искренности, когда лакировал взгляды своего покровителя; однако я никогда не мог убедить себя в том, что Сезар был глубоко вовлечен в заговор Катилины, или что человек его

благоразумия должен был вступить в союз с такими опрометчивыми сообщниками или последовать за таким отчаянным авантюристом. Но главное возражение, выдвигаемое против беспристрастности Саллюстия, - это слабая и явно неохотная похвала, которой он одаривает Цицерона, который, как теперь признается, был главным действующим лицом в раскрытии и [pg 87] срыве заговора. Хотя он любит демонстрировать свой талант в обрисовке характеров, он не использует его в отношении Цицерона, которого он просто называет "homo egregius et optumus Consul", что было всего лишь холодными аплодисментами тому, кто спас содружество. Правда, в начале истории похвала, хотя и скупая, но все же не остается без внимания. Избрание Цицерона на пост консула справедливо объясняется высоким мнением о его способностях, которое преодолело недостаток его безвестного происхождения. Способ, принятый для того, чтобы переманить к себе одного из сообщников Катилина и устранить своего колеблющегося и недовольного коллегу, - ловкость, проявленная при захвате аллоброгических депутатов с письмами, и неотразимый эффект, произведенный их столкновением с заговорщиками, - приписываются исключительно Цицерону. Именно в завершении этих великих событий историк упускает причитающуюся ему долю аплодисментов и стремится затмить его, постоянно вставляя персонаж Катона, хотя ни одному из свидетелей событий не могло быть неизвестно, что сам Катон и другие сенаторы публично приветствовали консула как отца своей страны и что от его имени было объявлено публичное благодарение богам за то, что он сохранил город от пожара, а граждан - от [резни](#)<sup>192</sup>. Это упущение, которое, возможно, возникло отчасти из-за вражды, а отчасти из-за отвращения к плохо скрываемому тщеславию консула, во все времена считалось главным недостатком и даже пятном в истории заговора катилинов.

Хотя Саллюст не был очевидцем войны с Югуртой, его положение в качестве претора Нумидии, которое и послужило поводом для написания сочинения, благоприятствовало авторитету работы, поскольку давало возможность собирать материалы и получать информацию. Он изучил различные письменные и традиционные источники, касающиеся истории [Африки](#)<sup>193</sup>, в частности документы, хранящиеся в архивах короля Гиёмпсала, которые он перевел для собственного использования и которые оказались особенно полезными для подробного описания континента и жителей Африки. Его обвиняли в том, что в этой истории он проявляет излишнюю пристрастность к характеру Мариуса и ради своего любимого вождя несправедливо рассказывает о резне в [pg 88] Вакке. Но он, как мне кажется, более чем справедливо относится к Метеллу, поскольку представляет войну как почти законченную им до прибытия Мария, хотя на самом деле она была далека от завершения.

Правдивость и верность - главные и, по сути, неотъемлемые обязанности историка. Из всех украшений исторического сочинения его главным украшением является изящный и доходчивый стиль. Как мы уже видели, стиль ранних анналистов был неуклюжим и несладким; но в ходе развития истории стиль стал рассматриваться как вопрос первостепенной важности. Возможно, жаль, что ему придали такое большое значение, поскольку древние историки редко приводили свои авторитеты и считали, что совершенство истории заключается в изящном изложении, а не в точном изложении фактов. Саллюст, очевидно, считал изящный стиль одним из главных достоинств исторического труда. Его собственный стиль, над которым он так много трудился, был тщательно сформирован на основе стиля Фукидида, чья манера письма была в значительной степени оригинальной и до времен Саллюстия присущей только ему. Римлянину замечательно удалось подражать энергичности и краткости греческого историка и привнести в свое сочинение нечто от той достойной строгости, которая отличает работы его великого образца; но когда я говорю, что Саллюст подражал краткости Фукидида, я имею в виду быструю и сжатую манеру, в которой

ведется его повествование, - короче говоря, краткость идеи, а не языка. Ведь Фукидид, хотя и излагает только главную мысль и отбрасывает второстепенное, все же часто использует длинные и затянутые периоды. Саллюст же, напротив, резок и сентиментален, и, как принято считать, довел эту лаконичность до порочных пределов. Использование копулятивов, как для связи предложений друг с другом, так и для объединения частей одного предложения, в значительной степени отвергается. Это упущение создает монотонный эффект и полное отсутствие той текучести и того разнообразия, которые являются главной прелестью исторического периода. Сенека, соответственно, говорит об "Amputatae sententiae, et verba ante expectatum [cadentia](#)<sup>194</sup>", который практика Саллюстия сделала модным. Лорд Монбоддо называет его стиль бессвязным и заявляет, что среди его коротких и однообразных предложений нет ни одного, которое заслуживало бы названия периода; так что, если бы каждое предложение было само по себе прекрасно, в нем не было бы достаточного разнообразия, чтобы составить прекрасное письмо.

[pg 89]

Возможно, отчасти подражая Фукидиду, Саллюст ввел в свою историю ряд слов, которые считались почти устаревшими и были взяты из работ древних авторов Рима, в частности Катона Цензора. Именно по этому поводу он подвергся главным нападкам со стороны Поллиона в его письмах к Планку. Его также обвиняли в противоположном пороке - в придумывании новых слов и введении греческих идиом; но строгость суждений, которая заставляла его подражать древнему и строгому достоинству стиля, заставляла его отказываться от тех блестящих украшений композиции, которые начали заражать римский вкус вследствие растущей популярности риторических школ декламации и более частых сношений с Азией. В целом, в стиле Саллюстия слишком много видимости учебы и недостатка той изящной легкости, которая обычно является следствием искусства, но в которой искусство нигде не обнаруживается. Мнение сэра Дж. Чеке, приведенное Ашамом в его "Школьном учителе", содержит довольно точную оценку достоинств стиля Саллюста. "Сэр Дж. Чеке сказал, что он не может рекомендовать Саллюста в качестве хорошего образца стиля для молодых людей, потому что в его сочинениях больше искусства, чем природы, и больше труда, чем искусства; и в его труде также слишком много труда, как это было, с неосознанной заботой написать лучше, чем он мог - недостаток, присущий очень многим людям. И поэтому он не выражает суть дела живо и естественно обычной речью, как это делает Ксенофонт на греческом языке, но излагает ее искусственно, слишком заученно, как это делает Фукидид в своих орациях. "А как получилось, - спросил я, - что речь Цезаря и Цицерона так естественна и проста, а писания Саллюста так искусственны и темны, если все трое жили в одно время? Цезарь и Цицерон, помимо необыкновенной прерогативы природного красноречия, данной им Богом, были по жизни и повседневными ораторами среди простого народа, и величайшими советниками в сенате; и поэтому они старались говорить так, чтобы самые ничтожные понимали, а самые мудрые допускали, тщательно следуя доброму совету Аристотеля: "Loquendum ut multi; sapiendum ut pauci". Но Саллюст не был таким человеком".

Из всех разделов истории обрисовка характеров - это то, что больше всего подвергает испытанию нрав и беспристрастность писателя, особенно если он был современником изображаемых им личностей и в какой-то степени участвовал в описываемых им сделках. Пять или шесть персонажей, нарисованных Саллюстием, во все века считались шедеврами: Он уловил тонкие оттенки, а также про [pg 90] минальные черты и придал им наиболее живую и уместную окраску. Портреты двух главных действующих лиц его трагических историй убедительно переданы и готовят нас к последующим событиям. Портрет Катилины дает яркое

представление о его уме и личности, его распутном неукротимом духе, безграничных возможностях, неустанном стремлении и властном обращении. Мы видим как бы перед собой смертельную бледность его лица, его жуткий взгляд, неровный беспокойный шаг и рассеянность всего его облика, ярко свидетельствующие о беспокойном ужасе совести. Я думаю, однако, что было бы поучительно и интересно, если бы мы увидели больше жестокостей, совершенных в ранней жизни этим главным заговорщиком. Историк мог бы показать, как он начинал свою карьеру в качестве избранного фаворита Силлы и орудия его чудовищных жестокостей. О других заговорщиках сказано слишком кратко, а их характеры слишком слабо прописаны. Возможно, контуры у всех были одинаковые, но каждого можно было бы выделить с помощью характерных черт. Параллель, проведенная между Катонам и Сезаром, - один из самых знаменитых отрывков в истории заговора. Оба этих прославленных противника предстают перед нами в выгодном свете. Их недостатки отбрасываются в тень, а яркие качества каждого вида, отличавшие их, противопоставляются с целью показать различные достоинства, благодаря которым люди достигают высокого положения.

Вступительный очерк гения и нравов Югурты не менее способный и энергичный, чем характеристика Катилина. Мы видим его во время службы под началом Сципиона, храброго, опытного и предприимчивого, но пропитанного честолюбием, которое, не контролируемое принципами, торопило его в худшие крайности и сделало в конце концов вероломным и жестоким. Самой необычной частью его характера была смесь смелости и нерешительности, которые в нем сочетались; но урок, который мы получаем от него, заключается в страданиях от подозрений и угрызений совести, которые он породил в своем собственном уме своими злодеяниями и которые сделали его таким же жалким на троне или во главе своей армии, как и в темнице, где он закончил свое существование. Портреты других главных героев, участвовавших в Югуртинской войне, также хорошо переданы. В частности, удачно тронут Мариус. Его ненасытное честолюбие искусно замаскировано под маской патриотизма, его скупость и алчность скрыты под маской воинской простоты и твердости; но, хотя из его последующей карьеры мы знаем о лицемерии его притязаний, характер Мария предстает перед нами в более благоприятном свете, чем тот, в котором его можно увидеть при обзоре всей его [pg 91] жизни. Мы видим прямого и галантного солдата, а не того дикаря, чья врожденная жестокость души вот-вот готова была вырваться наружу для уничтожения своих соотечественников. Рисуя портрет Силлы, памятного соперника Мария, историк изображает его также таким, каким он предстал в тот период, а не таким, каким он оказался впоследствии. Мы с удовольствием рассматриваем его как искусного и тонкого полководца, красноречивого в речах и многогранного в средствах, но в нем нет и следа хладнокровного убийцы, тирана, шута и узурпатора.

В целом, Саллюст рисует характеры настолько сильно, что мы почти предугадываем, как поведет себя каждый человек в той ситуации, в которую он попадет. Тацит приписывает все действия людей политике, утонченным, а иногда и воображаемым взглядам; но Саллюст, что более правильно, обнаруживает их главные источники в страстях и склонностях отдельных людей. "Саллюст, - говорит Сент-Эвремон, - придает столько же значения природе, сколько Тацит политике. Главная задача первого - хорошо понять природу людей; дела происходят после природы, в результате действий, мало изученных теми людьми, которых он изучил".

В своем первоначальном виде история сводилась к повествованию; читателю оставляли возможность самому размышлять о поступках или событиях, о которых рассказывается. Историческое искусство, однако, не приносит полного удовлетворения, если эти действия не связаны с их причинами - политическими пружинами или частными страстями, в которых они зародились. Поэтому дело историка - применить выводы политика для объяснения

причин и следствий тех сделок, о которых он рассказывает. Эти сведения автор должен почерпнуть из подлинных памятников или записей, но выведенные из них замечания должны быть плодом его собственной изобретательности. Размышления, которыми Саллюст вводит свое повествование, и те, которые он из него выводит, настолько справедливы и многочисленны, что некоторые считают его отцом философской истории. Однако всегда следует помнить, что подлинным объектом истории являются детали национальных операций, а все, что не составляет часть повествования, является эпизодическим и, следовательно, неуместным, если оно слишком длинное и не вытекает из темы. Так, некоторые из политических и моральных отступлений Саллюста не связаны с темой и не вытекают из повествования. Дискурсивный характер и чрезмерная длина вступлений к его историям вызывают резкое осуждение. Первые четыре раздела, посвященные заговору Катилина, действительно имеют мало отношения к этой теме. С таким же успехом их можно было бы приложить к любой другой истории, а [pg 92] гораздо лучше к моральному или философскому трактату. В самом деле, значительная их часть, рассуждающая о мимолетности богатства и красоты, а также всех подобных привходящих или преходящих ценностей, заимствована из второй оратории Исократ. Возможно, восемь последующих разделов также несоразмерны объему всего произведения; но содержащееся в них предварительное эссе о деградации римских нравов и упадке добродетели не является неподходящим введением к заговору, поскольку именно это разложение нравов породило его и дало ему шанс на успех. Предисловие к "Югуртинской войне" имеет гораздо меньше отношения к предмету, который оно должно было представить. Автор много рассуждает на свои любимые темы о превосходстве умственных способностей над телесными, о красоте добродетели и гениальности. Он противопоставляет жизнь в вялой праздности почетной деятельности и, наконец, рассуждает о задаче историка как о подходящем упражнении для высших способностей ума.

Помимо заговора Катилина и Югуртинской войны, которые сохранились в полном объеме и на основании которых мы должны в основном оценивать заслуги Саллюстия, он был автором гражданской и военной истории республики в пяти книгах под названием "*Historia rerum in Republica Romana Gestarum*". Эта работа, написанная Лукуллом, сыном знаменитого полководца этого имени, была зрелым плодом гения Саллюстия и последней историей, которую он написал. Она включает в себя, собственно говоря, лишь тринадцатилетний период - с момента отказа Силлы от диктатуры до издания Манилийского закона, по которому Помпей был наделен властью, равной той, от которой отказался Силла, и получил, с неограниченной властью на востоке, командование над армией, предназначенной для действий против Митридата. Этот период, хотя и короткий, охватывает некоторые из самых интересных и ярких моментов, которые встречаются в римских анналах. В этот промежуток времени и почти в один и тот же момент на республику напал на востоке самый могущественный и предприимчивый из монархов, с которыми она до сих пор вела войну; на западе - один из самых искусных ее собственных полководцев; а в лоне Италии - ее гладиаторы и рабы. Эта работа также была представлена двумя лекциями: одна дает представление о правительстве и нравах римлян от возникновения их города до начала гражданских войн, другая содержит общий взгляд на разногласия Мария и Силлы; так что всю книгу можно считать связанной с окончанием Югуртинской войны и развязыванием заговора Катилины. Утрата этого [pg 93] ценного произведения вызывает тем большее сожаление, что все написанные отчеты по римской истории за тот интересный период, который она охватывала, неполноценны. Де Бросс, французский переводчик Саллюста, собрал почти 700 фрагментов, относящихся к ней, от схолиастов и грамматиков; но они настолько коротки и не связаны между собой, что служат лишь ориентирами, по которым мы можем предположить, какие темы рассматривались и какие события были записаны.

Единственные части истории, которые сохранились в какой-либо степени целиком, - это четыре оратории и два письма. Помпоний Лэтус обнаружил оратории в одном из манускриптов Ватикана, содержащем собрание речей из римской истории. Первая - это орация, произнесенная против Силлы буйным Марком Эмилием Лепидом, который (как известно), желая по истечении своего года быть назначенным консулом во второй раз, возбудил с этой целью гражданскую войну и стал хозяином значительной части Италии. Его речь, подготовившая эти замыслы, была произнесена уже после того, как Силла отрекся от диктаторства, но предполагалось, что он все еще сохраняет большое влияние в Риме. Соответственно, он рассматривается как все еще тиран государства, а народ призывается полностью сбросить иго и вслед за оратором смело отстаивать свои свободы. Вторая оратория Луция Филиппа - инвектива против изменнической попытки Лепида, призванная пробудить народ от апатии, с которой он наблюдал за действиями, способными закончиться полным подрывом правительства. Третья речь была произнесена трибуном Лицинием: этот демагог стремился угнетать патрицианскую и возвышать трибунскую власть, для чего он попеременно льстил народу и поносил сенат. Ораторская речь Марка Котты, несомненно, прекрасна. Он обратился с ней к народу в период своего консульства, чтобы успокоить его и смягчить недовольство плохим успехом государственных дел, которые, без всякой вины с его стороны, в последнее время во многих отношениях вели к неблагоприятному исходу. Из двух сохранившихся писем одно - от Помпея к сенату, в котором он в очень резких выражениях жалуется на недостаток припасов для армии, которой он командовал в Испании против Сертория; другое притворно адресовано от Митридата к Арсаксу, царю Парфии, и написано, когда дела бывшего монарха шли безуспешно. Тем не менее, он увещевает его с большим красноречием и силой аргументации присоединиться к нему в союзе против римлян: с этой целью он ставит в сильную точку зрения их беспринципную политику и честолубивое желание всеобщей империи - все, что не могло бы, без этого приема воображаемого письма врага, быть так хорошо настояно национальным историком. В завершение он показывает крайнюю опасность, которой подвергнутся парфяне из-за враждебности римлян, если им удастся окончательно подчинить себе Понт и Армению. Единственный другой фрагмент, имеющий хоть какую-то длину, - это описание великолепного развлечения, устроенного для Метелла по его возвращении после годичного отсутствия к управлению Дальней Испанией. Из нескольких других фрагментов следует, что Саллюст по случаю Митридатовой войны ввел географический рассказ о берегах и странах, граничащих с Эвксинским морем, подобно тому, как он вводит топографическое описание Африки в свою историю Югуртинской войны. Эта часть его работы была высоко оценена древними писателями за точность и живость; на нее часто ссылаются, как на высший авторитет, Страбон, Помпоний Мела и другие географы.

Кроме его исторических трудов, существуют два политических сочинения, касающиеся управления государством, в форме писем к Юлию Цезарю, которые обычно, хотя и без достаточных оснований, приписываются перу [Саллюста](#)<sup>195</sup>.

Как Саллюст явно подражал Фукидиду и, по сути, напоминал его, так и

## ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ,

в своих исторических трудах сравнивали с Ксенофонтом, первым писателем мемуаров среди греков. Простота характерна для обоих, но у Ксенофонта больше риторических оборотов и сладости стиля, и он иногда, как мне кажется, немного зануден; в то время как простота

Сезара, с другой стороны, граничит, возможно, с суровостью. Кроме того, Сезар, хотя и часто косвенный, никогда не бывает рассеянным, в то время как Ксенофонт часто пролихорадит, не будучи ни подробным, ни точным. "В латинской работе, - говорит Юнг в своей "Истории Афин", - мы имеем комментарии генерала, наделенного верховным командованием и не испытывавшего беспокойства по поводу поведения или повиновения своей армии, в греческой - дневник офицера в подчиненном звании, хотя и высоко ценимого". Поэтому [pg 95] речи одного полны императорского достоинства, а другого - примирительного искусства аргументации и снисходительности. Поэтому и мысли Ксенофонта были поглощены заботой и дисциплиной подчиненных ему людей; но поэтому мы лучше знакомы с греческой армией, чем с армией Сезара. Внимание Сезара всегда было направлено на тех, на кого он должен был напасть, противостоять или противодействовать, а внимание Ксенофонта - на тех, кого он должен был вести. По той же причине Ксенофонт поверхностен в отношении любых особенностей народов, через которые он проходил; в то время как у Сезара мы имеем любопытные и хорошо подтвержденные детали, касающиеся галлов, бриттов и всех остальных врагов. Сравнение, однако, сводится к тому, что Сезар, как и Ксенофонт, был в первую очередь автором мемуаров. Как и он, он не стремился ни к чему большему, кроме как к изложению фактов в простой и знакомой манере; и рассказ о своей кампании он составил только как материал для будущей истории, не имея досуга придать ей те украшения и наряд, которых требует история". По мнению современников, впрочем, и всех последующих критиков, он привел в отчаяние любую попытку написать историю войн, о которых он рассказывает. "Dum voluit," говорит Цицерон, "alios habere parata, unde sumerent, qui vellent scribere historiam, sanos quidem homines a scribendo deterruit." Схожее мнение высказывает его продолжатель Гиртий: "Adeo probantur omnium iudicio ut praecepta, non praebita, facultas scriptoribus videatur."

Комментарии Сезара состоят из семи книг о Галльской и трех о гражданской войнах. Однако некоторые критики, в частности Флорид [Сабин196](#), отрицают, что он был автором книг о последней войне, а Каррио и Людовик Кадуцей сомневаются, что он был автором даже Галльской войны, - последний из этих критиков приписывает эту работу Суетонию. Хардуэн, считавший, что большинство произведений, которые сейчас называют классическими, были подделкой монахов XIII века, также пытался убедить мир, что все повествование о галльских походах было выдумкой, и что Сезар никогда в жизни не брал в руки меч в Галлии. Однако свидетельства Цицерона и Гирция, которые были современниками Цезаря, многих достоверных писателей, живших после него, таких как Суетоний, Страбон и Плутарх, а также всех старых грамматиков, должны рассматриваться как решающие вопрос; ведь если таким свидетельствам не доверять безоговорочно, то, похоже, наступает конец всякой опоре на древний авторитет.

Хотя эти "Комментарии" охватывают лишь небольшой [pg 96] времени и не являются всеобщей историей нации, они охватывают события величайшей важности и подробно описывают, возможно, величайшие военные операции, которые можно найти в древней истории. В них мы видим все, что есть великого и совершенного в военном искусстве. Самый искусный полководец самого воинственного народа на земном шаре записывает историю своих походов. Поставленный во главе лучшей армии, когда-либо созданной в мире, преданной его судьбе, но противостоящей ему военным умением и доблестью, лишь уступающими его собственным, он и солдаты, которыми он командовал, могут быть почти воспеты словами, в которых Нестор восхвалял героев, прошедших до него: - "Это не так.

"Καρτίοι δὲ κείνοι ἐπιχθονίων τραφέν ἀνδρῶν,

Καρτίοι μὲν ἔσαν καὶ καρτίοις ἐμάχοντο," --...

ведь галлы и германцы были одними из самых храбрых и воинственных народов, живших тогда на земле, а Помпей считался самым искусным полководцем своей эпохи. Ни один полководец, по всеобщему признанию, не обладал таким знанием механической части войны: Он обладал полной империей на море, и ему помогало все влияние, вытекающее из установленной власти государства.

Возможно, самой интересной частью всех "Комментариев" является рассказ о кампании в Испании против Афрания и Петрея, в которой Цезарь, будучи доведенным до крайности из-за недостатка провизии и фуража (вследствие того, что мосты через реки, между которыми он разбил лагерь, после множества искусных маневров, и, преследуя генералов Помпея до Кельтиберии и обратно до Лериды, заставил их легионы сдаться, поставив их в те самые трудности, из которых он так умело вызволил свою собственную армию.

Очевидно, что большая часть таких комментариев должна быть обязательно занята деталями военных действий. Военный гений Рима дышит через всю работу, и она охватывает все разновидности, которые война предлагает нашему интересу и, возможно, неоправданному восхищению - сражения, дела постов, лагеря, отступления, марши перед лицом врага через леса и через равнины или горы, переходы через реки, осады, оборона крепостей, и те еще более интересные рассказы о духе и дисциплине вражеских войск и талантах их генералов. По четкости и научности изложения деталей военных действий Цезарь превосходит всех писателей, кроме, пожалуй, Полибия. Некоторые считают, что он был слишком подробен, и что, описывая каждое действие, совершенное в сражении, он сделал свои [pg 97] отношения несколько перегруженными. Но таков был его принцип, и это отвечало замыслу автора.

Поскольку он не записывает почти ничего, при чем он не присутствовал бы лично или не слышал бы об этом от тех, кто действовал под его непосредственным руководством, он обладал наилучшей информацией в отношении всего, о чем он [писал](#)<sup>197</sup>. В целом, когда он говорит о себе, то делает это без жеманства и высокомерия. Он говорит о Сезаре как о безразличном человеке и всегда сохраняет тот характер, который он таким образом принял; действительно, вряд ли можно представить, что он принимал столь незначительное участие в великих деяниях, которые он описывает, как это следует из его собственных представлений. За исключением фальшивых красок, которыми он маскирует свои амбициозные проекты, направленные против свобод своей страны, все кажется рассказанным с верностью и откровенностью. Нет и нечестного сокрытия потерь, которые он мог понести: он бесхитростно признает свою собственную катастрофу в деле при Дирахии; он признает потерю 960 человек и полный крах всего своего плана кампании. С другой стороны, когда он рассказывает о своих успехах, то делает это сдержанно. В его рассказе о битве при Фарсалии присутствует максимальная осторожность, сдержанность и скромность, и вряд ли можно предположить, что историк принимал какое-либо участие в этом сражении или победе. В целом он признает, что военные события неподвластны человеку, и приписывает большую часть успеха силе фортуны. Остальное он, похоже, готов приписать доблести своих солдат и хорошему поведению своих военных соратников. Так, главной заслугой и славой великой победы над Ариовистом он считает присутствие духа, проявленное Крассом, который быстро подал сигнал группе людей выдвинуться вперед и поддержать одно из крыльев, которое было подавлено множеством врагов и начало сдавать позиции. Он также не упускает из виду выдающуюся и великодушную доблесть двух центурионов, Пульфия и Варена, и центуриона Секстия Бакула, во время тревожного нападения сикамбров. С другой стороны, когда ему случается упомянуть о неудачах своих друзей, как, например, при описании поражения и смерти Курио в Африке, он делает это с нежностью и снисходительностью. О своих врагах он говорит без оскорблений и презрения;

и даже вынося свое суждение по большому военному вопросу, хотя он и не одобряет способ Помпея ждать нападения при Фарсалии, его собственные причины [pg 98] для противоположного мнения приводятся с почтением и откровенностью. Уверенные надежды, которые питали в лагере Помпея, притязания и споры ведущих сенаторов о распределении патронажа и должностных лиц, а также конфискации, которые, как предполагалось, должны были вот-вот оказаться в их руках, послужили для него источником забавных анекдотов, которые, должно быть, трудно было не вставить; Не удивительно, что, пока все приготовления к празднованию ожидаемой победы с роскошью и праздником были предметом пристального наблюдения, он должен был посвятить несколько страниц в своих Комментариях описанию тщеславия и самонадеянности таких радужных ожиданий. Лабиен, который его покинул, и Сципион, который доставил ему столько хлопот, разжигая войну, - вот те, о ком он говорит с наибольшей яростью, рассказывая о жестокости первого и тиранической изобретательности [второго](#)<sup>198</sup>.

Все, что касается событий гражданской войны, не могло быть легко сфальсифицировано или искажено. В тот период уцелело столько врагов, которые были очевидцами всего, что автор вряд ли смог бы незаметно отклониться от истины. Но в его поединках с галлами, германцами и бриттами ему некому было возразить. Те, кто сопровождал его, были преданы его славе и удаче и, как и он сам, были заинтересованы в возвеличивании славы этих чужеземных подвигов. То, что он замазал истинные мотивы, а также результат своей экспедиции в Британию, часто подозревали. Сам он объясняет это тем, что, по его сведениям, почти во всех галльских войнах оттуда доставлялись припасы врагу; но Суетоний утверждает, что истинным побуждением к экспедиции послужили полученные им сведения о количестве и размерах жемчуга на британском побережье. Четырнадцать коротких глав в четвертой книге "Галльской войны" рассказывают о его первом визите и поспешном возвращении; шестнадцать глав в пятой книге подробно описывают его продвижение в следующее лето. Эти главы имеют большое значение, поскольку содержат самые ранние достоверные воспоминания о жителях и состоянии этого острова; и, конечно, было много дискуссий по поводу подлинных, хотя и несовершенных сведений, которые они содержат. В различных трактатах, главным образом опубликованных в *Archæologia*, топографически прослеживаются различные этапы продвижения Цезаря, особенно его переход через Темзу, и обсуждается положение *Portus Iccius*, из которого он отправился в Британию.

Периодические отступления Сезара о нравах [pg 99] галлов и германцев также весьма интересны и поучительны, и это единственные сведения, на которые можно положиться в отношении институтов и обычаев этих двух великих народов в тот отдаленный период. В Галлии он пробыл так долго и так тщательно изучил привычки и обычаи ее жителей для своих собственных политических целей, что на все, что он сообщает об этой стране, можно с уверенностью положиться. Его общение с германскими племенами было эпизодическим и в основном военным. Некоторые из его наблюдений об их нравах, таких как гостеприимство, постоянство их молодежи и последовательное занятие разных земель одними и теми же семьями, подтверждаются Тацитом; но в других частностях, особенно в том, что касается их религии, он противоречит этому великому историку. Цезарь заявляет, что у них нет жертвоприношений, и они не знают никаких богов, кроме тех, которые, подобно Солнцу или Луне, видимы и чьими благами они [пользуются](#)<sup>199</sup>. Тацит сообщает нам, что их главный бог - Меркурий, которого они умиротворяют человеческими жертвами; что они также приносят животных в жертву Геркулесу и Марсу; и поклоняются Тайному Разуму, который виден только в глазах душевного [почитания](#)<sup>200</sup>. Исследования современных писателей также поставили под сомнение точность топографии германцев Сезара; в частности, Клюверий попытался показать, что он совершил много ошибок, говоря как о германцах, так и о [батавах](#)<sup>201</sup>.

Поскольку "Комментарии к Сезарю" не претендуют на высокое достоинство истории, автора вряд ли можно обвинить в том, что он подробно изложил факты, не примешивая к ним многочисленные размышления и наблюдения. Он редко вставляет политические или характерные замечания, хотя у него были частые возможности для того и другого, описывая такие необычные народы, как галлы, германцы и бритты. Но его целью не было, подобно Саллюсту или Тациту, выводить практические соображения для пользы читателя или объяснять политические причины тех сделок, о которых он рассказывает. Его простое повествование предназначалось лишь для удовлетворения тех римских граждан, которых он уже убедил поддержать свои амбициозные проекты; но даже они, как мне кажется, могли бы пожелать услышать нечто большее о том, что можно назвать военными мотивами его действий. Он рассказывает нам о своих [pg 100] походах, отступлениях и лагерях, но редко в достаточной мере объясняет, на каких основаниях предпринимались эти военные меры - как они способствовали осуществлению его собственных планов или разрушали замыслы врага. Более глубокое понимание военных взглядов, которыми он руководствовался, придало бы дополнительный интерес и оживление его повествованию и позволило бы извлечь больше поучительных уроков.

Ни один человек, полагаю, не хочет, чтобы ему в двадцатый раз говорили, что стиль Сезара отличается ясностью и легкостью, а также простотой, более благородной, чем пышность слов. Пожалуй, самой отличительной чертой его стиля является совершенное равенство выражений. В мыслях Сезара царило спокойное и ровное достоинство. В его характере, казалось, ничто не могло взволновать его или сдвинуть с места, в его поведении ничто не отвлекало его от достижения цели. Точно так же и в его стиле нет ничего раздутого или подавленного, и не встречается ни одного слова, которое было бы выбрано лишь для приукрашивания. Мнение Цицерона, сравнившего стиль Сезара с неприкрашенной простотой древнегреческой статуи, можно считать высшей похвалой, поскольку он, безусловно, не питал к автору никаких благосклонных чувств, а стиль сильно отличался от того, который он сам использовал в своих проповедях, философских трудах или даже в переписке. "Nudi sunt", - говорит он, - "recti, et venusti, omni ornatu orationis tanquam veste detracto". Эта изысканная чистота была приобретена не незаметно, как, как говорят, в семьях Лелиев и Муциев, благодаря домашней привычке и привычному общению, а благодаря усердному изучению и тщательному знанию латинского [языка](#)<sup>202</sup>, а также практике литературного сочинения, к которой Сезар был приучен с ранней [юности](#)<sup>203</sup>.

Однако, как бы ни был восхитителен его чистый и элегантный стиль, стиль Сезара кажется несколько неполноценным, как по живости, так и по энергичности. Вальхиус также указывает на несколько слов, которые, по его мнению, не имеют чистого латинского происхождения, например *ambactus*, термин, используемый галлами и германцами для обозначения слуги, а также *Ancorarii funes*, слово, которое больше нигде не используется в качестве прилагательного, *Antemittere* для *premittere*, и *summo magistratu praeiverat* для [magistratui](#)<sup>204</sup>. Использование таких слов, как *collabefieret*, *contabulatio*, *detrimentosum*, *explicitius*, *materiari*, заставляет нас подозревать, что Цезарь не всегда придерживался правила, которое он так решительно изложил в своей книге *De Analogia*, [pg 101], чтобы избежать, как скалы, каждого необычного слова или выражения. Бергерус в огромном quarto, озаглавленном *De Naturali pulchritudine Orationis*, очень подробно попытался показать, что Сезар предвосхитил все наставления, данные впоследствии Лонгином, для достижения максимального совершенства и достоинства композиции. Он указывает на его соответствие этим правилам в том, что он считает сокращениями, усилениями, переходами, градациями, - словом, всеми различными фигурами и украшениями речи, которые мог бы использовать самый

педантичный ритор; он также критически рассматривает те немногие слова и фразы сомнительной чистоты, которые так тонко разбросаны по Комментариям.

Люди обычно судят о литературном произведении по его внутренним достоинствам, не принимая во внимание возраст автора, быстроту, с которой оно было написано, или различные обстоятельства, при которых оно было написано; и в этом, возможно, они поступают несправедливо, поскольку их дело - произведение, а не качества автора. Но если принимать во внимание такие вещи, то следует помнить, что эти мемуары были написаны наспех, во время суматохи и тревоги кампаний, и записывались изо дня в день, без всякой осторожности и преднамеренности. "Ceteri", - говорит Гиртий, спутник экспедиций Цезаря и продолжатель его Комментариев, - "Ceteri quam bene atque emendate; nos etiam quam facile atque celeriter eos perscripserit scimus".

Комментарии, De Bello Gallico и De Bello Civili - единственные произведения Цезаря, которые дошли до нас. Некоторые древние авторы говорят о его "Эфемериде", или "Дневнике"; однако возникают сомнения, является ли эта работа, названная так Плутархом, Сервием, Симмахом и некоторыми другими, той же самой книгой, что и "Комментарии", или же это совершенно другое произведение. Первого мнения придерживается Фабриций, который считает, что "Эфемерис" или "Эфемериды" - это лишь другое название "Комментариев", которые на самом деле можно считать написанными в манере и форме дневника. Он признает, что несколько отрывков, приведенных Сервием как взятые из этих Эфемерид, теперь не найти в Комментариях; но затем он утверждает, что в последней работе, очевидно, есть недостатки (lacunæ); и он предполагает, что слова, процитированные Сервием, являются частью потерянных отрывков из Комментариев. Этого мнения придерживается Воссийус, который приводит своего рода колофон в конце одного из старейших MSS Комментариев, который он считает решающим в этом вопросе, поскольку он показывает, что термин Эфемерис в настоящее время применялся к ним: "C. J. Cæsaris, P. M. Ephemeris rerum Gestarum Belli Gallici, Lib. VIII. explicit feliciter".

[pg 102]

Бейль в своем "Словаре" поддерживает противоположную теорию. Он считает, что "Эфемериды" были дневником жизни автора. Он признает, что отрывок, который Плутарх цитирует как из Эфемерид, встречается также в четвертой книге Комментариев; но затем он утверждает, что невозможно, чтобы Цезарь не упоминал часто одно и то же в своих Комментариях и Журнале, и думает, что если бы Плутарх хотел сослаться на первые, он бы назвал их не Эфемеридами, а ἡμερησίων, как их назвал Страбон. Кроме того, Полиэн упоминает различные военные хитрости, записанные Цезарем, которые не содержатся в комментариях и которые, следовательно, могли быть объяснены только в отдельном труде "Эфемерис".

Сохранились фрагменты писем, которые Цезарь адресовал сенату и своим друзьям, а также его ораций, которые, как считалось, уступали только ораторскому искусству Цицерона. О его риторических талантах можно будет сказать далее. Похоже, что его качества как оратора и историка сильно различались, поскольку в качестве характеристик его ораторских выступлений упоминаются энергичность и способность возбуждать эмоции (concitatio). Некоторые из них были произнесены от имени клиентов и по реальным делам на Форуме; но две оратории под названием "Антикатоны" были написаны в форме и в манере обвинений перед судебным трибуналом. Эти риторические декларации, написанные примерно во время битвы при Мунде, были задуманы как ответ на хвалебное произведение Цицерона под названием Laus Catonis. Автор особенно подробно рассмотрел в них последний поступок

Катона в Утике и собрал все пороки и недостатки его характера, реальные или вмененные, публичные или частные, - его честолюбие, манию необычности, жлобство и скупость; Но поскольку "Антикатоны" были приправлены пышными похвалами Цицерону, чей панегирик на Катона они должны были опровергнуть, оратор чувствовал себя весьма польщенным диктаторским фимиамом и очень восхищался представлениями, в которых он был предложен: "Collegit vitia Catonis, sed cum maximis laudibus [meis](#)<sup>205</sup>."

Эти два соперничающих произведения были широко известны в Риме; и оба они имели своих поклонников, поскольку различные партии и интересы склоняли людей в пользу темы или автора каждого из них. Кажется также несомненным, что они были главной причиной установления и развития того почитания, которое потомки с тех пор оказывают памяти Катона; поскольку его имя было вброшено в спор в тот критический период [pg 103] судьбы Рима, покровителем свободы с одной стороны и ее угнетателем с другой, оно стало своего рода политическим тестом для всех последующих эпох и вечным аргументом в спорах между друзьями свободы и льстецами [власти](#)<sup>206</sup>. Спор был подхвачен племянником Брута и Фабием Галлом, поклонником Катона; он был возобновлен Августом, который, естественно, поддерживал царскую сторону вопроса, и Фрасием Пэтом, который осмелился затронуть эту опасную тему в самые мрачные дни императорского деспотизма.

Положение Сезара как Максима Понтифика, вероятно, побудило его написать "Авгуралии" и "Libri Auspicioꝝ", которые, как следует из их названий, были книгами, объясняющими различные предзнаменования и предсказания, полученные из полета птиц. Этому же обстоятельству мы можем приписать его работу о движении звезд, De Motu Siderum, которая объясняет то, что он узнал в Египте по этому вопросу от Сосигена, философа-перипатетика из Александрии, и в которой, если верить старшему Плинию, он предсказал свою собственную смерть в [марте](#)<sup>207</sup> года.

Составление вышеупомянутых трудов вполне естественно представлялось первосвященнику, воину и политику, который также любил литературу и владел пером так же хорошо, как и мечом. Но кажется необычным, что человек, столь сильно занятый войной и политическими планами по разрушению своей страны, должен был всерьез заниматься написанием формальных и тщательно продуманных трактатов по грамматике. Однако несомненно, что он написал труд в двух книгах об аналогиях латинского языка, который был адресован Цицерону и назывался, как и предшествующая работа Варро на ту же тему, De Analogia. Она была написана, как сообщает нам Суетоний, во время перехода через Альпы, по возвращении в армию из Галлии, куда он отправился для участия в собраниях этой [провинции](#)<sup>208</sup>. В этой книге он установил главный принцип, согласно которому правильный выбор слов является основой [красноречия](#)<sup>209</sup>; он предостерегал авторов и ораторов избегать как скалы любого необычного слова или неуместного [выражения](#)<sup>210</sup>. Однако его склонения некоторых существительных кажутся нам, по крайней мере, несколько странными - например, turbo, turbonis вместо [turbinis](#)<sup>211</sup>; точно так же он склоняет глаголы - например, mordeo, memordi; pungo, repugi; spondeo, [spepondi](#)<sup>212</sup>. Он также занимался производными; нам сообщают, что он вывел ens из глагола sum, es, est; и правилами грамматики, например, что дательный и аблатив единственного числа [pg 104] глаголов на e одинаковы, как и глаголов на ar, кроме far и jubar. Похоже, что он дошел даже до самых тонких размышлений об орфографии и образовании букв; так, он считал, что буква V должна быть образована как перевернутая F, то есть ɿ, потому что она имеет силу эолийской дигаммы. Далее Кассиодор упоминает, что в вопросе об использовании u или i в таких словах, как maxumus или maximus, Цезарь отдал предпочтение i; и, исходя из столь высокого авторитета, это написание было принято в общей практике.

Говорят, что Цезарь также составил сборник апофтегм и анекдотов в стиле современного Ана, но Август не позволил обнародовать их. Этот же император в письме к Помпею Макру, которому он поручил привести в порядок свою библиотеку, запретил публиковать несколько поэтических излияний юности Сезара. Говорят, что они состояли из трагедии на тему *Œdipus* и поэмы в честь [Геркулеса](#)<sup>213</sup>. Другая поэма под названием "Итер" была написана им в более зрелом возрасте. Суэтоний утверждает, что она была написана, когда он достиг Дальней Испании, на двадцать четвертый день после отъезда из [Рима](#)<sup>214</sup>; поэтому можно предположить, что она представляла собой поэтическое изложение происшествий, случившихся во время этого путешествия, украшенное, возможно, описанием самых поразительных пейзажей, через которые он проезжал. Ему также часто приписывают две сохранившиеся эпиграммы: одну о драматическом характере Теренция, которая уже [цитировалась](#)<sup>215</sup>, а другую - о фракийском мальчике, который, играя на льду, провалился в реку Гебрус.

"Thrax puer, astricto glacie dum luderet Hebro" и т. д.

Но многие с большей долей вероятности считают, что это произведение принадлежит перу Цезаря Германика.

Кроме того, под наблюдением и руководством Цезаря было выполнено несколько полезных и важных работ, таких как графическая съемка всей Римской империи. Как ни обширны были их завоевания, римляне до сих пор почти ничего не сделали для географии, рассматриваемой как наука. Их знания ограничивались покоренными ими странами, которые они рассматривали только с точки зрения сборов, которые они могли обеспечить, и налогов, которые они могли выдержать. Сезар был первым, кто разработал более возвышенные планы. Эфикус, писатель четвертого века, сообщает нам в предисловии к своей "Космографии" [pg 105], что этот великий человек получил сенатусконсульт, по которому геометрическое исследование и измерение всей Римской империи было поручено трем геометрам. Ксенодоксу поручили восточные, Поликлету - южные, а Теодоту - северные провинции. Их научный труд был немедленно начат, но завершен лишь спустя тридцать с лишним лет после смерти того, кто его затеял. Информация, полученная Сезаром от астронома Сосигена в Египте, позволила ему изменить и дополнить римский календарь. Я бы не стал рассматривать эту систему юлианского года, но принятое им исчисление было объяснено, как известно, Скалигером и [Гассенди](#)<sup>216</sup>; и с тех пор оно сохранилось с небольшими изменениями по сравнению с тем, что ввел папа Григорий XIII. Учитывая несовершенство всех математических инструментов во времена Сезара и полное отсутствие телескопов, мы не можем не смотреть с восхищением, не смешанным с изумлением, на тот всеобъемлющий гений, который в зачаточном состоянии науки смог преодолеть такие трудности и вычислить систему, подвергшуюся лишь незначительным изменениям в течение шестнадцати веков.

Хотя Сезар написал своей рукой только семь книг о галльских походах и историю гражданских войн до смерти своего великого соперника, представляется весьма вероятным, что он пересмотрел последнюю или восьмую книгу о галльской войне и сообщил сведения для истории александрийской и африканской экспедиций, которые теперь обычно публикуются вместе с его собственными комментариями и могут рассматриваться как их дополнение или продолжение. Автором этих трудов, которые почти завершают интересную историю походов Сезара, был Аулус Гиртий, один из его самых ревностных последователей и самых доверительных друзей. Он был назначен консулом на год, следующий за смертью своего господина; после этого события, став сторонником свободы, он был убит во время нападения войск республики на лагерь Антония близ Модены.

Восьмая книга Галльской войны содержит рассказ о возобновлении борьбы галльских государств после сдачи Алезии и о различных сражениях, последовавших за этим, в большинстве из которых Гирций присутствовал лично, вплоть до окончательного умиротворения, когда Сезар, узнав о замыслах, которые вынашивались против него в Риме, отправился в Италию.

[pg 106]

В заключении третьей книги "Гражданской войны" Цезарь упоминает о начале Александрийской войны. Гирций не присутствовал лично ни при последующих событиях этой египетской борьбы, в которую Сезар был вовлечен вместе с полководцами Птолемея, ни во время его стремительных походов в Понт против Фарнака и против остатков помпеянцев в Африке, где они собрались под началом Сципиона и, поддерживаемые Юбой, все еще представляли грозный вид. Однако основные события он собрал из разговоров [Сезара217](#) и офицеров, участвовавших в этих походах. Он явно подражал стилю своего учителя; и сходство, которого он, к счастью, достиг, придало вид единства и последовательности всей серии этих хорошо написанных и достоверных мемуаров. Похоже, что Гирций довел историю до смерти Сезара, поскольку в своем предисловии, адресованном Бальбусу, он говорит, что довел то, что осталось несовершенным от операций в Александрии, до конца, не до гражданских разногласий, до окончания которых не было никакой перспективы, а до жизни [Сезара218](#).

Однако эта последняя часть "Комментариев" Гирция была утрачена, поскольку теперь, кажется, общепризнано, что он не был автором книги "De Bello Hispanico", в которой рассказывается о второй кампании Цезаря в Испании, предпринятой против молодого Кнея Помпея, который, собравшись, в глубинной провинции этой страны тех из партии своего отца, кто пережил катастрофы в Фессалии и Африке, и к которым присоединились некоторые из туземных государств, оказал грозное сопротивление власти Цезаря, пока его надежды не были разрушены в решающей битве при Мунде. Додвелл в своей диссертации по этому вопросу утверждает, что первоначально она была написана Гирцием, но была интерполирована Юлием Цельсом, константинопольским писателем VI или VII века. Однако Воссий, чье мнение является более распространенным, приписывает ее Каю [Оппию219](#), который написал "Жизнь выдающихся капитанов", а также книгу, доказывающую, что египтянин Сесарио не был сыном Сесара. Оппий был доверенным другом и компаньоном Цезаря во многих его предприятиях; именно ему, как нам сообщает Суетоний, Цезарь уступил единственную квартиру на постоялом дворе, когда они путешествовали [pg 107] линг по Галлии, и лег на землю и под открытым [небом220](#).

В конце этой книги был добавлен фрагмент об испанской войне, написанный Юнгерманом на основе рукописи Петавиуса. Воссий считает, что этот фрагмент был взят из комментариев, называемых комментариями Юлия Цельса, к жизни Цезаря, опубликованных в 1473 году. Эти комментарии, однако, были работой христианского писателя; но Юлий Цельс, константинополец VI века, о котором уже говорилось, пересмотрев комментарии к жизни Цезаря, стал (из-за путаницы имен или, возможно, из-за вымысла, придуманного, чтобы придать авторитет) приписывать их Юлию Цельсу, который был современником Цезаря и, как сообщалось, написал историю его походов; Точно так же, как баснословная жизнь Александра, созданная в средние века, до сих пор проходит под именем Каллистена, историографа македонского монарха.

Не существует другого историка того периода, которым мы сейчас занимаемся, от произведений которого до нас дошли бы хоть какие-то фрагменты. Атик, однако, написал

воспоминания о Риме с самых ранних времен, а также мемуары о его главных семьях, таких как Юнианы, Корнелианы и Фабианы, - прослеживая их происхождение, перечисляя их почести и записывая их подвиги. В то же время Луций написал "Историю социальной войны" и "Историю гражданских войн Силлы", которые так высоко ценились Цицероном, что в одном из писем он убеждает его написать историю своего консульства, в котором он раскрыл и подавил заговор [Катилины221](#). Из последующего письма к Аттику мы узнаем, что Луций обещал выполнить предложенную ему [задачу222](#). Вероятно, однако, что она так и не была выполнена - его труд был прерван гражданскими войнами, в которых он следил за судьбой Помпея и был одним из его главных советников в принятии рокового решения покинуть Италию.

Можно предположить, что "Анналы Процилия", появившиеся в этот период, охватывали весь цикл римской истории, от строительства города до его собственного времени; Варро цитирует его рассказ о том, как Курций бросился в [залив223](#), а Плиний ссылается на него за некоторые замечания относительно слонов, которые появились во время африканского [триумфа Помпея224](#).

Говорят, что Брут также написал эпитомы к скудным и бесплодным историям Фанния и Антипатра. То, что ему [pg 108] пришлось в голову сокращать повествования, столь пресловутые сухие и неинтересные, кажется совершенно необъяснимым.

Работы историка по имени Сецина также исчезли, и если мы можем доверять его собственному рассказу о них, то их утрата не вызывает большого сожаления. В одном из своих писем к Цицерону он говорит: "От многого я был вынужден воздержаться, многое пропустить, многое сократить, а очень многое и вовсе опустить. Так как все это ограничено, урезано и разорвано, какого удовольствия или какой полезной информации можно ожидать от [пересказа225](#)?".

Таким образом, мы проследили развитие исторической композиции у римлян с момента ее зарождения до эпохи Августа. Нет ни одной истории, которая бы так выделялась и украшалась прославленными персонажами, как римская; а обстоятельства, которые в ней описаны, привели к созданию величайшей и самой постоянной империи, когда-либо существовавшей на земле. Интерес ранних событий и ценность выводов, которые можно сделать на их основе, значительно уменьшаются из-за их неопределенности. Однако впоследствии, до второй Пунической войны, римские историки по большей части сами занимались делами, о которых рассказывают, и поэтому имели, по крайней мере, самые совершенные средства для передачи точной информации. Но это преимущество, столь огромное с одной точки зрения, было сопряжено с сопутствующим злом. Лукиан в своем трактате "Как следует писать историю" говорит, что автор этого вида сочинения должен быть отстранен от всякой связи с людьми и вещами, которые являются его предметом; что он не должен принадлежать ни к какой стране или партии; что он должен быть свободен от всех страстей и не заботиться о том, кто доволен или обижен тем, что он пишет. Римские историки той эпохи, о которой мы сейчас говорим, были рабами партий или главами фракций; и даже когда они превосходили все мелкие интересы и предрассудки, они все равно ясно показывали, что они римляне. Никто из них не стоял беспристрастно в стороне от своего предмета и не восполнял недостаток историков Карфагена и Галлии, которые могли бы исправить их повествования и смягчить их окраску.

Из всех искусств, следующих за войной, красноречие имело в Риме наибольшее значение, поскольку, если первое вело к завоеванию чужих государств, то второе открывало каждому человеку путь к империи и господству над умами своих [сограждан](#)<sup>226</sup>. [pg 109] Без этого искусства сама мудрость, по мнению Цицерона, могла быть малопригодна для пользы и славы [содружества](#)<sup>227</sup>.

Во время существования монархии и в начале эпохи республики судопроизводство было немногочисленным. Многим гражданским искам препятствовало абсолютное господство, которое римский отец осуществлял над своей семьей; а суровость децемвиральных законов, в которых все разбирательства были крайними, часто приводила стороны к соглашению; в то же время чистота древних нравов еще не породила тех преступных вопросов о взяточничестве и казнокрадстве дома, угнетении и вымогательстве в провинциях, которые позорили последние периоды существования содружества и служили темой для пылких инвектив Цицерона и Гортензия. Поэтому в Риме было мало места для юридического ораторского искусства; и какое бы красноречие ни блистало в ранние века Рима, оно, скорее всего, было политическим и касалось государственных дел.

С самых ранних времен республики история фиксирует чудесные эффекты, которые Юний Брут, Публикола и Аппий Клавдий производили своими речами, утишая смуту и препятствуя пагубным советам. Дионисий Галикарнасский приводит официальную речь, которую Ромул, по указанию своего деда, произнес перед народом после постройки города по поводу устанавливаемого [правительства](#)<sup>228</sup>. Есть также длинные орации Сервия Туллия, а большая часть "Древностей" Дионисия занята сенаторскими дебатами в первые века республики. Но хотя ораторские речи этих отцов римского красноречия, несомненно, произносились с порядком, серьезностью и рассудительностью и, возможно, обладали мужественной силой, хорошо рассчитанной на то, чтобы воодушевить мужество солдата и защитить интересы государства, мы не должны составлять о них мнение на основании длинных речей Дионисия и Ливия или предполагать, что они были украшены каким-либо из тех риторических искусств, которыми их наделили эти историки. Народ разбойников, с колыбели предназначенный для занятий оружием, обученный только метанию копья или копьеметания и приученный к другим боевым упражнениям, с душой, дышащей только завоеванием, и считавшийся врагом любого государства, пока не станет его хозяином, мог иметь мало тем для иллюстрации или украшения и вряд ли культивировал какие-либо виды риторической утонченности. Убедить вескими аргументами, когда [pg 110] их дело благое, и наполнить своих сограждан страстями, соответствующими тем, которыми они сами были одушевлены, - вот главные задачи красноречия, доставшегося от природы и не улучшенного обучением. Квинтилиан, соответственно, сообщает нам, что, хотя в древних ораториях и проявились некоторые следы оригинального гения и большая сила аргументов, они несли на себе, в своих грубых и неотшлифованных периодах, признаки времени, в которое они были произнесены.

За исключением речи Аппия Клавдия против мира с Пирром, латинские критики и историки не упоминают ни одной ораторской речи, которая обладала бы ораторским искусством, до времени Корнелия Цетегуса, который процветал во время второй Пунической войны и был консулом около 550 года. Цетег особенно отличался восхитительной сладостью речи и способностью убеждать, откуда его так характеризует Энний, современный поэт, в 9-й книге своих "Анналов":

"Additur orator Cornelius suaviloquenti

Ore Cethegus Marcus, Tuditano collega;

Flos delibatus populi, suadæque medulla".

Ораторские речи Катона Цензора уже упоминались как замечательные по своему грубому, но мужественному красноречию. Когда Катон был на закате жизни, в стране стали преобладать более богатые и обильные речи. Сир Гальба по теплоте и оживленности своей речи затмил Катона и всех его современников. Он был первым среди римлян, кто проявил отличительные таланты оратора, приукрашивая свою тему, - отступая, усиливая, умоляя и используя то, что называется темами, или общими местами разговора. Однажды, защищаясь от серьезного обвинения, он растопил сострадание своих судей, приведя в пример родственника-сироту, чей отец был любимцем народа. Однако когда его ораторские речи были впоследствии переведены на бумагу, их огонь, казалось, погас, и они не сохранили того блеска, которым, как говорят, сияли его речи, когда их произносил живой оратор. Цицерон объясняет это отсутствием у него достаточной подготовки и искусства в сочинении. Пока его ум был занят и согрет темой, его язык был смелым и быстрым; но когда он брался за перо, его эмоции угасали, и периоды вяло падали с точки; "чего, - продолжает он, - никогда не случалось с теми, кто, культивируя более изученный и отточенный стиль ораторского искусства, писал так же, как говорил". Поэтому ум Лелия все еще дышит в его сочинениях, хотя сила Гальбы угасла". Однако из анекдота, записанного [pg 111] Цицероном, следует, что Гальба считался первым оратором своего века среди судей, народа и самого Лелия. Лелий, которому была поручена защита некоторых лиц, подозреваемых в совершении убийства в Силийском лесу, говорил два дня, правильно, элегантно и с одобрением всех, после чего консулы отложили вынесение решения. Затем он посоветовал обвиняемым отнести свое дело к Гальбе, так как тот будет защищать его с большим пылом и яростью. Гальба произнес самую убедительную и патетическую речь, и после ее окончания его клиенты были отпущены, как бы под [аккламацией](#)229. Отсюда Цицерон делает вывод, что хотя Лелий и был более ученым и острым спорщиком, Гальба обладал большей властью над страстями; он также полагает, что первый обладал большей элегантностью, а второй - большей силой; и заключает, что оратор, который может двигать или возбуждать своих судей, гораздо больше продвигает свое дело, чем тот, кто может их наставлять.

Цицерон также сравнивает Лелия со своим другом, младшим Сципионом Африканским, в присутствии которого обсуждался этот вопрос об убийстве Силиана. Они почти одинаково отличались красноречием и были похожи друг на друга в том отношении, что оба неизменно выступали плавно и никогда, как Гальба, не напрягали себя громкостью речи или жестокостью [жестов](#)230; но их ораторский стиль был разным, - Лелий использовал гораздо более древнюю фразеологию, чем его друг. Сам Цицерон, кажется, склонен больше всего восхищаться риторикой Сципиона; но он говорит, что, будучи столь знаменитым полководцем и не желая, чтобы человечество отдавало первенство одному человеку в двух величайших искусствах, его современники в большинстве своем отдали пальму первенства красноречию Лелию.

Взаимодействие с Грецией и поощрение греческих учителей, которые всегда обладали неоспоримой привилегией диктовать предписания по искусству, привели к такому же улучшению ораторского искусства, как и всех других отраслей литературы. Марк Эмилий Лепид был немного моложе Гальбы и Сципиона и стал консулом в 617 году. Из его ораций, сохранившихся до времен Цицерона, следует, что он был первым, кто, подражая грекам, придал гармонию и сладость своим периодам или изящество стилю, регулярно отшлифованному и усовершенствованному искусством.

Цицерон упоминает ряд других ораторов той же эпохи [pg 112] с Лепидом и подробно расписывает их особые стили риторики. Среди них мы находим имена почти всех

выдающихся людей того времени, таких как Эмилий Паулюс, Сципион Насика и Муций Сцевола. О важности красноречия для целей политического возвышения можно судить по этому труду Цицерона, *De Claris Oratoribus*, поскольку в нем почти не упоминается оратор даже низшего ранга, который в это время не занял высших постов в государстве.

Политическая ситуация в Риме и внутреннее спокойствие, которое теперь сменялось внешними войнами, были большими стимулами для красноречия. Мы не слышим ни одного оратора в Спарте или на Крите, где царила жесточайшая дисциплина, а народ управлялся по самым строгим законам. Но Родос и Афины, места народного правления, где все было открыто для всех людей, кишели ораторами. Точно так же и Рим, когда его больше всего раздирали гражданские распри, выдавал ярчайшие примеры красноречия. Цицерон утверждает, что мудрость без красноречия не приносит пользы [государству](#)<sup>231</sup>; а исходя из политических обстоятельств того времени, наибольшим уважением пользовался тот вид ораторского искусства, который в наибольшей степени влиял на беспокойную и неуправляемую толпу. Положение государственных дел обусловило непрерывные дебаты по поводу аграрных законов и, как следствие, популярность, которую приобрели самые развратные демагоги. Отсюда и частые импичменты великих, и честолобивые замыслы патрициев, и наследственная вражда отдельных семей, и, наконец, непрекращающаяся борьба между сенатом и плебеями, которая, хотя и вредила общему делу, способствовала раздуванию и разветвлению той богатой жилы красноречия, которая теперь так обильно текла по взволнованной структуре государства. В течение всего периода, предшествовавшего началу гражданских войн, когда римляне обратили меч друг против друга, и от его острия зависело господство над миром, ораторское искусство продолжало открывать самый прямой путь к достоинствам. Чем дальше продвигался римский гражданин в этой карьере, тем ближе он был к преференциям, тем выше была его репутация в народе; а если он занимал достойные должности в государстве, то тем выше было его превосходство над коллегами.

Гракхи были истинными отпрысками, а их красноречие - естественным плодом этих бурных времен. До их эпохи ораторское искусство было своего рода *Arcanum imperii* - инструментом управления, находящимся во власти сената, который использовал все меры предосторожности, чтобы сохранить его исключительное применение. Это был [pg 113] великий оплот, который противостоял приливу народных страстей и ослаблял их, чтобы они не били слишком высоко и сильно по их собственному порядку и власти. Гракхи не только разрушили этот вал, но и повернули поток к стенам самого сената. Интересы народа еще никогда не отстаивали люди, наделенные таким же красноречием, как они. Цицерон, порицая их политическое поведение, признает, что оба были непревзойденными ораторами; об этом он свидетельствует по воспоминаниям людей, еще живших в его время и помнивших их манеру говорить. Действительно, удивительная власть, которую оба брата имели над народом, является достаточным доказательством их красноречия. Тиберий Гракх был первым, кто сделал риторику серьезным занятием и искусством. В детстве он был тщательно обучен элоквенции своей матерью Корнелией: он также постоянно посещал самых искусных и красноречивых мастеров из Греции, а повзрослев, уделял много времени упражнению в частной декламации. Вряд ли можно предположить, что, будучи одаренным от природы и обученным таким образом, способности к красноречию долго оставались дремлющими в его груди. В то время, когда он впервые появился на бурной сцене римской жизни, накопление земельной собственности среди нескольких человек и последующее злоупотребление непомерным богатством наполнили Италию рабами вместо граждан, уничтожили привычку к сельскому хозяйству среди всего народа, и, оставив только богатых господ во главе многочисленных и распутных слуг, постепенно выкорчевали те средние слои

общества, которые составляют силу, ценность и лучшие надежды каждого хорошо регулируемого сообщества. Говорят, что, проезжая через Этрурию по пути в Нумантию, Тиберий Гракх обнаружил, что страна почти обезлюдела, и тогда впервые возник проект его Аграрного закона, который первоначально был призван исправить зло, вытекающее из огромных земельных владений богачей, ограничив их количеством акров, указанных в древних [законах](#)<sup>232</sup>, и разделив завоеванные территории между более бедными гражданами. Перед его обнародованием он собирал народ вокруг трибуны, где выступал в защиту бедняков, выражаясь языком, образец которого мы находим у Плутарха: "У диких зверей Италии есть свои норы, куда они могут уйти - места их убежища и отдыха; в то время как у храбрецов, проливших кровь за свою страну, не осталось ничего, кроме свежего воздуха и солнечного света. Не имея домов, не имея оседлых жилищ, они скитаются с места на место со своими женами и детьми; а их командиры только [pg 114] насмехаются над ними, когда во главе своих армий призывают своих солдат сражаться за их могилы и алтари. Ведь среди такого количества римлян нет ни одного, у которого был бы алтарь, принадлежавший его предкам, или гробница, в которой покоился бы их прах. Рядовые солдаты сражаются и умирают, чтобы увеличить богатство и роскошь великих; их называют государями мира, в то время как у них нет ни пяди земли, которую они могли бы назвать [своей](#)<sup>233</sup>". Подобные речи привели народ в ярость, и сенат был вынужден прибегнуть к помощи Октавия, который, будучи одним из трибунов, был коллегой Гракха, чтобы противостоять воздействию его одушевленного красноречия. Раздраженный таким противодействием, Гракх отказался от первого плана своего закона, предусматривавшего возмещение из общественной казны тем, кто будет лишен своих имений, и предложил новый законопроект, по которому им предписывалось немедленно покинуть те земли, которыми они владели вопреки предыдущим постановлениям. По этому поводу между ним и Октавием на трибуне ежедневно возникали споры. Почувствовав, что иначе осуществить задуманное невозможно, он решил сместить своего коллегу, и с тех пор, вплоть до самой смерти, его речи (одна из которых сохранилась у Плутарха) были в основном посвящены убеждению или оправданию этой жестокой меры.

Кай Гракх был наделен более высокими талантами, чем Тиберий, но обида, которую он испытывал из-за смерти брата, и жажда мести привели его к мерам, которые омрачили его характер оттенками демагога. К моменту смерти брата ему было всего двадцать лет. В ранней юности он отличился, защищая одного из своих друзей по имени Веттий, и очаровал народ своим красноречием. Вскоре после этого судьба, как видно, подтолкнула его к тому же политическому курсу, который оказался роковым для его брата и закончился его собственной гибелью. Все его речи были обращены к народу, и в них предлагались законы, рассчитанные на увеличение его власти и уменьшение власти сената, - например, о колонизации государственных земель и их разделе между бедняками, о регулировании рынков, чтобы снизить цены на хлеб, и о передаче судебной власти рыцарям. Фрагмент его речи, *De Legibus Promulgatis*, как говорят, был недавно обнаружен вместе с другими классическими остатками в Амброзианской библиотеке. Аурус Геллий также цитирует из этой речи отрывок, в котором оратор жалуется, что некоторые уважаемые [pg 115] способные граждане одного из муниципальных городов Италии были избиты прутьями римским магистратом. Геллий хвалит краткость, аккуратность и изящную легкость повествования, напоминающего драматический диалог, в котором был изложен этот инцидент. Аналогичные, но только схожие качества проявляются в его обвинении римского легата, который, путешествуя в Азию на подводе, до смерти избил крестьянина за то, что тот спросил своих рабов, труп ли это они несут. "Рассказ об этих событиях, - говорит Геллий, - не поднимается выше уровня обычного разговора. Человек не жалуется и не умоляет, а просто рассказывает о том, что произошло"; и он противопоставляет эту скромность той энергии и

пылкости, с которой Цицерон описывает совершение Верресом аналогичного преступления<sup>234</sup>.

Несмотря на сходство во многих чертах характера и политического поведения, между братьями существовала заметная разница в стиле красноречия и судебной манере поведения. Тиберий в своих взглядах и жестах был мягким и сдержанным, а Кай - серьезным и пылким; поэтому, когда они выступали на публике, Тиберий проявлял максимальную сдержанность в своих действиях и не двигался с места, тогда как Кай был первым из римлян, кто, обращаясь к народу, ходил взад и вперед по трибуне, сбрасывал с плеч платье, бил себя по бедру и обнажал руку<sup>235</sup>. Язык Тиберия был труден и точен, Кай - смел и образен. Ораторское искусство первого было мягким, и в первую очередь оно вызывало жалость, в то время как ораторское искусство второго было очень напористым и рассчитанным на возбуждение ужаса. Говоря, Кай часто так торопился от нахлынувшей страсти, что возвышал свой голос выше обычного тона, предавался оскорбительным выражениям и портил весь тон ораторской речи. Чтобы уберечься от подобных эксцессов, он поставил позади себя раба с флейтой из слоновой кости, которая модулировалась таким образом, чтобы заставляя его понижать или повышать тон голоса, в зависимости от того, какая тема требовала более высокой или более мягкой тональности. "Флейту, - говорит Цицерон, - вы можете оставить дома, но смысл практики вы должны запомнить в баре<sup>236</sup>".

Во времена Гракхов ораторское искусство стало предметом усердного и систематического изучения, а также тщательного обучения. Юношу, предназначенного к профессии красноречия, обычно знакомили с одним из самых выдающихся ораторов города [pg 116], которого он посещал, когда ему случалось выступать по какому-либо общественному или частному делу или в народных собраниях, и таким образом он слышал не только его, но и всех остальных знаменитых ораторов. Таким образом, он практически познакомился с бизнесом и судебными инстанциями и научился ораторскому искусству, как бы вступая в схватку на поле боя. "Это оживляло, - говорит автор диалога "De Causis Corruptæ Eloquentiæ", - оживляло мужество и ускоряло суждения юношей, получавших наставления на виду у всего мира и в гуще событий, где никто не мог выдвинуть нелепый или слабый аргумент, не будучи разоблаченным противником и презируемым публикой. Кроме того, у них была возможность ознакомиться с различными настроениями народа и заметить, что нравилось или не нравилось им в тех или иных ораторах на Форуме. Таким образом, они получали учителя самого лучшего и совершенного рода, демонстрирующего не притворное подобие красноречия, а его реальное и живое проявление, не притворного, а подлинного противника, серьезно вооруженного для боя, аудиторию, всегда полную и новую, состоящую как из врагов, так и из друзей, среди которых не могло упасть ни одного выражения, которое бы не вызывало либо порицания, либо аплодисментов".

О том, с каким вниманием молодые ораторы следили за всеми процессами в судебных инстанциях, свидетельствует фрагмент дневника, который вел один из них во времена Цицерона и в котором в течение двух дней записывались различные речи и приговоры<sup>237</sup>.

Римская молодежь долго не могла извлечь выгоду из вымышленных ораторских состязаний. Практика произнесения речей на придуманные темы была введена в Риме примерно в середине седьмого века. Греческие риторы, правда, были изгнаны, как и философы, к концу предыдущего века; но в 661 году Плотий Галлус, латинский ритор, открыл в Риме школу декламации. В этот период, однако, декламации обычно касались вопросов реальных дел, и только во времена Августа риторы настолько возобладали, что стали вводить банальные аргументы на выдуманные темы.

Красноречие, которое первоначально культивировалось в подстрекательских целях и для политического продвижения, теперь стало рассматриваться римской молодежью как элегантное достижение. Вероятно, оно рассматривалось в том же свете, в каком мы [pg 117] рассматриваем всадничество или танцы, и продолжало рассматриваться в эпоху Горация.

"Namque, et nobilis, et decens,

Et pro sollicitis non tacitus reis,

Et centum puer artium,

Latè signa feret militiæ [suæ238](#)".

При всех этих обстоятельствах очевидно, что в середине седьмого века ораторским искусством никто не пренебрегал; и в искусстве, которое так тщательно изучалось и повсеместно практиковалось, многие должны были быть искусны. Было бы бесконечно долго перечислять всех ораторов, упомянутых Цицероном, чей каталог довольно обширен и сух. Поэтому мы можем перейти к тем двум ораторам, которых он отмечает как тех, кто впервые поднял славу римского красноречия до уровня греческого - Марку Антонию и Луцию Крассу.

Первый, прозванный Оратором, дед знаменитого триумвира, был самым трудолюбивым покровителем своего времени; из всех его современников его больше всего обхаживали клиенты, так как он всегда был готов взяться за любое дело, которое ему предлагали. Он обладал хорошей памятью и замечательным талантом вводить в курс дела все, что могло быть использовано с наибольшим эффектом. Его манеры были откровенны, что исключало всякое подозрение в хитрости, и все его речи выглядели как необдуманные излияния честного сердца. Но хотя в его речах не было видимой подготовки, он всегда говорил так хорошо, что судьи никогда не были достаточно подготовлены к воздействию его красноречия. Его язык не был идеально чистым или постоянно поддерживаемым изяществом, но он был твердым и рассудительным, хорошо приспособленным к его цели; его жесты тоже были уместными и соответствовали чувствам и языку; его голос был сильным и прочным, хотя от природы хриплым, но даже этот недостаток он обращал себе на пользу, часто и легко принимая скорбный и пронзительный тон, который в уголовных вопросах возбуждал сострадание и легче завоевывал веру судей. Однако, как сообщает нам Цицерон, он не оставил после себя почти никаких [ораций239](#), решив никогда не публиковать ни одного из своих ходатайств, чтобы не быть уличенным в том, что в одном деле он утверждал то, что противоречило тому, что он утверждал в [другом240](#).

Первая речь, которой отличился Антоний, [pg 118], была в его собственную защиту. Он получил квесторство в одной из провинций Азии и прибыл в Брундизий, чтобы там разместиться, когда друзья сообщили ему, что он вызван к претору Кассию, самому суровому судье в Риме, чей трибунал называли скалой обвиняемых. Хотя он мог бы сослаться на привилегию, запрещающую принимать обвинения против тех, кто отсутствовал на службе у республики, он решил оправдаться в надлежащей форме. Поэтому он вернулся в Рим, предстал перед судом и был с честью [оправдан241](#).

Одной из самых знаменитых ораций, произнесенных Антонием, была речь в защиту Норбана, обвиненного в мятеже и жестоком нападении на магистрата Эмилия Цепиона. Он начал с того, что попытался показать на примере истории, что мятежи иногда могут быть оправданы необходимостью; что без них не были бы изгнаны цари или созданы народные трибуны. Затем оратор стал утверждать, что его клиент не был подстрекателем, а все

произошло из-за справедливого возмущения народа; в заключение он искусно попытался возобновить народный одиоз против Цепиона, который был неудачным [полководцем242](#).

То, что Цицерон рассказывает о защите Антонием Аквиллия, является примером его силы воздействия на страсти и, в то же время, чрезвычайно характерно для манеры римских адвокатов. Антоний, который является одним из ораторов в диалоге *De Oratore*, сам вводит его в действие. Видя, что его клиент, бывший когда-то консулом и предводителем армии, доведен до состояния крайнего уныния и опасности, он не успел начать говорить, чтобы вызвать сострадание у других, как был растоплен сам. Уловив волнение судей, когда он поднял своего подзащитного с земли, на которую тот бросился, он тут же воспользовался этим благоприятным чувством. Он разорвал одежду Аквиллия и показал шрамы от тех ран, которые тот получил на службе своей стране. Даже суровый Марий прослезился. Оратор обратился к нему с апострофом, умоляя о защите и со слезами призывая богов, граждан и союзников Рима. "Но что бы я ни сказал, - замечает он в диалоге, - если бы я произнес это, не будучи сам тронут, это вызвало бы насмешки, а не сочувствие тех, кто меня [слышал243](#)".

[pg 119]

За свою жизнь Антоний прошел через все высшие государственные должности. Обстоятельства его смерти, случившейся в 666 году, во время гражданских войн Мария и Силлы, были характерны для его преобладающего таланта. Во время последнего проскрипции Мария он укрылся в доме одного бедняка, которого он обложил обязательствами в те времена, когда ему было лучше. Но его бегство было обнаружено благодаря тому, что хозяин достал для него вино, более приятное, чем обычное, и это известие было доставлено Мариусу, который принял его с диким криком ликования и, хлопая в ладоши от радости, поднялся бы из-за стола и немедленно направился туда, где скрывался его враг; но, задержанный своими друзьями, он немедленно послал отряд солдат под командованием трибуна, чтобы убить его. Солдаты вошли в его покои с этой целью, и Антоний, подозревая об их поручении, обратился к ним с такими трогательными и убедительными речами, что убийцы разрыдались и не имели достаточно решимости выполнить свою миссию. Тогда офицер, командовавший ими, вошел в дом и отрубил ему [голову244](#), которую отнес к Мариусу, прикрепившему ее к той трибуне, с которой, как замечает Цицерон, он умело защищал жизнь стольких своих [сограждан245](#); не подозревая, что вскоре сам испытает от другого Антония участь, подобную той, которая, как он сожалеет, постигла внука триумвира.

Красс, судебный соперник Антония, в юности готовился к публичным выступлениям, заучивая в памяти отточенные и достойные стихи или часть прочитанной оратории, а затем излагая то же самое лучшими словами, какие только мог [подобрать246](#). Затем, когда он немного подрос, он перевел на латынь некоторые из лучших греческих ораций и в то же время прилагал все душевные и телесные усилия, чтобы улучшить свой голос, действия и память. Он начал свою ораторскую карьеру в раннем возрасте девятнадцати лет, когда приобрел большую известность своим обвинением против К. Карбо; а вскоре после этого он значительно укрепил свою славу, выступив в защиту девственницы Лицинии. Еще одной из лучших речей Красса была речь, обращенная к народу в поддержку закона Сервилия Цепиона, частично возвращавшего судебную власть сенату, которой он был недавно лишен, чтобы передать ее исключительно рыцарскому корпусу. Но самым великолепным из всех выступлений Красса было то, которое стало непосредственной причиной его смерти, случившейся в 662 году, за некоторое время [pg 120] до начала гражданских войн Мария и Силлы, и через несколько дней после того времени, когда он, как предполагается, сыграл свою роль в диалоге *De Oratore*. На одном из народных собраний консул Филипп заявил, что

необходимо прибегнуть к другому совету, так как при таком составе сената, какой тогда существовал, он уже не мог руководить делами правительства. Сразу же был созван полный состав сената, и Красс в самых ярких красноречивых выражениях осудил поведение этого консула, который, вместо того чтобы выступать в роли политического родителя и опекуна сената, стремился лишить его членов их древнего наследия уважения и достоинства. Еще более раздраженный попыткой Филиппа заставить его подчиниться своим замыслам, он приложил к этому все усилия своего гения и силы, но вернулся домой с плевритической лихорадкой, от которой умер в течение семи дней. Эта оратория Красса, за которой последовала его почти мгновенная смерть, произвела глубокое впечатление на его соотечественников; еще долго после этого они приходили к зданию сената, чтобы посмотреть на место, где он в последний раз стоял и пал, как можно сказать, защищая привилегии своего ордена.

Красс не оставил после себя почти никаких ораций и умер, когда Цицерон был еще в юности; тем не менее этот автор, собрав мнения тех, кто его слышал, с точностью до минуты и, по-видимому, с совершенным знанием дела рассказывает о его ораторском искусстве. Он был, можно сказать, самым декоративным оратором, который до сих пор выступал на Форуме. Хотя он не был лишен силы, серьезности и достоинства, они счастливо сочетались с самой вкрадчивой вежливостью, урбанистичностью, непринужденностью и веселостью. Он владел самым чистым и точным языком и безупречным изяществом выражения, без какого-либо жеманства или неприятного следа предыдущего обучения. Ясность изложения отличала все его речи, и, рассуждая на темы права или справедливости, он обладал неисчерпаемым фондом аргументов и иллюстраций. Выступая, он проявлял необычайную скромность, доходившую даже до застенчивости. В молодости он был настолько запуган в начале речи, что Квинт Максим, видя его подавленным и неспособным к смятению, прервал заседание, о чем оратор всегда вспоминал с чувством глубочайшей благодарности. Эта неуверенность никогда не покидала его полностью; и после долгой адвокатской практики он часто так сильно волновался во время экзордиума своей речи, что наблюдали, как он бледнел и дрожал всеми частями своего [тела](#)<sup>247</sup>. Некоторые считали [pg 121] Красса равным Антонию, другие предпочитали его как более совершенного и опытного оратора: Антоний в основном полагался на свое близкое знакомство с делами и обычной жизнью: он, однако, не был так лишен знаний, как казалось; но он считал, что лучший способ рекомендовать свое красноречие народу - это казаться, будто он никогда ничему не [учился](#)<sup>248</sup>. Красс, напротив, был хорошо обучен литературе и демонстрировал свои знания с наилучшей стороны. Антоний обладал большей способностью строить догадки, рассеивать или возбуждать подозрения с помощью противоположных и своевременных инсинуаций; но никто не мог похвастаться большей скупостью и умением, чем Красс, в определении, толковании и обсуждении принципов справедливости. Язык Красса был бесспорно предпочтительнее языка Антония, но действия и жесты Антония были столь же бесспорны, как и у Красса.

Сульпиций и Котта, родившиеся около 630 года, были более молодыми ораторами, чем Антоний и Красс, но некоторое время были их современниками и достигли значительной известности до смерти последнего и убийства первого. Сульпиций прожил несколько лет, пользуясь уважением и восхищением; но около 665 года, во время первых разногласий между Силлой и Марием, будучи тогда народным трибуном, он перешел на сторону Мария. Плутарх дает памятный отчет о его характере и поведении в этот период, заявляя, что ему не было равных в самых жестоких злодеяниях. Такой же безудержный в алчности и жестокости, он без колебаний и неохоты совершал самые преступные и чудовищные поступки. Он продал с публичного аукциона свободу Рима иностранцам, выложив деньги за покупку на прилавках, возведенных для этой цели на Форуме! Он держал на постоянном жаловании 3000 мечников

и всегда имел при себе компанию молодых людей конного ордена, готовых в любой момент выполнить его приказы; их он называл своей антисенаторской [группой](#)<sup>249</sup>. Цицерон касается его преступлений с большей нежностью, но говорит, что, став трибуном, он лишил всех своих достоинств тех, с кем, как частное лицо, жил в строжайшей [дружбе](#)<sup>250</sup>. В то время как Марий продолжал противостоять своему сопернику, Сульпиций в качестве трибуна решал все государственные дела с помощью насилия и силы оружия. Он поручил Мариусу командование в Митридатской войне: Он напал со своим отрядом на консулов, когда они проводили народное собрание в храме Кастора и Поллукса, и сместил одного из [них](#)<sup>251</sup>. Однако, когда Марий был изгнан в результате прихода к власти Силлы, Сульпиций был предан одним из своих рабов, немедленно схвачен и казнен. "Таким образом, - говорит Цицерон, - наказание за его безрассудство шло рука об руку с несчастьями его страны; меч оборвал нить этой жизни, которая тогда цвела всеми почестями, какие только может дать [красноречие](#)<sup>252</sup>".

Цицерон достиг девятнадцатилетнего возраста в период смерти Сульпиция. Он ежедневно слышал его речи на Форуме и высоко оценил его ораторские [способности](#)<sup>253</sup>. Он был самым возвышенным и, по словам Цицерона, самым трагическим оратором Рима. Его поза, выправка и фигура отличались высшим достоинством, голос был мощным и звучным, речь - быстрой, действия - разнообразными и оживленными.

Конституционная слабость Котты не позволяла ему проявлять ораторское мастерство. В своих манерах он был мягок и расслаблен, но все, что он говорил, было трезвым и в хорошем вкусе, и он часто приводил судей к тому же выводу, к которому их подталкивал Сульпиций. "Никакие две вещи, - говорит Цицерон, - никогда не были так непохожи друг на друга, как эти. Один, в вежливой, деликатной манере, излагает свой предмет в хорошо подобранных выражениях. Он остается при своем мнении; и, поскольку он с величайшей проницательностью видит, что ему нужно доказать суду, он направляет на это всю силу своего рассуждения и красноречия, не обращая внимания на другие аргументы. Но Сульпиций, наделенный неотразимой энергией, полным сильным голосом, величайшей энергией и достоинством действий, сопровождаемых столь весомыми и разнообразными выражениями, казался из всех людей наиболее приспособленным природой к красноречию".

Предполагалось, что Котта хотел походить на Антония, как Сульпиций, очевидно, подражал Крассу; но последнему нужна была приятная приятность Красса, а первому - сила Антония. Ни одна из ораций Сульпиция не сохранилась во времена Цицерона - те, что распространялись под его именем, были написаны Канутием после его смерти. Говорят, что ораторская речь Котты, произнесенная им от своего имени, когда его обвиняли по закону Вариана, была написана по его просьбе Луцием Илием; и если это правда, то ничто не может показаться нам более необычным, чем то, что такой опытный оратор, как Котта, пожелал, чтобы какая-нибудь из тривиальных речей Юлия была выдана за его собственную.

Однако слава всех предыдущих ораторов должна была теперь затмиться в Риме, и Гортензий разразился [pg 123] красноречием, одновременно восхитившим и поразившим его сограждан. Этот знаменитый оратор родился в 640 году и был на десять лет моложе Котты и Сульпиция. Впервые он появился на Форуме в возрасте девятнадцати лет, то есть в 659 году, и его превосходство, по словам Цицерона, было сразу же признано, как у статуи Фидия, которую нужно только увидеть, чтобы [восхититься](#)<sup>254</sup>. Дело, в котором он впервые выступил, было очень ответственным для столь молодого и неопытного человека: по обвинению римской провинции Африка в хищничестве ее правителей. Дело слушалось перед судьями Сцеволой и Крассом, один из которых был самым искусным адвокатом, а другой - самым

опытным оратором своего времени; молодому оратору посчастливилось получить их одобрение, а также одобрение всех присутствовавших на [процессе](#)<sup>255</sup>. Следующее важное выступление оратора было в защиту Никомеда, царя Вифинии, в котором он даже превзошел свою прежнюю речь в защиту [африканцев](#)<sup>256</sup>. После этого в течение нескольких лет мы почти ничего не слышим о нем. Надвигающаяся опасность социальной войны, которая разразилась в 663 году, в значительной степени прервала дела Форума. Гортензий прослужил в этой тревожной борьбе один год в качестве добровольца, а в следующем сезоне - в качестве военного [трибуна](#)<sup>257</sup>. Когда в 666 году, после восстановления мира в Италии, он вернулся в Рим и занялся более мирными делами, к которым был предназначен с юности, у него не оказалось [соперника](#)<sup>258</sup>. Красс, как мы уже видели, умер в 662 году, до того как начались волнения Мария и Силлы. Антоний вместе с другими ораторами низшего ранга погиб в 666 году, во время временного и последнего прихода к власти Мария в отсутствие Силлы. Сульпиций был предан смерти в том же году, а Котта отправлен в изгнание, из которого он не возвращался до возвращения Силлы в Рим и избрания его диктатором в 670 году. Таким образом, Гортензий на несколько лет остался без конкурента, а после 670 года не имел никого выдающегося, кроме Котты, которого он также вскоре превзошел. Его великолепные, теплые и оживленные манеры предпочитали спокойной и легкой элегантности его соперника. Поэтому, когда в дело вступали одни и те же стороны, Котта, хотя и был на десять лет старше, брался за открытие дела, а более важные части оставлялись на усмотрение [Гортензия](#)<sup>259</sup>. Он оставался бесспорным хозяином Форума до возвращения Цицерона из квесторства на Сицилии в 679 году, когда таланты этого оратора впервые [pg 124] проявились в полном совершенстве и зрелости. Таким образом, Гортензий с 666 по 679 год, то есть в течение тринадцати лет, возглавлял римскую адвокатуру; и, будучи в течение этого долгого периода вовлеченным, с той или иной стороны, во все важные дела, он вскоре накопил огромное состояние. Жил он тоже с великолепием, соответствующим его богатству. Пример великолепия и роскоши подал ему оратор Красс, живший в роскошном дворце в Риме, зал которого украшали четыре колонны из гиметтийского мрамора высотой двенадцать футов, привезенные им в Рим в его эдильство, в то время, когда колонны из иностранного мрамора не ставили даже в общественных [зданиях](#)<sup>260</sup>. Двор этого особняка украшали шесть лotosовых деревьев, которые Плиний видел в полном расцвете в юности, но которые потом сгорели во время пожара при Нероне. У него также было несколько ваз и две чаши для питья, выгравированные художником Ментором, но имевшие такую огромную ценность, что он стыдился ими [пользоваться](#)<sup>261</sup>. Гортензий имел те же вкусы, что и Красс, но превзошел его и всех своих современников в великолепии. Его особняк стоял на Палатинском холме, который, судя по всему, был самым фешенебельным местом в Риме: в то время здесь находились дома Лутация Катула, Эмилия Скавра, Хлодия, Катилина, Цицерона и [Сезара](#)<sup>262</sup>. Резиденция Гортензия примыкала к дому Катилина и, хотя и не отличалась большой площадью, была великолепно обставлена. После смерти оратора в ней поселился Октавий [Цезарь](#)<sup>263</sup>, и она стала центром главного императорского дворца, который увеличивался со времен Августа до времен Нерона, пока не занял большую часть Палатинской горы и не разветвился на другие холмы. Кроме столичного особняка, он владел роскошными виллами в Тускулуме, Баули и Лаурентуме, где имел обыкновение давать самые изысканные и дорогие развлечения. На его банкетах часто присутствовали павлины, которых он впервые подал на грандиозном августейшем пиру, и которые, по словам Варро, вызывали больше одобрения у роскошных, чем у людей благоразумных и [строгих](#)<sup>264</sup>. Свои оливковые плантации он, как говорят, регулярно увлажнял и поливал вином; а однажды, во время слушания важного дела, в котором он участвовал вместе с Цицероном, попросил, чтобы тот изменил с ним ранее установленный порядок выступления, поскольку он должен был отправиться за город, чтобы полить вином любимый платан, который рос возле его виллы Тус

[pg 125] [culan265](#). Несмотря на такое изобилие, наследник после его смерти обнаружил в погребке не менее 10 000 бочек [вина266](#). Помимо пристрастия к вину и плантациям, он питал страсть к картинам и рыбным прудам. На своей тускуланской вилле он построил зал для приема картины с изображением экспедиции аргонавтов, написанной художником Кидием, которая обошлась в огромную сумму - сто сорок четыре тысячи [сестерций267](#). В своем загородном поместье, близ Баули, на берегу моря, он соперничал с Лукуллом и Филиппом в размерах своих рыбных прудов, которые были построены с огромными затратами и так сформированы, что в них впадал [прилив268](#). Под мысом Баули путешественникам до сих пор показывают Piscina Mirabilis, подземное сооружение, сводчатое и разделенное четырьмя рядами аркад, которое, как предполагают некоторые антиквары, было рыбным прудом Гортензия. Однако его роскошь и нежелание сокращать свои запасы были столь велики, что, давая развлечения в Баули, он обычно отправлялся в соседний город ПUTEОЛИ, чтобы купить рыбу для [ужина269](#). У него в услужении было огромное количество рыбаков, и он уделял столько внимания кормлению своих рыб, что у него всегда был готов большой запас мелкой рыбы, которую пожирали крупные особи. Его с огромным трудом уговаривали расстаться с любой из них, и Варро утверждает, что другу было легче вывести мулов из его конюшни, чем кефаль из его прудов. Он больше беспокоился о благополучии своих рыб, чем о здоровье рабов, и меньше заботился о том, чтобы больной слуга не принял то, что ему не подходит, чем о том, чтобы его рыбы не пили нездоровую [воду270](#). Говорят даже, что он так страстно любил одну миногу, что проливал слезы по поводу ее безвременной [смерти271](#).

С галереи виллы, расположенной на небольшом мысе Баули и смотрящей в сторону ПUTEОЛИ, открывался один из самых восхитительных видов в Италии. Внутренний вид на Кумэ был обширен и великолепен. ПUTEОЛЫ виднелись вдоль берега на расстоянии 30 стадий, в направлении Помпеи; а сами Помпеи были невидимы только на расстоянии. Вид на море был бескрайним, но его оживляли многочисленные суда, проплывающие по заливу, и постоянно меняющийся оттенок его вод: то шафрановый, то лазурный, то пурпурный, в зависимости от дуновения ветерка, восхода или заката [солнца272](#).

[pg 126]

Гортензий владел еще одной виллой в Италии, которая по своей лесной пышности соперничала с морской роскошью Баули. Эта усадьба находилась между Остией и Лавиниумом (ныне Пратика), неподалеку от города Лаурентума, столь хорошо известного по древним преданиям и поэзии, как резиденция короля Латина во время прибытия Энея в Италию, и в настоящее время известного под названием Торре-ди-Патерно. Город Лаурентум находился на берегу, а вилла Гортензия стояла на северо-востоке, на некотором расстоянии от побережья, - между ней и Лаурентумом, а также между ним и Тосканским морем находилась территория, впоследствии занятая виллой младшего Плиния. Вокруг простирались аллеи и сады патрицианских вилл; с одной стороны виднелся город Лаурентум с его общественными банями, с другой, но на большем расстоянии, - гавань Остии. Рядом с домом были рощи и поля, покрытые стадами, а за ними - холмы, поросшие лесом. На северо-востоке горизонт окаймляли величественные горы, а за низкими морскими просторами, лежавшими между портом Остии и Лаурентумом, открывалась далекая перспектива Тосканского [моря273](#).

Здесь у Гортензия был лесной парк площадью в пятьдесят акров, обнесенный стеной. Этот загон он называл питомником диких зверей, которые приходили за провизией в определенный час по звуку рога - так он развлекал гостей, приезжавших к нему на виллу в Лаврентии. Варро упоминает о развлечении, во время которого приглашенные ужинали на возвышении, называемом Триклиниум, в этом силванском парке. Во время трапезы

Гортензий вызвал своего Орфея, который, придя с музыкальными инструментами и получив приказ продемонстрировать свои таланты, затрубил в трубу, и тогда такое множество оленей, кабанов и других четвероногих бросилось к месту со всех сторон, что зрелище показалось восхищенным зрителям не менее прекрасным, чем состязания с дикими животными в большом цирке [Эдилов274](#)!

Красноречие Гортензия принесло ему не только все эти богатства и роскошь, но и высшие государственные почести. В 679 году он стал эдилом, в 682 году - претором, а через два года после этого - консулом. Полученные им богатства и почести, а также отсутствие конкуренции заставили его постепенно ослабить усердие, с которым они были приобретены, пока растущая слава Цицерона, и особенно слава его консульства, не побудили его возобновить свои усилия. Но привычка к труду была в какой-то степени утрачена, и он так и не смог восстановить [pg 127] свою прежнюю репутацию. Цицерон отчасти объясняет этот упадок особым характером и гением своего [красноречия275](#). Оно относилось к тому виду, который называют азиатским и который процветал в греческих колониях Малой Азии, и было бесконечно более ярким и декоративным, чем афинское или даже родосское ораторское искусство, полное блестящих мыслей и искрометных выражений. Этот блестящий стиль риторики, хотя и лишенный основательности и весомости, не был непригоден для молодого человека; кроме того, его дополняла прекрасная каденция периодов, что вызвало бурные аплодисменты. Но Гортензий, по мере того как он продвигался по жизни, не сбавлял пышности и не переходил на более спокойное красноречие; и эта роскошь и блеск фразеологии, которые еще в ранние годы его жизни иногда вызывали насмешки и отвращение у более серьезных отцов сенаторского сословия, совершенно не соответствовали его преклонному возрасту и консульскому достоинству, требовавшему чего-то более серьезного и сдержанного, его репутация падала с годами; И хотя цвет его красноречия, по сути, оставался прежним, он казался несколько [увядшим276](#). Кроме того, из-за ослабления здоровья и сил, которые сильно пошатнулись в последние годы жизни, он, возможно, не мог в полной мере использовать те эффектные виды риторики, которым он предавался. Постоянная зубная боль и опухание челюстей значительно ухудшали его способность к красноречию и произношению и в конце концов стали настолько сильными, что ускорили его кончину.

"Ægrescunt teneræ fauces, quum frigoris atri

Vis subiit, vel quum ventis agitabilis aër

Vertitur, atque ipsas flatus gravis inficit auras,

Vel rabidus clamor fracto quum forte sonore

Planum radit iter. Sic est Hortensius olim

Absumptus: caussis etenim confectus agendis

Obticuit, quum vox, domino vivente, periret,

Et nondum exstincti moreretur lingua [diserti277](#)".

Однако за несколько месяцев до своей смерти, случившейся в 703 году, он выступил в защиту своего племянника Мессалы, обвиненного в незаконной агитации, и был оправдан, скорее благодаря удивительным усилиям своего защитника, чем справедливости его дела.

Его дело считалось настолько неблагоприятным, что, как бы ни была восхищена речь Гортензия, на следующий день, когда он вошел в театр Курио, его встретили громким шумом и шипением, что было тем более примечательно, что за всю свою судебную карьеру он никогда не встречал подобного [pg 128] [обращения](#)<sup>278</sup>. Эта речь, однако, возродила все древнее восхищение публики его ораторскими талантами и убедила ее в том, что если бы он всегда обладал такой же настойчивостью, как Цицерон, то не уступал бы этому оратору. Еще одной его самой знаменитой речью была речь против Манилийского закона, который наделил Помпея столь необычными полномочиями и был так горячо поддержан Цицероном. Речь против закона о роскоши, предложенного Крассом и Помпеем в 683 году и направленного сдерживание потворства собственному вкусу, была хорошо приспособлена к стилю красноречия Гортензия; и его речь была очень характерна для его нрава и привычек жизни. Он пространно рассуждал о славе Рима, которая требовала великолепия в образе жизни его [граждан](#)<sup>279</sup>. Он часто обращал внимание на роскошь самих консулов и своим красноречием и саркастическими высказываниями вынудил их отказаться от плана домашних сокращений.

Речи Гортензия, как уже говорилось, потеряли часть своего эффекта из-за преклонных лет оратора, но еще больше они пострадали, будучи перенесенными на бумагу. Поскольку его главное достоинство заключалось в действии и выступлении, его сочинения значительно уступали тому, что ожидалось от той громкой славы, которой он пользовался; соответственно, после смерти он сохранил мало того уважения, которым так обильно пользовался при [жизни](#)<sup>280</sup>. Если бы его оратории сохранились, они дали бы нам лишь несовершенное представление о красноречии Гортензия; но даже в этом нам было отказано, и теперь мы должны доверять его ораторскому искусству главным образом мнению его великого, но беспристрастного соперника. Дружба и почетное соперничество Гортензия и Цицерона представляют собой приятный контраст с враждой Эсхина и Демосфена, двух великих ораторов Греции. Именно благодаря Гортензию Цицерон был избран одним из членов коллегии авгуров - служба, о которой его удовлетворенное тщеславие, похоже, навсегда сохранило приятные воспоминания. В нескольких своих письмах, написанных во время уныния в изгнании, он, правда, намекает на подозрение, что Гортензий способствовал его изгнанию, чтобы присвоить себе всю славу [адвокатуры](#)<sup>281</sup>; но это недоверие закончилось с его отзывом, который Гортензий, хотя первоначально он советовал ему уступить буре, настоял на этом со всем влиянием, которым обладал. Гортензий также, по-видимому, был свободен от всякого чувства ревности или зависти, что в нем было [pg 129] более похвально, поскольку его соперник был моложе его самого и в конце концов оттеснил его от главенства. При таких чувствах взаимного уважения Цицерон по достоинству оценил его ораторские таланты, представив его как наделенного почти всеми качествами, необходимыми для формирования выдающегося оратора. Его воображение было плодовитым, голос - сладким и гармоничным, манера поведения - достойной, язык - богатым и элегантным, знакомство с литературой - обширным. Память его была столь великолепна, что без помощи письма он помнил каждое слово, которое обдумывал, и каждое предложение ораторской речи своего противника, вплоть до титулов и документов, приводимых в поддержку дела против него - способность, которая в значительной степени способствовала его особенно счастливому искусству излагать суть того, что было сказано его противниками или им [самим](#)<sup>282</sup>. Кроме того, он изначально обладал неутомимым прилежанием; едва ли проходил день, когда он не выступал на Форуме или не упражнялся в судебных исследованиях или подготовке. Но из всех видов ораторского искусства он более всего преуспел в счастливом и ясном изложении своей темы. Цицерон лишь упрекает его, и то лишь слегка, в том, что он проявлял в своих жестах больше тщательности и искусства, чем подобало оратору. Однако, судя по Макробию, современники сильно высмеивали его за

утонченные жесты. Во время выступлений его руки постоянно находились в движении, поэтому противники на Форуме часто нападали на него за сходство с актером; а однажды он получил от своего оппонента прозвище Дионисия, которым звали знаменитую [танцовщицу283](#). Эзоп и Росций часто присутствовали на его выступлениях, чтобы уловить его жесты и подражать им на [сцене284](#). Он был настолько энергичен в действиях, что обычно говорили, что невозможно определить, ходят ли люди слушать или смотреть на [него285](#). Как и Демосфен, он выбирал и надевал свое платье с особой тщательностью и аккуратностью. Говорят, что он не только готовил свои позы, но и поправлял косички своего платья перед зеркалом, когда собирался выйти на Форум; причем укладывал их не менее тщательно, чем выстраивал периоды своих речей. Он так заправлял свое платье, что складки не падали случайно, но были [pg 130] ed с большой осторожностью, с помощью искусно завязанного узла, и скрывал их в складках своего халата, который, казалось, небрежно струился вокруг [него286](#). Макробий также рассказывает о том, как он подал иск о возмещении ущерба против человека, который толкнул его, когда он шел в этом изысканном одеянии, и взъерошил его тогу, когда он собирался появиться на публике с драпировкой, подогнанной в соответствии с самым счастливым [расположением287](#) - анекдот, который, будь он правдивым или ложным, показывает своей валютой мнение о его тщательном внимании ко всему, что касается элегантности его наряда или изящества его фигуры и позы. Он также купался в душистых водах и ежедневно благоухал самыми драгоценными [эссенциями288](#). Это слишком пристальное внимание к своей персоне и жестикуляции, похоже, было единственным недостатком его ораторского характера; а единственным пятном на его моральном поведении была его практика развращения судей по делам, в которых он был занят - практика, которая в значительной степени должна быть отнесена к недостаткам судебной системы в Риме; ибо, какими бы совершенными ни были римские законы, ничто не могло быть хуже процедуры, в соответствии с которой они [применялись289](#).

[pg 131]

Гортензий получил от Цицерона больше справедливости, чем другой оратор, Лициний Кальв, который в течение нескольких лет также считался его соперником в красноречии. Кальвус уже упоминался как изящный поэт; но Сенека называет его соперничество с Цицероном в ораторском искусстве *iniquissimam litem*. Его манера говорить была прямо противоположна манере Гортензия: он затронул аттический вкус к красноречию, такому, каким оно представало в его чистейшей форме - орациях Лисия. Отсюда та правильная и тонкая изысканность, к которой он так старательно стремился и которую проводил с большим мастерством и элегантностью; но, слишком опасаясь излишеств и неподходящих украшений, он утончал и ослаблял свои речи, пока они не теряли своей стремительности и духа. Однако он компенсировал стерильность языка и миниатюрность фигуры силой речи и живостью действий. "Я встречал людей, - говорит Квинтилиан, - которые предпочитали Кальвуса всем нашим ораторам; другие же считали, что слишком большая строгость, которую он проявлял к себе в отношении точности, ослабила его ораторские таланты. Тем не менее, его речи, хотя и целомудренные, серьезные и правильные, часто бывают и резкими. Его писательский вкус был аттическим, и его преждевременная смерть нанесла ущерб его репутации, если он намеревался пополнить свои сочинения, а не сократить их". Его самая знаменитая оратория, направленная против непопулярного Ватиния, была произнесена в возрасте двадцати лет. Тот, кого он обвинял, ошеломленный и встревоженный, прервал его, воскликнув к судьям: "Должен ли я быть осужден за то, что он красноречив?" О том, какие аплодисменты он получил в этом случае, можно судить по тому, что, как упоминает Катулл, кто-то из толпы захлопал в ладоши посреди его речи и воскликнул: "Какой красноречивый [баловень290](#)!" Кальвус прожил всего десять лет после этого периода, [pg 132] умер в раннем

возрасте тридцати лет. Он оставил после себя двадцать одну книгу ораций, которые, как говорят, были хорошо изучены молодым Плинием и стали для него образцом для [подражания291](#).

Кальв, хотя и был намного моложе Цицерона, умер за много лет до него и до написания диалога "Брут". Большинство других современников, о которых Цицерон пишет в трактате "О знаменитых ораторах", также умерли. Среди бесконечного множества других он особенно упоминает Марка Красса, богатого триумвира, погибшего в злополучной экспедиции против парфян, который, хотя и обладал умеренной образованностью и способностями, считался, благодаря своей промышленности и популярному искусству, одним из главных покровителей судебной медицины. Его язык был чист, а тема хорошо изложена; но в его речах не было ни одного огонька и цветочка красноречия - все выражалось в одной манере и одним тоном.

В конце диалога Цицерон упоминает так много своих умерших современников, что Атик замечает, что он собирает отбросы ораторского искусства. Калидий, действительно, кажется единственным оратором, заслуживающим особого внимания. Он отличается от всех других ораторов - настолько мягким и отточенным был язык, на котором он излагал свои изысканно тонкие чувства. Ничто не могло быть более легким, податливым и вязким, чем обороты его периодов; его слова текли как чистый и прозрачный поток, без чего-либо твердого или мутного, что могло бы помешать или загрязнить их течение; его действия были благородными, его манера обращения трезвой и спокойной, его расположение - совершенством искусства. "Три великие цели оратора, - говорит Цицерон, обсуждая достоинства Калидия, - это наставлять, восхищать и двигать. Две из них он выполнил с восхищением. Самые заумные темы он разъяснял с помощью иллюстраций, а умы слушателей приковывал к себе восторгом. Но в третьей похвале - трогать и волновать душу - ему должно быть отказано; у него не было ни силы, ни пафоса, ни [оживления292](#)". Действительно, ему не хватало эмоций там, где они были наиболее уместны и ожидаемы, поэтому, выступая против К. Галлия с обвинениями в попытке отравить его, он хотя и изложил свое дело с изяществом и проницательностью, но так гладко и вяло, что Цицерон, выступавший от лица обвиняемого, утверждал, что обвинение должно быть ложным и выдумкой его самого, поскольку никто не мог так спокойно и безразлично говорить о недавнем покушении, угрожавшем его собственному [существованию293](#).

[pg 133]

Это были самые знаменитые ораторы, которые предшествовали эпохе Цицерона или были его современниками; и прежде чем перейти к рассмотрению ораторских заслуг того, кто затмил их всех, по крайней мере в глазах потомков, будет уместно на минуту напомнить читателю о состоянии римского права, судебной процедуры и обычной практики Форума в то время, когда он начал и продолжал свою блестящую карьеру красноречия.

Законы первых шести царей Рима, называемые *Leges Regiæ*, в основном касались священных предметов, полицейских правил, разделения различных орденов в государстве и привилегий народа. Тарквиний Суперб, разработав план установления деспотии в Риме, попытался отменить все законы своих предшественников, которые налагали контроль на царскую прерогативу. Около времени его [изгнания294](#) сенат и народ, полагая, что пренебрежение к законам вызвано тем, что они никогда не были изложены в письменном виде, решили собрать их и записать в одном томе; эту задачу они поручили Сексту Папирию, патрицию. Папирий с большим усердием собрал все законы монархов, правивших Римом до времен Тарквина. Этот сборник, который иногда называют *Leges Regiæ*, а иногда Папириевым кодексом, не получил того подтверждения и постоянства, которого можно было

ожидать. Многие из *Leges Regiæ* были результатом сиюминутных чрезвычайных обстоятельств и неприменимы к будущим обстоятельствам. Кроме того, будучи постановлениями ненавистой расы и в некоторых отношениях плохо приспособленными к гению и нравам республиканского правительства, многие из них вскоре пришли в [запустение](#)<sup>295</sup>. Новые законы, обнародованные сразу после изгнания королей, касались скорее конституционных изменений, которые были необходимы в результате столь важной революции, чем гражданских прав граждан. Вследствие разногласий между патрициями и плебеями каждый сенатусконсульт, принятый на заседании сената, отклонялся вето трибунов, а сенат, в свою очередь, отрицал авторитет плебисцита и право трибунов предлагать законы. Таким образом, в Риме наступило своего рода юридическое междуцарствие; по крайней мере, не существовало фиксированных правил, которым все классы подчинялись бы в равной степени, и великое [pg 134] народа слишком часто становилось жертвой гордыни патрициев и тирании консульского правительства. В этой ситуации К. Теренций Арса выдвинул закон, известный под названием Терентилия, целью которого было избрание народом десяти человек, которые должны были составить и упорядочить свод законов для управления государственными делами, а также решать гражданские права отдельных лиц в соответствии с установленными правилами. Сенат, утверждавший, что отправление правосудия принадлежит исключительно верховным магистратам, в течение пяти лет ухищлялся откладывать исполнение этой спасительной меры; но в конце концов было решено, что в качестве подготовительного шага и до создания децемвиров, которые должны были составить этот кодекс, три депутата должны быть посланы в Грецию и греческие города Италии, чтобы выбрать такие постановления, которые, по их мнению, лучше всего подходят к нравам и обычаям римского народа.

Делегаты, отправившиеся с этим посольством в конце 300 года, были заняты своей важной миссией два года. Вопрос о том, из каких городов Греции, или *Magna Græciæ*, они в основном заимствовали свои законы, был предметом многочисленных дискуссий и, похоже, до сих пор остается [неясным](#)<sup>296</sup>; хотя чаще всего считается, что Афины были главным источником их законодательства.

По возвращении депутатов в Рим должность консула была упразднена, а десять магистратов, называемых децемвирами, в число которых входили и эти депутаты, были немедленно учреждены. Им было поручено переварить огромную массу законов, привезенных из Греции. Эту задачу они выполнили с помощью Гермодора, изгнанника из Эфеса, который в то время находился в Риме и выступал в качестве переводчика. Но хотя ввоз из Греции составлял главную часть двенадцати таблиц, нельзя считать, что древние законы Рима были полностью отменены. Некоторые из *Leges Regiæ*, не имевшие отношения к монархическому правлению, как, например, законы Ромула о *Patria potestas*, законы об отцеубийцах, об удалении ориентиров и несостоятельных должниках, по молчаливому согласию перешли в консуэтудинарное право; а все те, которые еще соблюдались, были включены в Децемвиральный кодекс; точно так же, как институты героических веков Греции стали частью законов Солона и Ликурга.

Не прошло и года со дня их создания, как децемвиры подготовили десять книг законов, которые, будучи [pg 135] выгравированы на деревянных или слоновой кости таблицах, были представлены народу, получили санкцию сената и ратификацию *Comitia Centuriata*. Вскоре после этого были добавлены две дополнительные таблицы в связи с некоторыми упущениями, которые были замечены и на которые указали децемвиры. Во всех этих таблицах законы были изложены кратко. Первые восемь касались вопросов частного права, девятая - общественного, а десятая - религиозного. Эти десять таблиц устанавливали весьма

справедливые правила для всех сословий без исключения; но в двух дополнительных таблицах были введены некоторые недопустимые различия, а патриции получили множество исключительных привилегий.

В целом, декабристы, похоже, были очень хорошо осведомлены в науке законодательства. Те, кто, подобно [Цицерону](#)<sup>297</sup> и Тациту, владел Двенадцатью таблицами в полном объеме и был наиболее компетентным судьей в том, насколько они были адаптированы к обстоятельствам и нравам народа, высоко оценили мудрость этих законов. Современные недоброжелатели возражали главным образом против кровавых наказаний, которые они налагали, принципов закона возмездия, которые они признавали, и варварских привилегий, разрешенных кредиторам в отношении лиц их должников. Однако более суровые постановления Двенадцати таблиц, очевидно, так и не были введены в действие или так скоро вышли из употребления, что римские законы стали отличаться мягкостью наказаний - бичевание или смерть практически не применялись к римским гражданам.

Таблицы, на которых был начертан Децемвиральный кодекс, были уничтожены галлами при разграблении города; но были предприняты такие усилия по восстановлению копий или их переписыванию по памяти, что сами законы были почти полностью восстановлены.

Можно было ожидать, что система юриспруденции, тщательно собранная из всей законодательной мудрости Италии и Греции, должна была восстановить в содружестве тот порядок и безопасность, которые были разрушены неопределенностью законов и спорами патрициев и плебеев. Но события не оправдали обоснованных ожиданий. Честолюбие и незаконные страсти главного децемвира привели к тому, что ему и его коллегам пришлось отречься от власти прежде, чем они достаточно точно определили, каким образом их постановления должны быть реализованы на практике или приведены в исполнение. Таким образом, стало необходимым ввести определенные формулы, названные *Legis Actiones*, чтобы [pg 136] не допустить произвола и неопределенности в процедурах. Эти формулы, состоящие главным образом из определенных символических жестов, приспособленных к юридическому иску или защите, были подготовлены Клавдием Кексом примерно в середине пятого века в Риме, но предназначались для сохранения в тайне среди понтификов и патрицианских юристов, чтобы народ не имел возможности пользоваться законом без их помощи. Кл. Флавий, секретарь Клавдия, имея доступ к этим формулярам, переписал их и передал народу примерно в середине пятого века Рима. От этого обстоятельства они получили название *Jus civile Flavianum*. Это открытие было настолько неприятно патрициям, что они придумали новые правовые формы, которые держали в тайне еще более тщательно, чем другие. Но в 553 году Секст Илиус Катус снова разгласил их, и в результате эти последние предписания получили название *Jus Ælium*, которое можно считать последней частью и завершением децемвиральных законов; оно продолжало использоваться в качестве процессуальной формы в течение всего оставшегося периода существования содружества.

Пока существовала республика, Двенадцать таблиц составляли основу римского права, хотя их толковали и расширяли новыми постановлениями, которых требовали обстоятельства [государства](#)<sup>298</sup>. Так, *Lex Aquilia* и *Alinia* были простыми модификациями различных глав двенадцати таблиц. Большинство новых законов было введено в связи с ростом империи и роскоши, а также противоречивыми интересами различных порядков в государстве. Законы, правильно называемые так, предлагались высшим магистратом, таким как консул, диктатор или претор, с согласия сената; они принимались всем народом, патрициями и плебеями, собравшимися в *Comitia Centuriata*, и носили имя того, кто их предложил.

Плебеи принимали плебисциты в трибутной комиции, отдельно от патрициев и независимо от санкции сената, по решению своих трибунов, а не одного из высших магистратов. Патриции обычно сопротивлялись этим указам, поскольку они были направлены главным образом против власти сената и привилегий высших государственных чинов. Но в соответствии с Lex Horatia им был придан тот же вес и авторитет, что и законам, называемым так правильно, и впредь они отличались только названием и способом принятия.

[pg 137]

Сенатусконсульт - это постановление сената по тем вопросам, по которым он обладал исключительной властью; оно относилось скорее к государственным делам, таким как распределение провинций, использование государственных денег и тому подобное, чем к обычному отправлению правосудия.

Патриции, лишённые Двенадцатью таблицами привилегии произвольно выносить решения в соответствии со своими интересами и потерпевшие неудачу в своих жалких попытках сохранить неоправданное преимущество в вопросах формы, засекретив правила процедуры, принятые в судах правосудия, теперь сохранили за собой лишь право толковать другим объём и дух законов. По крайней мере, до эпохи Августа гражданское право было совершенно несвязанным и разрозненным, и за все время существования республики не появилось ни одного систематического, доступного или авторитетного трактата по этому вопросу<sup>299</sup>. Законы Двенадцати таблиц были чрезвычайно краткими и эллиптическими; представляется весьма вероятным, что они были написаны в таком стиле не ради ясности, а для того, чтобы оставить все, что требовалось дополнить или истолковать, во власти патрициев<sup>300</sup>. Изменения в обычаях и языке римлян делали стиль Двенадцати таблиц менее привычным для каждого последующего поколения, а двусмысленные места были лишь несовершенно объяснены благодаря исследованиям юристов-антикваров. Кроме того, каждый последующий претор имел обыкновение публиковать эдикт, объявлявший о том, каким образом он будет вершить правосудие, какими правилами он будет руководствоваться при решении сомнительных дел и в какой степени его справедливость будет отличаться от точной строгости древних статутов. Это ежегодное изменение форм, а иногда и принципов права вносило путаницу, которую не могли распутать люди, занятые другими делами. Неясность старых законов и непостоянство юрисдикции преторов породили класс людей, называемых юристами, чьим делом было объяснять юридические трудности и примирять противоречия в законах. Именно отношения покровителя и клиента, существовавшие почти с самого города и наделенные священным, неприкосновенным характером, придавали вес диктам тех, кто в какой-то мере пришел на смену древним покровителям и обычно принадлежал к патрицианскому сословию. - "В публичные дни рынка или собраний, - говорит Гиббон, - мастеров искусства можно было увидеть прогуливающимися по Форуму, готовыми дать необходимый совет самым скупым из своих сограждан, от [pg 138] которых в будущем они могли потребовать благодарной отдачи. По мере того как увеличивались их годы и почести, они усаживались дома на стул или трон, чтобы с терпеливой серьезностью ожидать визитов своих клиентов, которые на рассвете дня из города и деревни начинали греметь у их дверей. Обязанности общественной жизни и случаи судебного разбирательства были обычным предметом этих консультаций; устные или письменные заключения юрисконсультов составлялись в соответствии с правилами благоразумия и закона. Молодым людям из своего ордена и семьи разрешалось слушать; их дети пользовались преимуществами более частных уроков; и род Муциан долгое время славился наследственным знанием гражданского права<sup>301</sup>". Хотя до времен императоров судьи и преторы не были абсолютно обязаны следовать записанным мнениям юрисконсультов, во

время существования республики они имели преобладающий вес и авторитет. Таким образом, эти толкователи древних законов постепенно вторгались в сферу законодательства, пока в конце концов их записанные мнения, *Responsa Prudentum*, не стали столь многочисленными и авторитетными, что составили большую часть системы римской юриспруденции, которую Цицерон в своей оратории к Цецине назвал *Jus Civile*.

Однако совершенно очевидно, что ораторы Сената и Форума не слишком изучали и знали гражданское право. Цицерон в своем трактате *De Oratore* сообщает нам, что сир Гальба, первый оратор своего времени, был невежественен в законах, неопытен в гражданских правах и не знал институтов своих предков. В своем "Бруте" он говорит почти то же самое об Антонии и Сульпиции, которые были двумя величайшими ораторами своей эпохи и которые, по его словам, ничего не знали ни о государственном, ни о частном, ни о гражданском праве. Антоний, в частности, всегда выражал презрение к изучению гражданского права<sup>302</sup>. Так, в диалоге *De Oratore* его заставляют сказать: "Я никогда не изучал гражданского права и не чувствовал никакого ущерба от своего незнания его в тех делах, которые я был способен вести в наших судах<sup>303</sup>". В том же диалоге Сцевола говорит: "Нынешний век совершенно не знает законов Двенадцати таблиц, за исключением тебя, Красс, который, руководствуясь любопытством, а не тем, что это какая-то область, связанная с красноречием, изучал гражданское право при мне". В своей оратории к Мурене Цицерон легкомысленно говорит об изучении гражданского права и с презрением относится к своему оппоненту за знание его слов [pg 139] стиля и форм *судопроизводства*<sup>304</sup>. Итак, за исключением Красса и Сцеволы, который был скорее юрисконсульт, чем оратором, ораторы эпохи Цицерона, как и предшествующие ей, не были сведущи в праве и не считали своим долгом быть мастерами ни общих принципов юриспруденции, ни муниципальных институтов государства. Красс, правда, высказывает мнение, что оратору невозможно добиться справедливости по отношению к своему клиенту без некоторого знания права, особенно в вопросах, рассматриваемых центумвирами, которые разбирали вопросы, связанные с выходом и регрессом имущества, интересами несовершеннолетних и изменением течения рек; он упоминает несколько случаев, в том числе уголовного характера, которые недавно произошли в Риме, где вопрос полностью зависел от гражданского права и требовал постоянного обращения к прецедентам и авторитетам. Антоний, однако, объясняет, как все это можно уладить. Например, оратор, не знающий, как составляется договор, и не знакомый с его формами, может защищать права женщины, вступившей в брак, потому что есть люди, которые приносят оратору или патрону все готовое - представляют ему краткое изложение, или мемориал, не только по вопросам факта, но и по постановлениям сената, прецедентам и мнениям юристов. Похоже, что существовали также адвокаты или профессора гражданского права, к которым ораторы обращались по любому вопросу, относительно которого они хотели получить наставления и знание которого могло быть необходимо до их появления на Форуме. В такой ситуации речь оратора чаще всего была апелляцией к справедливости, здравому смыслу или чувствам судьи, а не к законам его страны. Теперь, когда оратор обращается к справедливости своих судей, у него гораздо больше поводов и возможностей проявить свое красноречие, чем когда он должен черпать свои аргументы из строгого закона, устава и прецедентов. В первом случае необходимо принимать во внимание множество обстоятельств; учитывать множество [pg 140] личных соображений; и даже благосклонность и склонность, которые оратор должен примирить своим искусством и красноречием, могут быть замаскированы под вид справедливости. Поэтому Цицерон, выступая от своего лица, говорит лишь о том, что не следует пренебрегать наукой о законе и гражданских правах; но, похоже, он не считает ее необходимой для оратора на Форуме, в то время как он подчеркивает необходимость изящества языка,

эрудиции ученого, готового и популярного остроумия и способности воздействовать на страсти<sup>305</sup>.

То, что именно на эти искусства римские ораторы в основном полагались для достижения успеха в делах своих клиентов, следует из остатков их выступлений, а также из того, что говорится о способе ведения речи в риторических трактатах Цицерона. "У Понтия, - рассказывает Антоний в столь часто цитируемом диалоге, - был сын, который служил в войне с кимврами и которого он предназначил в наследники; но его отец, поверив распространенному ложному сообщению о его смерти, составил завещание в пользу другого ребенка. Солдат вернулся после смерти родителя, и, если бы ты взялся защищать его дело, ты бы не стал обсуждать юридическую доктрину о приоритете или действительности завещаний; ты бы поднял его отца из могилы, заставил его обнять своего ребенка и со слезами рекомендовать его под защиту центумвиров".

Антоний, рассказывая об одной из своих самых знаменитых ораций, говорит, что вся его речь состояла, во-первых, из возбуждения страстей; во-вторых, из рекомендации себя; и что именно таким образом, а не путем убеждения судей в своей правоте, он предотвратил обвинения против своих клиентов<sup>306</sup>. Валерий Максим в своей восьмой книге приводит множество примеров неожиданных и незаслуженных оправданий, а также осуждений, вызванных вспышками сострадания и театральными инцидентами. Удивительное влияние готового и популярного остроумия в управлении делами также очевидно из примеров, приведенных во второй книге *De Oratore*, о том, какие эффекты оно производило на Форуме. Приведенные там шутки, хотя и не очень удачные, можно считать лучшими цветами остроумия римской адвокатуры. Иногда они были направлены против противоположной стороны, его покровителя или свидетелей; и, если они были достаточно дерзкими, то редко оказывались безрезультатными.

Принципы и предписания гражданского права были так мало изучены римскими ораторами и почти никогда не упоминались в их речах, в то время как, с другой стороны, искусство убеждения, остроумие и возбуждение страстей были всепоглощающими [pg 141] erful, и были великими двигателями юридических дискуссий, следует отнести на счет конституции судов и характера судебной процедуры, которые, хотя и были весьма несовершенны для отправления правосудия, были хорошо приспособлены для поощрения и осуществления высочайших способностей красноречия. Именно формы судопроизводства - описание судов, в которых рассматривались вопросы, и характер самих вопросов<sup>307</sup> - придали римскому ораторскому искусству такое ослепительное великолепие и окружили его славой, которая никогда не сможет осветить усилия риториков в более регулируемом обществе и при более трезвом отправлении правосудия.

Большими демонстрациями красноречия были, во-первых, гражданские и уголовные дела, рассматриваемые перед претором или судьями, назначенными под его наблюдением. Во-вторых, при обсуждении законов, предложенных в народных собраниях. В-третьих, в обсуждениях в сенате.

Претор заседал на Форуме - так называлась большая площадь, расположенная между горой Палатин и Капитолием, - и вершил там правосудие. Иногда он рассматривал дела в базиликах, или залах, которые были построены вокруг Форума; но в другое время суд претора проходил на площади Форума, на которой был наспех возведен трибунал, и определенное пространство для патрона, клиента и свидетелей было отгорожено перилами и защищено от посягательств окружающих зрителей. Это пространство было слегка прикрыто сверху

холстом, но, будучи со всех сторон открыто воздуху, суд был открытым, в самом строгом смысле этого слова<sup>308</sup>.

Со времен первой Пунической войны существовало два претора, которым поручалось рассмотрение гражданских исков, - претор городской и претор перегринов. Первый рассматривал дела граждан в соответствии с римскими законами, второй - дела союзников и чужеземцев по принципам естественной справедливости; но с ростом числа судебных дел число преторов было увеличено до шести. Претор был главным судьей по всем вопросам, которые не входили в компетенцию народных собраний или сената. Каждый иск, таким образом, в первой инстанции рассматривался претором; но он принимал решения только по важным гражданским искам; если дело было недостаточно велико для немедленного расследования его трибуналом или зависело исключительно от фактов, он назначал одного или нескольких лиц для его рассмотрения. Эти [pg 142] выбирались из списка *judices selecti*, который составлялся из представителей трех орденов - сенаторов, рыцарей и народа. Если назначался только один человек, его называли *judex*, или арбитр. Судья решал только те дела, которые были легкими или малозначительными; он должен был действовать в соответствии с прямым законом или определенной формой, предписанной ему претором. Арбитр решал вопросы справедливости, которые не были достаточно определены законом, и его полномочия не были так ограничены претором, как полномочия обычного судьи. Если претор назначал не одного, а несколько человек, их называли рекуператорами (*Recuperatores*), и они решали вопросы права или справедливости, требующие длительного обсуждения. Некоторые дела, особенно связанные с завещаниями или наследованием, претор обычно передавал на рассмотрение центумвиров, которых было 105 человек, выбранных поровну из тридцати пяти племен. Претор, прежде чем передать дело кому-либо из тех, кого я могу назвать общим именем судей, хотя на самом деле они больше походили на присяжных, составлял формулу, как это называлось, или вопрос, по которому они должны были принять решение; например, так: "Если будет доказано, что поле находится во владении Сервилия, вынести приговор Катулу, если он не представит завещания, из которого следует, что оно принадлежит ему".

Именно в присутствии этих судей покровители и ораторы, окруженные толпой друзей и сторонников, отстаивали интересы своих клиентов. Они начали с краткого изложения сути спорных вопросов. Затем допрашивались свидетели, и аргументы по делу приводились в исполнение в официальной речи. Затем выносилось решение, согласно мнению большинства судей. Центумвиры продолжали исполнять обязанности судей в течение целого года, но другие судьи заседали только до тех пор, пока не было решено конкретное дело, для которого они были назначены. Однако они оставались в многочисленном списке избранных судей и могли быть вновь созваны до конца года, когда выбирался новый состав для судебных дел на следующий сезон. Претор имел право отменять решения судей, если обнаруживалось, что было совершено какое-либо мошенничество или грубая ошибка. Если же ни того, ни другого не было, на него возлагалась обязанность следить за исполнением вынесенного судьями приговора. Наряду с судебными и министерскими функциями, претор обладал своего рода законодательной властью, с помощью которой он восполнял недостаток законов, признанных недостаточными для многих гражданских чрезвычайных ситуаций. Каждый новый претор, как мы уже видели, вступая в должность, издавал эдикт, в котором объявлял дополнительный кодекс, которому он намеревался следовать. У каждого претора был [pg 143] свой эдикт; и, что еще хуже, никто и не думал придерживаться правил, которые он сам вывел; пока, наконец, в 686 году Корнелийский закон, встретивший много возражений, не запретил претору отступать на практике от тех принципов, или правил, которые он изложил в своем эдикте.

Судебные процессы, связанные со смертной казнью, то есть с жизнью или свободой римского гражданина, проводились в *Comitia Centuriata* после учреждения этих собраний Сервием Туллеем; но власть народа время от времени передавалась инквизиторам (*Quæsitores*) в вопросах, ранее установленных законом. В течение некоторого времени все важные уголовные дела решались таким образом: Но из-за многочисленности судебных процессов, которая увеличивалась с ростом масштабов и пороков республики, пришлось прибегнуть к другим способам их рассмотрения. Первоначально преторы судили только гражданские дела, но во времена Цицерона, да и с начала седьмого века, четверо из шести преторов были назначены председательствовать на уголовных процессах: один рассматривал вопросы вымогательства, второй - казнокрадства, третий - незаконной торговли, а последний - преступления против государства, такие как *Crimen majestatis*, или государственная измена. К ним Силла в середине седьмого века добавил еще четырех, которые расследовали акты общественного или частного насилия. В важных процессах претору помогал совет избранных судей или присяжных, которые первоначально выбирались из сената, а затем из рыцарского ордена; но во времена Цицерона, вследствие закона Котты, они были взяты из сенаторов, рыцарей и трибунов казначейства. Число этих заседателей, назначаемых на год и выдвигаемых претором, колебалось от 300 до 600; из них меньшее число выбиралось по жребию для каждого отдельного случая. Любой римский гражданин мог обвинить другого перед претором, и нередко молодые патриции брались за обвинение несносного магистрата, просто чтобы зарекомендовать себя в глазах или благосклонности своих соотечественников. В таких случаях часто возникало соперничество между двумя лицами за право руководить процессом импичмента, и предпочтение отдавалось предварительному испытанию, называемому *Divinatio*. Когда этот предварительный вопрос был решен и назначен день основного разбирательства, обвинитель в своей первой речи объяснял суть дела, подкрепляя свои слова по ходу дела доказательствами, которые состояли из добровольных показаний свободных граждан, заявлений рабов, полученных под пытками, и письменных документов. Цицерон не придавал особого значения показаниям рабов, но искусство вытягивать правду из свободного [pg 144] свидетеля, возвышать или обесценивать его характер и выставлять его показания в выгодном свете, считалось одним из важнейших качеств оратора. Когда показания заканчивались, обвинитель подкреплял доказательства установленной речью, после чего обвиняемый приступал к защите.

Но хотя рассмотрение преступлений в обычных случаях передавалось преторам, все же комиции оставляли за собой право судить; и они действительно судили по делам, в которых были заинтересованы народ или трибуны, которые им диктовали, а это были главным образом импичменты государственных магистратов за взяточничество или казнокрадство. В любом случае, независимо от того, рассматривалось ли дело перед всем народом или перед претором, не подразумевалось, что одна из сторон должна быть очень скрупулезной в соблюдении истины. Судьи также иногда были ошеломлены войсками и угрозами. Агитация за оправдание и осуждение была одинаково явной, а к подкупу, по крайней мере для первой цели, прибегали постоянно. Таким образом, сами преступления негодяя, разграбившего вверенную его попечению провинцию, давали ему самое очевидное средство для отпущения грехов; а для богатого казнокрада не было ничего проще, чем сбежать от правосудия, кроме возможности обвинить невинного и незащищенного. "Иностранные народы, - говорит Цицерон, - скоро потребуют отмены закона, запрещающего поборы провинциальных магистратов; Ибо они будут утверждать, что если бы все преследования по этому закону были отменены, то их правители брали бы не больше того, что удовлетворяло бы их собственную алчность, тогда как теперь они требуют сверх этого столько, сколько достаточно для удовлетворения их покровителей, претора и судей; и что хотя они могут дать

достаточно, чтобы удовлетворить алчность одного человека, они совершенно не в состоянии оплатить его безнаказанность в [вине309](#)."

Организация судебных трибуналов была убогой, а их практика - скандальной. Сенат, преторы и комиции - все они разделяли законодательную и судебную власть и обладали своего рода взаимным правом оппозиции и отмены, которое они использовали для удовлетворения своей алчности или предрассудков, а не в целях правосудия. Но как бы ни была вредна эта система для тех, кому нужно было отстаивать претензии или права, она предоставляла самое широкое поле для красноречия. Преторы, хотя и являлись верховными судьями, не были людьми, воспитанными в законе, умудренными годами, знакомыми с прецедентами, уверенными в своей независимости и закрепившимися на своем посту на всю жизнь. Это были молодые люди с небольшим опытом, которые занимали должность в течение определенного времени и проходили через нее к самым важным должностям в республике. Хотя их процедура была строгой в некоторых тривиальных пунктах предварительной формы, разработанной древними юристами, в более существенных вопросах они пользовались опасной свободой действий. Под опасным предлогом справедливости они уклонялись от закона с помощью различных ухищрений или фикций; и таким образом, не будучи наделены законодательной властью, они отменяли древние постановления в соответствии с капризом. Еще хуже было, когда в гражданских делах полномочия претора передавались судьям, а в уголовных процессах юрисдикцию брал на себя весь народ. Неопытность, невежество и народные предрассудки тех, кто должен был их решать, делали судебные процессы крайне неопределенными и зависящими не от какого-либо фиксированного закона или принципа, а от мнений или страстей буйных судей, на которых можно было влиять и двигать ораторским искусством. Это давало широкие возможности для демонстрации всего того интересного и разнообразного красноречия, которым изобиловали речи древних ораторов. Для достижения успеха использовались такие средства, как примирение, привлечение внимания, устранение или разжигание предрассудков, но, прежде всего, возбуждение сострадания. Поэтому мы видим, что при защите преступника, хотя закон или прецедент упоминался редко, приводилось все, что могло послужить завоеванию благосклонности судей или вызвать их жалость. Обвиняемый, как только назначался день суда, принимал явно запущенное одеяние; и хотя ему разрешалось, независимо от преступления, оставаться на свободе до вынесения приговора, он обычно присутствовал в суде в окружении своих друзей, а иногда и в сопровождении детей, чтобы придать более жалкий эффект причитаниям и восклицаниям своего адвоката, когда тот переходил к той части речи, в которой надлежало оплакивать падшее и беспомощное состояние своего клиента. Пизон, справедливо обвиненный в притеснениях по отношению к союзникам, простерся на земле, чтобы поцеловать ноги своих судей, и поднялся с лицом, оскверненным грязью, и получил немедленное оправдание. Даже если дело было благое, необходимо было унять страсти и положиться на сострадание судьи, а не на его представления о праве. Рутилий запретил использовать в свою защиту любые восклицания и мольбы: Он даже запретил привычное и ожидаемое волнение от призывов и ударов ногами; и "он был осужден, - говорит Цицерон, - хотя и был самым добродетельным из римлян, потому что его адвокат был вынужден защищать его так, как он делал бы это в республике Платона". Таким образом, становится ясно, что уповать только на невиновность опасно, а судьи - капризные арбитры судьбы своих сограждан, а не (как того настоятельно требовало их положение) непреклонные толкователи законов своей возвышенной страны.

Но если способ рассмотрения причин был благоприятен для упражнений красноречия, то многое следует отнести и на счет характера самих вопросов, особенно уголовных, рассматривавшихся перед пэрством или народом. Едва ли можно представить себе более великолепные возможности для проявления ораторского искусства, чем те, которые предоставляли жалобы угнетенных и ограбленных провинций на своих алчных правителей. На обширных просторах римской державы постоянно возникали многочисленные случаи, которые редко встречаются в других странах и не имеют аналогов в истории Британии, за исключением памятного импичмента, который не только продемонстрировал, но и создал такое красноречие, которое может быть вызвано только великолепными темами, без которых риторическое негодование показалось бы экстравагантным, а попытка пафоса - смешной.

Место, на котором собирались судебные инстанции, тоже было рассчитано на то, чтобы вдохновлять и усиливать красноречие. Римский форум представлял собой одно из самых великолепных зрелищ, какое только может представить глаз или фантазия. Это пространство представляло собой продолговатую площадь между Палатинским и Капитолийским холмами, состоящую из огромного скопления роскошных, хотя и неправильной формы зданий. На стороне, примыкающей к Палатинскому холму, находились древний дом Сената, Комиций и храм Ромула Основателя. С противоположной стороны площадь была ограничена Капитолием с возвышающимися портиками и храмом божества-правителя на вершине. Другие стороны площади были украшены базиликами и пиастрами, завершенными триумфальными арками, и окаймлены статуями, воздвигнутыми в память о древних героях или хранителях своей [страны](#)<sup>310</sup>. Будучи долгое время театром группировок, политики, интриг, преступлений и революций столицы, каждый участок ее поверхности был посвящен воспоминаниям о каком-нибудь великом происшествии в отечественной истории римлян; а о победах над внешними врагами ярко напоминали сам Рострум, стоявший в центре свободной площади, и другие трофеи, полученные от побежденных народов: - "Et cristæ caputum".

"Et cristæ caputum, et portarum ingentia claustra,

Spiculaque, clipeique, ereptaque rostra [carinis](#)<sup>311</sup>."

[pg 147]

Это сердце и центр мира окружало огромное количество магазинов, в которых хранилось множество самых дорогих товаров, так что он был местом проведения всех важных торговых операций. Будучи таким образом империумом закона, политики и торговли, он стал местом отдыха деловых людей, а также тех бездельников, которых Гораций называет Forenses. Каждый римский гражданин, считая себя членом одной обширной и прославленной семьи, с ревнивой бдительностью следил за поведением своих правителей и с тревогой ожидал решения каждого важного дела. Во всех процессах, связанных с притеснениями или вымогательствами, римская толпа проявляла особый интерес, собираясь на Форуме в таком количестве, что даже его просторной площади едва хватало, чтобы вместить тех, кого влекло сюда любопытство, и кто в ходе процесса имел привычку выражать свои чувства криками и восклицаниями, так что оратор всегда был окружен многолюдной и бурной аудиторией. Это многочисленное собрание, хотя и вселяло в оратора уверенность и оживление после того, как он начинал свою речь, в перспективе порождало то беспокойство, которое заставляло тщательнейшим образом готовиться к выступлению перед публикой. Опасения и даже трепет, которые испытывали величайшие ораторы Рима при приближении дня, назначенного для слушания судьбоносных дел, видны из многих отрывков риторических

произведений Цицерона. Таким образом, римский оратор обращался к своим судьям со всеми преимуществами, вытекающими как серьезного изучения кабинета, так и воодушевления, вызванного безудержными и беспорядочными аплодисментами.

2. Рядом с судами правосудия великим театром для демонстрации красноречия были комиции, или собрания народа, которые собирались для обсуждения предложений о принятии нового или отмене старого закона. Редко какой закон выносился на рассмотрение, но находился оратор, который отговаривал от его принятия; и как в судах правосудия обращались к страстям судей, так и сторонники или противники закона не ограничивались целесообразностью меры, а пользовались предрассудками народа, попеременно подтверждая их ошибки, потакая их капризам, удовлетворяя их пристрастия, возбуждая их ревность и разжигая их неприязнь. Здесь, как нигде, многие обхаживали немногих - здесь, как нигде, создавалось то волнение, которое наиболее благоприятно для влияния красноречия и является тем элементом, в котором только оно дышит свободно.

3. Наконец, обсуждения в Сенате, который был великим советом государства, предоставляли, по крайней мере его членам, [pg 148] самые благородные возможности для упражнений красноречия. Этот августейший и многочисленный орган состоял из лиц, достигших определенного возраста, обладавших определенным имуществом, с безупречной репутацией, большинство из которых прошли через ежегодные магистратуры государства. С ними советовались почти во всем, что касалось управления или безопасности государства. Право заключать войну и мир, хотя в конечном счете оно принадлежало народу, собравшемуся в Comitia Centuriata, обычно полностью переходило к сенату, который принимал декрет о мире или войне до голосования в Comitia. Сенат также всегда оставлял за собой верховное руководство и надзор за религией страны, распределение государственных доходов, сбор и роспуск войск, определение службы, на которой они должны быть заняты, назначение губернаторов в провинциях, награждение успешных генералов за их победы и опека государства во время гражданского раздора. Это были главные темы дебатов в Сенате, и обсуждались они в определенные дни года, когда его члены собирались сами или когда их созывали по какому-либо срочному делу. Они неизменно собирались в храме или другом освященном месте, чтобы придать торжественность своим заседаниям, поскольку они проходили под непосредственным наблюдением Небес. Консул, который председательствовал на заседании, открыл дело дня, кратко изложив вопрос, который должен был быть рассмотрен собранием. Затем он спросил мнения членов собрания в порядке их рангов и старшинства. Свобода дебатов проявлялась во всей своей широте, ибо, хотя ни одному сенатору не разрешалось высказывать свои соображения, пока не наступала его очередь, он имел право говорить столько, сколько считал нужным, ни в малейшей степени не ограничивая себя в обсуждаемом вопросе. Иногда, правда, отцы-призыватели советовались о положении дел в содружестве в целом; но даже когда их вызывали для обсуждения какого-то конкретного вопроса, они, похоже, пользовались привилегией говорить о чем угодно другом, что попадалось им на глаза. Так, мы видим, что Цицерон воспользовался возможностью выступить со своим седьмым "Филиппиком", когда сенат совещался по поводу Аппиевой дороги, чеканки монет и Луперция - предметов, не имевших отношения к Антонию, против которого он разразился язвительной речью от одного конца своей оратории до другого, не обращая ни малейшего внимания на единственные пункты, которые были переданы на рассмотрение [сенаторов](#)<sup>312</sup>. Решение главного [pg 149] было выражено в форме декрета, который, хотя и не являлся законом, имел право на такое же почтение в отношении того, к чему он относился; и, за исключением тех случаев, когда интересы государства требовали сокрытия, были предприняты все усилия, чтобы придать максимальную гласность всем заседаниям сената.

Численность сената варьировалась, но во времена Цицерона она была почти такой же, как в британской палате общин; однако для кворума требовалось большее число членов. Иногда присутствовало от 400 до 500 членов, но 200, по крайней мере, в определенные сезоны года, составляли то, что считалось полным составом. Это придавало сенаторскому красноречию дух и оживление, создаваемые присутствием народного собрания, и в то же время совещательная величественность заседаний требовала весомости аргументов и достоинства поведения, не ожидаемых в Comitia, или Forum. Соответственно, легкомыслие, находчивость и остроумие, которые там так часто увенчивались успехом и аплодисментами, считались неуместными в сенате, где консульский, или преторский, оратор должен был одерживать верх благодаря глубине рассуждений, чистоте выражения и явному рвению к общественному благу.

Именно авторитет сената, спокойствие и внушительность его заседаний придали латинскому ораторскому искусству несколько иной характер, чем греческому красноречию, с которым, в силу римского духа подражания, оно во многих отношениях имело столь близкое сходство. Власть Ареопага, который изначально был самым достойным собранием в Афинах, была ослаблена демократическими нововведениями Перикла. С этого времени все, даже самые важные государственные дела, в чистой афинской демократии полностью зависели от мнения или, скорее, сиюминутного каприза непостоянного народа, который любил удовольствия и отдых, легко поддавался новизне и был уверен в своей власти. Поскольку их скоропалительные решения часто зависели от мгновенного энтузиазма, оратор должен был запустить в их грудь те электрические искры красноречия, которые разжигали их страсти и не оставляли ни одного уголка разума, пригодного для холодного размышления. Дело оратора - не дать им времени оправиться от шока, ибо его сила была бы израсходована, если бы им позволили занять себя красотами стиля и дикции. "Не аплодируйте оратору, - говорит Демос [pg 150] thenes в конце одной из своих "Филиппик", - а делайте то, что я посоветовал. Я не могу спасти вас своими словами, вы должны спасти себя своими действиями". Когда народ был убежден, все было сделано, и его решение было закреплено оратором в своего рода декрете. Римский народ, напротив, был более рассудительным, умеренным и менее тщеславным, чем афиняне, и вся власть в государстве принадлежала ему. Напротив, происходило накопление полномочий и усложнение различных интересов, которыми необходимо было управлять. Теоретически, конечно, суверенитет принадлежал народу, но практическое управление было доверено сенату. Как видно из третьей оратории Цицерона, *De Lege Agraria*, одни и те же дела часто рассматривались одновременно в сенате и на роstraх. Поэтому в судебных и законодательных процессах, в которых, как мы видели, так часто апеллировали к чувствам судей и предрассудкам вульгарных людей, некоторая доля сенаторского духа пронизывала и контролировала народные собрания, сдерживала стремительность решений и придавала ораторам Форума или Комиции, которые только что выступили или должны были выступить на следующий день в Сенате, более серьезный и сдержанный тон, чем если бы их языки никогда не использовались только для того, чтобы подгонять разгоряченную толпу.

Но если греки были более порывистыми и непостоянными, то они были и более интеллектуальным народом, чем римляне. Литература и утонченность были более развиты в эпоху Перикла, чем Помпея. В ораторском искусстве народная аудитория должна руководствоваться тем, что соответствует чувствам и вкусу эпохи. С такой интеллектуальной расой, как греки, оратор должен был использовать самые точные рассуждения и самую методичную организацию своих аргументов. Цветы риторики, если только они не вырастали прямо из стебля его рассуждений, вызывали мало восхищения. Римляне же требовали возбуждения фантазии, сравнений, метафор и риторических украшений. Поэтому римский

оратор больше стремился соблазнить воображение, чем убедить понимание; его речи украшались частыми отступлениями в область морали и философии, и он был менее прилежен к точности, чем к орнаменту.

В целом, обстоятельства римской конституции и судебной процедуры, кажется, чудесно сговорились, чтобы сделать

[pg 151]

## ЦИЦЕРО

искусным оратором. Он родился и получил образование в тот период, когда у него должно было сложиться самое возвышенное представление о своей стране. Она достигла вершин могущества и еще не погрузилась в покорность или рабство. Темы для обсуждения и характеры, о которых нужно было говорить, были, таким образом, самого внушительного масштаба, и к ним еще можно было относиться свободно и независимо. Образование, которое получил Цицерон, также было весьма благоприятным для его совершенствования. Его учителями были первые философы эпохи, а гражданское право он изучал под руководством Сцеволы, самого ученого юриста, который до сих пор появлялся в Риме. Когда он приходил на Форум, то имел возможность ежедневно слушать Гортензия, бесспорно, самого красноречивого оратора, который когда-либо блистал на Форуме или в Сенате. Выступления этого великого оратора сформировали его вкус, привели к подражанию и до самого конца его ораторской карьеры служили стимулом к усилиям, которые могли бы ослабнуть, останься он без конкурента на Форуме. Пылающая риторика Гортензия передала бы его сопернику более яркое пламя красноречия, чем если бы он был призван опровергать холодного и неодоушевленного противника. Однако великий секрет его выдающегося ораторского мастерства заключался в том, что, несмотря на свое тщеславие, он никогда не впадал в апатию по отношению к дальнейшему совершенствованию, которой так часто сопровождается самодовольство. Напротив, после двух знаменитых ораций, наполнивших Форум его славой, Цицерон, не удовлетворившись столичными аплодисментами, на время оставил блестящую карьеру, в которую вступил, и в течение двух лет путешествовал по городам Греции в поисках философского совершенствования и риторических наставлений.

Обладая ораторскими способностями, превосходящими все, что было известно в его собственной стране, и, возможно, не уступающими тем, которые когда-либо украшали любую другую страну, он обладал, в степени, превосходящей всех ораторов, какого бы возраста или нации они ни были, общим и подробным знакомством с философией и литературой, а также восхитительной способностью излагать плоды своих трудов наиболее полно, доходчиво и привлекательно. К этим обширным знаниям, которыми обогащался его ум и снабжался бесконечными темами для иллюстраций, к возвышенным идеям красноречия, которые вечно вращались в его мыслях, к тому образу, который вечно преследовал его грудь, [pg 152] такое бесконечное и сверхчеловеческое совершенство в ораторском искусстве, что даже периоды Демосфена не восполнили меру его представлений<sup>313</sup>, мы в первую очередь обязаны тем эманациям гения, которые дали, как бы, бессмертный язык ныне опустевшему Форуму и разрушенному Сенату Рима.

Первая оратория, которую произнес Цицерон, по крайней мере, из тех, что сохранились, была произнесена в присутствии четырех судей, назначенных претором, и с Гортенziem в качестве оппонента. Это было дело Квинтия, которое было возбуждено в 672 году, когда Цицерону было 26 лет; в это время он пришел в адвокатуру гораздо позже, чем обычно,

после того как изучил гражданское право под руководством Муция Сцеволы и еще подготовился к своей профессии, изучая вежливую литературу под руководством поэта Архия, а также философию под руководством главных учителей каждой секты, которые прибегали в Рим. Цицерон взялся за это дело по просьбе знаменитого комедиографа Росция, шурина Квинтии; но оно не было такого рода, чтобы вызвать или проявить высшие способности красноречия. Это был чистый вопрос гражданского права и, в значительной степени, вопрос формы; спор заключался в том, был ли его клиент лишен своих признаний, и получил ли его противник Невий законное владение своим имуществом по эдикту, который издал претор в связи с предполагаемой лишенностью. Но даже здесь, где речь шла о сухой юридической дискуссии, как ни в одной другой оратории Цицерона, мы встречаем много инвектив, рассчитанных на то, чтобы вызвать негодование судей против противной стороны, и много патетических мольб, перемежающихся высокопарными картинами бедствий его клиента, чтобы вызвать их сочувствие в его пользу.

Pro Sext. Росций. В год, следующий за тем, когда он вел дело Квинтии, Цицерон взялся защищать Росция из Америи, и это был первый публичный или уголовный процесс, на котором он выступал. У отца Росция было два смертельных врага, из его собственного имени и округа. Во время проскрипций Силлы он был убит вечером в Риме, когда возвращался домой после ужина; под предлогом того, что он был в списке проскрибированных, его имение было куплено за ничтожную цену Хрисогоном, любимым рабом, которому Силла дал свободу и разрешил купить имущество Росция в качестве конфиската. Часть приобретенных таким образом ценных земель Хрисогон передал Росциям. Эти новые владельцы, чтобы закрепить за собой владение, наняли Эруция, доносчика и обвинителя [pg 153] по профессии, чтобы обвинить сына в убийстве отца, и в то же время подговорили свидетелей, чтобы уличить его в отцеубийстве. Опасаясь власти Силлы, обвиняемый с трудом смог убедить кого-либо из покровителей взяться за его дело, но Цицерон охотно воспользовался этой возможностью, чтобы публично продемонстрировать свое отвращение к угнетению и тирании. Он оправдывает своего клиента, подчеркивая неправдоподобность обвинения, будь то в отношении чудовищности инкриминируемого преступления или безупречного характера и невинной жизни молодого Росция. Он также показывает, что его врагам не удалось доказать, что он трудился под гнетом своего отца или был лишен наследства; в частности, его постоянное проживание в деревне не было доказательством этого недовольства - тема, которая заставляет его предаться прекрасным похвалам сельской жизни и древней деревенской простоте римлян. Но, отстаивая невинность Росция, оратор так распорядился своей аргументацией, что она выглядит скорее искусным обвинением двух Росциев, чем защитой своего подзащитного. Он пытается свалить на них вину за убийство, показывая, что именно они, а не сын, получили все выгоды от смерти старого Росция, и что, пользуясь строгим законом, запрещавшим рабам свидетельствовать против своих хозяев, они не позволили подвергнуть пытке тех, кто был с Росцием во время его убийства, но впоследствии перешел в их собственность. Все дело, кажется, было изложено с большим оживлением и духом, но ораторская речь была слишком в том ярком азиатском вкусе, который Цицерон в это время, вероятно, перенял из подражания Гортензию, считавшемуся самым совершенным образцом красноречия на Форуме; поэтому знаменитый отрывок о наказании за отцеубийство (которое заключалось в бросании преступника, связанного в мешке, в реку) был осужден более строгим вкусом его более зрелых лет. "Цель наказания, - заявляет он, - заключалась в том, чтобы сразу же вычеркнуть отцеубийцу из системы природы, лишив его воздуха, света, воды и земли, чтобы тот, кто уничтожил автора своего существования, был исключен из этих элементов, из которых все вещи черпают свое существование. Его не бросали на съедение диким зверям, чтобы их свирепость не усилилась от заразы такой вины, его не бросали нагим к ручью, чтобы он не загрязнить то

море, которое смывает все другие загрязнения. Все в природе, каким бы общим оно ни было, считалось слишком хорошим, чтобы он мог разделить его; ведь что такое общее - воздух для живых, земля для мертвых, море для тех, кто плавает, берег для тех, кто [pg 154] выброшен на берег. Но отцеубийца живет так, что не дышит небесным воздухом, умирает так, что земля не может принять его костей, бросается в волны, чтобы не быть омытым ими, выбрасывается на берег, чтобы не найти покоя на его скалах". Эта декламация была принята публикой с криками аплодисментов; однако Цицерон, ссылаясь на нее в последующих работах, называет ее буйством юношеской фантазии, которая нуждалась в контроле его более здорового рассудка, и, как все сочинения молодых людей, аплодировали не столько ей самой, сколько обещанию более совершенных и созревших талантов<sup>314</sup>. Эта просительная речь также изобилует резкими и язвительными высказываниями о дерзости Росция, а также о чрезмерной власти и роскоши Хрисогона; оратор даже рискнул сделать инсинуацию против самого Силлы, которую, однако, он постарался смягчить, заметив, что из-за множества дел он был вынужден попустительствовать многим вещам, которые его фавориты делали вопреки его склонности.

Мужество Цицерона, защищавшего и добившегося оправдания Росция при тех обстоятельствах, в которых проходило дело, вызвало одобрение всего города. Этим публичным противостоянием алчности агента Силлы, который в то время находился в расцвете сил, и энергией, с которой он сопротивлялся деспотичным действиям, он закрепил за собой репутацию бесстрашного и ревностного покровителя обиженных, а также искусного оратора. Защита Росция, снискавшая ему такую славу в молодости, вспоминалась им с таким удовольствием в старости, что он рекомендовал своему сыну, как самый верный путь к истинной чести, защищать тех, кого несправедливо притесняют, как он сам делал во многих делах, но особенно в деле Росция Америкейского, которого он защищал против самого Силлы, находясь в зените его власти<sup>315</sup>.

Сразу после решения этого дела Цицерон, отчасти по состоянию здоровья, а отчасти для совершенствования, отправился в Грецию и Азию, где провел два года в усердном изучении философии и красноречия под руководством самых искусных учителей Афин и Малой Азии. Его стиль формировался и совершенствовался не только путем подражания греческим риторам: его произношение также было исправлено благодаря занятиям с греческими мастерами, у которых он научился искусству владеть своим голосом и придавать ему больший объем и разнообразие, чем он достигал до сих пор<sup>316</sup>. Первым делом, которое он изложил после возвращения в Рим, было дело Росция, знаменитого [pg 155] комедиографа, в споре, который касался просто вопроса гражданского права и не представлял особого интереса или важности. Все оратории, которые он произносил в течение пяти последующих лет, утрачены, среди них были оратории для Марка Туллия и Л. Варена, о которых Присциан упоминает как о сохранившихся в его время. Однако в конце этого периода, когда Цицерону шел уже тридцать седьмой год, ему представилась великолепная возможность продемонстрировать свое красноречие в ходе судебного процесса, возбужденного против Верреса, претора Сицилии, преступника, бесконечно более ненавистного, чем Катилина или Хлодий, равного которому по мерзости и преступности Римская республика, по крайней мере, никогда не создавала. Теперь сицилийцы обвиняли его во многих вопиющих актах несправедливости, насилий и жестокости, совершенных им во время трехлетнего правления их островом, который он разорил больше, чем все произволы местных тиранов или опустошительные войны между карфагенянами и римлянами.

В эпоху расцвета республики вымогательство и насилие почти повсеместно преобладали среди тех магистратов, которые возвысились за границей благодаря соблазнам царской

власти и чьи предшественники своей умеренностью вызывали в прежние времена всеобщее одобрение. Истощив свое состояние чрезмерной роскошью, они теперь свои правительства только для того, чтобы обогащаться за счет трофеев вверенных их управлению провинций и грабить их жителей всеми видами поборов. Первые законы против поборов были приняты в начале седьмого века. Но они не принесли облегчения угнетенным народам, которые тщетно искали защиты в Риме; ведь решения, вынесенные судьями, обычно замешанными в подобных преступлениях, были скорее рассчитаны на безнаказанность виновных, чем на возмещение ущерба пострадавшим. В случае с Верресом это неправомерное влияние приобретало дополнительный вес из-за высокого положения и связей преступника.

Таковы были трудности, с которыми пришлось бороться Цицерону, приступая к обвинению этого великого общественного преступника. На эту трудную задачу его убедительно просили взять на себя все города Сицилии, кроме Сиракуз и Мессины, которым грабитель иногда позволял разделить добычу провинции. Приняв это доверие, столь важное в его глазах для чести республики, ни далекие свидетельства, ни раздражающие задержки всех тех стражей вины, которыми был окружен Веррес, не могли удержать или ослабить его усилия. Первым приемом преступника, а точнее, его адвоката Гортензия, направленным против правосудия, была [pg 156] попытка вырвать ведение процесса из рук Цицерона, передав его в руки [Цецилия317](#), который был креатурой Верреса и теперь претендовал на предпочтение Цицерону на основании личных обид, полученных от обвиняемого, и особой осведомленности о преступлениях своего мнимого врага. Поэтому судебные претензии этих соперников должны были быть сначала решены в ходе процесса, называемого *Divinatio*, на котором Цицерон произнес свою речь под названием *Contra Cæcilium* и показал, с большой силой аргументов и сарказма, что он сам во всех отношениях лучше всего подходит для роли обвинителя Верреса.

Сумев убедить судей в том, что Цецилий желает прибрать дело к своим рукам, чтобы предать его, Цицерон был назначен обвинителем и получил 110 дней на путешествие в Сицилию, чтобы собрать сведения для обоснования своего обвинения. Он закончил свое путешествие по острову менее чем за половину отведенного ему времени. По возвращении он обнаружил, что друзья Верреса задумали отложить судебное разбирательство, по крайней мере, до следующего сезона, когда, как они ожидали, появятся магистраты и судьи, которые будут благоприятствовать его интересам. В этом замысле они настолько преуспели, что не оставалось времени на то, чтобы разбирать дело в соответствии с обычными формами и практикой ораторских дискуссий в течение года: Поэтому Цицерон решил не терять времени на подкрепление или отягчение нескольких статей обвинения, а сразу представить все свои документы и свидетелей, оставив риторическую часть выступления до завершения всех доказательств. Поэтому первая оратория против Верреса, чрезвычайно короткая, была призвана лишь объяснить мотивы, побудившие его принять столь необычный способ ведения дела. В ней он разоблачает приемы, с помощью которых преступник и его шайка пытались извратить ход правосудия, и рассказывает о вечном позоре, который постигнет римский закон, если их уловки окажутся успешными. За этой речью последовали показания свидетелей и перечисление документов, которые настолько ясно устанавливали вину Верреса, что, доведенный до отчаяния, он, не дожидаясь приговора, отправился в добровольное [изгнание318](#). Таким образом, получается, что из шести ораций против Верреса была произнесена только одна. Остальные пять, составляющие серию проповедей [pg 157], которые он намеревался произнести после завершения доказательства, были впоследствии опубликованы в той же форме, как если бы преступник действительно предстал перед судом и должен был выступить с обычной защитой.

Первая из этих ораций, которая нам кажется довольно чуждой обвинению, но которая была призвана сделать более вероятной соответствующую часть обвинения, разоблачает излишества и злоупотребления, совершенные Верресом в ранней жизни, до назначения на пост претора Сицилии, растрату государственных денег во время правления квестора Галлии, вымогательства при Долабелле в Азии и, наконец, несправедливые, коррумпированные и пристрастные решения во время пребывания на посту претора Урбана в Риме, которые, составляя основную часть оратории, в целом были озаглавлены *De Prætura Urbana*. В следующей речи, озаглавленной *De Jurisdictione Siciliensi*, оратор начинает с элегантно-панегирического достоинства, древности и пользы провинции, который не был здесь простым праздным или риторическим приукрашиванием, но был введен наиболее уместно, поскольку ничто не могло быть лучше рассчитано на возбуждение негодования против разрушителя Сицилии, чем картина, которую он рисует о ее красоте; После этого он приводит бесчисленные примеры вопиющей продажи справедливости, должностей и почестей, а среди последних - даже жречества Юпитера. Следующая оратория посвящена махинациям Верреса с зерном и новым постановлениям, с помощью которых он ухитрился отдать весь корпус острова в распоряжение своих чиновников. В этой речи сухие данные о ценах на кукурузу довольно утомительны; но следующая оратория, *De Signis*, - одна из самых интересных среди его произведений, особенно как иллюстрация к истории античного искусства. В течение почти шести веков Рим был наполнен только трофеями варварских народов и представлял собой лишь боевое зрелище воинственного и завоевательного народа. Однако после походов в Магна-Грецию, Сицилию и Грецию римские полководцы выставляли на своих триумфах дорогие золотые украшения, картины, статуи и вазы, а не стада, согнанные сабинами или вольсками, сломанное оружие самнитов и пустые колесницы галлов. Статуи и картины, которые Марцелл перевез из Сиракуз в Рим, впервые возбудили в римских провинциальных магистратах ту жадность, которая побудила их грабить без всякого стеснения и различия дома частных лиц и храмы богов<sup>319</sup>. Марцелл и Муммий, однако, опустошали только враждебные и завоеванные страны. Свои [pg 158] грабежи они отдавали в общественное пользование, а после доставки в Рим посвящали их украшению столицы; но последующие правители провинций, приобретая вкус к произведениям искусства, стали присваивать себе те шедевры Греции, которые раньше не знали и не ценили. Одни придумывали благовидные предлоги для заимствования ценных произведений искусства у городов и частных лиц, не намереваясь их возвращать; другие, менее осторожные или более бесстыдные, захватывали все, что им нравилось, будь то государственная или частная собственность, без оправдания и вознаграждения. Но хотя эта страсть была свойственна большинству провинциальных правителей, никто из них никогда не доходил до полной меры жадности Верреса, который, если не принимать во внимание высокий колорит советника и оратора, был заражен своего рода болезнью или манией, которая давала ему непреодолимую склонность к захвату всего, что он видел или слышал, что было ценным либо по материалам, либо по изготовлению. Для этой цели он взял к себе на службу двух братьев из Малой Азии, на чьи суждения он полагался при выборе статуй и картин, и которым было поручено разыскивать на острове все ценное в этом роде. Пользуясь их советами, он захватил гобелены, картины, золотые и серебряные пластины, вазы, драгоценные камни и коринфскую бронзу, пока буквально не оставил на всем острове ни одного ценного предмета из этих описаний. Главными объектами грабежа были статуи и изображения богов, к которым римляне относились с религиозным почтением, и, соответственно, расценивали такой грабеж как святотатство. Отсюда частые обращения и апострофы к оскорбленным божествам, которые вводятся в орацию. Обстоятельства насилия и обхода, при которых совершались грабежи, описаны с большой яростью и в значительном объеме. Дается некоторое описание скульптурных произведений; также часто упоминаются имена статуй,

которыми они были выполнены. Так, нам рассказывают, что Веррес отобрал у одного частного лица из Мессины мраморного Купидона работы Праксителя: Он святотатственно вырвал фигуру Победы из храма Цереры, лишил город Тындарис изображения Меркурия, которое было возвращено ему из Карфагена Сципионом и почиталось жителями с особой преданностью и ежегодным праздником. Некоторые из произведений искусства были открыто похищены, другие взяты взаймы под благовидными предлогами, но так и не восстановлены, а третьи насильно куплены по неадекватной стоимости. Если речь De Signis - самая любопытная, то De Suppliciis - несравненно лучшая из серии верринских ораций. Тема [pg 159] предоставила более широкое поле для проявления красноречия, чем первая, и представляет нам темы более общего и постоянного интереса. И действительно, такой яростный пафос и такие средства, используемые для возбуждения жалости к угнетенным и негодования против виновных, что гений оратора нигде не проявляется более ярко - даже в "Филиппиках" или "Катилинианских проповедях". Теперь было доказано, что Веррес практиковал все виды мошенничества и грабежа, и в этих вопросах не оставалось места для защиты. Но поскольку обязанности провинциальных преторов были двоякими - управление законами и руководство военными действиями, - возникло подозрение, что адвокат Верреса хотел отвлечь внимание судей от его жадности к его военному поведению и доблести. Этот довод оратор полностью предвосхищает. Действительно, его проступок во время морских операций против пиратов становится одной из главных тем горькой инвективы Цицерона. Он доказывает, что флот был снаряжен скорее для показухи, чем для службы, что он не был обеспечен ни матросами, ни запасами и совершенно не годился для действий против врага. Командование было отдано сиракузянину Клеомену, который не разбирался в морском деле, только для того, чтобы Веррес мог наслаждаться обществом своей жены во время его отсутствия. Описание отплытия флота из Сиракуз неподражаемо, и оно настолько управляемо, что кажется, все проходит перед глазами. Веррес, которого не видели на публике уже много месяцев, удалившись в великолепный павильон, поставленный у фонтана Аретузы, где он проводил время в обществе своих фавориток, среди всех удовольствий, которые могли дать искусство и роскошь, наконец появился, чтобы посмотреть на отплытие эскадры; и римский претор предстал перед нами, стоя на берегу в сандалиях, в пурпурном плаще, ниспадающем до пят, и опираясь на плечо блудницы! Флот, как и следовало ожидать, был загнан на берег и там сожжен пиратами, которые с триумфом вошли в Сиракузы и беспрепятственно удалились из них. Веррес, чтобы отвести от себя общественное порицание, предал смерти капитанов кораблей, что, естественно, приводит к теме, давшей название оратории, - жестоким и незаконным казням не только сицилийцев, но и римских граждан. Смертные казни и пытки, обычно предназначенные для рабов, но применяемые Верресом к свободным римлянам, стали кульминацией его злодеяний, которые подробно описаны в ораторской прогрессии. После яркого описания его прежних преступлений едва ли можно ожидать, что будут найдены новые выражения негодования; но выражения оратора становятся все более пылкими, пропорционально тому, как Веррес становится все более смелым в [pg 160] своей вине. Необходимо помнить о священном характере римского гражданина, который он несет над всем миром, чтобы с должным чувством читать описание наказания Гавия, которого бичевали, а затем пригвоздили к кресту, который, благодаря утонченной жестокости, был установлен на берегу и обращен в сторону Италии, чтобы он мог принять смерть со взглядом, обращенным к дому и стране свободы. Все это выливается в поток самой быстрой и пылкой композиции; и если бы она действительно слетела с уст оратора, мы не можем сомневаться в том, какой огромный эффект она произвела бы на римскую аудиторию и на римских судей. В оратории De Signis, как мы видели, что-то потеряно для современного читателя из-за уменьшенного почитания мифологических божеств; и, таким же образом, мы не можем полностью проникнуться духом оратории De

Suppliciis, которая запланирована с прямым обращением к национальному чувству, к тому строгому декоруму, который нельзя переступить без стыда, и к тому преклонению перед величием Рима, которое наделяло его граждан невыразимым достоинством и даровало им почти неприкосновенный характер. Поэтому появление Верреса на публике в длинном пурпурном одеянии представлено как кульминация его злодеяний, а наказание в виде бичевания, которому подвергся римский гражданин, рассматривается (без всякого обсуждения справедливости приговора) как неслыханное и неимоверное преступление. Однако даже те части, которые наименее привлекательны для современного читателя, совершенны в своем исполнении, а вся серия ораций будет всегда считаться одним из самых великолепных памятников трансцендентного гения Талли.

В знаменитом деле против Верреса, несомненно, оратор проявил все ресурсы своего огромного таланта. Все обстоятельства благоприятствовали его усилиям и возбуждали его красноречие. Он впервые выступал в качестве обвинителя в публичном процессе, его клиентами были пострадавшие жители могущественной провинции, соперничавшей по значимости с императорским государством, жители Сицилии окружили Форум, и со всех концов Италии ожидалась аудитория, состоявшая из всех возвышенных, умных и утонченных людей. Но, прежде всего, у него была тема, которая, судя по очевидной вине обвиняемого и характеру его преступлений, была столь обильной, интересной и разнообразной, столь изобиловала темами, которые оратор выбирает, чтобы дать полный простор для проявления своих способностей, что вряд ли можно было безмятежно или вяло трудиться на столь богатой шахте красноречия. Столь удивительное стечение обстоятельств еще никогда не готовило почву для триумфа ораторского искусства; столь прекрасная возможность для демонстрации судебного искусства, по всей вероятности, никогда больше не представится. Достаточно сказать, что оратор превзошел своим мастерством необыкновенную красоту своих материалов; и вместо того, чтобы быть подавленным их величиной, он извлек из огромных ресурсов, которые они предоставляли, достоинство дополнительного совершенства, в мастерстве и проницательности своего выбора.

Бесконечное разнообразие занимательных анекдотов, которыми изобилует серия ходатайств против Верреса, - произведения искусства, которым они посвящены, - интересные топографические описания, знакомство с законами и нравами древних сицилийцев, поразительное обилие иронических выпадов - все это ослепляет воображение и приковывает внимание читателя; однако есть что-то в мысли, что они не были произнесены в действительности, что уменьшает эффект обстоятельств, которые в противном случае усилили бы наши чувства. Нам кажется даже нелепым читать в начале второй оратории, что было распространено сообщение о том, что Веррес отказался от защиты, но он сидел и дерзил своим обвинителям и судьям со свойственной ему дерзостью. Восклицания о его наглости и упреки судьям теряют свою силу, когда мы вспоминаем, что прежде чем было произнесено хоть одно слово из всего этого, человек, против которого они были направлены, как присутствующий, тайком отправился в добровольное изгнание. Какой бы эффект ни произвело это воспоминание на древних, считавших ораторское искусство искусством, а ораторское искусство - тщательно продуманной композицией, ничто не может быть более неприятным и оскорбительным для вкуса и чувств современного читателя, чье представление о красноречии - это нечто естественное, сердечное, бесхитростное и вневременное.

Сицилийцы, хотя и вряд ли были довольны исходом судебного процесса, по-видимому, в достаточной степени осознавали, что Цицерон прилагает большие усилия в их интересах. Бленвиль в своих "Путешествиях" упоминает, что в Гротта-Феррата, монастыре, построенном

на развалинах тускуланской виллы Цицерона, ему показали серебряную медаль, несомненно, античную, выбитую сицилийцами в благодарность за его импичмент Верресу. На одной стороне изображена голова Цицерона, увенчанная лавром, с легендой M. T. Ciceroni- на обратной - изображение трех ног, вытянутых в треугольном положении, в виде трех великих мысов или мысов Сицилии, с девизом: "Prostrato Verre Trinacria".

Pro Fonteio. Приходится сожалеть, что оратория в защиту Фонтея, следующая, которую произнес Цицерон, дошла до нас в неполном виде. Это была защита непопулярного губернатора, обвиненного в притеснениях со стороны провинции, вверенной его управлению; и в таком виде она могла бы составить интересный контраст с обвинениями Верреса.

[pg 162]

Pro Cæcina. Это был всего лишь вопрос гражданского права, касающийся действия эдикта Прэтора.

Pro Lege Manilia. До сих пор Цицерон обращался к судьям на Форуме только по гражданским искам или уголовным преследованиям. Оратория в защиту Манилийского закона, которая считается одной из самых великолепных среди его произведений, стала первой, в которой он выступил перед всем народом с трибуны. Она была произнесена в поддержку закона, предложенного народным трибуном Манилием, о назначении Помпея единственным полководцем с чрезвычайными полномочиями в войне против Митридата и Тиграна, которой в то время командовал Лукулл. Вожди сената считали этот закон опасным прецедентом для республики, и весь авторитет Катула и красноречие Гортензия были направлены против него. Высказывались предположения, что, поддерживая притязания, ставившие под угрозу общественную свободу, Цицерон руководствовался лишь интересами, поскольку оппозиция Помпею могла помешать его собственному избранию на пост консула, который был теперь главным предметом его честолюбия. Однако его жизнь и труды дают нам основания приписать ему другой, хотя, возможно, и менее очевидный мотив. К любви к добродетели и республике, которая так сильно пылала в груди этого прославленного римлянина, была, к сожалению, примешана и менее благородная страсть - неумеренное желание народной славы. "Слава, - говорит современный историк, - была тем призом, на который он нацелился; его слабое телосложение добивалось ее самыми напряженными трудами, его природная робость ума преследовала его через величайшие опасности". Помпея, который, к счастью, достиг его, он воспринимал как счастливейшего из людей, и из-за этой иллюзии воображения не только говорил о нем, но и действительно думал о нем" (пока он не стал несчастным) "с чувством уважения, граничащим с энтузиазмом". Блеск славы, окружавший Помпея, скрыл от Цицерона его многочисленные и великие недостатки и соблазнил честного гражданина и лучшего гения Рима, человека беспримерного трудолюбия, которое обычно применялось в самых благородных целях, на то, чтобы использовать его способности и добродетели для возвышения честолюбивого вождя и наделения его такими непомерными и неконституционными полномочиями, которые фактически подорвали [содружество](#)<sup>320</sup>."

Защищая эту пагубную меру, Цицерон разделил свое рассуждение на две части, показав, во-первых, что важность и неизбежная опасность борьбы, в которую было вовлечено государство, требовали предложенного необычного средства, и, во-вторых, что Помпей был самым подходящим человеком для того, чтобы доверить ему ведение [pg 163] войны. Это приводит к великолепному панегирику этому прославленному полководцу, в котором, отдавая должное заслугам своего предшественника Лукулла, он со всей силой и красотой, на которую способен язык, рассказывает о военном мастерстве, доблести, власти и удаче

этого нынешнего кумира своего пышного воображения. Он наполняет воображение безмерностью объекта, разжигает в груди пыл привязанности и благодарности, и, путем накопления обстоятельств и доказательств, так возвеличивает своего героя, что возвышает его до чего-то большего, чем смертный в сознании слушателей; в то же время каждое слово внушает самое совершенное почтение к его характеру, и самую беспредельную уверенность в его честности и рассудительности. Весь мир представляется неполноценным театром для действий такого превосходного гения; в то время как все народы и властители земли в некотором роде призваны в свидетели его доблести и правды. Развивая эти темы, торжественно заверяя в собственной искренности и приводя примеры из античности, когда государство получало пользу или спасение, доверив неограниченную власть одному человеку, он развеял все опасения по поводу угроз, которые, как считалось, могут возникнуть для конституции, если столь обширные полномочия будут возложены на одного человека, и тем самым нанес первый удар по подрыву республики!

Pro Cluentio. Это обращение в защиту Клуенция, который по наущению матери был обвинен в отравлении своего отчима Оппианика. Большая часть проповеди имеет лишь косвенное отношение к непосредственному предмету обвинения. Оппианик, по-видимому, ранее был обвинен Клуентием и признан виновным в аналогичном покушении на свою жизнь; но после его осуждения распространилось сообщение, что Клуентий одержал верх в этом деле, подкупив судей, и, чтобы устранить неблагоприятное впечатление, создавшееся против его клиента, Цицерон возвращается к обстоятельствам того дела. Во второй части оратории, которая касается обвинения в отравлении Оппианика, он считает необходимым очистить своего клиента от двух предыдущих обвинений в попытках отравления. Рассматривая собственно предмет уголовного разбирательства, который занимает не более шестой части всей оратории, он показывает, что у Клуентия не могло быть ни доступа, ни возможности подсыпать яд своему отцу, находившемуся в изгнании; что в обстоятельствах его смерти не было ничего необычного или подозрительного; И что обвинение проистекает из махинаций противоестественной матери Клуентия, против которой он разглагольствует с большой силой, как человек, спешащий с завязанными глазами по вине, - которая действует с такой глупостью, что никто не может ак [pg 164] считать ее разумным существом, - с такой жестокостью, что никто не может представить ее женщиной, - с такой жестокостью, что никто не может назвать ее матерью. Вся оратория раскрывает такую сцену огромного злодейства, убийств ядом и покушений, кровосмешения и подкупа свидетелей, что историю семьи Клуенция можно рассматривать как аналог в домашнем обществе того, чем было правительство Верреса в общественной жизни. Хотя это очень длинная и сложная по теме речь, она является одной из самых правильных и убедительных среди всех судебных ораций Цицерона; и под впечатлением того, что она ближе к напряжению современного ходатайства, чем любая другая, она была выбрана доктором Блэром в качестве предмета подробного анализа и [критики](#)<sup>321</sup>.

De Lege Agraria contra Rullum. В своем сочинении "Pro Lege Manilia", первом совещательном выступлении перед народным собранием, Цицерон имел преимущество говорить от имени любимца народа и против вождей сената; но он оказался в совершенно иной ситуации, когда ему пришлось выступить против аграрного закона. В течение 300 лет он был предметом любви римских племен, ежедневным притяжением и призывом к действию для народа, сигналом раздора и самым мощным двигателем подстрекательского трибуната. Первую из серии ораций против аграрного закона, предложенного Руллом, Цицерон произнес в сенате вскоре после своего избрания в консулы: Вторая и третья были обращены к народу с трибуны. Целью данного аграрного закона было назначение децемвиров для продажи государственных доменов в провинциях и взыскание с генералов трофеев, полученных в

ходе внешних войн, чтобы сформировать фонд для покупки земель в Италии, в частности в Кампании, которые должны быть поровну разделены между народом. Цицерон в своей первой речи, начало которой сейчас отсутствует, успокоил тревогу сената, заверив их в своей решимости противостоять закону всеми силами. Когда вопрос встал перед народом, он не побоялся столкнуться с трибунами на их собственной территории и на самой популярной теме; он не колебался сделать сброд судьями в их собственном деле, хотя в том, в котором их страсти, интересы и предрассудки, как и предрассудки их отцов, были задействованы на протяжении стольких веков. Сознывая свое превосходство, он предложил трибунам взойти на трибуну и поспорить с ним перед собравшейся толпой; но поле боя было предоставлено его аргументам и красноречию, и, попеременно то укоряя народ, то высмеивая автора закона, он дал такой поворот их наклонностям, что они отвергли предложение так же охотно, как и приняли его раньше.

Но хотя трибуны не смогли справиться с Цицероном на Форуме, впоследствии они сумели внушить населению подозрения относительно мотивов его противостояния аграрному закону. Эти обвинения произвели такое впечатление на город, что он счел необходимым защититься от них в короткой речи, обращенной к народу. Спорно, была ли эта третья речь последней, которую Цицерон произнес в связи с этим аграрным законом. В письмах к Аттику, рассказывая о своих консульских орациях, он говорит, "что среди посланных была та, что произнесена в сенате, и та, что обращена к народу, по поводу аграрного [закона322](#)". Это первая и вторая из речей, которые мы имеем против Рулла; но он также упоминает, что было два апосматия, как он их называет, по поводу аграрного закона. Так вот, то, что сейчас называется третьим, было, вероятно, первым из этих двух, а последнее, должно быть, погибло.

Pro Rabirio. Примерно в 654 году Сатурнин, мятежный трибун, был убит партией, стоявшей на страже интересов сената. Через тридцать шесть лет после этого Рабирий был обвинен в причастности к этому убийству Лабием, впоследствии хорошо известным как лейтенант Цезаря в Галлии. Гортензий изложил дело перед дуумвирами, Каем и Луцием Цезарями, которые осудили Рабирия, обратились к народу, и Цицерон защитил его в комициях. Трибун, судя по всему, был убит во время беспорядков в столь опасное время, что сенат принял постановление, обязывающее консулов следить за тем, чтобы республика не пострадала. Предполагалось, что это постановление санкционирует все последующие действия, и целью народной партии при импичменте Рабирия было покушение на эту прерогативу сената. Ораторская речь Цицерона, посвященная этому спору между сенаторской и трибунской властью, производит на нас впечатление стремительного и незамысловатого красноречия, чем большинство других его выступлений. Однако она несколько туманна, отчасти из-за того, что обвинитель не позволил ему превысить полчаса на защиту. Аргумент, похоже, сводился к тому, что Рабирий не убивал Сатурнина; но даже если бы он его убил, это действие было не только законным, но и похвальным, поскольку все граждане были обязаны вооружаться для помощи консулам.

[pg 166]

Считалось, что, несмотря на все усилия Цицерона, Рабирий был бы осужден, если бы претор Метелл не придумал способ распустить комицию до вынесения приговора. В это время дело больше не рассматривалось и впоследствии не возобновлялось; внимание общественности было полностью поглощено надвигающейся опасностью катилинианского заговора, который был раскрыт во время консульства Цицерона.

Contra Catilinam. Разоблачение и подавление этого гнусного заговора составляют наиболее яркую часть политической жизни Цицерона, а оратории, произнесенные им против главного заговорщика, до сих пор считаются самыми великолепными памятниками его красноречия. Цицерон вззошел на трибуну уже не для того, чтобы защищать права и прерогативы муниципального города или провинции, не для того, чтобы убедить судью в пользу несчастного клиента, а для того, чтобы спасти свою страну и республику. Заговор Катилина вел к полному уничтожению города и правительства. Цицерон, раскрыв его замысел (а он должен был покинуть Рим и присоединиться к своей армии, собранной в разных частях Италии, в то время как другие заговорщики оставались в стенах, чтобы убить сенаторов и поджечь столицу), созвал сенат в храме Юпитера Статора, намереваясь изложить ему все обстоятельства заговора. Но Катилин неожиданно появился посреди собрания, и его дерзость побудила консульского оратора к резкой инвективе, обращенной непосредственно к предателю и начинающейся без преамбулы, которой начинается большинство других его выступлений. С точки зрения эффекта, эта оратория должна была быть совершенно электрической. Раскрытие самому преступнику его самых тайных целей, их гнусный характер, угрожающий жизни каждого из присутствующих, весь ход его злодеяний и предательств, освещенный огнем пылкого красноречия, и обращение к нему с призывом бежать из Рима, чтобы избавить свою страну от такой язвы, - все это было прекрасно рассчитано на то, чтобы вызвать удивление, восхищение и ужас. Главной целью всей ораторской речи было изгнание Катилина; и представляется несколько необычным, что столь опасного человека, которого можно было бы так легко осудить, заставили или даже позволили уйти к своей армии, вместо того чтобы схватить и наказать. Если Катилина не удалось спасти в своем лагере, то поведение консула, который не задержал, а отослал этого грозного врага, вероятно, вызвало осуждение и недовольство; в результате Цицерон произнес вторую катилиновскую орацию в собрании народа, чтобы оправдать свое изгнание главного заговорщика из Рима. Он признает, что Катилину давно следовало бы вынести смертный приговор, но таков был дух времени, что в существование заговора не поверили бы, и поэтому он решил выставить его вину в таком свете, чтобы без колебаний были приняты решительные меры как против Катилина, так и против его сообщников. Он также использует эту возможность, чтобы предостеречь своих слушателей от тех групп заговорщиков, которые все еще скрывались в городе, и которых он делит на различные классы, описывая в самых сильных выражениях различные степени вины и распутства, которыми они по отдельности характеризовались.

После того как были получены явные доказательства всего заговора, арестованы послы от аллоброгов, с которыми заговорщики связались и которые везли письменные верительные грамоты от них в свою страну, Цицерон в своей третьей оратории изложил народу все подробности этого открытия и пригласил его присоединиться к празднованию благодарственного молебна, который был установлен сенатом в его честь, за сохранение его страны.

Последняя катилинианская речь была произнесена в сенате во время дебатов о наказании заговорщиков. Силан предлагал применить мгновенную смерть, в то время как Цезарь высказался за более мягкое наказание - вечное тюремное заключение. Цицерон не высказался точно за то или иное наказание, но он показывает, что его разум явно склонялся к самому суровому наказанию, подчеркивая чудовищность вины заговорщиков и усугубляя все их преступления с особой язвительностью и искусством. В конце концов его настроения возобладали, и те заговорщики, которые остались в Риме, были задушены под его непосредственным руководством.

В этих четырех орациях тон и стиль каждой из них, особенно первой и последней, очень различаются и с большой долей рассудительности соответствуют случаю и обстоятельствам, при которых они были произнесены. Во всей серии катилинарских ораций язык Цицерона хорошо рассчитан на то, чтобы умиротворить злых, утвердить добрых и ободрить робких. Он относится к тому типу, который делает мысли одного человека мыслями целого собрания или целого [народа](#)<sup>323</sup>.

[pg 168]

Pro Muræna. - На заседании комиции, где выбирали консулов на следующий год, были избраны Юний Силан и Мурена. Конкурентом последнего был знаменитый юрист Сульпиций Руф, который, при поддержке Катона, обвинил Мурену в том, что тот победил с помощью подкупа и коррупции. Этот импичмент был основан на Кальпурнийском законе, который недавно был ужесточен по предложению Сульпиция сенатусконсультом. Вместе с этим обвинением выдвигалось обвинение в распутстве характера Мурены, а также в подлости его звания, так как он был всего лишь рыцарем и солдатом, в то время как Сульпиций был патрицием и адвокатом. Поэтому Цицерон, прежде всего, показывает, что он вполне заслужил консульство благодаря своим заслугам в войне с Митридатом, что вводит сравнение между военной и судебной жизнью. Отдавая обычную дань аплодисментов культурному красноречию, он высмеивает формы и фразеологию юрисконсультов, у которых изучалось и практиковалось гражданское право. Что касается собственно предмета обвинения - подкупа при избрании, то представляется вероятным, что Мурена был виновен в некоторых действиях, которые, строго говоря, были незаконными, но оправдывались обычаем. По-видимому, они заключались в том, что он побуждал толпу ходить за ним по улицам и устраивал представления для развлечения толпы; эти действия, хотя и ожидаемые народом и обычно игнорируемые магистратами, в глазах жесткого и стоического Катона выглядели отвратительными преступлениями. Сознывая, что его авторитет придает обвинению вес, Цицерон, чтобы устранить это влияние, излагает свои стоические принципы в том же тоне, в каком он уже говорил о профессии Сульпиция. В заключение он ссылается на трудности времени и еще не подавленный заговор Катилина, из-за которого было неразумно лишать город консула, способного защитить его в столь опасный момент.

Этого дела ждали с большим нетерпением, учитывая достоинство обвинителей и красноречие защитников обвиняемых. Прежде чем Цицерон заговорил, по делу выступили Гортензий и триумвир Красс, и Цицерон, вступая в дело, испытывал сильнейшее желание превзойти этих соперников своим красноречием. Он так волновался, что не спал всю ночь, предшествовавшую слушанию дела, и, будучи измученным заботами, его красноречие по этому случаю не дотягивало до красноречия [Гортензия](#)<sup>324</sup>. Однако он проявляет большую деликатность и искусство в том, как он справляется с нападками на философию Катона и профессию Сульпиция, [pg 169] оба из которых были его особыми друзьями и высоко ценились судьями, к которым он [обращался](#)<sup>325</sup>.

Про Валерио Флакк. Флакк помог Цицерону раскрыть заговор Катилины и в ответ получил от него защиту против обвинения в вымогательстве и казнокрадстве, выдвинутого различными государствами Малой Азии, которыми он управлял как пропретор.

Про Корнелия Силлу. Силла, который впоследствии был великим приверженцем Цезаря, был привлечен к суду за участие в заговоре Катилина; но его обвинитель Торкват, отступив от обвинения против Силлы, обрушил свою ярость на Цицерона, утверждая, что тот узурпировал власть царя, и заявляя, что он был третьим иностранным государем, правившим в Риме после Нумы и Тарквина. Поэтому Цицерону в своем ответе пришлось не только

защищать своего клиента, но и отвечать на напускную грубость, с помощью которой его противник пытался возбудить против себя зависть и злобу. Он признает, что был иностранцем в одном смысле этого слова, родившись в одном из муниципальных городов Италии, как и многие другие, оказавшие городу самые высокие услуги; но он отвергает обвинения в том, что он узурпировал какую-либо царскую власть; и, будучи подстрекаем этим незаслуженным нападением, он переходит к восхвалению своего собственного поведения и консульства - любимая тема, от которой он не может полностью отойти, даже когда он более тщательно вникает в основания обвинения.

За эту защиту Корнелия Силлы Цицерон в частном порядке получил от своего клиента сумму в 20 000 сестерций, которая в основном позволила ему приобрести свой великолепный дом на Палатинском холме.

Pro Archia" - это одна из ораций Цицерона, которой удалось придать наилучший блеск, и, возможно, самая приятная из всех его проповедей. Архиа был его наставником и, завоевав большую известность своими греческими стихами о победах Лукулла над Митридатом и Мария над Кимбрием, теперь пытался воспеть консульство Цицерона; так что оратор, отстаивая свою точку зрения, ожидал, что будет вознагражден похвалами своей музы.

Этот поэт был уроженцем Антиохии и, приехав в Италию в ранней юности, был вознагражден за свою образованность и гений дружбой первых лиц государства и гражданством Гераклеи, города-конфедерата Magna Græcia. Через несколько лет после этого был [pg 170] принят закон, наделявший правами римских граждан всех, кто был допущен к свободе федеративных государств, при условии, что они имели поселение в Италии на момент принятия закона и заявили о своих привилегиях перед претором в течение шестидесяти дней с момента его обнародования. После того как Архиа более двадцати лет пользовался преимуществами этого закона, его права были поставлены под сомнение неким Гракхом, который попытался изгнать его из города на основании постановления, изгоняющего всех иностранцев, узурпировавших без должного права имя и атрибуты римских граждан. Утрата записей и некоторые другие обстоятельства поставили под сомнение законную правоту его клиента, и Цицерон в основном остановился на достоинствах литературы и поэзии, а также на различных достижениях Архиа, которые давали ему право на привилегии, которыми он пользовался. Он прекрасно описывает влияние, которое изучение и любовь к литературе оказали на его собственный характер и поведение. С тех пор он проникся принципом, что слава и добродетель должны быть самыми дорогими целями жизни и что для их достижения следует презирать все трудности и даже опасности. Но из всех имен, дорогих литературе и гению, имя поэта было самым священным: поэтому было бы крайним позором и профанацией отвергнуть барда, который приложил все усилия своего искусства, чтобы сделать Рим бессмертным благодаря своей музы, и обладал такой преобладающей силой, что мог с удовольствием тронуть даже упрямую и неподатливую душу Мариуса.

Вся оратория перемежается прекрасными изречениями и предложениями, которые с восторгом цитировались во все века. Однако в ней, пожалуй, слишком много, и уж точно больше, чем в других орациях, того, что лорд Монбоддо называет уступчивостью. "Мы имеем в ней, - замечает он, говоря об этой оратории, - строки антитез, фигуры подобных окончаний, и совершенное сходство структуры, как в отношении грамматической формы слов, так и даже их количества<sup>326</sup>". Все это также написано в стиле преувеличения и неумеренных восхвалений. Оратор говорит о поэте Архиае так, будто вся слава Рима и спасение государства зависят от его поэтических произведений, и будто малейшая обида, нанесенная ему, сделает имя Рима позорным и бесчестным во всех последующих поколениях.

Pro Cn. Защита Планция была одной из первых ораций, произнесенных Цицероном после его возвращения из изгнания. Планций был квестором Македонии, когда Цицерон приехал в эту страну во время своего изгнания, и получил [pg 171] почести, соразмерные его высокому характеру, а не упавшей судьбе. В ответ на эту любезность Цицерон взял на себя его защиту от обвинения, выдвинутого разочарованным конкурентом, в подкупе и коррупции при подаче иска о получении эдильства.

Pro Sextio.- Это еще одна оратория, вызванная благодарностью Цицерона и обстоятельствами его изгнания. Секстий, будучи народным трибуном, способствовал его отзыву, и Цицерон отплатил за это добром за одну из самых длинных и тщательно продуманных своих ораторий. Обвинение, действительно, было следствием его вмешательства в дела прославленного изгнанника; когда он собирался предложить народу отозвать его, на него яростно напали представители фракции Клодия и бросили умирать на улице. Его враги, хотя и были явными агрессорами, обвинили его в насилии и возбуждении беспорядков. Именно от этого обвинения защищал его Цицерон. Эта речь ценна для истории того времени, так как в ней отражены все последние политические события, в которых Цицерон принимал столь заметное участие. Оратор ополчается на своих врагов - трибуна Клодия, консулов Габиния и Пизона, подробно описывает все обстоятельства, связанные с его собственным изгнанием и возвращением, время от времени вставляя пару слов о своем клиенте Секстии.

Contra Vatinius.- Ватиний, принадлежавший к фракции Клодиев, выступил на суде над Секстием в качестве свидетеля против него. Это дало Цицерону возможность допросить его; и вся оратория, представляющая собой непрерывную инвективу на поведение Ватиния, вылитую в серию вопросов, не дожидаясь ответа ни на один из них, была озаглавлена "Interrogatio".

Pro Caelio.- Миддлтон назвал это произведение самым занимательным из всех ораций, которые оставил нам Цицерон, из-за живости остроумия и юмора, с которыми он относится к галантности Клодии, ее торговле с Целием, и вообще к веселью и разнузданности молодости.

Целий был молодым человеком со значительными способностями и достижениями, который был вверен заботам Цицерона при его первом появлении на Форуме; но, неосмотрительно вступив в интригу с Клодией, известной сестрой Клодия, и впоследствии покинув ее, она обвинила его в попытке отравить ее и в том, что он занял у нее деньги, чтобы обеспечить убийство Дио, александрийского посла. В этом, как и в большинстве других судебных процессов того периода, ряд обвинений, не связанных с основным, был, по-видимому, накоплен, чтобы [pg 172] придать главному обвинению дополнительную силу и убедительность. Таким образом, Цицерону пришлось защищать своего клиента от подозрений, вытекающих из общего либертинизма его поведения. Он оправдывает ту его часть, которая связана с его связью с Клодией, рассказывая о распутном характере этой женщины, с которой он обходится без особых церемоний; а чтобы представить ее беспутную жизнь в более ярком свете, он воображает, как один из ее мрачных и строгих предков из рода Клодиев упрекает ее в постыдном вырождении. Оратор понимал, что всего этого недостаточно для полного оправдания своего клиента; и любопытно отметить, с какой изобретательностью упорный защитник добродетели и регулярного поведения паллиатирует в данном случае распутство молодости, - не умаляя достоинств строгой морали, но представляя тех, кто противостоит соблазнам удовольствий, как наделенных сверхъестественными способностями.

Эта речь особенно понравилась одному из тех, кто долгое время был выдающимся оратором в британском сенате. "Кстати, - пишет мистер Фокс в письме к Уэйкфилду, - я не знаю ни одной речи Цицерона, более насыщенной прекрасными пассажами, чем эта, и ни одной, где он был бы более в своей стихии. Аргументированные споры - это то, в чем он ни в коем случае не преуспел; и он никогда, я думаю, не бывает так счастлив, как когда у него есть возможность продемонстрировать смесь философии и приятности; и особенно когда он может вставлять анекдоты и ссылки на авторитет выдающихся персонажей в истории своей страны. Ни один человек, похоже, не испытывал такого уважения к авторитету, как он; и поэтому, когда он говорит на эту тему, он всегда естественен и серьезен, а не как те из нас, кто так часто заявляет о мудрости наших предков, не понимая, что они имеют в виду, и почти никогда не приводя никаких конкретных примеров их поведения или их [диктовки327](#)".

De Provinciis Consularibus. Вследствие этой оратории правительство Галлии перешло к Цезарю, так что ее можно считать одной из непосредственных причин гибели Римской республики, которую Цицерон, несомненно, желал защитить и сохранить в неприкосновенности. Но Цицерон, очевидно, был обманут Сезаром, как ранее почти обманул его Катилина, а впоследствии - Октавия, Поллиона и всех тех, кто считал своим интересом обмануть его, провозглашая его похвалы и демонстрируя горячее рвение к безопасности государства. Он так мало проник в истинные взгляды Цезаря, что мы видим, как он спрашивает в своей речи сенат, какой мотив или побуждение может быть у Цезаря [pg 173] оставаться в провинции Галлия, кроме общественного блага. "Ибо разве могли бы его задержать там благоустроенность регионов, красота городов или цивилизованность жителей - да и может ли возвращение на родину быть столь неприятным?"

Pro Cornelio Balbo.- Бальбус был уроженцем Кадиса, который оказал значительную услугу Помпею во время его войны в Испании против Сертория, а взамен получил от этого полководца свободу Рима, в силу особого закона, по которому он получил право предоставлять эту льготу кому пожелает. Однако теперь законность акта Помпея была поставлена под сомнение на том основании, что Кадис не подпадал под условия тех отношений и союза с Римом, которые при любых обстоятельствах могли дать его гражданам право на такую привилегию. Таким образом, вопрос заключался в том, могут ли жители федеративного государства, не принявшего институты и гражданскую юриспруденцию Рима, получить права гражданства. Этот вопрос был очень важен для муниципальных городов Республики, и оратория проливает значительный свет на отношения, существовавшие между провинциями и столицей.

В "Пизоне" - Пизон был отозван из македонского правительства в связи с орацией Цицерона "О провинциях консульских", и в одном из своих первых выступлений в сенате он жаловался на обращение с ним и нападал на оратора, особенно на счет его поэзии, высмеивая хорошо известную строку,

"Cedant arma togæ-concedat laurea linguæ".

Цицерон ответил горькой инвективой, в которой подверг всю жизнь и поведение своего врага общественному презрению и отвращению. Самой необычной чертой этой речи являются личные оскорбления и грубость выражений, которые кажутся еще более необычными, если учесть, что она была произнесена в здании сената и направлена против такого выдающегося и значимого человека, как Пизон. Цицерон применяет к нему отвратительные эпитеты *bellua*, *furia*, *carnifex*, *furcifer* и т. д.; он попрекает его личными уродствами и укоряет его за позорное происхождение с одной стороны семьи, в то время как

с другой стороны он не имел никакого сходства со своими предками, за исключением сажистого цвета лица их изображений.

Когда Милон был кандидатом в консулы, пресловутый демагог Хлодий поддерживал его конкурентов, и во время голосования партийный дух так разбушевался, что [pg 174] двух фракций часто доходило до столкновений в стенах города. В то время как эти разногласия достигли своего апогея, Хлодий и Милон встретились на Аппиевой дороге: первый возвращался из страны в Рим, а второй направлялся в Ланувий, и обоих сопровождала большая свита. Между их сторонниками возникла ссора, в ходе которой Хлодий был ранен и отнесен в один из близлежащих домов. По приказу Милона двери были взломаны, врага вытащили наружу и убили на дороге. Смерть Хлодия вызвала в Риме большое смятение и беспорядки, в ходе которых толпа сожгла судебные палаты. Милон, вернувшийся из изгнания, в которое он сначала удалился, был обвинен в преступлении народными трибунами, а Помпей, в силу полномочий, предоставленных ему постановлением сената, назначил специальную комиссию для расследования убийства, совершенного на Аппиевой дороге. Чтобы сохранить спокойствие в городе, он выставил стражу на Форуме и занял войсками все проспекты. Это необычное появление и крики фракции клodianцев, которые военные не могли сдержат, так расстроили оратора, что он не достиг своего обычного совершенства. Речь, которую он произнес на самом деле, была записана, и Асконий Педиан упоминает ее как сохранившуюся до наших дней. Но та прекрасная речь, которой мы сейчас располагаем, была отретуширована и отшлифована в качестве подарка Милону, после того как он удалился в изгнание в Марсель.

В оратории, которую мы имеем сейчас, Цицерон берет свой *exordium* из обстоятельств, которые его так сильно, хотя, как он признает, беспричинно, смущали; поскольку он знал, что войска были размещены на Форуме не для того, чтобы подавлять, а для защиты. Переходя к защите, он признает, что Хлодий был убит, причем Милоном; но он утверждает, что убийство во многих случаях оправдано, и ни в одном из них не более, чем когда сила может быть отражена только силой, и когда убийство агрессора необходимо для самосохранения. Эти принципы прекрасно проиллюстрированы и, будучи, по мнению оратора, достаточно обоснованными, применены к рассматриваемому случаю. На основании косвенных доказательств времени и места, характера покойного, свиты, которая его сопровождала, его ненависти к Милону, преимуществ, которые он получил бы от смерти своего врага, и выражений, которые он использовал, он доказывает, что Хлодий устроил засаду для Милона. Очевидно, что Цицерон имел здесь самое худшее отношение к делу. Столкновение, по сути, было случайным, и хотя нападавшими, возможно, были слуги Хлодия, [pg 175] Мило явно превысил законные пределы самозащиты. Соответственно, оратор приводит аргумент, что убийство Хлодия было актом общественной пользы, который, по мнению друзей Мило, был единственным, который предполагалось выдвинуть, и был единственной защитой, принятой в оратории, которую Брут, как говорят, подготовил для этого случая. Цицерон, не отказываясь от преимущества этого аргумента, поддерживает его гипотетически, утверждая, что даже если бы Милон открыто преследовал и убил Хлодия как общего врага, он вполне мог бы похвастаться тем, что избавил государство от столь пагубного и отчаянного гражданина. Чтобы придать этому аргументу дополнительную силу, он быстро рассматривает различные злодеяния, совершенные Хлодием, и возможное положение Республики, если бы он возродился. Когда умы судей были достаточно подготовлены, он приписывает его трагический конец непосредственному вмешательству провиденциальных сил, особенно проявившемуся в его падении возле храма Бона Деа, чьи таинства он ранее осквернил. Вызвав достаточное негодование против Хлодия, он завершает ораторию трогательным сочувствием к Мило, показывая его любовь к своей

стране и согражданам, печальное бедствие изгнания из Рима и его мужественное смирение с любым наказанием, которое может быть ему назначено.

Аргументы в этой оратории были, пожалуй, настолько хороши, насколько позволяли обстоятельства; но нам не хватает в ней той ссылки на документы и законы, которая придает орациям Демосфена печать истины. Каждое основание защиты, взятое само по себе, не обладает достаточной аргументативной силой. Так, утверждая, что смерть Хлодия не принесла пользы Милону, он слишком мало учитывает ненависть и злобу, которые взаимно испытывают главы политических фракций: но он восполняет слабость аргументации иллюстративными отступлениями, вспышками остроумия, всплесками красноречия и взываниями к состраданию судей, на которые он, судя по всему, очень [рассчитывал](#)<sup>328</sup>. В целом, как сам Цицерон, так и его современники считали эту ораторию лучшим достижением его гения; это подтверждает то, о чем действительно свидетельствует вся история римского красноречия: судьи легко удовлетворялись аргументацией и придавали большее значение пафосу, остроумию и звучным периодам, чем фактам или закону.

Pro Rabirio Postumo.- Это защита Рабирия, который был привлечен к суду за возврат суммы, которую он, как [pg 176] предполагалось, получил вместе с проконсулом Габинием от царя Птолемея за то, что тот посадил его на трон Египта, вопреки предписаниям сената.

Pro Ligario.- Эта оратория была произнесена после того, как Сезар, победив Помпея в Фессалии и уничтожив остатки республиканской партии в Африке, принял на себя верховное управление делами в Риме. Как ни милосерден был завоеватель, его понимали, что он сильно раздражен против тех, кто после разгрома в Фарсалии возобновил войну в Африке. Когда Лигарий добивался помилования, его старый враг Туберон официально обвинил его в том, что он носил оружие в том поединке. На суде по этому делу председательствовал сам Диктатор, который был настроен против Лигария, как известно, заявив ранее, что его решение твердое и его не изменят чары красноречия. Цицерон, однако, преодолел свое предубеждение и вымолил у него помилование. Говорят, что выражение лица Цезаря менялось по мере того, как оратор продолжал свою речь; но когда он коснулся битвы при Фарсалии и рассказал о Тубероне, который искал свою жизнь среди рядов армии, диктатор так разволновался, что его тело задрожало, а бумаги, которые он держал, выпали из его [рук](#)<sup>329</sup>.

Эта речь отличается свободой духа, которой она дышит, даже перед лицом той власти, к которой она была обращена за милостью. Но в то же время Цицерон проявляет немалое искусство, не переступая тех границ, в которых, как он знал, он мог говорить без обиняков, и приправляя свою вольность соответствующими комплиментами в адрес Сезара, из которых, пожалуй, самый изящный заключается в том, что он не забыл ничего, кроме нанесенных ему самому обид. Это был человек, которого во времена Помпея он характеризовал как чудовищного и грозного тирана, а чью смерть он вскоре после этого прославил как божественное благодеяние!

Во времена Квинтилиана сохранилась оратория Туберона против Лигария, которая, вероятно, объясняет обстоятельства, побудившие человека, который так горячо сражался против Цезаря в Фарсалии, взяться за преследование Лигария.

Pro Rege Dejotaro.- Деджотар был тетрархом Галатии, который получил от Помпея царство Армения, а от сената - титул царя. В гражданской войне он выступил на стороне своих благодетелей. Вследствие этого Сезар лишил его Армении, но впоследствии примирился с ним и, продолжая войну против Фарнака, навещал его в его прежних владениях в Галатии. Через некоторое время после [pg 177] подопечных, Фидипп, врач царя, и его внук Кастор

обвинили его в попытке отравить Цезаря, во время пребывания диктатора при его дворе . Цицерон защищал его в личных апартаментах Цезаря, используя тот же счастливый союз свободы и лести, который он так удачно применил в деле Лигария. Однако Цезарь не вынес никакого решения ни в одну, ни в другую сторону.

Филиппики. Остальные оратории Цицерона направлены против Антония, чья личная жизнь и политическое поведение представляют нам полную и яркую картину. Характер Антония, наряду с Силлой, был самым необычным в анналах Рима, и в некоторых своих чертах он поразительно напоминал удачливого Диктатора. Оба обладали незаурядными военными талантами, оба были наделены жестокостью, заставляющей содрогаться человеческую природу, оба неумеренно увлекались роскошью и удовольствиями, и оба, для людей их силы духа и привычек, имели, по крайней мере, странную суеверную зависимость от судьбы, предзнаменований и знамений. И все же даже в тех частях их характеров, в которых прослеживается наибольшее сходство, имелись сильные оттенки различий: Жестокость Силлы была более продуманной и безжалостной, а Антония - более безразличной и бездумной, и среди всех жестокостей последнего время от времени вспыхивали отблески великодушия и чувства. Но Силла был человеком гораздо более проникательным и проникновенным, гораздо более глубоким и успешным распутинцем, и он обладал многими утонченными и элегантными достижениями, которых был лишен грубый Антоний. Силла удовлетворял свое сладострастие, но Антоний был подвластен ему. Первый предавался удовольствиям, когда это было в его власти, но легкость, власть и месть были его главными и конечными целями: Главной целью второго было чувственное наслаждение, которому он подчинялся. Силла никогда бы не стал рабом Клеопатры или дурочкой Октавия. Отсюда такая разница между судьбой триумфального Диктатора, чья колесница катилась по колесам Фортуны до самого конца его карьеры, и печальной судьбой Антония. Однако именно эта судьба смягчила отвращение потомков, а слабость, добавившаяся к злодеяниям, необъяснимым образом смягчила в наших глазах недостатки мягкого триумвира, которого теперь больше помнят как преданного любовника Клеопатры, чем как главного инициатора проскрипций.

Филиппики против Антония, как и Демосфена, черпают свою главную прелесть из благородного выражения справедливого негодования, которое действительно составляет многие из самых великолепных и восхитительных пассажей древнего красноречия. Все они были [pg 178] произнесены в период, прошедший между убийством Цезаря и поражением Антония при Модене. Вскоре после смерти Цезаря Цицерон, опасаясь опасности со стороны Антония, который удерживал город как бы в военном владении, решился на путешествие в Грецию. Однако после отплытия его задержали встречные ветры, и, получив благоприятные известия от своих друзей в Риме, он решил вернуться в столицу. На следующий день после его прибытия сенат собрался, чтобы по предложению Антония рассмотреть вопрос о новых и необычных почестях в память о Цезаре. Антоний специально вызвал на это заседание Цицерона, но тот отклонялся, сославшись на недомогание и усталость от путешествия. Однако на следующий день, когда сенат собрался в отсутствие Антония, он явился вместо него и произнес первую из ораций, названных впоследствии филиппиками из-за их сходства с теми ругательствами, которые Демосфен изливал на великого врага независимости Греции. Цицерон начинает свою речь, объясняя мотивы своего недавнего отъезда из Рима, внезапного возвращения и отсутствия в предыдущий день, заявляя, что если бы он присутствовал, то выступил бы против посмертных почестей, возданных узурпатору. После того как он оправдался, предупредив сенат о замыслах Антония, он жалуется, что тот нарушил самые торжественные и достоверные законы Цезаря, и в то же время ввел в

действие в качестве постановлений то, что было простыми записями, найденными или притворявшимися найденными среди "Записок диктатора" после его смерти.

Антоний был крайне разгневан этой речью и созвал еще одно заседание сената, на котором снова потребовал присутствия Цицерона. Похоже, этим двум соперникам было суждено никогда не встретиться в здании сената. Цицерон, опасаясь какого-то замысла против своей жизни, не явился на заседание, так что оратория Антония в свое оправдание, которую он тщательно готовил в перерывах между отдыхом на своей вилле близ Тибура, осталась без ответа в сенате. Второй "Филиппик" был написан Цицероном в его чулане как ответ на эту речь Антония, в которой он был особенно обвинен в том, что был не только соучастником убийства Цезаря, но и главным зачинщиком заговора против него. Часть речи Цицерона, таким образом, была обязательно защитной, но большая часть, обвинительная, представляет собой одну из самых суровых и горьких инвектив, когда-либо написанных, и вся она выражена в терминах самого глубокого презрения и самого сильного отвращения к Антонию. Раскрывая все его преступные эксцессы с ранней юности, он показывает одну сплошную сцену разврата [pg 179] эрии, раздоров, насилий и насилия; Но с особым ужасом он останавливается на его предложении диадемы Сезарю на празднике Луперкалий, его пьяном дебоше на некогда классической вилле Теренция Варро, его покупке вещей, принадлежавших великому Помпею, причем последний предмет он патетически противопоставляет скромности и благопристойности этого прославленного воина, некогда любимца Фортуны и баловня римского народа, с разнузданностью военного авантюриста, который теперь разбогател на трофеях своей страны. В заключение он от себя лично заявляет, что в молодости защищал республику и в старости не оставит ее дела: "Меч Катилины я презирал, а меч Антония никогда не убоюсь". Эта оратория украшена всеми прелестями красноречия и доказывает, что на закате жизни Цицерон не утратил ни искры того огня и духа, которые оживляли его ранние произведения. Хотя оратория не была произнесена в сенате и не предназначалась для публикации до тех пор, пока ситуация не дошла до крайности, и дела республики не сделали необходимым сделать поведение и замыслы Антония очевидными для народа, ее копии были разосланы Бруту, Кассию и другим друзьям содружества: таким образом, она вскоре попала в широкое обращение и, вызвав месть Антония, стала главной причиной трагической смерти ее автора.

Положение Антония стало шатким из-за союза Октавия с партией сената и дезертирства двух легионов, он внезапно покинул город и во главе своей армии отправился в Цизальпинскую Галлию, которую после смерти Цезаря занимал Децим Брут, один из заговорщиков. Таким образом, поле боя для Цицерона освободилось, и сенат был собран, он произнес третий Филиппик, главной целью которого было побудить его поддержать Брута, предоставив армию в распоряжение Октавия вместе с двумя избранными консулами, Гирцием и Пансой. Он убеждает сенат в необходимости этой меры, подробно рассказывая о достоинствах Октавия и Брута, и в заключение публично благодарит этих вождей и легионы, покинувшие знамя Антония.

Из Сената Цицерон отправился прямо на Форум, где в четвертом "Филиппике" рассказал народу о случившемся и объяснил, что Антоний, хотя и не номинально, но фактически был объявлен врагом своей страны. Эта речь была так хорошо принята самой многочисленной аудиторией, которая когда-либо слушала его ораторские выступления, что, говоря о ней впоследствии, он заявил, что пожинал бы достаточно плодов от усилий всей своей [pg 180] жизни, если бы умер в тот день, когда она была произнесена, когда весь народ в один голос воскликнул, что он дважды спас [республику](#)<sup>330</sup>.

Брут, будучи еще не в состоянии защитить себя в поле, удалился в Модену, где его осадил Антоний. Известие об этом было доставлено в Рим, и Цицерон в своем пятом "Филиппике" попытался убедить сенат объявить Антония врагом своей страны, возражая Калену, который предложил, прежде чем переходить к враждебным действиям, отправить посольство, чтобы увещевать Антония отказаться от посягательств на Галлию и подчиниться власти сената. После трехдневных дебатов предложение Цицерона взяло бы верх, если бы один из трибунов не высказался против, в результате чего пришлось прибегнуть к посольству. Однако Цицерон, не дождавшись ответа, в шестой и седьмой филиппиках упорно утверждал, что любое соглашение с таким мятежником, как Антоний, будет в равной степени позорным и опасным для республики. Когда депутаты вернулись и сообщили, что Антоний не согласится ни на что из того, что от него требовалось, сенат объявил ему войну, используя, однако, в своем постановлении термин "беспорядки" вместо "война" или "мятеж". Цицерон в своем восьмом "Филиппике" возразил им на их робкую и невежливую мягкость в выражениях. В девятом "Филиппике", произнесенном на следующий день, он призвал сенат воздвигнуть статую одному из депутатов, Сервию Сульпицию, который, находясь в состоянии сильного расстройства, рискуя жизнью, предпринял посольство, но умер, не успев оправдаться за порученное ему дело. Это предложение встретило значительное сопротивление, но в конце концов было решено воздвигнуть ему на Форуме медную статую и поместить на ее основании надпись о том, что он погиб на службе республике.

До сих пор упоминавшиеся "Филиппики" касались в основном дел Цизальпинской Галлии, где происходило противостояние между Брутом и Антонием. Сенат уже долгое время не получал никаких сведений о главах заговора Марке Бруте и Кассии, первый из которых захватил провинцию Македонию, а второй - Сирию. Однако в конце концов от Брута пришли публичные депеши с отчетом о его успешных действиях в Греции. Консул Панса сообщил их содержание на заседании сената и [pg 181] предложил ему публичные благодарности и почести, но Кален, сторонник Антония, возразил и заявил, что, поскольку он поступил без законных полномочий, его следует обязать передать свою армию сенату или надлежащему правителю провинции. Цицерон в своем десятом "Филиппике" в красноречивом и патристическом негодовании ответил на это несправедливое и губительное предложение, особенно на утверждение, которым оно подкреплялось, что ветераны не согласятся, чтобы ими командовал Брут. Таким образом, ему удалось добиться от сената одобрения поведения Брута, продолжения его командования и денежной помощи.

Примерно в это же время из Азии пришло известие, что Долабелла, под предводительством Антония, овладел Смирной и там предал смерти одного из заговорщиков - Требония. После получения этих сведений возникли споры о выборе полководца для борьбы с Долабеллой, и Цицерон в своем одиннадцатом "Филиппике" упорно отстаивал право Кассия, который в то время находился в Греции, на это назначение. В двенадцатом и тринадцатом он снова горячо и успешно выступал против отправки депутации к Антонию. Все дальнейшие разговоры об умиротворении были прекращены радостной вестью о полном разгроме Антония под Моденой армией под командованием Октавия и консулов Гирция и Пансы, последний из которых был смертельно ранен в этом конфликте. Это известие вызвало в Риме невероятную радость, которая усилилась на фоне неблагоприятных сообщений, ходивших ранее. Сенат собрался, чтобы обсудить депеши консулов, сообщающие об этом событии. Никогда не было более прекрасной возможности для проявления красноречия, чем та, что была предоставлена Цицерону по этому случаю; этой возможностью он с блеском воспользовался в четырнадцатом "Филиппике". Возбуждение и волнения, вызванные недавней великой победой, дают повод для высокого полета красноречия, а также подготавливают умы слушателей к восхождению. Успех в Модене положил конец долгому

периоду тревоги. Предполагалось, что на какое-то время он решил судьбу Антония и Республики; и оратор, который таким образом увидел, что все его меры оправданы, должен был почувствовать ликование, уверенность и дух, столь благоприятные для высочайших упражнений красноречия. Все это, вместе с отвратительным характером побежденного врага, ранами Пансы, который когда-то был под подозрением у Республики, но своим верным рвением постепенно завоевал ее доверие и в конце концов скрепил свою верность кровью, - награды, причитающиеся оставшимся в живых победителям, - почести, которые следует воздать тем, кто пал, защищая свою страну, - благодарность, которую следует выразить бессмертным богам, - все это давало темы для три [pg 182] умф, панегирика и пафоса, которые редко предоставлялись оратору в любой эпохе и стране. Восхваляя павших, Цицерон останавливается на двух темах: одна относится к славе самих героев, другая - к утешению их друзей и родственников. Он предлагает воздвигнуть великолепный памятник, общий для всех погибших, с надписью, фиксирующей их имена и заслуги; и, рекомендуя эту дань общественной благодарности, он переходит к похоронному панегирику, который стал более долговечным памятником, чем предложенный им памятник.

Это был последний филиппик и последняя оратория, которую произнес Цицерон. Вскоре после этого союз Антония и Октавия уничтожил власть сената, и Цицерон, как и Демосфен, пал жертвой того возмущенного красноречия, которым он бичевал врагов своей страны: "Eloquio sed uterque periit orator; utrumque periit orator..."

"Eloquio sed uterque periit orator; utrumque

Largus et exundans letho dedit ingenii fons.

Ingenio manus est et cervix cæsa, nec unquam

Sanguine caudidici maduerunt rostra [pusilli331](#)".

Кроме вышеупомянутых полных ораций, Цицерон произнес множество, от которых остались лишь фрагменты или которые теперь полностью утрачены. Все те, которые он произносил в течение пяти лет, прошедших между его избранием в квесторы и в эдилы, исчезли, за исключением оратории к М. Туллию, экзорциум и повествование которой были обнаружены Майем в Амброзианской библиотеке в Милане. Туллий был насильно лишен (vi armata) одним из Фабиев фермы в Лукании, и весь род Фабиев был привлечен к ответственности за ущерб, согласно закону Лукулла, по которому, в результате грабежей, совершенных в муниципальных государствах Италии, каждая семья несла ответственность за насильственные действия любого из ее племени. Большой фрагмент оратории к Скауру составляет, безусловно, самую ценную часть находки в Амброзианской библиотеке. Ораторская речь, конечно, не полная, но та часть, которой мы располагаем, довольно хорошо связана. Обвинение было выдвинуто в растрате провинций, и в экзорциуме оратор объявляет, что он будет говорить, во-первых, об общем характере самого обвинения; во-вторых, о характере сардинцев; в-третьих, о характере Скавра; и, наконец, о специальном обвинении, касающемся кукурузы. Из них первые две главы достаточно полны; а та, в которой он разоблачает неверный характер сардинцев и тем самым подрывает доверие к свидетелям обвинения, выполнена искусно. Другие фрагменты, обнаруженные в Амброзианской библиотеке, состоят из отдельных предложений, из которых почти невозможно составить связный смысл. К таким фрагментам относится и оратория П. Клодия; тем не менее, благодаря найденным вместе с ней комментариям, мы можем составить некоторое представление о тоне речи. Поводом для этой инвективы послужила известная

история о том, как Клодий в женском обличье проник в дом Сезара во время празднования мистерий Бона Деа. Однажды в сенате между Цицероном и Клодием, вскоре после оправдания последнего за это преступление, произошла ссора, которая, вероятно, натолкнула Цицерона на мысль написать связную орацию, обличающую пороки и преступления Клодия, особенно его осквернение тайных обрядов богини и порочные средства, с помощью которых он добился своего оправдания. В одном из своих посланий к Аттику Цицерон подробно рассказывает об этой перепалке, которая, конечно, не дает нам представления о сенаторской серьезности и благопристойности.

Из тех ораций Цицерона, которые полностью исчезли, наибольшую потерю понесло исчезновение речи в защиту Корнелия, который был обвинен в действиях против государства во время своего трибунства. Эта речь, состоявшая из двух больших частей, продолжалась четыре дня подряд при огромном стечении народа, который неоднократно аплодисментами подтверждал свое восхищение ее ярким [красноречием](#)<sup>332</sup>. Сам оратор часто упоминает ее как одно из самых законченных своих [сочинений](#)<sup>333</sup>; а старые критики приводят ее в качестве примера подлинного красноречия. "Не только, - говорит Квинтилиан, - в крепких, но и в блестящих доспехах Цицерон боролся за дело Корнелия". Мы также должны сожалеть о потере оратории для С. Пизона, обвиненного в притеснениях во время его правления, прощальной речи, произнесенной им перед сицилийцами (*Quum Quæstor Lilybæo discederet*), в которой он дал им отчет о своем правлении и обещал им свою защиту в Риме, инвективы, произнесенной в сенате против Метелла в ответ на проповедь, с которой этот трибун обратился к народу по поводу поведения Цицерона, предавшего смерти без суда сообщников Катилины; и, наконец, знаменитую речь *De Proscriptorum Liberis*, в которой он на политических основаниях выступил против требований детей тех, кого Силла лишил права занимать [\[pg 184\]](#) любые почести в государстве, и которые теперь просили освободить их от этих ограничений, признавая их справедливость. Успех, которого он добился, сопротивляясь этому требованию, Плиний описывает в сильных выражениях: "*Te orante, proscriptorum liberos honores petere* [puduit](#)<sup>334</sup>". Еще одним ярким примером убедительности его красноречия может служить речь, которая теперь утрачена, и которая, хотя впоследствии и была записана, но, должно быть, произнесена *extempore*. Появление трибуна Росция Оттона, который выделил рыцарям места на публичных зрелищах, однажды вызвало беспорядки в театре, и Цицерон, получив сообщение об этом, поспешил на место и, созвав народ к храму Беллоны, так успокоил его магией своего красноречия, что, немедленно вернувшись в театр, они захлопали в ладоши в честь Оттона и вместе с рыцарями выражали ему [почтение](#)<sup>335</sup>. Одна из тем, которую он затронул в этой оратории, и единственная, на которую у нас есть хоть какой-то намек из античности, - это отсутствие вкуса у бунтовщиков, устроивших беспорядки, пока Роскиус выступал на [сцене](#)<sup>336</sup>. Эту речь, орацию против аграрного закона и *De Proscriptorum Liberis* долгое время приводили в качестве сильнейших примеров власти красноречия над страстями человечества: И трудно сказать, кому должна принадлежать высшая похвала - оратору, умевшему убеждать, или людям, которых таким образом можно было побудить отказаться от самых заманчивых надежд на собственность и почести, а также от полного наслаждения любимыми развлечениями.

В эпоху той декламации, которая господствовала в Риме со времен Тиберия и до падения империи, риторам было свойственно произносить речи на темы, сходные с теми, на которые Цицерон произносил или должен был произносить ораторские речи. Аулус [Геллий](#)<sup>337</sup> сообщает, что в эпоху Марка Аврелия возникли сомнения в подлинности некоторых ораций, распространявшихся как произведения Цицерона. Известно, что почти сразу после возвращения из ссылки он произнес четыре речи на темы, тесно связанные с его изгнанием. Первая была обращена к [сенату](#)<sup>338</sup>, вторая - к народу, через несколько дней после его

[возвращения339](#); третья - к коллегии понтификов, чтобы добиться возвращения участка земли на Палатинском холме, на котором раньше стоял его дом, но который был снесен, а на этом месте возведен храм, с целью, как он опасался, безвозвратно отторгнуть его от владельца, освятив таким образом [pg 185] для религиозных [целей340](#). Четвертый был произнесен в связи с заявлением Хлодия о том, что некоторые угрожающие чудеса, появившиеся в последнее время, несомненно, были вызваны осквернением этой земли, которую понтифики теперь освободили от религиозного использования. Четыре оратории, которые, как предполагается, были произнесены по этому случаю и озаглавлены: "Post Reditum in Senatu", "Ad Quirites post Reditum", "Pro domo sua ad Pontifices", "De Haruspicum Responsis", были опубликованы во всех ранних изданиях Цицерона без каких-либо сомнений в их подлинности со стороны комментаторов, а также были упомянуты в качестве подлинных авторитетов Миддлтоном в его "Жизни Цицерона". В конце концов, примерно в середине прошлого века, когда между Миддлтоном и Танстоллом возник известный спор по поводу писем к Бруту, в полемику вступил Марклэнд; его замечания по поводу переписки Цицерона и Брута сопровождалась "Диссертацией о четырех орациях, приписываемых М. Т. Цицерону", опубликованной в 1745 году, которая ставила под большое сомнение их подлинность. Миддлтон не дал официального ответа на эту часть замечаний Марклэнда; но он не отказался от своего мнения и не изменил ни слова в своем последующем издании "Жизни Цицерона".

Вскоре после этого Росс, редактор "Epistolæ Familiares" Цицерона, а впоследствии епископ Эксетерский, иронично показал в своей "Диссертации, в которой защита П. Суллы, приписываемая Цицерону, ясно доказана как поддельная, в манере г-на Марклэнда", что, исходя из принципов и линии аргументации, принятых его оппонентом, подлинность любой из ораций может быть оспорена. Этот jeu d'esprit епископа Росса был серьезно опровергнут в "Диссертации, в которой ясно отвечено на возражения, выдвинутые в одной из поздних брошюр против писаний древних в манере мистера Марклэнда, и исправлены те места в Талли, на которых основаны некоторые возражения.-1746". Эта диссертация была напечатана Боуиером, и принято считать, что именно он был ее [автором341](#). В Германии Й. М. Геснер, со всем весом своего мнения и "Тезауруса", упорно защищал эти орации в двух предисловиях, состоявшихся в 1753 и 1754 годах и включенных в 3-й том новой серии "Трудов Королевской академии в Геттингене" под названием "Cicero Restitutus", в которых он опроверг, одно за другим, все возражения Марклэнда.

[pg 186]

После этого, хотя "Письма Брута" уже не считались подлинными, литераторы всех стран - де Бросс, французский переводчик Саллюста, Фергюссон, Саксий в своем "Ономастиконе" и Рункений - признали оратории подлинными. Эрнести в своем издании Цицерона не упоминает о существовании каких-либо сомнений относительно них, а в своем издании [Фабриция342](#) упоминает о споре относительно них как о глупом и незначительном споре. Однако мнение изменилось благодаря изданию четырех ораций, которое Вольфиус опубликовал в Берлине в 1801 году, приложив к нему отчет о споре и общий взгляд на аргументы Марклэнда и Геснера. Замечания каждого из них, касающиеся отдельных слов и фраз, помещены под отрывками, в которых они встречаются, и за ними следуют собственные замечания Вольфиуса, опровергающие, насколько это в его силах, мнения Геснера и подтверждающие мнения Марклэнда. Шютц, позднейший немецкий редактор Цицерона, полностью принял взгляды Вольфа; и, напечатав эти четыре агитации не в порядке их следования в серии, а отдельно и в конце всего издания, вместе с отброшенной перепиской между Цицероном и Брутом, вывел их из классического поля зрения так же эффективно, как

Ламбинус исключил некогда признанные орации "In pace" и "Antequam iret in Exilium". В четвертом томе своего нового издания сочинений Цицерона, выходящего сейчас в Германии, Бек последовал мнению Вольфа, беспристрастно рассмотрев различные аргументы в его примечаниях и в *excursus criticus*, посвященном этому предмету.

Маркленд и Вольф считают, что эти агитки были написаны в качестве риторического упражнения неким декламатором, который жил вскоре после Цицерона, вероятно, во времена Тиберия, и у которого перед глазами были некоторые оратории Цицерона, ныне утраченные (возможно, те, которые он произносил по возвращении из ссылки), из которых ритор время от времени заимствовал идеи или фразы, не совсем недостойные гения и красноречия оратора. Но, несмотря на то, что они могут содержать некоторые изолированные цicerоновские выражения, категорически отрицается, что эти оратории могут быть продолжением сочинения Цицерона. Аргументы против их подлинности выводятся, во-первых, из их содержания, а во-вторых, из их стиля. Эти критики много говорят о многочисленных мыслях и идеях, не согласующихся с известными настроениями или не соответствующих склонностям автора, - о связи событий, рассказанных не так, как они были записаны им в его несомненных произведениях, - и, наконец, о грубом незнании законов, [pg 187] учреждений и обычаев Рима, и даже событий, происходивших в то время. Так, в одной из этих четырех ораций говорится, что по какому-то политическому поводу все сенаторы сменили свои одежды, а также преторы и эдилы, что доказывает, что автор не знал, что все эдилы и преторы обязательно были сенаторами, поскольку в противном случае особое упоминание о них было бы излишним и абсурдным. Еще сильнее то, что автор в оратории *Ad Quirites post reditum* ссылается на речь от имени Габиния, которая была произнесена только в 699 году, через три года после отзыва Сезара; тогда как настоящая орация *Ad Quirites* была произнесена на второй или третий день после его возвращения. Что касается стиля этих ораторских выступлений, то утверждается, что выражения в них натянуты, предложения недоуменны, а переходы резкие, и что их вялость и отсутствие оживления делают их совершенно недостойными Цицерона. Маркленд особенно отмечает нелепое повторение того, что декламатор считал цicerоновскими фразами, - "*Aras, focos, penates-Deos immortales-Res incredibiles-Esse videatur*". В отношении отдельных ораций он справедливо замечает, что та, которую Цицерон произнес в сенате сразу после своего возвращения, была подготовлена с величайшей тщательностью и была записана до ее произнесения, а выдуманная агитация, которую мы имеем вместо нее, во всяком случае, совершенно не похожа на то, что Цицерон мог бы произнести с тщательной тщательностью. Вторая оратория является своего рода компендиумом первой, в ней рабски повторяются одни и те же идеи и выражения, что подразумевает бесплодность изобретений и стерильность языка, которые невозможно предположить у Цицерона. О третьей оратории он говорит в своих письмах к Аттику как об одном из самых счастливых своих [трудов](#)<sup>343</sup>; но ничто не может быть более жалким, чем то, что мы имеем вместо нее, - первые двенадцать глав, действительно, совершенно не имеют отношения к обсуждаемому вопросу.

Оратория в защиту Марцелла, подлинность которой также ставится под сомнение, несколько отличается по стилю от других речей Цицерона; хотя она и называется "О Марцелле", это не столько речь в его защиту, сколько панегирик Цезарю за то, что он помиловал Марцелла по ходатайству сената. Марцелл был одним из самых яростных противников взглядов Цезаря. В сенате он рекомендовал лишить его провинции Галлия, оскорблял магистратов одной из новообразованных колоний Цезаря, присутствовал при Фарсалии на стороне Помпея. После этой битвы он удалился в Митилену, где и вынужден был остаться, будучи одним из [pg 188] немногих противников, с которыми завоеватель отказался примириться. Однако однажды сенат, в присутствии Цезаря, единым голосом и в порыве мольбы обратился к нему с

просьбой о помиловании Марцелла, и их просьба была удовлетворена, Цицерон, хотя и решил хранить вечное молчание, но, тронутый случаем, произнес одну из самых напряженных хвалебных речей, которые когда-либо произносились.

В первой части он восхваляет военные подвиги Цезаря, но показывает, что его милосердие к Марцеллу было более славным, чем все остальные его действия, так как оно полностью зависело от него самого, в то время как фортуна и его армия имели свою долю в событиях войны. Во второй части он пытается развеять подозрения, которые, судя по всему, все еще питал Сезар относительно враждебных намерений Марцелла, и пользуется случаем, чтобы заверить диктатора, что его жизнь дороже и ценнее всех, поскольку от нее зависело спокойствие государства и надежды на восстановление содружества.

Эта речь, которую Миддлтон объявляет превосходящей все, что сохранилось подобного рода во всей античности, и которую знаменитый французский критик называет "Le discours le plus noble, le plus pathétique, et en même temps le plus patriotique, que la reconnaissance, l'amitié, et la vertu, puissent inspirer à une âme élevée et sensible", продолжает оставаться не только бесспорной подлинностью, но и одним из самых восхитительных произведений Цицерона, пока Вольф в предисловии и примечаниях к новому изданию, напечатанному в 1802 году, не попытался показать, что это подделка, совершенно недостойная оратора, чье имя она носит, и что она была написана каким-то декламатором вскоре после эпохи Августа, не как навязывание публике, а как упражнение, - в соответствии с практикой риториков, которые обычно выбирали в качестве темы какой-нибудь предмет, о котором говорил Цицерон. В своих письмах к Аттику Цицерон говорит, что он воздал благодарность Цезарю pluribus verbis. Миддлтон переводит это как "длинная речь", но Вольф утверждает, что это может означать только несколько слов и никогда не может быть истолковано для обозначения полной оратории, подобной той, которой мы располагаем сейчас в отношении Марцелла. То, что Цицерон не произносил длинных или формальных речей, очевидно, утверждает он, из свидетельства Плутарха, который в своей жизни Цицерона упоминает, что через некоторое время после этого, когда оратор собирался выступить в защиту Лигария, Цезарь спросил, как случилось, что он не слышал речи Цицерона так долго, - что было бы абсурдно, если бы он слышал его за несколько месяцев до этого, выступая в защиту Марцелла. Будучи современным излиянием, вызванным непредвиденным случаем, оно не могло (продолжает он) быть заранее [pg 189] проработано и написано; также маловероятно, что, подобно многим другим орациям Цицерона, оно было пересмотрено и обнародовано после произнесения. Причинами, побуждавшими римских ораторов записывать свои речи на досуге, были масштабность и общественная значимость темы или желание тех, в чью защиту они произносились и кто желал иметь некий отчет об их оправдании. Но ни один из этих мотивов не существовал в данном случае. Дело не представляло никакой важности или сложности, и мы знаем, что Марцелл, который был суровым республиканцем, ничуть не обрадовался вмешательству сенаторов и не примирился с милосердием Сезара. Что касается внутренних доказательств, выведенных из оратории, Вольф признает, что в ней есть несколько цicerоновских предложений; а как иначе ученые могли быть так вопиюще обмануты? Но сходство скорее в лаке стиля, чем в сути. Мы имеем скорее слова, чем мысли Цицерона; округлость его периодов без их энергии и аргументированной связи. Кроме того, он приводит множество примеров необычных для классиков фраз и приемов, выдающих риторика или софиста. Его восхваление поступка того дня, когда Сезар помиловал Марцелла, как более высокого, чем все его военные подвиги, вызвало бы улыбку на устах Диктатора; а пренебрежительное упоминание дела республики и Помпея полностью отличается от того, как Цицерон высказывался на эти деликатные темы даже в присутствии Сезара, в своих подлинных орациях для Дейотара и Лигария.

На первый взгляд очевидно, что многие замечания Вольфа гиперкритичны, а в своих аргументах, касающихся восхваления Цезаря и преувеличения значения его милосердия к Марцеллу, он не учитывает привычку Цицерона преувеличивать и минутный энтузиазм, вызванный одной из таких сделок,

-- "Quæ, dum geruntur,

Percellunt animos." --

Соответственно, в год, следующий за годом издания Вольфа, Олаус Вормиус опубликовал в Копенгагене доказательство подлинности этой речи. На аргумент, приведенный Плутархом, он отвечает, что между орациями Марцеллу и Лигарию прошло несколько месяцев, которые человек, привыкший слышать почти ежедневные речи Цицерона в сенате или на форуме, с легкостью мог бы назвать долгим периодом. Кроме того, фраза Плутарха λεγοντος может означать мольбу [pg 190] за кого-то, что не было характером речи для Марцелла. Что касается мотива, побудившего написать и опубликовать орацию, то Цицерон, прежде всего, был в восторге от собственных произведений, и ничто не может быть более вероятным, чем желание сохранить память о том памятном дне, который он называет в своих письмах *diem illam pulcherrimam*. Естественно было послать орацию Марцеллу, чтобы ускорить его возвращение в Рим, и, должно быть, это было приемлемо для Цезаря, чтобы таким образом запечатлеть его бесстрашие и благосклонность. Что касается того, как говорят о Помпее и республиканской партии, то из его писем видно, что Цицерону были противны политические меры этой фракции, что он полностью не одобрял их план кампании и, предвидя возобновление проскрипций Силлы при торжестве аристократической власти, не преувеличивал, так высоко превознося гуманность Цезаря.

Аргументы Вормиуса были расширены и проиллюстрированы Вайске, в "Commentario perpetuo et pleno in Orat. Ciceronis pro Marcello, опубликованном в Лейпсике в 1805 [году](#)<sup>344</sup>, в то время как, с другой стороны, Сполдинг в своем *De Oratione pro Marcello Disputatio*, опубликованном в 1808 году, поддержал мнение Вольфиуса.

Спор находился в таком состоянии и считался вовлеченным в большие сомнения и неясности, когда Ауг Якоб в академическом труде, напечатанном в Галле и Берлине в 1813 году и озаглавленном *De Oratione quæ inscribitur pro Marcello, Ciceroni vel abjudicata vel adjudicata, Quæstio novaque conjectura*, принял средний курс. Обнаружив такое несходство в различных отрывках оратории, одни из которых были наиболее мощными, изящными и красивыми, а другие - совершенно бесполезными и фригидными, он пришел к выводу, что часть из них действительно исходила из уст Цицерона, но большая часть была впоследствии интерполирована каким-то ритором или декламатором. Он делит весь свой трактат на четыре главы, которые охватывают все различные вопросы, обсуждаемые в этой оратории: 1. Свидетельства различных авторов, доказывающие подлинность или поддельность этого произведения: 2. История того времени, с которой обязательно должна совпадать каждая подлинная оратория: 3. Гений и манера Цицерона, от которых не может быть полностью удалена ни одна [pg 191] из его ораций: 4. Стиль и фразеология, которые должны быть правильными и классическими. Исследуя эти различные аспекты предмета, автор последовательно рассматривает мнения и суждения своих предшественников, иногда соглашаясь с Вольфом и его последователями, иногда, и чаще, с их оппонентами. Он полагает, что вызывающая много споров фраза *pluribus verbis* может означать длинную орацию, поскольку Цицерон в другом месте говорит о том, что он выступал в защиту Клавентия, *pluribus verbis*, хотя речь в его защиту состоит из 58 глав. Кроме того, Цицерон

говорит только о том, что он вернул благодарность Цезарю, pluribus verbis. Но вся речь не состоит из благодарностей Цезарю, а частично занята тем, что отводит подозрения, которые он питал к Марцеллу. Что касается хвалебных речей в адрес Сезара, которые Сполдинг характеризует как презрительные и пышные, совершенно не похожие на нежные комплименты, адресованные ему в ораториях в честь Дейотара или Лигария, Якоб напоминает своим читателям, что эти речи не могут иметь никакого сходства друг с другом, так как последние являются ходатайствами в защиту обвиняемого, а первые - исповедуемым панегириком. Никто не может счесть хвалебные речи о Сезаре слишком экстравагантными для Цицерона, если вспомнить, в каких выражениях оратор ранее отзывался о Росции, Архии и Помпее.

Шютц, поздний немецкий редактор Цицерона, присоединился к мнению Вольфа и опубликовал речь к Марцеллу вместе с четырьмя другими сомнительными речами в конце подлинных ораций.

Но если предположить, что эти пять спорных речей являются подделкой, остается достаточное количество подлинных ораций, чтобы мы могли различить характер красноречия Цицерона. Стремясь с юности к почестям, полагающимся прекрасному оратору, он рано отправился в Грецию, где накопил все запасы знаний и правил искусства, которые можно было почерпнуть у риторов, историков и философов этой интеллектуальной страны. Пока он извлекал и впитывал изобилие Платона, сладость Исократы и силу Демосфена, он в то же время напился своим умом глубоким знанием законов, конституции, древности и литературы своей родной страны. Он не менее тщательно изучил особенности нравов, ревности и вражды римского народа, как нации, так и отдельных людей, без знания которых его красноречие было бы бесполезным на Форуме или в Комиции, где многое решалось фаворитизмом и кабалой. С помощью этих средств он почти безраздельно властвовал над страстями и рассуждениями своих соотечественников - [pg 192] поддерживал власть сената, останавливал развитие тирании, изгонял из Рима дерзкого Катилина, направлял чувства государства в пользу Помпея, сотрясал сильный ум Цезаря и разжигал пламя, от которого Антоний едва не сгорел. Но главный секрет его успеха заключался в теплоте и интенсивности его чувств. Его сердце пылало патриотизмом и было наполнено самыми величественными представлениями о славе Рима. Хотя в нем пульсировали самые нежные предчувствия посмертной славы, сиюминутное одобрение толпы было тем аккордом, на который оно ежедневно и охотно отзывалось; в то же время его высокие представления об ораторском искусстве противодействовали дурному эффекту, который могло бы произвести это непомерное тщеславие. Так, когда два оратора выступали по одному и тому же делу, Цицерон, хотя и был младшим, назначал перорацию, в которой превосходил всех своих современников; и это превосходство он получил не столько благодаря своему гению или знанию законов, сколько потому, что сам был более тронут и затронут, без чего он никогда бы не тронул и не затронул своих судей.

Обладая такими природными данными и такими способностями, он рано занял место прибежища и опоры своих сограждан на Форуме, арбитра обсуждений в Сенате и самого мощного защитника политических интересов содружества с Рострума.

Цицерона и Демосфена часто сравнивали. Суидас говорит, что некий Цицилий, уроженец Сицилии, чьи труды ныне утрачены, первым ввел параллель, и впоследствии их сравнивали в должной форме Плутарх и Квинтилиан, а среди древних (в том, что касается возвышенности) Лонгин, а среди современных - Гердер в своей "Философской истории человека" и Йениш в немецкой работе, посвященной этому [вопросу](#)<sup>345</sup>. Рапен и все остальные французские критики, за исключением Фенелона, отдают предпочтение Цицерону.

Из того, что уже было сказано, достаточно очевидно, что Цицерону не пришлось столкнуться ни с одним из тех препятствий от природы, с которыми столкнулся Демосфен; и его молодость, вместо того чтобы, как у греческого оратора, тратиться на исправление и устранение недостатков, была непрерывно занята поисками улучшений, способствующих его искусству. Но если Цицерон получил преимущества от природы, то Демосфен обладал другими преимуществами, связанными с более высоким прогрессом его страны в области утонченности и письма в ту эпоху, когда он [pg 193] появился на свет. Греческая литература достигла своего полного совершенства еще до рождения Демосфена, но Цицерон в значительной степени сам был создателем литературы Рима, и еще не существовало прозаика выдающегося уровня, на которого он мог бы ориентироваться в своей фразеологии. В других внешних обстоятельствах они находились в не слишком схожих ситуациях. Но у Цицерона было более широкое и, возможно, более прекрасное поле для изложения и реализации своих способностей. Обширная территория Римской империи, поразительные пороки и добродетели ее граждан, памятные события ее истории давали бесконечное разнообразие великих и интересных тем; в то время как многие оратории Демосфена посвящены темам, недостойным его таланта. Их гений и способности были во многом одинаковы. Их красноречие было того великого и всеобъемлющего рода, который делает достойным любой предмет и придает ему всю силу и красоту, на которую он способен". "Я считаю, что Цицерон и Демосфен, - говорит Квинтилиан, - были похожи в большинстве великих качеств, которыми они обладали. Они были похожи в замысле, в способе разделения темы и подготовки умов слушателей, короче говоря, во всем, что касается изобретательства". Но если в их талантах было много сходства, то в их нравах и характерах были большие различия. Демосфен отличался строгим, суровым, меланхоличным нравом, упрямством и решительностью во всех своих начинаниях: Цицерон же отличался живым, гибким и колеблющимся нравом. Это, по-видимому, главная причина различий в их красноречии; но контрасты слишком очевидны и слишком часто демонстрировались, чтобы их можно было показать здесь. Никому не хочется в двадцатый раз повторять, что Демосфен использует более высокий тон, он более серьезен, энергичен и впечатляющ, чем Цицерон, а Цицерон более вкрадчив, изящен и эффектен: Что греческий оратор поражал душу силой своих аргументов и пылкостью выражений, а римский прокладывал себе путь к сердцу, попеременно возбуждая и утишая страсти своих слушателей, используя все искусства риторики и соглашаясь с их мнениями и предрассудками.

Цицерон был не только великим оратором, но и оставил самые полные инструкции и самые полные исторические подробности об искусстве, которое он так славно практиковал. Его наставления содержатся в диалоге "Оратор и оратор", а история римского красноречия изложена в диалоге "Брут, или Оратор" (Brutus, sive De Claris Oratoribus).

В юности Цицерон написал и опубликовал несколько непереваренных замечаний о красноречии; но, посчитав их недостойными характера и опыта, который он приобрел впоследствии, он решил написать трактат об этом искусстве, который бы более соответствовал его зрелым талантам. Он сам упоминает нескольких сицилийцев и греков, которые писали об ораторском [искусстве](#)<sup>346</sup>. Но в основном он следовал Аристотелю в его книгах по [риторике](#)<sup>347</sup> и Исократу, все теории и наставления которого он воплотил в своих риторических трудах. Свои идеи по этому вопросу он изложил в форме диалога или конференции - вида композиции, который, хотя и часто использовался греками, до сих пор не пытались использовать в Риме. Такой способ письма имел множество преимуществ: Приняв его, он избежал той догматической атмосферы, которую обязательно должен был

носить его трактат на подобную тему, и получил возможность наставлять, не диктуя правил. Диалог также избавлял от монотонности стиля, давая возможность варьировать его в зависимости от характеров разных ораторов: он смягчал строгость наставлений веселостью беседы и развивал каждое мнение с живостью и полнотой, естественными при устном обсуждении любимой темы. К этому следует добавить возможность сделать приемлемый комплимент друзьям, которых представляли в качестве собеседников, и восприимчивость к приятному описанию сцен, в которых находились участники диалога, - вид приукрашивания, для которого предоставляли широкие возможности многочисленные виллы Цицерона, расположенные в самых красивых местах Италии и во всем многообразии ландшафтов, от Альбанских высот до тенистых берегов Лириса или сверкающего берега Байи. Однако в качестве метода передачи знаний (за исключением дискуссий, которые чрезвычайно просты и могут в значительной степени раскрыть характер) диалог во многих отношениях крайне неудобен. "Из-за перерывов, которые делаются, - говорит автор "Жизни Тассо" в своих замечаниях о диалогах этого поэта, - из-за перерывов, которые делаются, если диалог вообще драматичен, из-за приготовлений и переходов, порядок и точность должны быть в значительной степени принесены в жертву. В рассуждениях нужно использовать столько краткости, сколько соответствует пронизательности; но в диалоге нужно использовать столько многословия, что обычно теряется смысл аргументации". Ответы на возражения оппонента тоже кажутся скорее аргументами *ad hominem*, чем ценностью абстрактной истины; так что читатель недоумевает и недоумевает, и заканчивает расследование, видя одного из персонажей озадаченным, правда, и, возможно, покоренным, но не [pg 195] совсем удовлетворенным тем, что битва не могла быть проведена лучше, а аргументы приведены более победоносные."

Диалог *De Oratore* был написан в 698 году, когда Цицерон, испытывая отвращение к политическим разногласиям в столице, удалился на часть лета в деревню: Но, согласно предположению автора, диалог произошел в 662 году. Автор адресует его своему брату в посвящении, ярко выражающем его любовь к учебе; и после некоторых общих замечаний о сложности ораторского искусства и многочисленных достижениях, необходимых для формирования полноценного оратора, он представляет свой диалог, или, скорее, три диалога, из которых состоит представление. Диалог может быть написан либо как прямой разговор, в котором никто, кроме говорящих, не появляется, и где, как в сценах пьесы, нет никакой информации, кроме того, что говорят друг другу участники драмы; или как пересказ беседы, где появляется сам автор и после предварительных подробностей о лицах диалога, обстоятельствах времени и места, в которых он происходил, переходит к рассказу о том, что происходило в беседе, на которой он сам присутствовал, или о значении которой ему сообщил кто-то, кто присутствовал и принимал участие в конференции. Именно этого последнего метода придерживается Цицерон в своих диалогах *De Oratore*. Он рассказывает от своего лица, что во время празднования некоторых праздников в Риме оратор Красс удалился на свою виллу в Тускулуме, одном из самых восхитительных уединений в Италии, куда его сопровождали Антоний, его самый близкий друг в частной жизни, но самый грозный соперник на Форуме, и его тесть Сцевола, который был величайшим юристом своего века, и к дому которого в городе прибегали как к оракулу люди самого высокого ранга и достоинства. При Крассе также присутствовали Котта и Сульпиций, в то время два самых многообещающих оратора Рима, первый из которых впоследствии рассказал Цицерону (поскольку автор, как предполагается, не присутствовал лично) о разговоре, который состоялся между этими выдающимися людьми, когда они расположились на скамьях под планетным деревом, росшим на одной из дорожек, окружавших виллу. Не исключено, что подобная беседа действительно имела место и что Цицерон, несмотря на свой возраст и авторитет, проистекающий из его риторической репутации, решил воспользоваться этим

обстоятельством, чтобы укрыть свои взгляды от двух древних мастеров, которые до его собственного времени считались главными органами римского красноречия.

Красс, чтобы рассеять уныние, которое было ос [pg 196] вызвано серьезным и даже меланхоличным разговором о положении государственных дел, обратился к ораторскому искусству. Предполагается, что настроения, которые он выражает по этому поводу, совпадают с теми, которых придерживался сам Цицерон. Чтобы побудить двух молодых людей, Котту и Сульпиция, с рвением продолжить карьеру, которую они так успешно начали, он сначала рассказывает о пользе и совершенстве ораторского искусства; затем, переходя к цели, которую он имел в виду, он утверждает, что почти универсальные знания необходимы для совершенствования в этом благородном искусстве. Затем он перечисляет те отрасли знаний, которые должен приобрести оратор, и цели, для которых он должен их применять: он внушает необходимость знакомства с древностями, нравами и конституцией республики - постоянного упражнения в письменном сочинении - изучения жестов в театре - перевода греческих ораторов - чтения и комментариев к философам, чтения и критики поэтов. Отсюда возникает вопрос, может ли знание гражданского права быть полезным для оратора? Красс пытается доказать его полезность на примере различных случаев, когда требовалось разъяснить его принципы, а также исходя из внутреннего благородства самой науки и превосходства римского права над всеми другими системами юриспруденции. Антоний, который был простым практическим адвокатом, считал философию и гражданское право бесполезными для оратора, поскольку они чужды реальному делу жизни. Он считал, что красноречие может существовать и без них, а что касается других достижений, перечисленных Крассом, то они совершенно не относятся к должностным обязанностям оратора. Поэтому было решено, что на следующий день Антоний изложит свои представления об ораторских способностях. Перед началом второй беседы к ним присоединяются Катул и Юлий Цезарь (двоюродный дед Диктатора), два самых выдающихся оратора того времени, первый из которых отличался изяществом и чистотой дикции, а второй - склонностью к любезностям. Встретив Сцеволу по дороге из Тускулума на виллу Лелия и узнав от него о состоявшемся интересном разговоре, остаток которого был отложен до завтра, они пришли с соседней виллы, чтобы принять участие в поучениях и развлечениях. В их присутствии и в присутствии Красса Антоний придерживается своей излюбленной системы, согласно которой красноречие не является искусством, поскольку не зависит от знаний. Подражание хорошим образцам, практика и внимание к каждому конкретному случаю, который должен быть тщательно изучен во всех его аспектах, изложены им как основы [pg 197] судебного красноречия. Поскольку главной задачей оратора является, прежде всего, рекомендовать себя своим клиентам, а затем склонить в их пользу аудиторию и судей, Антоний подробно излагает практику адвокатуры, примиряя, информируя, убеждая и обманывая тех, от кого зависит решение дел; все это обильно иллюстрируется примерами, взятыми из конкретных вопросов, которые возникали в Риме в случаях доказательства, строгого закона или справедливости. Главный вес и значение придается тому, чтобы привести в движение пружины страстей. Среди методов примирения и уговоров особо упоминаются юмор и шутка. Ораторское остроумие Сезара попросили привести примеры судебных шуток. Те, которые он приводит, по большей части являются жалкими придирами или личными размышлениями о противоположных сторонах и их свидетелях. Однако объем диссертации на эту тему показывает, какое важное место она занимала в квалификации древнего оратора.

Объяснив таким образом Антонию механическую часть обязанностей оратора, решено, что во второй половине дня Красс займется приукрашиванием риторики. Выполняя возложенную на него задачу, он рассматривает все, что относится к тому, что можно назвать

декоративной частью ораторского искусства - произношение, элоквиция, гармония периодов, метафоры, чувства, действие (которое он называет преобладающей силой в красноречии), выражение лица, модуляция голоса и все те свойства, которые придают законченное изящество и достоинство публичной речи.

Сам Цицерон высоко ценил этот трактат об ораторском искусстве, а его друзья считали его одним из лучших его произведений. Стил диалога обилен, без излишеств, как это иногда бывает в орациях. Он достоин восхищения благодаря разнообразию характеров ораторов, общему ходу пьесы и разнообразию содержащихся в ней вопросов. В нем, как мне кажется, собрано все ценное из греческих трудов по риторике, а также множество превосходных наблюдений, подсказанных долгим опытом автора, приобретенным в ходе многочисленных дел, как общественных, так и частных, которые он вел на Форуме, и важных дискуссий, в которых он влиял на мнение сената. Однако как сочинение я не могу считать диалог "Оратор" полностью безупречным. В нем слишком мало драматизма для диалога, и временами он перерастает в продолжение диссертации; в то же время, приняв форму диалога, создается эффект бессвязного и беспорядочного обсуждения темы, где из всех прочих наиболее желательны были метод и тесная связь. Есть также [pg 198] часто предполагаемая живость манеры, которая кажется вынужденной и аффектированной в этих серьезных и консульских ораторах.

Диалог под названием "Брут, или Ясный оратор" (Brutus, sive De Claris Oratoribus) был написан, а также придуман для того, чтобы произойти после того, как Цезарь достиг власти, хотя он все еще был занят в войне против Сципиона в Африке. Предполагается, что совещание Цицерона, Аттика и Брута (от которого оно и получило свое название) проходило возле статуи Платона, которая стояла на прогулочной площадке усадьбы Цицерона в Риме.

Брут, испытав на себе милость завоевателя, которому он впоследствии принес жертву, покинул Италию, чтобы развлечь себя приятным путешествием по городам Греции и Азии. Через несколько месяцев он вернулся в Рим, предаваясь спокойным занятиям историей и риторикой и проводил многие часы досуга в обществе Цицерона и Аттика. Первая часть диалога этих трех друзей содержит несколько небольших, но мастерских зарисовок самых знаменитых ораторов, процветавших в Греции; но они упоминаются не столько с исторической целью, сколько для того, чтобы подтвердить примерами любимое утверждение автора, что для совершенства в ораторском искусстве необходимо владеть всеми искусствами. Диалог в основном занят подробностями о римских ораторах, начиная с самых ранних веков и заканчивая временем Цицерона. Сначала он упоминает таких ораторов, как Аппий Клавдий и Фабриций, о которых он ничего не знал наверняка, чьи речи никогда не были записаны или уже не сохранились, а о силе их красноречия он мог лишь строить догадки, основываясь на эффекте, который они производили на народ и сенат, как записано в древних анналах. Второй класс ораторов - это те, как Катон Цензор и Гракхи, чьи речи еще сохранились, или о которых он мог говорить традиционно, на основании сообщений еще живых людей, которые их слышали. Много из того, что говорится об этой группе ораторов, опирается на авторитет Гортензия, от которого Цицерон почерпнул свои [сведения](#)<sup>348</sup>. Третья категория - умершие современники автора, которых он сам видел и слышал; он отступает от своего правила не упоминать ни одного живого оратора только по просьбе Брута, который выражает желание узнать его мнение о достоинствах Марцелла и Юлия Цезаря. В заключение он рассказывает о своем собственном росте и прогрессе, о полученном образовании и различных методах, которые он использовал, чтобы достичь тех высот красноречия, которых он достиг.

Эта работа, безусловно, представляет собой величайшую ценность для истории римского красноречия; кроме того, она бросает значительный свет на гражданские дела республики, поскольку автор в целом затрагивает основные инциденты из жизни тех выдающихся ораторов, о которых он упоминает. Она также придает дополнительный вес и авторитет ораторским наставлениям, содержащимся в других его работах, поскольку показывает, что они были основаны не на каких-то умозрительных теориях, а на детальном наблюдении за фактическими недостатками и достоинствами самых известных ораторов его эпохи. Однако при всех этих достоинствах книга не так занимательна, как можно было бы ожидать. Автор упоминает слишком много ораторов и слишком мало говорит о каждом из них, что придает его трактату вид скорее сухого каталога, чем литературного эссе или приятного диалога. В ходе работы он признает, что включил в список ораторов многих, кто мало претендовал на это звание, так как намеревался рассказать обо всех без исключения римлянах, которые стремились преуспеть в искусстве красноречия.

Книга "Оратор", адресованная Бруту и написанная по его просьбе, была призвана завершить темы, рассмотренные в диалогах "Оратор" и "Ораторские речи". В нем содержится описание того, что Цицерон считал необходимым для формирования идеального оратора, - характера, который, правда, нигде не существовал, но представление о котором он создал в своем воображении. Он признает, что аттическое красноречие наиболее близко к совершенству; однако он делает паузу, чтобы исправить распространенную ошибку, согласно которой подлинный аттицизм - это правильная, простая и стройная речь, отличающаяся чистотой стиля и изысканностью вкуса, но лишенная всех украшений и излишеств. Во времена Цицерона существовал целый класс ораторов, среди которых было несколько знатных и образованных людей первого сорта, которые, признавая превосходство его гения, все же порицали его дикцию как не истинно аттическую: одни называли ее рыхлой и вялой, другие - бурной и буйной. Эти ораторы проявляли минутную и придирчивую корректность, выверенные предложения, короткие и сжатые периоды, без единого лишнего слога - как будто совершенство ораторского искусства заключалось в экономном расходовании слов и теснении чувств в как можно более узком пространстве. Главными покровителями этого вкуса были Брут и Лициний Кальв. Цицерон, признавая, что правильность необходима для красноречия, утверждал, что нервный, обильный, оживленный и даже витиеватый стиль может быть истинно аттическим, поскольку в противном случае Лисий был бы единственным аттическим оратором, не считая Исократу и даже самого Демосфена. Соответственно, он выступает против системы этих ультра [pg 200] аттических ораторов, которых он представляет как часто покинутых в середине их проповедей; поскольку, хотя их стиль риторики может радовать ухо критика, он не относится к тем возвышенным, патетическим или звучным видам, целью которых является не только обучение, но и перемещение аудитории, - чье волнение и восхищение составляют истинные критерии красноречия.

Остальная часть трактата посвящена трем вещам, на которые должен обращать внимание оратор: что он должен говорить, в каком порядке должны быть расположены его темы и как они должны быть выражены. При обсуждении последнего пункта автор очень подробно останавливается на сочетании слов и размеренном каденции, который в некоторой степени преобладает даже в прозе, - предмет, по которому Брут хотел получить особые наставления и который он, соответственно, подробно рассматривает.

Этот трактат довольно сумбурно организован, а диссертация о прозаической гармонии, хотя и любопытная, кажется нам слишком мелкой для ораторского внимания. Однако Цицерон придавал этому произведению большое значение; в письме к Лепте он заявляет, что, какими

бы суждениями он ни обладал в области ораторского искусства, он вложил их все в этот труд и готов поставить свою репутацию на карту его [достоинств](#)<sup>349</sup>.

Топику можно рассматривать и как еще одно произведение на тему риторики. Аристотель, как известно, написал книгу с таким названием. Юрист Кай Требатий, друг Цицерона, желая узнать содержание и смысл греческого произведения, которое он случайно увидел в тускуланской библиотеке Цицерона, но от изучения которого его удержала неясность автора (хотя оно, конечно, не относится к самым сложным произведениям Аристотеля), попросил Цицерона составить этот отрывок, или комментарий, чтобы объяснить различные темы, или общие места, которые лежат в основе риторических аргументов. Об этой просьбе Цицерону некоторое время спустя напомнил вид Веллии (морской виллы Требатия) во время каботажного плавания, которое он предпринял, намереваясь уехать в Грецию из-за бед, последовавших за смертью Цезаря. Хотя у него не было под рукой ни Аристотеля, ни какой-либо другой книги, чтобы помочь ему, он составил его по памяти во время плавания и закончил его до прибытия в Регий, откуда отправил его [Требацию](#)<sup>350</sup>.

Этот трактат показывает, что Цицерон самым тщательным образом изучал "Темы" Аристотеля. Однако это не перевод, а выдержка или объяснение этого труда; и, поскольку он был адресован юристу, он взял свои примеры главным образом из гражданского права римлян, которое, по его мнению, Требатий поймет лучше, чем иллюстрации, взятые, как у Аристотеля, из философии греков.

Невозможно в достаточной мере восхищаться трудолюбием и любовью Цицерона к письму, которого ни неудобства морского путешествия, которое он всегда недолго любил, ни томительные мысли о необходимости покинуть Италию в такой момент не могли отвлечь от спокойного и регулярного занятия его любимыми науками.

Труд "De Partitione Rhetorica" написан в форме диалога между Цицероном и его сыном; первый отвечает на вопросы второго, касающиеся принципов и доктрины красноречия. Трактат, ныне озаглавленный "De Optimo genere Oratorum", первоначально задумывался как предисловие к переводу, который Цицерон сделал из ораций Эсхина и Демосфена по делу Ктесифо, в котором абсурдный и пустяковый церемониальный вопрос стал основой бессмертного спора. В этом предисловии он возвращается к теме, которой он коснулся в "Ораторе", - к господствовавшему в Риме заблуждению, что аттическое красноречие ограничивалось той точной, сухой и тонкой манерой выражения, которая была принята в орациях Лисия. Именно для того, чтобы исправить эту ошибку, Цицерон взялся за вольный перевод двух шедевров афинского красноречия; один из них - пример пылкого и энергичного, другой - патетического и декоративного ораторского искусства. Вероятно, Цицерона побудили к этим постоянным расспросам о подлинном характере аттического красноречия упреки, которые часто бросали его собственным речам Брут, Кальв и другие бесплодные, но, как они сами полагали, истинно аттические ораторы, что его речи были не в греческом, а скорее в азиатском вкусе, то есть без нервов, витиеватые и излишние.

Похоже, что в Риме, как и в Греции, ораторское искусство обычно делилось на три разных стиля - аттический, азиатский и родосский. По крайней мере, Квинтилиан так классифицирует различные виды ораторского искусства в одном из отрывков, где он также кратко характеризует их по тем признакам, по которым они в основном различались. "Mihi autem, - говорит он, - orationis differentiam fecisse et dicentium et audientium naturæ videntur, quod Attici limati quidem et emuncti nihil inane aut redundans ferebant. Asiana gens, tumidior alioquin et jactantior, vaniore etiam dicendi gloria inflata est. Tertium mox qui hæc dividebant adjecerunt genus Rhodium, quod velut medium esse, atque ex utroque mixtum [volunt](#)<sup>351</sup>." Брут и

Лициний Кальв, как мы видели, отличались стройностью, полированностью и несколько бесплодной лаконичностью аттического красноречия. [pg 202] Речи Гортензия и несколько ранних выступлений Цицерона, например, перед Секстом Росцием, служат примерами обильного, пышного, а иногда и бурного стиля азиатского ораторского искусства. Последние ораторские речи Цицерона, отточенные его учебой и опытом, были, как я полагаю, почти в родосском вкусе. Эта знаменитая школа красноречия была основана Эсхином, соперником Демосфена, когда тот, изгнанный из родного города под влиянием своего конкурента, удалился на остров Родос. Уступая Демосфену в силе аргументации и силе выражения, он превзошел его в пышности и декоративности. Школа, которую он основал и которая просуществовала еще несколько веков после его смерти, не допускала роскоши азиатской дикции; и хотя она была самой декоративной в Греции, она всегда оставалась верной принципам своего великого афинского учителя. Большую часть двух лет, в течение которых Цицерон путешествовал по Греции и Азии, он провел на Родосе, а его главным учителем красноречия в Риме был Моло Родянин, у которого он также впоследствии получал уроки на Родосе. Большая трудность, с которой столкнулся этот ритор при обучении своего многообещающего ученика, заключалась, как сообщает нам сам Цицерон, в попытке удержать в рамках должного и правильного русла переполнявшие юношу [фантазии](#)<sup>352</sup>. Природная плодовитость Цицерона и его собственные наклонности уберегли его от риска превратиться в ультрааттического худышку; но не исключено, что на примере Гортензия и собственной щедрости он мог бы раздуться до азиатской пышности, если бы его пышность не была рано урезана своевременной и полезной дисциплиной родосцев.

В молодости Цицерон также написал "Риторику", а также "Риторику изобретений", от которой сохранились две книги, посвященные той части риторики, которая относится к изобретениям. Это произведение Цицерон упоминает в начале трактата "Ораторское искусство" как опубликованное им в юности. Принято считать, что оно было написано в 666 году, когда Цицерону было всего двадцать лет, и первоначально состояло из четырех книг. Однако Шютц, немецкий редактор Цицерона, считает, что он никогда не писал или, по крайней мере, никогда не публиковал больше, чем две книги, которыми мы располагаем.

Ряд предложений в этих двух книгах Риторики, seu de Inventione, совпадает с отрывками из Риторики к Гереннию, которая обычно публикуется вместе с работами Цицерона, но не является его сочинением. Пургольд считает [pg 203], что Rhetor. ad Herennium была опубликована первой и что Цицерон скопировал из нее эти соответствующие [отрывки](#)<sup>353</sup>. Однако представляется несколько необычным, что Цицерон должен был так много и без признания заимствовать из недавней публикации одного из своих современников. Чтобы объяснить эту трудность, некоторые критики предполагают, что анонимный автор "Rhetor. ad Herennium" был риторм, лекции которого посещал Цицерон, и он вставил в свою работу заметки, сделанные им из этих лекций, прежде чем они были отредактированы [автором](#)<sup>354</sup>. Некоторые также полагают, что Цицерон и анонимный автор были сокурсниками одного и того же ритора и таким образом переняли его идеи и выражения; другие же считают, что оба копировали с общего греческого оригинала. Но в противовес этой последней теории было замечено, что латинские слова, используемые обоими, часто одинаковы; и есть те же ссылки на историю Рима и его древних поэтов, с которыми, как можно предположить, не был знаком ни один греческий писатель.

Кто на самом деле был анонимным автором Rhetor. ad Herennium, было предметом многочисленных научных споров, и этот вопрос до сих пор остается неопределенным. Присциан неоднократно цитирует ее как работу Цицерона; поэтому Лаврентий Валла, Георгий Трапезундский, Полициан и другие великие реставраторы образованности в XV веке

считали ее произведением Цицерона; и это мнение время от времени, хотя и слабо, возрождалось менее значительными писателями в последующие периоды. Теперь, однако, от него, кажется, полностью отказались; но, хотя все критики и комментаторы согласны с тем, что Цицерон отстраняет от себя эту работу, они сильно расходятся во мнениях относительно того, кому следует приписывать ее создание. Альд Мануций, Сигоний, Мурет и Риккобон придерживались мнения, что ее написал К. Корнифиций Старший, который был квестором Цезаря во время гражданской войны, а затем его лейтенантом в Африке, провинцией, которой после смерти диктатора он владел в интересах республиканской партии, пока не был убит в схватке с одним из генералов Октавия. Суждения этих ученых основаны главным образом на некоторых отрывках из Квинтилиана, который приписывает Корнифицию несколько критических и филологических определений, совпадающих с теми, что представлены в "Риторике к Гереннию". Герард Воссюс, однако, придерживается мнения, что если это вообще было написано [pg 204] человеком с таким именем, то, должно быть, младшим [Корнифицием355](#), который родился в 662 году и, следуя партии Октавия, был назначен консулом в пользу триумvirата в 718 году. Рафаэль Регий также склонен приписывать это произведение сыну [Корнифиция356](#). Но если считать, что стиль слишком далек от эпохи Цицерона, чтобы приписывать его кому-либо из современников, он полагает, что можно с полным основанием предположить, что он принадлежит Тимолаю, одному из тридцати тиранов в царствование Галлиена. У Тимолая был брат по имени Герениан, которому, возможно, и была посвящена его работа, и он считает, что "Timolaus ad Herenianum" могло быть превращено в "Tullius ad Herennium". И. К. Скалигер приписывает это произведение Галлию, ритору времен [Нерона357](#) - мнение, получившее распространение после обнаружения копии "Rhetorica ad Herennium", сделанной на MS, с приставкой имени [Галлия358](#).

Таким образом, оставалось достаточно места для новых предположений, и Шютц, немецкий редактор Цицерона, сформировал новую гипотезу по этому вопросу. Трактат Цицерона De Inventionе был написан в ранней юности, и время его создания можно отнести к 672 году. На основании различных обстоятельств, которые он подробно обсуждает, Шютц приходит к выводу, что "Риторика к Гереннию" была первой работой, которая была написана, следовательно, до 672 года. Кроме того, "Риторика к Гереннию" должна была быть написана позднее 665 года, поскольку в ней упоминается смерть Сульпиция, случившаяся в том же году. Ограниченное таким образом время очень точно соответствует возрасту М. Анта. Гнифой, который родился в 640 году; именно его Шютц считает настоящим автором Rhetorica ad Herennium. Это он пытается доказать, показывая, что многие вещи, которые Суетоний рассказывает о Гнифоне в своей работе De Claris Rhetoribus, согласуются с тем, что автор Rhetorica ad Herennium сообщает о себе в ходе этого произведения. Довольно хорошо известно, что и Гнифой, и анонимный автор "Риторике к Гереннию" были свободнорожденными, обладали хорошей памятью, понимали греческий язык и были объемными авторами. К сожалению, эти характеристики, за исключением первой, были, вероятно, общими почти для всех риторов; и Шютц не ссылается ни на одно из более конкретных обстоятельств, упомянутых Суетонием, например, что Гнифой был галлом по происхождению, что он учился в Александрии, [pg 205] и что он преподавал риторику в доме отца Юлия Сезара.

Цицерон, который, несомненно, был первым оратором, был также самым ученым философом Рима; и хотя он затмил всех своих современников в красноречии, к концу жизни он приобрел

немалую славу как автор трудов по этике и метафизике. Его мудрость, однако, была полностью основана на мудрости греков, и его философские труды были в основном заняты обсуждением вопросов, которые обсуждались в афинских школах и из них были переданы в Италию. В основном он занимался вопросами достоверности или недостоверности человеческого знания, а также вопросами о высшем добре и зле; представления, которые он имел об этих предметах, были почерпнуты из Портика, Академии или Лицея.

Ведущие принципы главных философских сект Греции изначально исходили от Сократа.

-- "Из уст которого исходили

Медоточивые потоки, оросившие все школы

Академиков, старых и [новых](#)<sup>359</sup>;"

и которого [Цицерон](#)<sup>360</sup> назвал вечным источником философии, гораздо более справедливо, чем Гомера - источником всей поэзии. Хотя Сократ в какой-то мере пристрастился к ним в силу воспитания и ранней привычки, он вывел философию из тех неясных и запутанных физических вопросов, в которые ее вовлекли основатели и последователи ионийской школы, и из тонких парадоксальных гипотез софистов, утвердившихся в Афинах во времена Перикла. Поставив своей главной целью улучшить состояние человечества и склонить его к исполнению обязанностей, соответствующих занимаемым им должностям, этот учитель нравственности посвятил свои занятия изучению природы порока и добродетели, добра и зла. Для достижения этой великой цели он старался не высказывать собственного мнения, а опровергать распространенные ошибки и предрассудки, вовлекая претендентов на знание в явный абсурд, в то время как сам он, как бы в противовес самонадеянности софистов, всегда признавался, что ничего не знает. Это признание невежества, которое было не более чем общим признанием [pg 206] неумения человеческого понимания и было призвано лишь убедить его последователей в тщетности тех спекуляций, которые не опираются на твердую основу опыта, или научить их скромности в своих поисках и неуверенности в своих утверждениях, будучи истолковано в ином смысле, чем тот, в котором оно было изначально задумано, породило знаменитый спор об уверенности в знании.

Различные основатели философских сект Греции усваивали ту часть доктрин Сократа, которая соответствовала их собственным вкусам и взглядам, а иногда извращали его высокий авторитет даже в догматических или софистических целях. Именно от Платона мы получили наиболее полное изложение его системы; но этот прославленный ученик также значительно расширил свои знания благодаря своим путешествиям в Египет, Сицилию и Магна-Грецию. Поэтому в основанной им Академии (хотя в вопросах морали он продолжал следовать Сократу) он добавил метафизические доктрины Пифагора; в физике, которую Сократ исключил из философии, он принял систему Гераклита; а диалектику он позаимствовал у Евклида из Мегары. Рекогносцировочные и эзотерические догматы Пифагора, неясные принципы Гераклита, сверхчеловеческие знания Эмпедокла и священные арканы египетских жрецов придали страницам Платона величие и мистицизм, сильно отличающиеся от привычного тона наставлений его великого учителя, стиль и манеры которого, по крайней мере, Ксенофонт, вероятно, представляет нам более верный образ.

В Греции главы сект сменяли друг друга в своих школах или академиях, как в домине или наследстве. Спевсипп, племянник Платона, продолжал читать лекции в Академии, как и четыре других сменявших друг друга магистра, Ксенократ, Полемо, Кратес и Крантор, все они сохранили название академиков и преподавали учения своего учителя без смешения или

искажения. Но после назначения Ксенократа на кафедру Академии Аристотель, самый выдающийся из ученых Платона, удалился в другую гимназию, называемую Ликеем, которая стала прибежищем перипатетиков. Гений их основателя расширил сферу знаний и интеллекта, разработал правила логики, проследил принципы риторики и поэтической критики: Но секта, которую он возвысил до непревзойденной славы, хотя и отличалась по названию от современных академиков, в целом совпадала с ними по всем основным пунктам физической и моральной философии, и особенно по тем, относительно которых римляне задавались главными вопросами. "Хотя они [pg 207] различались в терминах", - говорит Цицерон, - "они были согласны в [вещах361](#), и грубо ошибаются те, кто воображает, что старые академики, как их называют, являются кем-то иным, чем перипатетиками". Итак, мы видим, что оба они верили в заботу Провидения, бессмертие души и будущее состояние награды и наказания. Высшим благом они считали добродетель, а также достаток главных внешних достоинств природы, таких как здоровье, богатство и репутация. Эти блага, по их мнению, в сочетании с добродетелью делают человека совершенным; но если человек добродетелен, он способен быть счастливым (хотя и не полностью) и без них.

Платон в своем способе передачи наставлений и распространения мнений не строго придерживался метода своего учителя Сократа. Он считал критерием истины совпадение памяти с недавним впечатлением и учил, что мнение может быть сформировано на основе сравнения настоящего с воспоминаниями. Но его преемники, как в Академии, так и в Ликее, отошли от сократовского метода еще дальше. Они отказались от максимы ничего не утверждать и, вместо того чтобы объяснять все с сомнением, превратили философию в искусство и сформировали систему мнений, которые передали своим ученикам как особые догматы своей секты. Они насаждали веру в то, что наше знание берет начало в органах чувств, что сами органы чувств не судят об истине, но разум через них видит вещи такими, какие они есть на самом деле, то есть воспринимает идеи, которые всегда существуют в одном и том же состоянии, без изменений; таким образом, на органы чувств, через посредство разума, можно полагаться при установлении истины. Таково было состояние мнений и преподавания в Академии, когда Арцилай, который был шестым магистром этой школы после Платона, а в юности слушал уроки скептика Пирра, решил реформировать догматическую систему, в которую впали его предшественники, и восстановить, как он считал, во всей ее чистоте сократовскую систему утверждения ничего с уверенностью. Этот основатель Новой, или Средней Академии, как ее иногда называют, отрицал даже безусловную истинность утверждения, что мы ничего не знаем, которое Сократ оставил в качестве исключения из своего общего принципа. Признавая, что в природе вещей существует фактическая определенность, он отвергал свидетельства как органов чувств, так и разума в качестве позитивного свидетельства; и поскольку он отрицал существование какого-либо непогрешимого критерия истинности или ложности, он утверждал, что ни один мудрый человек не должен [pg 208] давать любому предложению санкцию своего согласия. Он отличался от скептиков и пирронистов только тем, что допускал степени вероятности, тогда как скептики колебались в полной неопределенности.

Поскольку Аркесилай отказался от всех претензий на определенное решение любого вопроса, он занимался главным образом изучением и опровержением чужих взглядов. Главным его оппонентом был его современник Зенон, основатель стоической философии, которая в конечном итоге стала главной из тех систем, что процветали в Риме. Главным предметом спора между Зеноном и Аркесилайем было доказательство чувств. Арцилай отрицал, что истина может быть установлена с их помощью, поскольку нет критерия, по которому можно было бы отличить ложные и обманчивые объекты от реальных. Зенон, напротив, утверждал, что свидетельства органов чувств несомненны и ясны, если они

совершенны сами по себе и не имеют препятствий, мешающих их действию. Таким образом, основатель стоиков, хотя и на разных принципах, соглашался с перипатетиками и старыми академиками в том, что существуют определенные средства для установления истины, а значит, существует очевидное и определенное знание. Аркесилай, хотя и не отрицал существования истины, не соглашался и не принимал мнений, поскольку видимость никогда не могла служить основанием для его суждения о каком-либо предмете или предложении. Стоики также не высказывали мнений, но воздерживались от этого, так как считали, что все можно познать с уверенностью.

Аркесилай, хотя и сильно отличался от учителей старой платоновской Академии в своих представлениях о достоверности знания, сохранил их систему относительно высшего блага, которое, как и они, он помещал в добродетель, сопровождаемую внешними преимуществами. Это был еще один предмет спора с Зеноном, который, как известно, помещал высшее благо только в добродетель, - здоровье, богатство и репутация не считались им необходимыми, а болезнь, бедность и бесчестье - вредными для счастья.

Системы, провозглашенные в старой и новой Академии, а также в стоическом Портике, были теми, которые получили наибольшее распространение в Риме. Но и эпикурейские взгляды были там в моде. Философия Эпикура уже упоминалась при рассказе о Лукреции. Мосх из Финикии, живший до Троянской войны, как говорят, был изобретателем атомной системы, которую впоследствии приняли и усовершенствовали Лейципп и Демокрит, чьи труды, по выражению Цицерона, были источником, из которого вытекали [pg 209] ручьи, поливавшие сады [Эпикура362](#). Свидетельствам органов чувств этот учитель придавал такой вес, что считал их непогрешимым правилом истины. Высшим благом он считал удовольствие, а главным злом - боль. Его ученики утверждали, что под удовольствием, или, скорее, счастьем, он подразумевал жизнь в мудрости и воздержанности; но недостаток ясности и четкости в определении того, что является удовольствием, дал возможность его противникам утверждать, что он помещал высшее счастье в чувственном удовлетворении.

В Риме долгое время не знали ни одной части греческой философии. В течение 600 лет после постройки города в столице не возникало тех обстоятельств, которые способствовали появлению и развитию философии в Греции. Древние римляне были воинами и земледельцами. Их образование было направлено на активную жизнь и воспитание граждан и героев, а не философов. Кампус Мартиус был их школой, палатка - лицеем, традиции предков, религиозные обряды - наукой, их учили действовать, верить и подчиняться, а не рассуждать и обсуждать. Среди них действительно мог существовать класс людей, не похожих на семь мудрецов Греции - людей, отличавшихся мудростью, серьезными взглядами и заслугами перед своей страной; но они не были философами в нашем понимании этого термина. Мудрость, которую они насаждали, не была сектантской, а напоминала тот вид философии, который культивировали Солон и Ликург и который Брукер назвал политическим, и который был в основном приспособлен для улучшения государств и цивилизации младенческого общества. Однако в конце концов, в 586 году, когда Персей, царь Македонии, был окончательно побежден, его завоеватель привез с собой в Рим философа Метродора, чтобы тот помогал в обучении его [детей363](#). Несколько философов, остававшихся при дворе этого несчастного монарха, предчувствуя что-то хорошее, последовали за Метродором в Италию; примерно в то же время несколько ахейцев с выдающимися заслугами, которых подозревали в благосклонности к македонцам, были вызваны в Рим, чтобы отчитаться за свое поведение. Младший Сципион Африканский, во время посольства к восточным царям, находившимся в союзе с республикой, назначенного сенатом, высадившись на Родосе, взял под свою защиту стоического философа [Панэтия364](#),

уроженца этого острова, и перевез его в Рим, где [pg 210] он поселился в доме своего покровителя. После этого Панэтий отправился в Афины, где стал одним из самых выдающихся учителей [Портика365](#) и написал ряд философских трактатов, главным из которых был "Об обязанностях человека".

Но хотя философов поощряли и лелеяли Сципион, Лелий, Сцевола и другие более мягкие и просвещенные римляне, серьезные сенаторы и суровые цензоры республики смотрели на них с подозрением. Поэтому в 592 году, спустя всего шесть лет после их первого прибытия в Рим, философы были изгнаны из города официальным декретом [сената366](#). Мотивы издания этого сурового эдикта не совсем ясны. Возможно, суровые члены содружества полагали, что от обсуждения умозрительных теорий могут пострадать установленная религия и конституция Рима, а вкус к наукам отвлечет умы молодежи от сельского хозяйства и оружия. Этот страх, столь естественный для жесткого, трудолюбивого и воинственного народа, усиливался бы деградировавшим и рабским характером греков, который, будучи сопровождением, мог быть легко принят за следствие их прогресса в философии. Поскольку большинство философов также прибыли из государств враждебного монарха, сенат мог опасаться, как бы они не внушили молодежи настроения, не являющиеся в полной мере патриотическими или чисто республиканскими.

"Sed vetuere patres quod non potuere vetare".

Хотя многие греческие философы были изгнаны из Рима, они поселились в муниципальных городах Италии. По ходатайству Сципиона Африканского исключение было сделано в пользу Панэтия и историка Полибия, которым было разрешено остаться в столице. Дух исследования также был поднят, и ум получил импульс, который не мог быть остановлен никаким сенатским указом, и который малейший инцидент обязательно ускорял прогресс.

Греческие философы вернулись в Рим в 598 году под священным именем послов по случаю политической жалобы, которая была выдвинута против афинян и от которой они сочли необходимым защититься [pg 211] себя. Несмотря на неуважение, с которым в Италии в последнее время относились к философам, афиняне решили ошеломить римлян грандиозным научным посольством. В качестве посланников были выбраны главы трех ведущих сект греческих философов: стоик Диоген, перипатетик Критолай и Карнеад из Киринеи, который теперь занимал место Аркесилая в новой Академии. Помимо философской образованности, они обладали красноречием (талант, который всегда имел большое влияние на римлян), чтобы убеждать и склонять умы людей к своим принципам. Их ораторские способности были столь необычны, что в Риме часто говорили, что афиняне послали ораторов не для того, чтобы убеждать, а для того, чтобы [принуждать367](#). Во время своего посольства в Рим они читали лекции перед переполненными аудиториями в самых людных местах города. Непосредственным результатом демонстрации этими философскими послами своего красноречия и мудрости стало возбуждение в римской молодежи жажды знаний, которая теперь стала соперничать в их груди с любовью к воинской [славе368](#). Сципион, Лелий и Фурий проявили наибольшую склонность к этим новым занятиям и извлекли из них наибольшую пользу; но едва ли был молодой патриций, которого в той или иной степени не привлекала скромная простота Диогена, изящные, декоративные и отточенные речи Критолая или пылкое, стремительное и аргументированное красноречие [Карнеада369](#). Принципы Диогена, который учил искусству рассуждать и отделять истину от лжи, получили самую сильную поддержку со стороны юристов, большинство из которых стали стоиками; и в результате их ответов мы видим, что стоическая философия оказала большое влияние на римскую юриспруденцию, и что многие принципы и разделы гражданского права были основаны на ее излюбленных афоризмах. Однако из всех этих

философских послов Карнеад был самым способным человеком и самым популярным учителем. "Он был наделен, - говорит Цицерон, - божественной быстротой понимания и владением [выражениями370](#)". "В своих диспутах он никогда не защищал то, что не доказывал, и никогда не нападал на то, что не [ниспровергал371](#)". Некоторые считают его основателем третьей Академии, но, похоже, для такого различия нет никаких оснований. В своих лекциях, посвященных главным образом этике, он соглашался с обеими [pg 212] академиями относительно высшего блага, помещая его в добродетели и первичных дарах природы. Как и Аркесилай, он ревностно отстаивал неопределенность человеческого знания, но не отрицал вместе с ним существование истин, а лишь утверждал, что мы не можем их ясно [различить372](#). Единственное другое различие в их догматах, не очень осязаемое, упоминается Лукуллом в "Академике". Аркесилай, похоже, не хотел ни соглашаться с чем-либо, ни рассуждать. Карнеад же, хотя и не соглашался, заявлял, что высказывает свое мнение; правда, с постоянной оговоркой, что он просто высказывает свое мнение и что не существует такого понятия, как позитивное понимание или [восприятие373](#). В связи с этим Лукулл, который был приверженцем старой Академии, считает Карнеада самым нелепым и непоследовательным из них. Карнеад стал продолжателем старого спора между академиками и стоиками и в своих рассуждениях боролся с аргументами [Хрисиппа374](#), в его годы главного столпа Портика, как ранее Арцилий вел полемику с Зеноном, его основателем. Он отличался от пирронистов тем, что признавал реальное существование добра и зла и допускал различные степени [вероятности375](#), в то время как его скептические оппоненты утверждали, что нет оснований принимать или отвергать одно мнение больше, чем другое. Карнеад отличался не только искусным и разносторонним талантом ведения диспутов, но и пылким и властным ораторским искусством. Но его необыкновенные способности к убеждению и поддержанию любой стороны спора, к которым его особенно готовила академическая философия, в конце концов были им злоупотреблены, что вызвало скандал среди серьезных и непреклонных римлян. Так, нам рассказывают, что однажды он выступил перед Катонем с речью о преимуществах строгого соблюдения правил справедливости, отличавшейся большим разнообразием мыслей и богатством дикции. На следующий день, чтобы подкрепить свою доктрину о неопределенности человеческого знания, он взялся опровергнуть все свои прежние [аргументы376](#). Вполне вероятно, что его нападки на правосудие были приятной забавой, как "Энкомий глупости" Эразма; многие из слушателей были очарованы его находчивостью; но цензор немедленно настоял на том, чтобы дела, которые привели этих тонких послов в Рим, были немедленно отправлены сенатом, чтобы они могли быть уволены со всей возможной [оперативностью377](#). Были ли у Катона серьезные опасения, как утверждает Плутарх, что изучение философии может ослабить военные достоинства его страны и подорвать ее конституцию, я думаю, можно подвергнуть сомнению. Более вероятно, что он боялся влияния самих философов на мнения своих сограждан и опасался, как бы их красноречие совсем не поколебало принципы его соотечественников или не придало им ту форму, которую они изберут. Лактанций также приводит цитату из трактата Цицерона "О республике", которую можно считать объяснением причины, по которой лекция Карнеада против справедливости так мало понравилась цензору и, вероятно, многим другим римлянам. Одно из возражений, которое он приводил против справедливости или, скорее, против существования должного чувства этого качества, заключалось в том, что если бы на земле существовала такая вещь, как справедливость, то римляне оставили бы свои завоевания и вернулись бы в свои хижины и первоначальную [бедность378](#). Катон, похоже, также обладал значительным духом личной ревности и соперничества; в то же время его национальная гордость заставляла его презирать все искусства страны, которую римское оружие покорило.

Карнеад излагал свои взгляды только в своих красноречивых лекциях; неизвестно, оставил ли он после себя какие-либо важные [труды](#)<sup>379</sup>. Но его устные наставления произвели неизгладимое впечатление на римскую молодежь, и недостаток письменного изложения его принципов был сполна восполнен его преемником Клитوماхом, который по происхождению был карфагенянином и первоначально назывался Асдрубалом. Он бежал из своей страны в Афины во время осады Карфагена римлянами во время третьей Пунической [войны](#)<sup>380</sup>; а в 623 году он отправился из Греции в Италию, чтобы стать преемником Карнеада в основанной им школе. Клитوماх был очень объемным автором, написав не менее четырех обширных трактатов о необходимости отказа от согласия с любым предложением. Один из этих трактатов был посвящен поэту-сатирику [Луцилию](#)<sup>381</sup>, а другой - консулу Цензорину. Суть принципов, которых он придерживался в этих работах, была извлечена Цицероном и передана нам в отрывке, вставленном в *Academica*. Там говорится, что сходство вещей имеет такую природу, что некоторые из них кажутся вероятными, а другие - нет; но это не является достаточным основанием для предположения, что некоторые объекты могут быть правильно восприняты, поскольку многие фальшивки вероятны, тогда как ни одна фальшивка не может быть точно воспринята или [pg 214] известна: Академия никогда не пыталась лишить людей возможности пользоваться своими чувствами, отрицая существование таких вещей, как цвет, вкус и звук; но она отрицала существование в этих качествах какого-либо критерия или характеристики истины и уверенности. Поэтому о мудром человеке говорят, что он в двойном смысле отказывается от своего согласия; в одном смысле, когда подразумевается, что он абсолютно согласен ни с одним предложением; в другом, когда он приостанавливает ответ на вопрос, не отрицая и не утверждая. Он никогда не должен безоговорочно соглашаться с каким-либо предложением, и его ответ должен быть отложен до тех пор, пока, согласно вероятности, он не будет в состоянии ответить утвердительно или отрицательно. Но поскольку Цицерон признает, что мудрый человек, который в каждом случае приостанавливает свое согласие, все же может быть побужден к действию, он оставляет его в полном распоряжении тех мотивов, которые побуждают к действию, вместе со способностью отвечать утвердительно или отрицательно на определенные вопросы и следовать вероятности предметов, но при этом не давая им своего [согласия](#)<sup>382</sup>.

Клитумаха сменил Филон из Лариссы, который бежал из Греции в Италию во время Митридатовой войны и возродил в Риме философскую систему, которая к тому времени начала приходить в упадок. Цицерон посещал его лекции и впитал из них принципы новой Академии, которых в итоге и придерживался. Филон опубликовал два трактата, разъясняющих доктрины новой Академии, на которые ответил в сочинении под названием "Сосус" Антиох Аскалонский, который был ученым Филона, но впоследствии отрекся от нововведений новой Академии и вернулся к старой, которой учили Платон и его ближайшие преемники, - присоединив к ней, однако, часть систем Аристотеля и [Зенона](#)<sup>383</sup>. В свою эпоху Антиох был главным сторонником первоначальных принципов Академии, и ему покровительствовали все те в Риме, кто все еще был к ним привязан, особенно Лукулл, который взял философа с собой в Александрию, когда отправился туда в качестве квестора Египта.

В условиях Рима первыми шагами на пути к философскому совершенствованию стали общее ослабление презрения, которое раньше испытывали к философским занятиям, терпимость к обучению, возможность передавать мудрость без стыда и сдерживания и ее радушный прием римской молодежью. Это обучение, которое неизбежно предшествовало спекуляциям или изобретениям, уже имело место. Отчасти благодаря наставлениям греческих философов, живших в Риме, а отчасти благодаря практике, которая теперь стала преобладать, посылая молодых людей для обучения в древние школы мудрости, философия

быстро прогрессировала, и почти каждая секта находила последователей или покровителей среди высших слоев римских граждан.

Однако с самых ранних времен, вплоть до Цицерона, греческая философия насаждалась в основном греками. Не было ни одного римлянина, который бы полностью посвятил себя метафизическому созерцанию и, подобно Эпикуру, Аристотелю и Зенону, вечно отдыхал в саду, расхаживал по лицу или стоял прямо в портике. Греческие философы проводили свои дни если не в абсолютном уединении, то, по крайней мере, в ученом досуге и затворничестве. Спекуляции были занятием всей их жизни, а их труды - результатом целой эпохи изучения и [размышлений](#)<sup>384</sup>. Римляне же относились к философии не как к делу жизни, а как к элегантному отдыху или средству, способствующему их продвижению в государстве. Они с вниманием слушали остроумные споры, которые вели греки, и с удовольствием просматривали их труды; но при всем этом вкусе к философии у них не хватало досуга для разработки новых теорий. Философами Рима были Сципион, Катон, Брут, Лукулл - люди, которые управляли своей страной дома или боролись с ее врагами за границей. У них, правда, было мало побуждений изобретать новые системы, поскольку их было так много, что каждый находил в доктринах какой-нибудь греческой секты догматы, которые могли быть в достаточной степени приспособлены к его собственным склонностям и ситуации. Подобно тому, как разграбление Сиракуз или Коринфа снабжало Рим статуями и картинами и делало ненужными усилия местных художников; как драмы Еврипида и Менандра давали достаточно материала для римской сцены, так и Сад, Порча и Академия предоставляли такое разнообразие систем, что можно было легко обойтись без новых изобретений или спекуляций. Распространенность принципов Академии, которые приводили к сомнениям во всем, должно быть, препятствовала созданию новых и оригинальных теорий. Даже греческие системы после их внедрения в Италию не были классифицированы и разделены, как это было в Греции. Однако большинство выдающихся людей Рима во времена Цицерона были более склонны к одной школе, чем [pg 216] другой, и они применяли уроки секты, которой следовали, с большим успехом, возможно, чем их наставники, к практическим целям активной жизни. Юрисконсульты, главные магистраты и цензоры приняли стоическую философию, которая имела некоторое сходство с принципами римской конституции, и которую они считали наилучшей для управления своими согражданами, а также для улучшения законов и нравов государства. Ораторы, стремившиеся красноречием возвыситься до высших почестей республики, прибегали к урокам новой Академии, которая снабжала их оружием для ведения диспутов; те же, кто жаждал спокойствия среди раздоров и опасностей содружества, удалялись в сады Эпикура. Но, придерживаясь основных догматов секты, они не стремились приобрести последователей в духе сектантства; часто случалось, что ни в принципе, ни на практике они не принимали всех доктрин той школы, к которой в основном прибегали. Так, Цезарь, считавшийся эпикурейцем и следовавший эпикурейской системе в некоторых вещах, например, в своем убеждении о материальности и смертности души, несомненно, не слишком почитал те этические заповеди, согласно которым,

-- "Nihil in nostro corpore prosunt,

Nec fama, neque nobilitas, nec gloria regni".

Лукреций был более основательным эпикурейцем и придал наставлениям своего учителя все достоинство и изящество, на которое способно поэтическое приукрашивание. Но Аттик, известный друг и корреспондент Цицерона, был, пожалуй, самым совершенным примером подлинного и практического эпикурейства.

Жесткий и несгибаемый Катон, как в своей жизни, так и в своих принципах, был великим сторонником стоической философии, ведя себя, по выражению Цицерона, так, как если бы он жил в полисе Платона, а не среди отбросов Ромула. Среди приверженцев старой Академии был Лукулл, победитель Митридата - Лоренцо римского искусства и литературы, чьи дворцы соперничали с портиками Греции, а библиотека с прилегающими к ней школами и галереями была местом отдыха всех, кто отличался образованностью и достижениями. Во время правления Квестора в Македонии, а затем во время войны с Митридатом Лукулл часто общался с греческими философами и приобрел такой вкус к философским занятиям, что посвящал им [pg 217] весь свой [досуг385](#). В Риме его постоянным спутником был Антиох Аскалонский, который, хотя и был учеником Филона, сам стал ревностным сторонником старой Академии; соответственно, Лукулл, поддерживавший эту систему, часто приходил к нему домой, чтобы принять участие в частных диспутах, которые там велись против сторонников новой или средней Академии. Среди приверженцев старой Академии были также Варро, самый ученый из римлян, и Брут, которому суждено было сыграть столь трагическую роль на обескровленной сцене своей страны.

Эти выдающиеся люди мало что сделали для того, чтобы проиллюстрировать или закрепить свои любимые системы в своих трудах. Даже труды Варро были рассчитаны скорее на возбуждение интереса к изучению философии, чем на содействие ее прогрессу. Новой Академии повезло больше - ее поддержал Цицерон, который утверждал и отстаивал ее принципы с одинаковым упорством и красноречием. С самого начала своего появления доктрины новой Академии были благосклонно приняты в Риме. Догматы философов-догматиков были столь разнообразны и противоречивы, так упорно отстаивались и покоились на столь шатком фундаменте, что давали большой простор для скептицизма и поощряли его. Правдоподобные аргументы, которыми подкреплялись самые противоречивые мнения, заставляли не верить в существование абсолютной истины и соглашаться на такие вероятные выводы, которые соответствовали практическим целям жизни. Рассуждения новой Академии также как нельзя лучше соответствовали обязанностям оратора, поскольку оставляли свободным поле для диспутов и приучали его к практике сбора аргументов со всех сторон по каждому сомнительному вопросу. Именно поэтому Цицерон пристрастился к этой секте и убедил других последовать его примеру. Оспаривается, был ли Цицерон действительно привязан к новой академической системе или просто прибегал к ней как к наиболее подходящей для снабжения его ораторскими аргументами, пригодными на все случаи жизни. Поначалу ее принятие было вспомогательным по отношению к другим его планам. Но к концу жизни, когда он уже не занимал того места, которое привык занимать в Сенате или на Форуме, и когда философия стала тем занятием, "с которым существование было просто терпимым, и без которого оно было бы [невыносимым386](#)", он, несомненно, убедился, что принципы новой Академии, проиллюстрированные Карнеадом и Филоном, составляют самую надежную систему, дошедшую до человечества из афинских школ.

[pg 218]

Привязанность Цицерона к академической философии, однако, была свободна от исключительного духа сектантства, и это не помешало ему извлечь из других систем то, что он находил в них соответствующим добродетели и разуму. Его этические принципы, в частности, выглядят эклектичными, в значительной степени сформированными на основе мнений стоиков. О большинстве греческих сект он отзывался с уважением и почтением.

Только к эпикурейцам он, похоже, (несмотря на дружбу с Атиком) испытывал явную неприязнь и презрение.

Общая цель философских работ Цицерона заключалась скорее в изложении истории античной философии, чем в догматическом насаждении собственных взглядов. Его великой целью было объяснить своим согражданам на их родном языке все, чему учили мудрецы Греции по самым важным вопросам, чтобы расширить их разум и исправить их нравы; в то же время он занимался самым полезным делом, которое теперь оставалось ему - превосходящая сила лишила его привилегии служить своей стране в качестве оратора или консула.

Цицерон был во многих отношениях хорошо подготовлен к той трудной, но благородной задаче, которую он взял на себя, - натурализовать философию в Риме и выставить ее, по выражению Эразма, на сцене жизни. Он был человеком плодотворного гения, светлого понимания, здравого суждения и неутомимого труда - качества, достаточные для культивирования разума и достаточные для обеспечения предметов для размышлений. Никогда философ не оказывался в ситуации, более благоприятной для сбора плодов опыта, применяемого к человеческой природе и гражданскому обществу, или для наблюдения за влиянием различных качеств ума на общественное мнение и действия людей. Он жил во время самого насыщенного событиями кризиса в судьбе своей страны и в самой тесной связи с людьми различных и выдающихся талантов, чьи замыслы, когда они были полностью разработаны в результате, должны были дать, по размышлению, великолепный урок философии ума. Но эта ситуация, в некоторых отношениях столь благоприятная, была плохо рассчитана для вращения абстрактных идей или для размышлений о тех заумных и внутренних силах, последствия которых проявляются в обществе и жизненных сделках. Соответственно, Цицерон, похоже, был лишен той умозрительной склонности, которая заставляет нас проникать в более глубокие и оригинальные принципы знания и отмечать внутренние операции мысли. Он культивировал красноречие как средство достижения политических почестей и изучал философию как лучшее вспомогательное средство для красноречия. Но современные [pg 219] сравнительные науки привлекали его внимание лишь постольку, поскольку они были направлены на прояснение этических, практических и политических вопросов, к которым он применял философию, которая была скорее жизненной, чем умозрительной.

В трудах Цицерона, соответственно, все, что вытекает из опыта и знания мира, все наблюдения над обязанностями общества, выражены ясно и отличаются справедливостью и остротой. Но ни Цицерон, ни какой-либо другой римский автор не обладал достаточной тонкостью и изяществом духа для более заумных рассуждений, в лабиринтах которых греческие философы с удовольствием находили подходящее упражнение для своей изобретательности. Поэтому все, что требовало исследования конечных оснований истин или более точного анализа общих идей и представлений - все, короче говоря, что относилось к тонкостям греческих школ, - не имеет ни столь точного выражения, ни столь логичной связи.

Итак, в теоретическом исследовании, в изложении абстрактных идей, в анализе качеств и восприятий Цицерон не может считаться изобретателем или глубоким оригинальным мыслителем и не может быть причислен к Платону и Аристотелю, этим могущественным отцам античной философии, которые дошли своими изысканиями до самых отдаленных истин, на которых зиждется философия. Там, где он пытается зафиксировать новые принципы, он не очень ясен и не последователен; очевидно, что общее изучение всех систем в некоторой степени расстроило его убеждения и лучше подготовило его к спорам с

академиками, чем к точному определению веса доказательств на весах разума, или к демонстрации серии аргументов в тесном и систематическом расположении, или к выведению точных выводов из установленных и определенных принципов. Его философские диалоги скорее следует рассматривать как популярные трактаты, приспособленные к обычному пониманию хорошо осведомленных людей, чем как глубокие изыскания, подходящие только для портика или лица. Они требуют оратора даже в самых серьезных вопросах. Элегантность и изящество письма, по всей видимости, рассматривались их автором как необходимые для философии; а исторические или даже поэтические иллюстрации - как ее ярчайшее украшение. Поэтому особая заслуга Цицерона заключалась в счастливом исполнении того, что никогда ранее не пытались сделать, - яркого и популярного изложения ведущих принципов и споров древних философских школ, с суждениями о них и применением результатов, выведенных из их различных доктрин, к особым манерам и занятиям его соотечественников. Поэтому, хотя, возможно, было бы слишком высокой честью для Цицерона называть его работы, как и Гиббон, хранилищем разума, они, по крайней мере, представляют собой сборник [pg 220] философских сведений, который стал вдвойне ценным из-за утраты трудов многих из тех философов, чьи мнения он записывает; и хотя заслуга оригинальности принадлежит греческим школам, ни одно сочинение, переданное из древности, не представляет столь сжатого и полного представления о мнениях греческих философов<sup>387</sup>.

О том, что ум Цицерона был наиболее полно насыщен знаниями греческих философов и что в его распоряжении был весь круг их мудрости, свидетельствует быстрота написания его произведений - все они, за исключением трактата *De Legibus*, были написаны в период, прошедший с битвы при Фарсалии до его смерти, а большая их часть - в течение 708 года.

Справедливо замечает Геренц во введении к своему изданию книги *De Finibus*<sup>388</sup>, и с ним соглашается Шютц<sup>389</sup>, что едва ли возможно, чтобы те многочисленные философские работы, которые, как утверждается, были написаны Цицероном в 708 году, могли быть начаты и закончены в один год; и что такая скорость исполнения заставляет нас предположить, что либо материалы были собраны давно, либо сами произведения были не более чем версиями. В своей "Академике" Цицерон замечает: "Ego autem, dum me ambitio, dum honores, dum causæ, dum reipublicæ non solum cura, sed quædam etiam procuratio multis officiis implicatum et constrictum tenebat, hæc inclusa habebam; et, ne obsolescerent, renovabam, quum licebat, legendo. Nunc vero et fortunæ gravissimo percussus vulnere, et administratione reipublicæ liberatus, doloris medicinam a philosophiâ peto, et otii oblectationem hanc, honestissimam judico." Нелегко определить, как замечает Шютц, подразумевает ли Цицерон под выражением "hæc inclusa habebam" только труды философских авторов или же трактаты и материалы для трактатов, написанные им самим. "Однако, - продолжает Шютц, - мы должны меньше удивляться тому, что Цицерон создал так много работ за столь короткий срок, когда читаем следующий отрывок из письма к Аттику, написанного в июле 708 года: "De linguâ Latinâ securi es animi, dices, qui talia conscribis! ἀπογραφα sunt; minore labore fiunt: verba tantum affero, quibus abundo<sup>390</sup>"; из этих слов, по мнению Гроновия, следует, что философские труды Цицерона - не более чем версии с греческого."

В похвальной попытке натурализовать философию в Риме [pg 221] трудности, с которыми столкнулся Лукреций, воплощая в латинских стихах наставления Эпикура.

"Propter egestatem linguæ rerumque novitatem,"

должно быть, почти с такой же силой ощущал Цицерон. Философия все еще мало культивировалась среди римлян; и ни один народ не станет изобретать термины для мыслей или идей, которыми он мало занят. Одно из его писем к Аттику ярко выражает трудности, с которыми он сталкивался при интерпретации философских терминов Греции на своем родном языке<sup>391</sup>. Так, например, он не мог найти латинского слова, эквивалентного *ἐποχή*, или тому отказу от согласия со всеми предложениями, который исповедовала новая Академия. Язык греков формировался вместе с их философией. Их физические термины берут свое начало в древних "Теогониях", или рассуждениях милезийских мудрецов; а Платон сообщает нам, что курс нравственной философии можно пройти, путешествуя по Аттике и читая надписи, высеченные на гробницах, столбах и памятниках, воздвигнутых в самые ранние века у общественных дорог и в центре селений<sup>392</sup>. Поэтому в Греции слова, естественно, стали подходящими знаками умозрительных и моральных идей; но в Риме чужую философию пришлось прививать на уже полностью сформировавшемся языке, который сильно уступал греческому в гибкости и точности и который, хотя Цицерон, конечно, использовал некоторые вольности в этом отношении, уже достиг зрелости, чтобы допускать много новшеств. Его слова, соответственно, не всегда точно выражали тонкие понятия, обозначенные на языке оригинала, поэтому часто возникала неясность в идеях и недостатки в выводах, сделанных из неопределенных предпосылок или отличающихся по смыслу от тех, что были установлены в Греции.

Осознавая эту трудность и, возможно, понимая, что он не обладал точностью и оригинальностью мышления, достаточными для написания официального трактата, Цицерон перешел к написанию диалогов, в которых риторическая рассеянность и расплывчатость определений могли быть пропущены, и в которых было достаточно места для украшений языка.

Именно с помощью устной речи передавались знания на заре науки, когда книг либо не существовало, либо они были крайне редки. На крыльце, в саду или в роще Академии философ беседовал со своими учениками, выслушивал их замечания и отвечал [pg 222] на их возражения. Сократ, в частности, привык таким образом прививать свои нравственные уроки; и естественно, что ученые, которые их записывали, следили за тем, как они были раскрыты. Из этих учеников Платон, который был самым выдающимся, с готовностью принял форму сочинения, которая давала простор его собственному плодovitому и поэтическому воображению; в то же время она позволяла ему более точно изобразить своего великого учителя. Одной из его главных целей также было изобразить триумф Сократа над софистами; и если писатель хотел покрыть оппонента насмешками, то, пожалуй, нельзя было придумать лучшего способа, чем выставить его в диалоге в качестве соломенного человека. Поскольку аргументированная победа или смущение антагониста Сократа часто были всем тем, на что он был нацелен, не было необходимости быть очень скрупулезным в средствах, и, рассматриваемые с этой точки зрения, приятная ирония этого философа - обращение, с которым, кажущимся уступчивым, он заманивает противника, его колкости, его тонкие различия и недоуменные допросы - демонстрируют непревзойденное мастерство и производят значительный драматический эффект; В то же время декорации и обстоятельства диалога часто описываются с богатством и красотой воображения, которые до сих пор не превзошел ни один философский писатель<sup>393</sup>.

Когда Цицерон под конец своей долгой и достойной жизни занялся переносом в Рим греческой философии, его, по-видимому, в первую очередь привлекало рассеянное величие Платона, чей интеллектуальный характер во многих отношениях был близок его собственному. Его диалоги настолько похожи на диалоги Платона, что персонажи реальны,

имеют различные характеры и мнения, а обстоятельства времени и места, по большей части, так же полностью вымышлены, как и в его греческих образцах. И все же есть существенное отличие в манере ведения диалогов Цицерона от диалогов великого основателя Академии. Платон сохранил нечто от сократовского метода - рождать мысли других, пробуждать с помощью допросов чувство истины и вытеснять заблуждения. Но сам Цицерон или тот, кто выражает его чувства, всегда берет на себя инициативу и дает нам длинные и часто непрерывные рассуждения. Его целью также, по-видимому, было не столько высмеять своих противников или даже одержать верх в споре, сколько воздать должное своим многочисленным и прославленным друзьям или вспомнить, как бы из могилы, ушедших героев и мудрецов своей страны.

В форме диалога Цицерон последовательно рассматривает вопросы права, метафизики, теологии и морали.

[pg 223]

De Legibus.- От этого диалога сохранилось только три книги, и даже в них имеются значительные расхождения. Недавно один ученый немец во вступлении к переводу диалога высказал предположение, что эти три книги в том виде, в каком они дошли до нас, были написаны не Цицероном, а всего лишь выдержками из его утраченных трудов, сделанными каким-то монахом или отцом [церкви](#)<sup>394</sup>. Однако мало найдется произведений, в которых можно проследить более подлинные следы руки Цицерона, чем в трактате De Legibus; и связь между различными частями слишком тесно сохранилась, чтобы допустить мысль о том, что она была составлена таким образом, как предполагает этот критик. Согласно другой гипотезе, он является частью третьей, четвертой и пятой книг утраченного трактата Цицерона De Republica. Это предположение, однако, было крайне маловероятным, поскольку Цицерон в ходе работы над De Legibus ссылается на De Republica как на отдельное произведение, и теперь доказано, что оно является химерическим благодаря открытию Май. Диалог De Legibus, однако, по-видимому, был составлен как своего рода дополнение к De Republica, имея целью указать, какие законы были бы наиболее подходящими для идеальной республики, которую автор описал [ранее](#)<sup>395</sup>.

Что касается периода написания, то очевидно, что он был написан после диалога De Republica; из его писем к брату Квинту следует, что работа De Republica была начата в 699 году, а закончена в 700 [году](#)<sup>396</sup>, так что диалог De Legibus не мог быть написан раньше этого года. Ясно также, что он был написан после 701 года, поскольку в нем явно упоминается убийство Хлодия - он хвастается, что его главный враг теперь лишен не только жизни, но и погребения, и привычных похоронных [церемоний](#)<sup>397</sup>. Хорошо известно, что Хлодий был убит в 701 году, а его мертвое тело беззаконная толпа притащила обнаженным на Форум, где оно было сожжено в огне, поднятом в здании Сената. Столь же очевидно, что трактат De Legibus был написан до De Finibus, написанного в 708 году, поскольку в первой работе автор ссылается на вопросы, которые мы находим обсуждаемыми в последней, как на споры, которые он должен однажды [рассмотреть](#)<sup>398</sup>. Но можно доказать, что диалог De Legibus был написан еще до битвы при Фарсалии, которая произошла в 705 году, поскольку автор говорит в нем о Помпее как о [pg 224] человеке, еще живом и находящемся в лучах [славы](#)<sup>399</sup>. Чепмен в своей диссертации De Aetate Librorum de Legibus, приложенной к латинскому письму Танстолла к Миддлону, касающемуся посланий к Бруту, считает, что оно было написано не ранее 709 года. По его мнению, то, что говорится о Помпее, и ссылки на убийство Хлодия, как на недавнее событие, были сделаны только для того, чтобы соответствовать времени, в котором происходит диалог: Но так уж получилось, что автор диалога не называет никакого исторического периода в качестве даты его фактического

возникновения. Чепмен также утверждает, что это единственный способ объяснить, почему работа De Legibus не упоминается в трактате De Divinatione, где перечисляются другие философские произведения Цицерона. Причина этого упущения, однако, может заключаться в том, что работа De Legibus никогда не была обнародована автором; и действительно, за исключением первой книги, вся она представляет собой лишь набросок или эскиз того, что он намеревался написать, и далека от того, чтобы получить шлифовку и совершенство тех представлений, которые он распространял сам.

Обсуждение De Legibus ведется в форме диалога Цицероном, его братом Квинтом и Аттиком. Цицерон является главным собеседником. Действие происходит на прогулочных и увеселительных площадках виллы Цицерона в Арпинуме, которая находилась примерно в трех милях от города с таким названием и располагалась в гористой, но живописной местности на древней территории самнитов, ныне входящей в состав Неаполитанского королевства. Этот дом был первоначальной резиденцией семьи Цицерона, который родился в нем при жизни своего деда, пока он был еще маленьким и скромным, как сабинский домик Курия или Цинцинната; но его отец постепенно расширял и украшал его, пока он не превратился в просторный и элегантный особняк, где, поскольку его здоровье было слабым, он провел большую часть своей жизни в литературных занятиях<sup>400</sup>. Цицерона в равной степени привлекали к этой вилле и приятные и нежные воспоминания, с которыми она была связана, и удобство расположения, которое было самым уединенным и восхитительным даже в том краю чарующего пейзажа. Он был тесно окружен рощей и стоял неподалеку от места слияния Фибренуса с Лирисом. Первый поток, журчавший в скалистом русле, отличался чистотой, быстротой и прохладой, а его покатые зеленеющие берега были затенены высокими тополями<sup>401</sup>. "Многие ручьи, - говорит мистер Келсолл, один из наших последних итальянских туристов, - прославленные в рассказах и песнях, разочаровывают путешественника, - [pg 225]

'Dumb are their fountains, and their channels dry,'.

Но за время долгих путешествий я ни разу не встречал такого обильного и светлого течения, как Фибренус; длина рассматриваемого потока не превышает четырех миль с половиной. Он течет с большой скоростью и имеет около тридцати или тридцати пяти футов в ширину возле Цицероновых островов. Глубина его обычно составляет пятнадцать и даже двадцать футов; "largus et exundans", подобно гению того, кто так часто ступал по его берегам. Вода даже в самую сильную жару сохраняет ледяную холодность; и хотя в тени термометр показывал выше 80°, рука, погруженная на несколько секунд в Фибрену, вызывала полное онемение<sup>402</sup>. Недалеко от дома Фибренус разделялся на равные потоки небольшим островком, окаймленным несколькими платанами, на котором стоял портик<sup>403</sup>, где Цицерон часто уединялся для чтения или размышлений и произносил некоторые из своих самых возвышенных проповедей. Чуть ниже этого островка каждый рукав ручья впадал своеобразным каскадом в лазурный Лирис<sup>404</sup>, которому Фибрен придавал дополнительную свежесть и прохладу, и после этого союза получил название более благородной реки<sup>405</sup>. Эпитет taciturnus, примененный к Лирису Горацием, и quietus, Силием Италиком, следует понимать только для нижних изгибов его течения. Ни одна река в Италии не шумит так, как Лирис в районе Арпино и виллы Цицерона; на протяжении полутора миль после впадения в Фибренус она образовала не менее шести каскадов, высота которых варьировалась от трех до двадцати футов<sup>406</sup>. Это место, украшенное всеми украшениями холмов и долин, лесов и водопадов, было одним из самых любимых уединений Цицерона. Когда Аттик впервые посетил его, он был так очарован, что вместо того, чтобы удивляться, как раньше, что это была такая любимая резиденция его друга, он выразил удивление, что тот когда-либо

уединялся в другом [месте407](#); в то же время он заявил, что презирает мраморные тротуары, арочные потолки и искусственные каналы великолепных вилл по сравнению со спокойствием и природными красотами Арпинума. Цицерон, действительно, кажется, в свое время думал об острове, образованном Фибреном, как о месте, наиболее подходящем для памятника, который он намеревался воздвигнуть своей любимой дочери [Туллии408](#).

Вилла располагалась недалеко от того места, где сейчас [pg 226] стоит город [Сора409](#).

"Лирис, - говорит Юстас, - до сих пор носит свое древнее название, пока не минует Сору, тогда он называется Гарильяно. Немного ниже Соры в нее впадает Фибренус, который так и называется, и продолжает огибать остров, на котором Цицерон разыгрывает сцену диалога De Legibus. Арпинум также до сих пор сохраняет свое [название410](#)". Современные путешественники убедительно свидетельствуют, что пейзажи вокруг Соры таковы, что полностью оправдывают пристрастие Цицерона и восхищение Аттика. "Ничего, - говорит мистер Келсолл, - нельзя представить прекраснее, чем окружающий пейзаж. Глубокая лазурь неба, на котором нет ни единого облачка - Сора на скале у подножия обрывистых Апеннин - оба берега Гарильяно покрыты виноградниками - *fragor aquarum*, о котором упоминает Атик в работе De Legibus - прохлада, быстрота, и ультрамариновый оттенок реки Фибренус, шум ее катарактов, насыщенный бирюзовый цвет Лириса, малые Апеннины вокруг Арпино, увенчанные до самых вершин густыми дубами, представляют собой пейзажи, которые вряд ли можно сравнить с другими, и уж точно не превзойти даже в [Италии411](#)." Место, где стояла вилла Цицерона, во времена Миддлтона принадлежало монастырю монахов и называлось виллой Святого Доминика. Она была построена в 1030 году из фрагментов Арпинской виллы!

"Искусство, слава, свобода не работают, но природа по-прежнему справедлива".

Первая конференция, De Legibus, проходит на прогулке на берегу реки Фибрен; две другие - на острове, который она образовала и который Цицерон назвал Амальтеей, от виллы, принадлежащей Аттику в Эпире. Эти три книги - все, что сохранилось до наших дней. Однако, судя по всему, в начале пятого диалога, когда солнце прошло меридиан и его лучи падали в таком направлении, что ораторы уже не могли укрыться от его лучей под молодыми платанами, которые были недавно посажены, они покинули остров и, спустившись к берегу Лириса, закончили свою беседу под сенью ольхи, раскинувшей свои ветви по его [краю412](#).

[pg 227]

Древний дуб, стоявший на прогулочной площадке Цицерона, заставил Аттика поинтересоваться предзнаменованием, которое было дано Мариусу, уроженцу Арпинума, от этого самого дуба, и которое Цицерон отметил в поэме, посвященной подвигам его свирепого земляка. Цицерон намекает, что предзнаменование было выдумкой, что приводит к обсуждению разницы между поэзией и историей и бедности Рима в этом отношении. Поскольку Цицерон из-за множества дел не имел в то время досуга, чтобы восполнить этот недостаток, гости просят его тем временем написать диссертацию о законах - предмет, в котором он настолько хорошо разбирался, что не требовал предварительной подготовки. Было решено, что он не должен рассматривать конкретные или произвольные законы, например, законы о стилициде и формах судопроизводства, но должен проследить философские принципы юриспруденции до их самых отдаленных истоков. Из этого глубокого исследования он исключает эпикурейцев, которые отказываются от всякой заботы о республике, и предлагает им удалиться в свои сады. Новую Академию он просит замолчать, так как ее смелые возражения вскоре разрушат справедливую и упорядоченную структуру его возвышенной системы. Зенона, Аристотеля и ближайших последователей Платона он

представляет как учителей, которые лучше всего готовят гражданина к выполнению обязанностей общественной жизни. Именно им он исповедует следование; в соответствии с их системой он объявляет в первой книге, посвященной законам в целом, что человек связан с верховным богом разумом и добродетелью, а весь род - общностью чувств и интересов, и законы в равной степени основаны на божественной власти и естественной благосклонности.

Согласно этой возвышенной гипотезе, вся вселенная образует одно огромное содружество богов и людей, которые причастны к одной и той же сущности и являются членами одного и того же сообщества. Разум предписывает законы природы и народов; и все позитивные институты, как бы они ни изменялись под влиянием случайностей или обычаев, вытекают из правил права, которые божество вписало в каждый добродетельный разум. Поэтому некоторые действия справедливы по своей природе и должны совершаться не потому, что мы живем в обществе, где позитивные законы наказывают тех, кто не обращает на них внимания, а ради той справедливости, которая сопровождает их, независимо от человеческих постановлений. Эти принципы могут быть применимы к законам в определенном смысле; но, по сути, автор обсуждает не законы, а моральное право и справедливость, поскольку плохие или пагубные законы он вообще не признает законами. Творить справедливость, любить [pg 228] су и поклоняться Богу с чистым сердцем, несомненно, были законами в его понимании (то есть они были правильными) до их принятия, и никакие человеческие постановления об обратном не могли их отменить. Однако его принципы применимы к законам в этом смысле, а не к произвольным гражданским институтам.

Раскрыв в первом сочинении происхождение законов и источник обязательств, он переходит в остальных книгах к изложению свода законов, соответствующих его собственному плану и представлениям об упорядоченном государстве; объявляя, во-первых, те, которые относятся к религии и поклонению богам; во-вторых, те, которые предписывают обязанности и полномочия магистратов. Эти законы по большей части взяты из древнего правления и обычаев Рима, с некоторыми небольшими изменениями, призванными устранить или излечить расстройства, которым была подвержена республика, и придать ее конституции более сильный уклон в пользу аристократической фракции. Наставления, изложенные в этих двух книгах, имеют очень мало общего с теми возвышенными и общими принципами, которые излагал автор. Многие из его законов представляют собой произвольные муниципальные постановления. Число магистратов, срок пребывания их в должности, избирательные права и выборы в комиции, конечно, не были основаны на неизменных законах Бога или природы; обсуждение их привело к убеждению, что вторая и третья книги представляют собой лишь собрание фактов, из которых впоследствии должны были быть выведены общие принципы.

В конце третьей книги упоминается, что исполнительная власть магистратуры и права римских граждан еще предстоит обсудить. В каком количестве книг был реализован этот план, точно неизвестно. Макробий, как мы видели, цитирует пятую [книгу](#)<sup>413</sup>; а Геренц считает вероятным, что их было шесть: четвертая - об исполнительной власти, пятая - о публичных и шестая - о частных правах.

О том, каким авторам Цицерон в основном следовал и подражал в своей работе "De Legibus", велись споры еще со времен Турнеба. В настоящее время кажется вполне обоснованным, что по существу и принципам он следовал стоикам; но в стиле и одежде, в которой он излагал свои чувства и мнения, он подражал Платону. Этот философ, как известно, написав о правительстве в целом, составил свод законов, приспособленных к той конкретной форме,

которую он обрисовал. Так и Цицерон решил донести свои мысли не путем перевода Платона, а подражая его манере [pg 229] в изложении их и приспособлявая все к конституции своей собственной страны. Стоиком, которому он в основном следовал, был, вероятно, Хрисипп, написавший книгу Περὶ Νομῶν<sup>414</sup>, некоторые отрывки из которой дошли до наших дней и демонстрируют очертания системы, принятой в первой книге De Legibus. Все, что касается общих рассуждений в третьей книге, взято из Теофраста, Дио и стоика Панэтия.

De Finibus Bonorum et Malorum" - философское изложение различных мнений греков о высшем благе и высшем зле, и это произведение является самым тонким и сложным из философских трудов Цицерона. Он состоит из пяти книг, представляющих собой диалог, в котором, как и в трактате "Оратор", речь идет не о драматическом представлении, а об историческом повествовании автора. Постоянное повторение "сказал я" и "сказал он" утомительно и неуклюже, и не так приятно, как драматическая форма диалога, где имена разных говорящих поочередно префикс, как в пьесе. Все произведение адресовано Марку Бруту во Введении, где автор оправдывает свое изучение философии, которое некоторые обвиняли как не соответствующее его характеру и достоинству. Предполагается, что совещание, о котором идет речь в первых двух книгах, проходило на Куманской вилле Цицерона, расположенной на холмах старой Кумы, откуда открывался вид на Кампи Флегрей, залив ПUTEОЛЫ с островами, Порт Мизен - гавань римского флота, и Байи - пристанище самых богатых патрициев. Здесь Цицерона навестили Луций Торкват, убежденный эпикуреец, и молодой патриций Кай Триарий, который в последующем разговоре оказывается немым. Торкват вовлекает хозяина в философскую дискуссию, требуя узнать его возражения против эпикурейской системы. Цицерон излагает их в общих чертах, но Торкват в своем ответе ограничивается вопросом о высшем благе, которое он помещает в удовольствие. Этот догмат он поддерживает на том основании, что из всех вещей Добродетель наиболее приятна; что мы должны следовать ее законам в силу спокойствия и удовлетворения, вытекающих из ее практики; и что не всегда следует избегать почетного труда или даже боли, поскольку они часто оказываются необходимыми средствами для получения самых изысканных удовольствий. Цицерон в своем опровержении, содержащемся во второй книге, дает совсем иное представление о философии Эпикура, чем его великий поэтический современник Лукреций. Термин ἡδονή, (voluptas), используемый Эпикуром для выражения его высшего блага, может означать только, как утверждает Цицерон, чувственное [pg 230] наслаждение, и никогда не может быть истолкован так, чтобы обозначать спокойствие духа. Но если предположить, что добродетель культивируется только как средство получения удовольствия или как ценность только потому, что она приятна, - мошенник, не испытывающий ни угрызений совести, мог бы наслаждаться summum bonum, обманывая законного владельца его имущества; и ни один поступок не был бы признан преступным, если бы он избежал клейма общественного позора. С другой стороны, если считать боль высшим злом, то как может человек наслаждаться счастьем, когда это величайшее из всех несчастий может в любой момент настигнуть его!

В третьей и четвертой книгах место действия диалога меняется. Чтобы ознакомиться с некоторыми книгами по аристотелевской философии, Цицерон отправляется на виллу молодого Лукулла, опекуном которого он был назначен по завещанию его прославленного отца. Здесь он застаёт Катона за чтением некоторых произведений стоических авторов; возникает дискуссия о той части стоической системы, касающейся высшего блага, которое Катон возлагал на одну лишь добродетель. Цицерон, отвечая Катону, пытается примирить этот догмат с доктринами академической философии, которую он сам исповедовал, показывая, что разница между ними заключается лишь в значении, придаваемом термину

"благо": академическая секта отдает первенство добродетели, но признает, что внешние преимущества также являются благом в своем постановлении. Стоики же не считали их благом, а лишь ценностью, возможностью или предпочтительностью; так что секты можно было бы примирить в чувствах, если бы немного изменить термины. Академическая система полностью развивается в пятой книге, в диалоге, состоявшемся в Академии; в самом начале прекрасно описаны ассоциации, которые это знаменитое, хотя и уединенное место должно было пробудить. "Я вижу перед собой, - говорит Пизон, - совершенный облик Платона, который имел обыкновение спорить именно в этом месте: Эти сады не только вызывают его в моей памяти, но и представляют его самого моим чувствам. Я представляю себе, что здесь стоял Спевсипп, здесь Ксенократ, а здесь, на этой скамье, сидел его ученик Полемон. Наш древний сенатский дом кажется мне населенным такими же фантастическими формами, ибо часто, когда я вхожу в него, в моем воображении встают тени Сципиона, Катона, Лелия и, в особенности, моего почтенного деда". Здесь Пизон, который был большим платоником, в присутствии Цицерона и брата Цицерона Квинта излагает гипотезу старой Академии о моральном благе, которая была также принята перипатетиками. Согласно этой системе, *summum bonum* состоит в наивысшем совершенствовании всех душевных и телесных способностей. Совершенство, короче говоря, всего [pg 231], что соответствует природе, входит в состав высшего счастья. Добродетель, конечно, является высшей из всех вещей, но и другие достоинства должны быть оценены в соответствии с их ценностью. Даже удовольствия становятся составляющими счастья, если они относятся к *prima naturæ*, или первичным достоинствам природы. Цицерон, похоже, одобряет эту систему и возражает только против одного из положений Пизона: мудрец должен быть всегда счастлив. Таким образом, наш автор противопоставляет друг другу различные системы греческой философии, в частности эпикурейскую и стоическую; и, кроме того, опровергая их от своего лица, он заставляет одну из них перечить другой, пока не приходит, что наиболее вероятно, к пределу, на который претендовала средняя или новая Академия. Основная часть сочинения *De Finibus* взята из лучших трудов различных философов, чьи доктрины он объясняет. Первая книга близко следует трактату Эпикура, *Κυρίων δόξων*. Вторая книга Цицерона, в которой он опровергает эпикуризм, заимствована у стоика Хрисиппа, написавшего десять книг "О прекрасном и о наслаждении" (*Περὶ τοῦ καλοῦ καὶ τῆς ἡδονῆς*), в которых он излагает эпикурейские догматы о высшем благе и зле. Его третья книга заимствована из трактата того же Хрисиппа, озаглавленного *Περὶ τελευτῶν*<sup>415</sup>. Четвертая, где он опровергает стоиков, взята из сочинений Полема, который, следуя примеру своего учителя Ксенократа, изменил доктрины академиков и почти приспособил их по этому вопросу о добре и зле к мнениям древних перипатетиков. Некоторые работы Антиоха Аскалонского, который во времена Цицерона был главой старой Академии, послужили материалом для заключительного диалога.

Труд *De Finibus* был написан в 708 году и, хотя начат после *Academica*, был закончен до нее. Однако период трех различных конференций, из которых оно состоит, откладывается на значительное время до даты его публикации. Очевидно, что первый диалог должен был состояться в 703 году, поскольку Торкват, главный докладчик, погибший в гражданской войне, упоминается как *Prætor Designatus*, и этот пост он занимал в 704 году. Следующее совещание проводится, по крайней мере, после смерти великого Лукулла, который умер в 701 году. Последний диалог перенесен более чем на тридцать лет назад, он был заложен в 674 году, когда Цицерону шел двадцать седьмой год, и он посещал уроки афинских философов. Это изменение объясняется тем, что Пизон был самым подходящим человеком, которого автор мог найти для поддержки доктрин [pg 232] старой Академии, и поскольку он отказался от своей дружбы во время беспорядков, вызванных фракцией Хлодиана, стало необходимым поместить конференцию в период, когда они были сокурсниками в Афинах. Критики отмечают некоторые анахронизмы в этой последней книге, заставляя Пизона

ссылаться на два других диалога, в которых он не участвовал и не мог знать, как на состоявшиеся в более поздний период, чем тот, на котором он присутствовал.

Эта работа называется "Академика" либо потому, что она относится главным образом к академической философии, либо потому, что она была написана на вилле в ПUTEОЛАХ, где роща и портик были названы Цицероном, в подражание афинянам, его Академией<sup>416</sup>. Очевидно, существовало два издания *Academica*, ни одно из которых мы сейчас не имеем в полном объеме - вторая книга первого издания и первая книга второго. В первом издании докладчиками были сам Цицерон, Катул, Лукулл и Гортензий. Первая книга была надписана Катулом, а вторая Лукуллом - эти люди были главными собеседниками в своих отделах. Первый диалог, или Катул, состоялся на вилле этого сенатора. Каждое слово в нем, к сожалению, утрачено, но его суть можно понять из упоминаний о нем во второй книге Лукулла, которая сохранилась до наших дней. В ней, судя по всему, содержится очерк истории старой и новой Академии, а затем подробно рассматриваются доктрины и принципы последней, к которым принадлежал Катул. Катул излагал их в том виде, в каком их читал Карнеад, лекции которого посещал его отец, а в старости передал их суть своему сыну. Он опроверг философию Филона, где тот расходился с Карнеадом (который, хотя и принадлежал к новой Академии, в некоторых вопросах все же расходился), а также мнения Антиоха, который следовал старой Академии. Гортензий, по-видимому, дал краткий ответ, но более подробное обсуждение системы старой Академии было припасено для Лукулла. Однако прежде чем перейти к этой теме, наши философы переходят от половецкой виллы Катула к вилле Гортензия в Баули, одном из многих великолепных мест, принадлежавших этому оратору, и расположенном немного выше роскошного Баия, по направлению к Куме, на заливе Неаполитанского залива. Здесь они решили остаться до тех пор, пока не подует благоприятный ветер, который может перенести Лукулла на его неаполитанскую, а Цицерона - на помпейскую виллу. В ожидании этой возможности они удалились на открытую галерею, выходившую на [pg 233] море, откуда они наблюдали за судами, плывущими по заливу, и за постоянно меняющимся цветом его вод, которые под утренним лучом казались шафрановыми, а в полдень становились лазурными, пока, по мере убывания дня, их не подергивал рябью западный бриз и не освещало заходящее солнце<sup>417</sup>. Здесь Лукулл начал свою защиту старой Академии и диспут против Филона, согласно тому, что он узнал от философа Антиоха, который сопровождал его в Александрию, когда он отправился туда в качестве квестора Египта. Во время пребывания в этом городе к нему попали две книги Филона, которые вызвали философский гнев Антиоха и послужили поводом для многочисленных устных дискуссий, а также для написания им книги под названием "Сосус", в которой он попытался опровергнуть доктрины, столь смело провозглашаемые Филоном. Таким образом, Лукулл получил возможность полно и достоверно изложить аргументы главного сторонника и возродителя в те поздние времена старой платоновской Академии. Его рассуждения направлены главным образом против того главного принципа новой Академии, который учил, что ничего нельзя узнать или установить. Обращаясь к природе и строению человека, он подтверждает веру в наши внешние чувства и выводимые из них умственные заключения. На это Цицерон отвечает, опираясь на труды Клитوماха, и, конечно, расширяет обман чувств - ложные видимости, которые мы наблюдаем во сне или под влиянием френиии, и неопределенность всего, столь полно продемонстрированную различными мнениями великих философов, по самому важному из всех предметов - Провидению богов, Высшему добру и злу, и образованию мира.

Эти две книги, "Катул" и "Лукулл", из которых, как уже говорилось, сохранилась только последняя, были написаны после окончания гражданских войн, и их копию Цицерон послал Аттику. Однако вскоре автору пришло в голову, что введенные персонажи не очень подходят

для обсуждаемых тем, поскольку Катул и Лукулл, хотя и были зрелыми учеными и образованными людьми, не могли, будучи государственными деятелями и полководцами, быть знакомы со всеми мелочами философских споров, содержащихся в книгах, носящих их имена. Раздумывая, не вложить ли ему диалог в уста Катона и Брута, он получил письмо от Аттика, в котором тот признавался, что подарил ему свой труд, но упоминал, что их общий друг, Варро, был недоволен тем, что ни один из его трактатов не был адресован ему или снабжен его именем. Этот намек, а также [pg 234] несоответствие прежних персонажей теме, побудили автора посвятить работу Варро и сделать его главным действующим лицом в [диалоге418](#). Это изменение, а также размышления, возможно, о некоторых недостатках в расположении старой работы, а также обнаружение значительных упущений, особенно в отношении догматов Арцизилая, основателя новой академии, побудили его переделать всю работу, добавить в некоторых местах, сократить в других и придать ей больше блеска и лоска стилю. В этом новом виде *Academica* состояла из четырех книг, что лучше подходило для изложения его предмета: Но из этих четырех книг сохранилась только первая. Диалог, который в ней содержится, предположительно произошел во время визита Аттика и Цицерона к Варро на его виллу близ Кумеса. Гости просят его рассказать о принципах старой Академии, от которой Цицерон и Атик давно отошли, но к которой Варро продолжал неуклонно примыкать. Эта первая книга, вероятно, включает в себя все то, что содержалось в "Катуле" прежнего издания. Варро, выполняя просьбу, обращенную к нему, выводит происхождение старой Академии от Сократа; он рассматривает ее доктрины, относящиеся к физике, логике и морали, и прослеживает ее прогресс при Платоне и его законных преемниках. Цицерон берется за дело, когда это историческое повествование доходит до Аркесилая, основателя новой Академии. Но работа обрывается в самой интересной части, как раз в тот момент, когда автор приступает к изложению жизни и лекций Карнеада, который ввел новую Академию в Риме. Цицерон, однако, называя ее новой Академией, едва ли признает ее новой, поскольку на самом деле она была самым настоящим изложением тех возвышенных доктрин, которые Платон перенял от Сократа. Исторический очерк академической философии был почти завершен в первой книге, остальные книги, которые утрачены, содержали спорную часть. Во второй книге объясняются доктрины Аркесилая, а в одном из немногих сохранившихся коротких фрагментов, по-видимому, обсуждаются удивительные изменения, происходящие в цвете предметов и цвете лица людей в связи с изменениями их положения или возраста, что было одним из главных аргументов Аркесилая против достоверности доказательств, получаемых от органов чувств. Третья и четвертая книги, вероятно, содержали доктрины Карнеада и Филона с их опровержением Варро в соответствии с принципами Антиоха. Из фрагмента [pg 235] третьей книги, сохранившегося у Нония, следует, что место действия диалога было перенесено на берега Лукринского озера, которое находилось в непосредственной близости от половецкой виллы [Варро419](#).

Эти четыре книги составили тот труд, который Цицерон хотел считать подлинными и улучшенными "Академиками". Однако прежнее издание, которое он послал Аттику, ушло за границу, и, поскольку он не мог его вспомнить, он решил дополнить его, приложив к первой книге вступительный панегирик Катула, а ко второй - Лукулла, - в частности, подчеркивая невероятный гений последнего, который позволил ему, хотя до этого он был неопытен в военном искусстве, только благодаря беседам и учебе, во время своего путешествия из Рима, высадиться на побережье Азии с приобретениями искусного полководца и вырвать признание у своего антагониста Митридата, который справился с Силлой, что он был первым из воинов.

Эта версия двух редакций "Академиков", впервые предложенная [Талеусом420](#), была принята [Геренцем421](#); и, как мне кажется, она полностью подтверждается серией писем Цицерона к

Аттику, содержащихся в 13-й книге его "Посланий". Однако французские и немецкие комментаторы отнюдь не единодушно соглашались с ним. Ламбинус, видя, что Ноний цитирует как относящиеся к четвертой книге *Academica* отрывки, которые мы находим в Lucillus, или второй книге первого издания, посчитал и записал ее как четвертую часть нового издания, а не вторую часть старого, в чем ему последовали многие последующие редакторы; Но это легко объяснимо, поскольку новое издание, будучи переделанным на основе старого, многие вещи в последней или второй книге старого издания, естественно, будут перенесены в четвертую или последнюю книгу нового издания, и будут так цитироваться теми грамматиками, которые писали, когда вся работа была в сохранности. Раниц отрицает, что когда-либо существовало два издания *Academica*, обнародованных или сохранившихся, и что, поскольку последние три книги не были утрачены, Лукулл содержит их полностью, но из-за ошибки переписчиков они были вставлены друг в друга<sup>422</sup>. Этот критик, конечно, прав в том, что Цицерон желал, чтобы первое издание *Academica* было уничтожено или предано забвению, но из этого не следует, что [pg 236] ни одно из этих желаний было выполнено; и действительно, из писем самого Цицерона доказано, что более старое издание поступило в широкое обращение.

Тускуланские диспуты" были названы так Цицероном потому, что проводились в его резиденции близ Тускулума - города, стоявшего на вершине Альбанского холма, примерно на милю выше современного Фрескати, и давшего название всем сельским уединениям в его окрестностях. Это была главная и самая любимая вилла Цицерона. "Это, - говорит он, - единственное место, где я полностью отдыхаю от всех моих тревог и трудов". "Она стояла, - говорит Юстас, - на одном из Тумули, или красивых холмов, сгруппированных на Альбанской горе. С юга он ограничен глубокой ложиной, в которой протекает ручей, падающий со скалы, затем пробирающийся через углубление и исчезающий в своих извилинах. На востоке возвышается возвышенность, некогда увенчанная Тускулумом, на западе вид спускается вниз и, пройдя через Кампанию, упирается в Рим и далекие горы за ним - на юге пологий берег представляет череду виноградников и садов, а за ним возвышается вершина Альбанской горы, некогда увенчанная храмом Юпитера Латиариса. Таким образом, Цицерон со своего портика наслаждался самым благородным и интересным видом, который только можно представить римлянину и консулу; храм божества-покровителя империи, место победы и триумфа, театр его славных трудов - столица мира<sup>423</sup>". Еще более поздний путешественник сообщает нам, что "положение древнего Тускулума восхитительно. Дорога, ведущая к нему, затенена густыми зарослями дуба и илекса. Древние деревья и мягкие зеленеющие луга вокруг него почти напоминают нам некоторые из прекраснейших сцен Англии; а маленький ручеек, журчащий рядом, не менее интересен от мысли, что его журчание, возможно, когда-то успокаивало слух Цицерона<sup>424</sup>".

Расстояние Тускулума от Рима, составлявшее всего четыре лиги, позволяло Цицерону легко уединяться от усталости сената и форума. Будучи виллой, к которой он прибегал чаще всего, он улучшил и украсил ее больше, чем все остальные свои особняки, и придал ее внутреннему изяществу соответствие ее величественному положению. Изначально вилла принадлежала Силле, который очень украсил ее. В одном из апартаментов висела картина с изображением его победы под Нолой во время Марсианской войны, в которой Цицерон служил под его началом в качестве волонтера. Но новый хозяин придал этому месту более классический [pg 237] и греческий вид. Он построил несколько залов и галерей в подражание афинским школам и портикам, которые назвал Гимназией. Один из них, который он назвал Академией, был возведен на небольшом расстоянии от виллы, на склоне холма, обращенного к Альбанской горе<sup>425</sup>. Другая гимназия, которую он назвал Лицеем, стояла выше по склону холма, чем Академия: Он примыкал к вилле и предназначался главным образом для

философских собраний. Цицерон дал общее поручение Аттику, который проводил много времени в Греции, приобрести любое изящное или любопытное произведение греческого искусства, живописи или скульптуры, которое его утонченный вкус мог бы выбрать в качестве подходящего украшения для своей тускуланской виллы. В результате он получил от своего друга набор мраморных Меркуриев с латунными головами, которыми был очень доволен; но особенно ему понравились составные эмблематические фигуры, называемые *Hermathenæ* и *Hermeraclæ*, представляющие Меркурия и Минерву, или Меркурия и Геркулеса, вместе на одном основании; поскольку Геркулес был божеством Гимназии, Минерва - Академии, а Меркурий - общим для обоих, они точно соответствовали цели, для которой он хотел их приобрести. Один из этих минервальских Меркуриев так понравился ему и стоял в таком выгодном положении, что он заявил, будто вся Академия в Тускулуме была придумана для того, чтобы принять [его](#)<sup>426</sup>. Он так хотел украсить эту тускульскую виллу всеми видами греческого искусства, что отправил Аттику планы и устройства своих потолков, которые были отделаны лепниной, чтобы обозначить различные произведения скульптуры и живописи, которые должны быть вставлены в отсеки; а также крышки для двух своих колодцев или фонтанов, которые, по обычаю тех времен, часто формировались по элегантному образцу и украшались фигурами в [рельефе](#)<sup>427</sup>.

Ла Гротта Феррата, монастырь базилианских монахов, по словам Юстаса, сейчас построен на месте тускуланской виллы Цицерона. Нардини, писавший около 1650 года, утверждает, что среди руин Гротта Феррата недавно был найден кусок скульптуры, о котором упоминает сам Цицерон в одном из своих "Знакомых посланий". В середине прошлого века здесь еще оставались обширные подземные помещения, а также большая окружность и протяженность [руин](#)<sup>428</sup>. Но, судя по всему, с тех пор они еще больше обветшали. "Едва ли [pg 238] след, - говорит Юстас, - от руин Тускулума можно обнаружить сейчас: Большая часть сохранилась к концу X века, когда греческий монах из Калабрии разрушил его и возвел на этом месте монастырь Гротта Феррата. На каждом конце портика в стене закреплен фрагмент бассо-рельефа. На одном из них изображен философ, сидящий со свитком в руке в позе размышления, на другом - четыре фигуры, поддерживающие ноги пятой колоссального размера, предположительно изображающей Аякса. Они, а также прекрасные колонны, поддерживающие церковь, являются единственными остатками украшений и мебели древней виллы. "Conjiciant, - гласит надпись неподалеку, - quæ et quanta fuerunt "<sup>429</sup>".

Когда Сезар добился верховенства в Риме, а Цицерон перестал читать законы в сенате, он стал главой своего рода литературного или философского общества. Филельфо, читавший в Риме публичные лекции о тускуланских диспутах, пытался доказать, что он устраивал в своем доме собрания ученых людей и открыл в Тускулуме регулярную [Академию](#)<sup>430</sup>. Это представление было основано главным образом на письме Цицерона к Петию, где он говорит, что последовал примеру младшего Дионисия, который, будучи изгнанным из Сиракуз, преподавал в школе в Афинах. В любом случае, в свободное время он имел обыкновение брать с собой из Рима в деревню друзей, где их развлечения носили преимущественно умозрительный характер. Так, однажды Цицерон провел пять дней на своей тускуланской вилле, а после [pg 239] утренних занятий декламацией и риторикой, после обеда вместе с друзьями удалился в галерею, называемую Академией, которую он построил для философских совещаний. Здесь Цицерон ежедневно предлагал высказать тезисы на любую тему, предложенную ему гостями; и пять диалогов, представленных таким образом, были, как нам сообщает автор, впоследствии записаны почти в тех словах, которые были на самом [деле](#)<sup>431</sup>. Они были завершены в начале 709 года и, как и многие другие его работы, посвящены Бруту - каждый диалог был одновременно снабжен введением, в котором говорилось о совершенстве философии и о преимуществе натурализации мудрости греков

путем перевода ее на латинский язык. В первом диалоге, озаглавленном *De Contemnenda Morte*, один из гостей, которого до конца спектакля называют Аудитором, утверждает, что смерть - это зло. Цицерон немедленно опровергает это утверждение, что, естественно, влечет за собой рассуждения о бессмертии души - предмете, который на страницах Цицерона продолжал оставаться в том же сомнении и мраке, который окутывал его в школах Греции.

Правда, в древнем мире существовало некоторое представление, а некоторые лелеяли надежду, что мы находимся здесь лишь в зачаточном состоянии и что могила может быть крыльцом бессмертия, а не целью нашей карьеры. Естественная любовь, которую мы питаем к жизни, несмотря на все ее страдания, горе, которое мы иногда испытываем, будучи оторванными от всего, что нам дорого, желание иметь потомство и посмертную славу, унижительная мысль, что мысли, блуждающие в вечности, должны быть действиями существа, которому суждено на мгновение промелькнуть на поверхности земли, и затем навсегда быть погребенным в ее лоне - словом, все эгоистическое и все социальное в нашей природе объединилось, чтобы придать важность вопросу, должен ли мыслительный принцип быть уничтожен смертью или это великое изменение должно быть введением в будущее состояние существования. Испытывая естественное желание убедиться в истинности этой доктрины, философы древности с тревогой придумывали аргументы, которые могли бы оправдать их надежды. Иногда они выводили их из метафизических спекуляций - духовности, единства и активности души, иногда - из высоких представлений о нравственных и интеллектуальных вещах. Возможно ли, спрашивали они, чтобы существо такого совершенства было заключено здесь на срок в несколько лет, только для того, чтобы стать объектом немногих удовольствий и многих страданий, которые [pg 240] омрачают эту земную жизнь? Разве не видно его будущее предназначение в той пресыщенности и унынии, которые сопутствуют всем земным удовольствиям, в тех желаниях разума к вещам более чистым и интеллектуальным, чем те, что доступны здесь, в том стремлении и старании, которые мы испытываем к чему-то, что выше нас и совершеннее нашей природы? В другое время они находили аргументы в неравном распределении наград и наказаний; и в наших вздохах по поводу несчастий добродетели они признавали принцип, указывающий на будущее положение вещей, где будет обнаружено, что то, что мы сейчас оплакиваем как зло, является добром, и где последствия порока и добродетели будут проявляться более полно и регулярно, чем на этой негармоничной сцене. Затем они вглядывались в природу и видели, что если смерть следует за жизнью, то жизнь, похоже, проистекает из смерти, и что жизнерадостное оживление весны сменяется мертвенными ужасами зимы. Они наблюдали за чудесными изменениями, происходящими в некоторых разумных существах, рассматривали те, которым подвергся сам человек, и, очарованные всеми этими рассуждениями, предавались приятной надежде, что наша смерть, как и наше рождение, может стать вступлением в новое состояние существования. Но всех этих нежных желаний, всех этих стремлений к бессмертию было недостаточно, чтобы развеять сомнения мудреца или наполнить моралиста уверенностью и утешением. Мудрейший и добродетельнейший из философов древности, который наиболее сильно предавался надеждам на бессмертие, представлен одним из прославленных учеников в выражении, которое раскрывает его печальную неуверенность в том, выйдет ли он из могилы или навечно замкнется в ее барьерах.

В эпоху Цицерона существование мира за пределами могилы все еще было покрыто тенью, облаками и мраком. "Какое бы из мнений о субстанции души ни было истинным, - говорит он в своем первом "Тускуланском диспуте", - из этого следует, что смерть - это либо благо, либо, по крайней мере, не зло, ибо если это мозг, кровь или сердце, то они погибнут вместе со

всем телом, если огонь, то он погаснет, если дыхание, то оно рассеется, если гармония, то она будет нарушена - не говоря уже о тех, кто утверждает, что это ничто; Но другие мнения дают надежду, что жизненная искра, покинув тело, может вознестись к Небесам, как к месту своего обитания."

Далее Цицерон исчерпывает всю платоновскую аргументацию в пользу бессмертия души и ее восхождения в небесные области, где она будет исследовать и пересекать все пространство, получая в своем безграничном полете бесконечные наслаждения. Из своей системы будущего существования Цицерон исключает все мрачные басни о спуске в Авернус, бледные мутные ре [pg 241] гионы, вялый поток, исхудавшую гончую и мрачного лодочника. Но даже если считать смерть полным исчезновением чувств и ощущений, наш автор все равно отрицает, что она должна считаться злом. Эту точку зрения он решительно поддерживает, исходя из соображений о незначительности тех удовольствий, которых мы лишаемся, и прекрасно иллюстрирует на примере судьбы многих выдающихся исторических персонажей, которые, умерев раньше, избежали бы величайших бедствий жизни. Если бы Метелл умер раньше, он не положил бы своих сыновей на погребальную гряду; если бы Помпей умер, когда жители всей Италии были украшены венками и гирляндами в знак радости по поводу его восстановления здоровья после лихорадки, которой он был охвачен в Кампании, он не взял бы оружие, не подготовившись к поединку, и не бежал бы из дома и страны; и, потеряв римскую армию, он бы пал на чужом берегу от меча [раба432](#). Он дополняет эти иллюстрации ссылками на свои собственные несчастья; и аргументы, которые он вывел из них, получили через несколько месяцев сильное и меланхоличное подтверждение: "Etiam ne mors nobis expedit? qui et domesticis et forensibus solatiis ornamentisque privati, certe, si ante occidissemus, mors nos a malis, non a bonis abstraxisset."

Тот же самый нефилософский гость, который утверждал, что смерть - это недостаток, и которого Цицерон, из милосердия к его памяти, не называет по имени, во втором диалоге "О терпимости к боли" обречен озвучить еще более несостоятельное утверждение, что боль - это зло. Но Цицерон доказывает, что страдания можно преодолеть, не вспоминая глупые эпикурейские максимы - "короткие, если суровые, и легкие, если долгие", а с помощью стойкости и терпения; и, соответственно, порицает тех философов, которые представили боль в слишком грозных красках, и упрекает тех поэтов, которые описали своих героев как поддающихся ее влиянию.

В третьей книге, De Aegritudine Lenienda, автор рассказывает о лучших способах облегчения скорби. Предвидеть беды и быть готовым к ним - значит либо отразить их нападение, либо смягчить их суровость. После их наступления мы должны помнить, что скорбь - это глупость, которая нам не поможет, и что несчастья не свойственны нам самим, а являются общим уделом человечества. Горе, о котором здесь рассказывает Цицерон, вызвано, по-видимому, главным образом лишением друзей и родственников, на что, вероятно, направила его внимание недавняя потеря дочери Туллии, [pg 242] и сочинение трактата De Consolatione.

Четвертая книга трактата De Reliquis animi Perturbationibus включает в себя все те страсти и досады, которые автор считает болезнями души. Их он классифицирует и определяет, указывая в то же время средство или облегчение, подходящее для каждого беспокойства. В пятой книге, где он пытается доказать, что только добродетель достаточна для совершенного счастья - Virtutem ad beate vivendum se ipsâ esse contentam - он более полно совпадает с мнением стоиков, чем в своей работе De Finibus, где он, кажется, соглашается с доктриной перипатетиков, "что хотя добродетель и является главным благом, совершенство других качеств природы входит в состав высшего счастья".

В этих "Тускуланских диспутах", где рассматриваются самые важные и важные для счастья жизни темы, все рассуждения принадлежат устам самого Туллия; Аудитор, начальную букву которого некоторые редакторы причудливо приняли за букву Аттуса, - просто соломенный человек. Он поставлен, чтобы объявить то, что должно быть представлено как несостоятельное предложение: но после выполнения этой обязанности ни один английский слушатель или валлийский дядя не смог бы выслушать его с меньшим несогласием и перерывами. Великая цель постоянных лекций Цицерона - укрепляя разум практическими и философскими уроками, приспособленными к обстоятельствам жизни, возвысить нас над влиянием всех ее страстей и болей.

Первая конференция, призванная уменьшить страх смерти, - самая лучшая; но все они приятны, главным образом благодаря частым ссылкам на древние басни, события греческой и римской истории и памятные изречения героев и мудрецов. В самих именах таких людей, как Платон и Эпаминондас, есть что-то такое, что придает страницам святость и задор. Ссылки на древних латинских поэтов и цитаты из их произведений, особенно трагических драм, придают всему сочинению прекрасное богатство; и даже в самых сухих темах ум успокаивается от повторения отрывков, характеризующих энергичность римской Мельпомены, которая, хотя и немощна, как в Греции,

"Будить душу нежными ударами искусства".

долгое время ступала по сцене с достоинством и возвышенностью.

Paradoxa.- Этот трактат содержит защиту шести особых мнений или парадоксов стоиков, несколько похожих на те, которые Катон имел обыкновение провозглашать в сенате. Они заключаются в том, что то, что нравственно подобает (honestum), [pg 243] только благо, - что добродетельный человек не может ничего желать для полного счастья, что нет никаких степеней в преступлениях или хороших поступках, что каждый глупец безумен, что только мудрые богаты, что только мудрый человек свободен, а каждый глупец - раб. Эти абсурдные и спорные положения автор поддерживает, причем скорее изобретательно, чем философски. Paradoxa, действительно, кажется написанной как своего рода упражнение в риторическом остроумии, а не как серьезная философская диссертация; и каждый парадокс применяется лично или направлен против отдельного человека. В определениях нет никакой точности; автор играет на двусмысленности слов bonum и dives, а его аргументы часто сводятся к конкретным примерам, которые ни в коем случае не являются достаточными для поддержки его общего положения.

De Naturâ Deorum.- Среди различных философских работ Цицерона наиболее любопытной, пожалуй, и важной является работа "О природе богов". Она адресована Бруту и написана в форме диалога. Эта форма сочинения, помимо уже отмеченных преимуществ, особенно подходит для деликатных и опасных тем, когда автор боится подвергнуть себя упрекам или преследованиям. Именно по этой причине она была принята учениками Сократа. Этот философ пал жертвой народной ярости, тех обвинений в нечестии, которые так часто и так успешно повторялись против философов. В школах его учеников, похоже, была принята двойная доктрина, чтобы избежать преследований, и Платон, вероятно, считал форму диалога наилучшей, чтобы защитить себя от обвинений своих врагов. Именно таким образом в более поздние времена Галилей пытался оградить себя от нападок заблуждений и несправедливости и полагал, что, излагая свои выводы в платоновской манере, он избежит злобной бдительности инквизиционного [суда](#)<sup>433</sup>.

В диалоге *De Naturâ Deorum* автор излагает доктрины трех наиболее выдающихся сект древних - эпикурейцев, стоиков и академиков - по такому важному вопросу, как природа божественной сущности и провидения. Он представляет трех знаменитых людей своей страны, каждый из которых разъясняет догматы той секты, которую он предпочитает, и отстаивает их, несомненно, с помощью главных аргументов, которые могли бы предоставить знания или таланты самого автора. Цицерон представляет себя [pg 244] отправившимся в дом понтифика Максима Котты, которого он застал сидящим в кабинете вместе с К. Веллеем, сенатором, исповедовавшим принципы Эпикура, и К. Луцилием Бальбусом, сторонником доктрин стоиков. - "Как только Котта увидел меня, он сказал: "Ты пришел очень вовремя, потому что у меня есть спор с Веллеем по важному вопросу, в котором, учитывая характер твоих занятий, тебе не помешает принять участие". - "Действительно, - сказал я, - я пришел очень вовремя, как ты говоришь, потому что здесь собрались три вождя трех главных сект". "Сам Котта - новый академик, и он сообщает Цицерону, что они обсуждают природу богов, тему, которая всегда казалась ему очень туманной, и поэтому он попросил Веллия изложить взгляды Эпикура на этот вопрос. Веллея просят продолжить свои аргументы, и, пересказав все, что он уже сказал, "с уверенностью, свойственной его секте, не боясь ничего так сильно, чтобы показаться сомневающимся в чем-либо, он начал, как будто только что сошел с совета богов<sup>434</sup>".

Рассуждения Веллия в значительной степени состоят из насмешек и заявлений, направленных против доктрин различных сект, которых он перечисляет великое множество, что позволяет предположить в Цицероне обширную философскую эрудицию, или, скорее, возможно, по тому, как небрежно они рассматриваются, что он взял свой рассказ о них у какого-нибудь древнего Диогена Лаэртца или Стэнли<sup>435</sup>. - "До сих пор я, - говорит Веллий, - скорее разоблачал мечты дотаров, чем мнения философов; и тот, кто считает, как опрометчиво [pg 245] и неосмотрительно выдвигаются их догматы, должен проникнуться благоговением к Эпикуру и причислить его к тем существам, которые являются предметом этого спора, ибо он один впервые обосновал существование богов на том впечатлении, которое сама природа произвела на умы людей".

Завершив свою речь (остаток которой не представляет особого интереса, поскольку касается формы богов и их безразличия), Котта, после нескольких комплиментов в его адрес, приступает к опровержению выдвинутых им положений; признавая существование богов, он объявляет причины, приведенные Веллеем для их существования, совершенно недостаточными. Затем он переходит к атаке на другие позиции Веллея, касающиеся формы богов и их освобождения от трудов по созданию и провидению. Его аргументы против антропоморфизма превосходны; а в ответ на гипотезу Эпикура о праздности богов он спрашивает: "По какой причине люди должны поклоняться богам, если боги, как ты говоришь, не только не заботятся о людях, но и совершенно безразличны ко всему и абсолютно ничего не делают? Но они, по твоим словам, имеют столь славную природу, что мудрый человек побуждается их совершенством поклоняться им. Может ли быть слава в той природе, которая только и делает, что созерцает свое собственное счастье, и ничего не делает, не делает и никогда не делала? Кроме того, какое благочестие причитается существу, от которого ты ничего не получаешь, или чем ты обязан тому, кто не дарит никаких благ?"

Когда Котта закончил опровержение Веллея, которым завершается первая книга, Бальбуса просят изложить мнение стоиков по вопросу о богах, на что он, слегка оправдываясь, соглашается. Первым аргументом в пользу их существования, после краткого упоминания о великолепии мира и распространенности доктрины, является "частое появление самих

богов". Во время войны с латинянами, - продолжает он, - когда А. Постумий, диктатор, напал на Октавия Мамилия, тускуланца, при Регилле, Кастора и Поллукса видели сражающимися в нашей армии на лошадях, и с тех пор тот же отпрыск Тындала дал знать о поражении Персея; ибо П. Ватиен, дед нынешнего юноши с таким именем, приехав ночью в Рим из своей Реаты, увидел двух юношей на белых конях, которые сообщили ему, что царь Персей в тот день был взят в плен. Эту весть он донес до сената, который немедленно бросил его в тюрьму за неосмотрительное высказывание по государственному делу; но когда она была подтверждена письмами от Павла, сенат вознаградил его землей и освобождением. Голоса фавнов часто слышали, а [pg 246] божества появлялись в таких видимых формах, что сомневающийся должен быть ожесточен в глупости или нечестии".

Далее Бальбус, доказывая существование богов на основании событий, происходящих по предзнаменованиям и покровительствам, переходит к тому, что более характерно для доктрины стоиков. Он замечает: "Клеанф, один из самых выдающихся философов этой секты, приписывает идею богов, заложенную в умах людей, четырем причинам: первая - это то, о чем я только что говорил, - предварительное знание будущих вещей: Вторая - великие преимущества, которыми мы пользуемся благодаря температуре воздуха, плодородию земли и изобилию различных благ: Третья - ужас, с которым на разум воздействуют громы, бури, снег, град, опустошения, мор, землетрясения, часто сопровождаемые жуткими звуками, ливнями камней и дождем, похожим на капли крови". Четвертая причина, - продолжает Бальбус, - и самая сильная, вытекает из регулярности движения и вращения небес, разнообразия, красоты и порядка солнца, луны и звезд; одного их вида достаточно, чтобы убедить нас, что они не являются следствием случайности; Как когда мы входим в дом, школу или суд и наблюдаем там точный порядок, дисциплину и метод, мы не можем предположить, что они так регулируются без причины, но должны заключить, что есть кто-то, кто командует, и кому платят послушание; так у нас есть гораздо больше оснований думать, что такие замечательные движения, революции и порядок этих многочисленных и великих тел, ни одна часть которых не нарушена огромной бесконечностью возраста, управляются каким-то разумным существом."

Этот аргумент очень хорошо изложен, но Бальбус в значительной степени ослабляет его действие, утверждая, что сам мир, или вселенная, (стоическое божество) и его наиболее выдающиеся части, солнце, луна и звезды, обладают разумом и мудростью. Это он основывает отчасти на метафизическом аргументе, а отчасти на регулярности, красоте и порядке их движений.

После различных других замечаний Бальбус переходит к теме сотворения мира и управления им по воле богов. Он справедливо замечает, что нет ничего более абсурдного, чем предположить, что мир, столь прекрасно украшенный, мог образоваться по воле случая или случайного стечения [атомов436](#). "Тот, кто считает это возможным, - говорит он, - может [pg 247] также поверить, что если большое количество из двадцати букв, состоящих из золота или любого другого металла, бросить на землю, то они упадут в таком порядке, чтобы составить "Анналы" Энноя. Сомневаюсь, что фортуна смогла бы составить из них хоть один стих". Он цитирует очень красивый отрывок из ныне утраченной работы Аристотеля, в котором этот философ приводит аргументы, которые можно вывести из провиденциального замысла, с большей основательностью и воображением, чем это обычно у него бывает. Затем Бальбус переходит к демонстрации признаков преднамеренного плана во Вселенной, начиная с астрономии. Рассказывая о созвездиях, он широко использует поэтическую версию Цицерона, написанную Аратусом, большую часть которой он, как предполагается, возможно, с небольшой вероятностью или скромностью автора, знает наизусть;

соответственно, нам предоставлено значительное количество этих стихов. Он также приводит многочисленные доказательства замысла и суверенной мудрости, рассматривая растения, наземных животных, рыб и строение человеческого тела - предмет, в котором Цицерон обнаруживает больше анатомических знаний, чем можно было ожидать. Бальбус также утверждает, что боги заботятся не только о человечестве в целом, но и об отдельных людях. "Частые появления богов, - замечает он, - свидетельствуют об их заботе о городах и конкретных людях. Это, действительно, видно и из предвидения событий, которое мы получаем либо во сне, либо наяву".

Цицерон заставляет Бальбуса в заключении своей речи выразить мало уверенности в собственных аргументах: "Это почти все, - говорит он, - что пришло мне в голову о природе богов и что я счел нужным изложить. А ты, Котта, если можно посоветовать, защищай то же самое. Помни, что в Риме ты занимаешь первое место - помни, что ты понтифик. Это пагубный и нечестивый обычай - всерьез или на первый взгляд - спорить против богов".

В третьей книге этого весьма примечательного произведения Цицерон выставляет Котту в качестве опровержения доктрин Бальбуса. "Но прежде чем я приступлю к делу, - говорит Котта, - я должен сказать несколько слов о себе; ибо на меня сильно влияет ваш авторитет и ваше увещевание в конце вашего рассуждения помнить, что я Котта и понтифекс; этим, я полагаю, вы намекнули, что я должен защищать религию и церемониал [pg 248] нии, которые мы получили от наших предков: Воистину, я всегда защищал и буду защищать их, и никакие доводы, ни ученые, ни неученые, никогда не отменят мнения, которое я впитал в себя относительно поклонения бессмертным богам. В вопросах религии я подчиняюсь правилам верховных жрецов Т. Корункания, П. Сципиона и П. Сцевола. Таковы, Бальбус, - продолжает он, - мои взгляды как жреца и Котты. Но ты должен привести меня к своему мнению силой своего разума; ибо философ должен доказать мне религию, которую он хотел бы, чтобы я принял, но я должен верить без доказательств в религию наших предков".

Понтифекс, исповедующий веру в существование богов только на основании авторитета своих предков, приступает к высмеиванию этого самого авторитета. Явления Кастора и Поллукса, а также другие, приведенные Бальбусом, он считает пустыми сказками. "Ты принимаешь их за сказочные истории?" - говорит Бальбус. "Разве храм, построенный Постумием в честь Кастора и Поллукса, не виден на Форуме? Разве не сохранилось постановление сената о Ватиене? Разве такие авторитеты не должны тебя волновать?" - "Ты возражаешь мне, - отвечает Котта, - рассказами; но я прошу у тебя доводов".

Здесь в оригинале следует пробел, в котором Котта, вероятно, изложил причины своего скептицизма, несмотря на акты сената и многочисленные публичные свидетельства о сверхъестественных фактах. "Вы верите, - продолжает Котта, - что Деции, посвящая себя смерти, умиротворяли богов. Как же велико было беззаконие богов, что их можно было умиротворить только ценой такой благородной крови! Что касается голоса фавнов, то я никогда его не слышал; если ты уверяешь меня, что слышал, я поверю тебе; хотя я совершенно не знаю, что такое фавн. Воистину, Бальбус, ты еще не доказал существование богов. Я верю в это, но не на основании аргументов стоиков. Клеанф, как ты сказал, приписывает представление людей о богах четырем причинам. Первая - это предвидение будущих событий; вторая - бури и другие потрясения природы; третья - полезность и изобилие вещей, которыми мы наслаждаемся; четвертая - неизменный порядок звезд и небес. На вопрос о предвидении я уже ответил. Что касается бурь в воздухе, на море и на земле, то я признаю, что многие люди пугаются их и воображают, что их авторами являются бессмертные боги. Но вопрос не в том, есть ли люди, которые верят в существование богов, а в том, есть ли боги или нет. Что же касается двух других причин Клеанфа, одна из которых

проистекает из изобилия, которым мы наслаждаемся, другая - из неизменного порядка времен года и небес, [pg 249] я расскажу о них, когда буду отвечать на твои рассуждения о провидении богов".

Тем временем Котта продолжает опровергать стоические представления о разуме и понимании, приписываемых солнцу, луне и звездам. Затем он переходит к оспариванию, а иногда и высмеиванию мнений, сложившихся о многочисленных языческих богах: трех Юпитерах, других божествах и сыновьях богов: "Вы называете Юпитера и Нептуна богами, - говорит он, - их брат Плутон - тоже; Харон и Цербер - тоже боги, но этого нельзя допустить. Плутон также не может быть отнесен к божествам; как же тогда его братья?". Далее Котта высмеивает стоиков за то, что они с упоением занимаются изложением басен и этимологией имен; после чего говорит: "Перейдем к двум другим частям нашего спора. Во-первых, существует ли Божественное Провидение, управляющее миром, и, наконец, относится ли это Провидение в особенности к человечеству? Ибо это оставшиеся положения вашего рассуждения".

В оригинале следует значительный перерыв, так что мы лишены всех аргументов Котты по поводу утверждения Бальбуса, что существует Божественное провидение, управляющее миром. В конце этой пропасти мы находим его цитирующим длинные отрывки из трагедий и доказывающим преимущества разума, исходя из того, что им плохо пользуются. Затем он приводит ряд примеров, взятых из истории и наблюдений, удачных пороков и разрушенных и погубленных добродетелей, чтобы опровергнуть доктрину особого провидения; утверждая, что как ни одна семья или государство не могут быть сформированы с каким-либо суждением или дисциплиной, если нет вознаграждения за хорошие поступки или наказания за плохие, так мы не можем верить, что Божественное провидение регулирует мир, когда нет различия между честными и злыми людьми.

"Вот, - заключает Котта, - суть того, что я хотел сказать о природе богов, но не для того, чтобы уничтожить их существование, а для того, чтобы показать, насколько это неясный вопрос и с какими трудностями сопряжено его объяснение". Бальбус, заметив, что Котта закончил свою речь, сказал: "Ты очень резко высказался против существования божественного провидения, учения, установленного стоиками с благочестием и мудростью; но, поскольку уже слишком поздно, я отложу свой ответ до другого дня". "Нет ничего, - ответил Котта, - чего бы я не желал больше, чем быть опровергнутым". Веллеус решил, что аргументы Котты самые верные, но аргументы Бальбуса показались мне более вероятными".

[pg 250]

Кажется вероятным, что эта профессия или предлог, что рассуждение осталось незаконченным, может быть (как и случайные извинения Котты) введена для сохранения [видимости](#)<sup>437</sup>. Очевидно, однако, что Цицерон намеревался добавить, по крайней мере, новые предисловия к двум последним книгам этого труда, вероятно, подозревая по ходу дела, что беседы слишком длинны, чтобы их можно было провести за один день, как они представляются сейчас. Во второй книге Бальбус говорит: "Velut a te ipso, hesterno die dictum [est](#)<sup>438</sup>". Фульвий Урсинус заметил, что это ошибка либо Цицерона, либо переписчика, поскольку беседа продолжается в течение одного дня. То, что это произошло не по вине переписчика и не по недосмотру Цицерона, а по замыслу изменить введения ко второй и третьей книгам, следует из отрывка в третьей книге, где Котта говорит Бальбусу: "Omniaque, quæ a te nudius tertius dicta [sunt](#)<sup>439</sup>". Крайне маловероятно, чтобы было два таких случая непредусмотрительности автора или небрежности переписчика.

Работа "О природе богов", хотя и является во многих отношениях ценнейшим произведением и убедительным доказательством обширной образованности ее автора, дает меланхоличное представление о состоянии его ума. Не умея переносить невзгоды, уязвленный бедствиями своей страны и смертью любимой дочери (несчастья, на которые он часто жалуется), Цицерон, похоже, стал скептиком и временами даже сомневался в существовании Провидения. Уорбертон, по-видимому, прав, полагая, что Цицерон был уже в преклонных годах, прежде чем всерьез принял скептические взгляды новой Академии. "Это следует, - говорит он после некоторых замечаний по этому поводу, - из одного места в его "Природе богов", где он говорит, что его поддержка новой Академии была внезапной и совершенно не [ожидаемой](#)<sup>440</sup>. Перемена, таким образом, произошла поздно и после [pg 251] гибели республики, когда Цицерон отошел от дел и имел досуг в свободное время для планирования и осуществления этого благородного начинания. Так что один ученый критик, похоже, ошибся, когда предположил, что выбор новой Академии был сделан в юности. "Эта секта, - говорит он, - лучше всего соответствовала обширному гению и честолюбивому духу молодого [Цицерона](#)<sup>441</sup>".

Однако, как полагает Уорбертон, Цицерон стал скептиком не из-за систематического плана объяснения своим соотечественникам философии греков, а отчасти из-за мрачных взглядов на природу и провидение. Трудно иначе объяснить то обстоятельство, что Котта, древний и почтенный консул, понтифик мировой метрополии, должен быть представлен как утверждающий, даже против эпикурейца, несуществование богов. Лорд Болингброк справедливо заметил, "что Котта спорит так горячо, и его аргументы простираются так далеко, что Талли заставляет своего собственного брата обвинить его прямо, а себя, как следствие, косвенно, в атеизме: "Studio contra Stoicos disserendi deos mihi videtur funditus tollere". Что же говорит Талли от своего имени? Он говорит своему брату, что Котта спорит таким образом скорее для того, чтобы опровергнуть стоиков, чем для того, чтобы уничтожить религию человечества: "Magis quam ut hominum deleat religionem". Но Квинт отвечает, то есть Туллий заставляет его ответить, что он не был пузырем хитрости, использованной для сохранения видимости отхода от общественных религиозных институтов. "Ne communi jure migrare [videatur](#)<sup>442</sup>." Котта, действительно, заходит так далеко в своих нападках на Провидение, что лорд Болингброк, который сам не является образцом ортодоксальности, встает на другую сторону вопроса против римского понтифика и отстаивает дело Провидения с неменьшим основанием и [красноречием](#)<sup>443</sup>.

В предыдущем анализе или сокращении работы о природе богов было отмечено, что в аргументации Котты имеются две пропасти. Оливет вступает в дискуссию по поводу последней, большей пропасти. "Я не могу, - говорит он, - видеть никакой справедливости в обвинении против первобытных христиан в том, что они вырвали этот отрывок из всех СМС. Как видно, из благочестивых побуждений они должны были вычеркнуть его больше, чем многие другие в той же книге, которые они, несомненно, рассматривали [pg 252] как не менее пагубные?" Оливет, кажется, склонен подозревать язычников; но, по моему мнению, расхождения в рассуждениях Котты, если они не случайны, следует отнести скорее на счет христианского, чем языческого рвения. Арнобий, правда, говоря об этом труде, говорит, что многие считали, что он должен был быть уничтожен римским сенатом, поскольку христианская вера могла быть одобрена им, а авторитет античности [подорван](#)<sup>444</sup>. Однако нет никаких доказательств того, что язычники пытались уничтожить или изуродовать его; мы видим, что сатира, направленная против языческих божеств, была сохранена, а в части произведения, которые, как мог предположить благочестивый ревнитель, в какой-то мере направлены против христианской, а также языческой веры, вмешались пропасти. В первой из них Понтифекс начинает и продолжает утверждать, что, несмотря на акты сената, храмы,

статуи и другие памятники чудесных обстоятельств, все эти чудеса были не более чем баснями, как бы торжественно они ни были засвидетельствованы и во что бы ни верили. Переписчик может опасаться, чтобы скептик не сделал вывод, аналогичный тому, который фактически был сделан английским переводчиком этой работы в следующем отрывке примечания: "Отсюда мы видим, как мало доверия следует уделять фактам, о которых говорят, что они происходят вне обычного хода природы. Эти чудеса хорошо засвидетельствованы: Они были записаны в летописях великого народа, в них верили многие ученые и другие проникательные люди, и народ принимал их как религиозные истины; но свидетельства древних записей, легкое верие некоторых ученых людей и беззаветная вера вульгарных людей никогда не смогут доказать, что это было, что невозможно по природе вещей когда-либо быть." В начале другой, более крупной пропасти, Котта приступал к аргументации против положения стоиков о существовании Божественного Провидения, управляющего миром. Между системой древних стоиков и христианской схемой Провидения существует значительная аналогия, как в теоретической доктрине, так и в практическом выводе о целесообразности радостного и безоговорочного подчинения цепи событий - стоическому предначертанию природы и более чистому учению о Боге. Поэтому христианскому рвению, а не языческому благоразумию, мы должны приписать те две пропасти, которые сейчас возникли в рассуждениях Котты.

В своих замечаниях по поводу этой работы, *De Naturâ Deorum*, я надеюсь, что не выдвинул против Цицерона ни одного необоснованного или [pg 253] недоброжелательного обвинения. Он был человеком, по крайней мере в своем веке и в своей стране, непревзойденных талантов и образованности, он был великим и, в целом, хорошим человеком, но его ум был чувствительным и слабым против несчастий. Бывают эпохи, и, возможно, в каждой эпохе есть памятники, когда мы готовы воскликнуть вместе с Брутом: "Что добродетель - пустое имя!" А сомнения и темнота такого ума, как у Цицерона, обогащенного всеми способностями гения и всеми сокровищами философии, служат новым доказательством необходимости появления того Божественного посланника, который тогда был накануне схождения на землю.

*De Divinatione*. - После того как мы подробно рассказали о диалоге "О природе богов", нет необходимости много говорить о работе *De Divinatione*. Этот трактат можно рассматривать в некоторой степени как дополнение к тому *De Naturâ Deorum*. Религия римлян состояла из двух различных отраслей - поклонения богам и наблюдения за знаками, посредством которых, как предполагалось, проявлялась их воля. Цицерон уже обсуждал вопросы, связанные с природой и поклонением богам, и трактат о гаданиях стал естественным продолжением этой [темы445](#). В своем труде на эту тему, почти свойственную римлянам, Цицерон рассказывает о беседе, состоявшейся в Тускулуме с его братом, в которой Квинт, основываясь на принципах стоиков, поддерживал достоверность гадания, а сам Цицерон оспаривал ее. Диалог состоит из двух книг, первая из которых включает в себя перечисление Квинтом различных видов или классов гаданий с указанием причин или предположений в их пользу. Вторая книга содержит опровержение Цицероном аргументов своего брата.

Квинт, прогуливаясь с братом по лицу в Тускулуме, начинает свои рассуждения с того, что прочел третью книгу, недавно написанную Цицероном, о природе богов, в которой Котта, похоже, отстаивал атеизм, но никак не мог опровергнуть Бальбуса. В то же время он замечает, что тема гаданий не была затронута в этих книгах, возможно, для того, чтобы ее можно было более подробно обсудить отдельно, и что он с удовольствием, если у его брата будет досуг и склонность, изложит свое собственное мнение по этому вопросу. Ответ Цицерона очень благороден: "Ego vero, inquam, Philosophiæ, Quinte, semper [pg 254] vascō.

Hoc autem tempore, quum sit nihil aliud quod libenter agere possim multo magis aveo audire de divinatione quid sentias."

Квинт, заметив, что гадания разного рода были распространены среди всех людей, замечает, а затем часто повторяет, что то, что мы не можем объяснить, как и почему происходят те или иные вещи, не является аргументом против различных способов гадания. Достаточно того, что мы знаем из опыта и истории, что они [происходят](#)<sup>446</sup>. Он утверждает, что Цицерон сам поддерживает доктрину гадания в поэме о своем консульстве, из которой он цитирует длинный отрывок, достаточный для того, чтобы утешить нас в связи с утратой этого произведения. Он утверждает, что, хотя события не всегда могут происходить так, как предсказано, из этого не следует, что гадание не является искусством, так же как и то, что медицина не является искусством, поскольку лечение не всегда может быть успешным. В этой книге мы имеем полный отчет о государственных ухищрениях, которые практиковало римское правительство, чтобы внушить народу те надежды и страхи, с помощью которых оно регулировало общественное мнение, и с этой точки зрения она справедливо названа главой в истории человека. Большое очарование первой книги, однако, заключается в количестве историй, приведенных Квинтом в доказательство истинности различных видов предзнаменований, снов, предвестий и гаданий. "Negemus omnia", говорит он, "comburamus annales". Он излагает различные обстоятельства, согласующиеся с его собственными знаниями и знаниями его брата, и, среди прочего, два замечательных сна, один из которых приснился Цицерону, а другой - ему самому. Он спрашивает, не является ли греческая история также басней: "Num etiam Græcorum historia mentita est?" и, короче говоря, занимает следующую высокую позицию: "Quid est, igitur, cur dubitandum sit, quin sint ea, quæ disputavi, verissima? Si ratio mecum facit, si eventa, si populi, si nationes, si Græci, si barbari, si majores etiam nostri, si summi philosophi, si poetæ, et sapientissimi viri qui res publicas constituerunt, qui urbes condiderunt; si denique hoc semper ita putatum est: an dum bestiæ loquantur, expectamus, hominum consentiente auctoritate, contenti non [sumus](#)<sup>447</sup>?"

Вторая книга этого труда начинается предисловием, в котором Цицерон перечисляет философские трактаты, написанные им в последнее время. Затем он рассказывает, что по окончании беседы с Квинтом, которая состоялась во время их прогулки по Лицею, они сели в библиотеке, и он начал отвечать на аргументы брата. Его начало необычайно красиво: "Atque ego; Accurate tu [pg 255] quidem, inquam, Quinte, et Stoice Stoicorum sententiam defendisti: quodque me maxime delectat, plurimis nostris exemplis usus es, et iis quidem claris et illustribus. Dicendum est mihi igitur ad ea, quæ sunt a te dicta, sed ita, nihil ut affirmem, quæram omnia, dubitans plerumque, et mihi ipse [diffidens](#)<sup>448</sup>". Нет необходимости приводить краткое изложение аргументов Цицерона против предзнаменований, покровительства, астрологии, жребия, снов и всех видов предзнаменований и прорицаний. Его рассуждения - шедевр аргументации, и если бы их в достаточной степени изучали в темные века Европы, они в значительной степени предотвратили бы или рассеяли суеверный мрак. Ничто не может быть прекраснее заключительной главы о вреде суеверий и попытках Цицерона искоренить их, не нанося ущерба религии. Вся нить его аргументированного красноречия также переплетается и укрепляется любопытными и интересными историями. В качестве примера приятной манеры, в которой они представлены, можно привести двадцать четвертую главу: "Vetus autem illud Catonis admodum scitum est, qui mirari se aiebat, quod non rideret haruspex, haruspicem quum vidisset. Quota enim quæque res evenit prædicta ab ipsis? Aut si evenit quippiam, quid afferri potest, cur non casu id evenerit? Rex Prusias, quum Annibali apud eum exsulanti depugnari placeret, negabat se audere, quod exta prohiberent. An tu, inquit, carunculæ vitulinæ mavis, quam imperatori veteri, credere? Quid? Ipse Cæsar, quum a summo haruspice moneretur, ne in Africam ante brumam transmitteret, nonne transmisit? Quod ni fecisset, uno in

loco omnes adversariorum copiæ convenissent. Quid ego haruspicum responsa commemorem, (possum equidem innumerabilia,) quæ aut nullos habuerunt exitus, aut contrarios? Hoc civili bello, Dii Immortales! Quam multa luserunt-quæ nobis in Græciam Româ responsa haruspicum missa sunt? Quæ dicta Pompeio? Etenim ille admodum extis et ostentis movebatur. Non lubet commemorare, nec vero necesse est, tibi præsertim, qui interfuisti. Vides tamen, omnia fere contra, ac dicta sunt, evenisse." Одна из главных прелестей всех философских работ Цицерона, и особенно этого трактата, заключается в анекдотах, которыми они изобилуют. Такая практика смешения историй, возможно, отчасти объясняется привычками Туллия как адвоката, а отчасти тем, что работы были написаны в "пожилом возрасте". Таким образом, его моральные выводы иногда кажутся уверенными, как физические эксперименты, благодаря поддержке, которую они получают от происшествий, подсказанных ему его богатым опытом; и в то же время, - [pg 256]

[pg 256]

"Его откровенный стиль, как чистый ручей, скользит,

И его яркая фантазия, на всем пути,

Как солнечный блеск на ней [играет449](#)".

В этом трактате, последнем из философских произведений Цицерона, рассматривается тема, которая занимала столь же важное место в метафизике и теологии древних, как свобода воли и необходимость в современных спекуляциях. Диалог De Fato происходит на вилле Цицерона, называемой ПUTEОЛАН или Академия, которая находилась на берегу Баии, между озером Аверн и гаванью ПUTEОЛЫ. Он стоял в изгибе залива, почти на самом берегу, чтобы наслаждаться бризом и рокотом моря. Дом был построен по плану Афинской академии, украшен портиком и рощей для проведения философских [конференций450](#), а также галереей, которая окружала квадратный двор в центре. "Двенадцать или тринадцать арок ПUTEОЛАНСКОЙ виллы, - говорит мистер Келсолл, - все еще видны на стороне, примыкающей к винограднику, и, перемежаясь с деревьями, очень живописны с моря. Эти руины находятся примерно в одной миле от ПОЦЦУОЛО и всегда назывались Академией Цицерона". Плиний очень иносказательно описывает это место: "Ab Averno lacu Puteolos tendentibus imposita littori". Классический путешественник не забудет, что вилла ПUTEОЛАНОВ - место действия некоторых философских работ оратора. Я тщетно искал минеральный источник, о котором упоминает Лавр Туллий в известных хвалебных стихах, сохраненных Плинием; он был разрушен конвульсиями, которые пережил весь этот район в XVI веке и которые так поэтично описаны в гекзаметрах Грея". После смерти Цицерона виллу приобрел Антистий Вет, который отремонтировал и улучшил ее. Впоследствии ею владел император Адриан, который, умирая [здесь451](#), выдохнул знаменитое обращение к своей мимолетной, трепещущей душе о ее скором отбытии в те холодные и бледные края, которые, должно быть, составляли в его воображении такой мрачный контраст с сияющим солнцем и оживленным берегом, который он покинул с такой неохотой.

Диалог происходит между Цицероном и Гирцием, в один из многочисленных случаев, когда они встречались, чтобы посоветоваться о положении государственных дел. Гирций был автором [pg 257] комментариев к гражданским войнам и погиб через несколько месяцев после этого, в битве при Модене, в момент победы. Чудесные события, произошедшие недавно, и несчастная судьба многих величайших и могущественнейших римлян, естественно, послужили поводом для разговора о судьбе. Мы не располагаем ни началом, ни

завершением диалога, но некоторые критики предполагают, что первоначально он состоял из двух книг и что фрагмент, которым мы располагаем в настоящее время, был частью второй книги - мнение, которое кажется обоснованным отрывком в семнадцатой главе второй книги, где цитируется первый разговор. Другие, однако, относят эти слова к отдельной и предыдущей работе о судьбе. Сохранившаяся часть диалога содержит опровержение доктрины стоика Хрисиппа о фатальности. "Место, - говорит Юстас, - тема, говорящие, которым обоим суждено погибнуть в столь короткий срок, во время поединка, который они предвидели и тщетно пытались предотвратить, - вот обстоятельства, которые придают особый интерес этому диалогу и увеличивают наше сожаление о том, что он не дошел до нас в менее изуродованном [виде452](#)".

Теперь я перечислил то, что можно строго считать философскими и теологическими трудами Цицерона. Некоторые из преимуществ, которые можно извлечь из этих произведений, уже были отмечены в ходе нашего исследования. Но при рассмотрении всего этого очевидно, что главная польза от них - это удовлетворительное доказательство того, что они дают нам мало оснований сожалеть об утрате трудов Зенона, Клеанфа, Хрисиппа и других греческих философов. Внутренняя ценность этих работ Цицерона заключается главным образом в том, что можно назвать их римской частью - в анекдотах о выдающихся римлянах, обычаях и мнениях этого суверенного народа.

Теперь мы переходим к нравоучительным сочинениям Цицерона, среди которых наиболее важным является труд *De Officiis*. Древние римляне имели лишь несовершенное представление о моральных обязательствах; их добродетели были скорее суровыми, чем приятными, а их пылкий исключительный патриотизм ограничивал широкие притязания филантропии, с одной стороны, и домашних обязанностей - с другой. Панэтий, греческий философ, живший в Риме во времена Сципиона, написал книгу под названием "Περὶ Καθηκόντων". Он разделил свой предмет в соответствии с тремя соображениями, которые, по его мнению, должны действовать при определении наших решений относительно выполнения моральных обязанностей; 1. Является ли сам поступок добродетельным или постыдным; 2. Способствует ли он [pg 258] пользе и наслаждению жизнью; 3. Какой выбор следует сделать, когда кажущаяся польза вступает в противоречие с добродетелью. Цицерон придерживался почти такой же схемы. В первой книге он рассматривает то, что добродетельно само по себе, и показывает, каким образом наши обязанности основаны на морали и добродетели - на правильном восприятии истины, справедливости, стойкости и благопристойности; эти четыре качества называются составными частями добродетели и источниками, из которых черпаются все наши обязанности. Во второй книге автор подробно останавливается на тех обязанностях, которые касаются пользы, улучшения жизни и средств, используемых для достижения богатства и власти. В этом разделе работы речь идет главным образом о политическом продвижении и о таких почетных средствах завоевания популярности, как щедрость, вежливость и красноречие. Таким образом, Цицерон, по всей вероятности, внимательно следил за действиями Панэтия. Гарве в своей комментарии к этой [работе453](#) отмечает, что, когда он переходит к более тонким и философским частям своего предмета, становится ясно, что Цицерон переводит с греческого, и что он не всегда находил слова на своем языке, чтобы выразить более тонкие различия греческих школ. Труд Панэтия, однако, остался несовершенным, и в нем не рассматривалась третья часть предмета - выбор и различие, которые следует делать, когда возникает противоречие или несоответствие между добродетелью и пользой. Соответственно, в этом вопросе Цицерон был предоставлен самому себе. Разумеется, обсуждение касается только второстепенных обязанностей, поскольку истинная и несомненная *honestum* никогда не может быть поставлена в конкуренцию с частной выгодой или нарушена ради нее. Что же касается второстепенных

обязанностей, то великая максима заключается в том, что не следует считать полезным или выгодным ничего, кроме того, что строго добродетельно, и что, в сущности, не должно быть разделения принципов добродетели и пользы. Однако Цицерон вступает в дискуссию и предлагает несколько правил, которые позволят нам сформировать справедливую оценку того и другого в сомнительных случаях, когда кажущаяся полезность вступает в конкуренцию с добродетелью. Соответственно, он предлагает и решает множество вопросов в казуистике, чтобы определить, в каких ситуациях можно стремиться к личной выгоде, а в каких - к чести. Примеры он берет из римской истории, в частности, рассматривает случай с Регулом, когда он обязался дать клятву, и совет, который он дал римскому сенату. Автор не признает себя обязанным каким-либо предшествующим авторам по этому вопросу; но, судя по его последующим словам, шестая книга сочинения Гекатона, ученого Панэтия, была полна вопросами [pg 259] такого рода: Как, например, если что-то нужно бросить в море, чтобы облегчить судно во время шторма, следует ли пожертвовать ценным конем или бесполезным рабом? Если во время кораблекрушения глупец ухватится за доску, должен ли мудрый человек, если сможет, отнять ее у него? Если человек, сам того не подозревая, получает за свой товар плохие деньги, может ли он отдать их в третьи руки, после того как узнает, что они плохие? Диоген, кажется, один из трех философских послов, прибывших в Рим из Афин в конце VI века, утвердительно высказался по поводу этого последнего предложения.

Поскольку тема была слишком обширной для диалога (форма других философских трактатов), автор адресовал работу De Officiis своему сыну и представил ее как написанную для его наставления. "Это, - говорит Келсолл, - самый благородный подарок, когда-либо сделанный родителем ребенку". Цицерон утверждает, что намеревался рассказать в ней обо всех [обязанностях](#)<sup>454</sup>; но принято считать, что она была составлена главным образом как руководство по политической морали и как инструкция для молодых римлян возраста и знатности его сына, которая могла бы позволить им достичь политического превосходства и невинно и безопасно ступить "по скользким кручам власти".

De Senectute...

"О ты, красноречивый, чей могучий ум

Струится из глубины веков на человечество,

Потоки, как день, - кто, подобно ангелу, пролил

Твое полное сиянье на хриплую голову;

Говоря почтенным голосом Катона.

"Смотри вверх и не падай в обморок - не падай в обморок, но радуйся".

Из Элизиума твоего нас [веди](#)<sup>455</sup>".

Трактат De Senectute - это не диалог, а продолжительная беседа, которую Катон Цензор произнес по просьбе Сципиона и Лелия. Однако это одно из самых интересных произведений подобного рода, дошедших до нас из античности; и никто не может удивляться, что Цицерон испытывал такое удовольствие от его сочинения, что это восхитительное занятие не только, как он говорит, заставило его забыть о недугах старости, но и сделало эту часть существования приятной. Вследствие периода жизни, которого Цицерон достиг к моменту ее написания, и обстоятельств, в которых он тогда находился, она,

должно быть, была написана с особым интересом и чувством. Она была написана им на 63-м году жизни и адресована его другу Аттику (достигшему того же срока) с целью сделать для обоих накапливающееся бремя возраста как можно [pg 260] легче. Чтобы придать своим наставлениям большую силу, он представляет их как произнесенные старшим Катонем (на восемьдесят четвертом году бодрой и полезной старости) по случаю того, как молодые Сципион и Лелий выразили свое восхищение удивительной легкостью, с которой он все еще нес бремя жизни. Это дает автору возможность полностью изложить свои мысли по данному вопросу. Его главная цель - показать, что завершающий период жизни можно сделать не только терпимым, но и комфортным благодаря внутренним ресурсам счастья. Он сводит те причины, которые, как принято считать, составляют ущербность преклонного возраста, к четырем общим: что он лишает возможности участвовать в делах мира, что он порождает немощи тела, что он лишает возможности наслаждаться чувственными удовольствиями и что он подводит нас к порогу смерти. Некоторые из этих предполагаемых недостатков, по его мнению, являются мнимыми, и на место реальных удовольствий, которых лишены старики, можно поставить другие, более изысканные и высокие. Вся работа приятно разнообразна и проиллюстрирована примерами выдающихся римских граждан, которые провели уважаемый и приятный вечер жизни. В самом деле, так много говорится о тех людях, которые достигли счастливой старости, что это произведение скорее можно назвать "Трактатом о стариках", чем "Трактатом о старости". Что касается последнего пункта, близкого приближения смерти, то в соответствии с первой книгой "Тускуланских вопросов" утверждается, что если смерть уничтожает существование души, то ею следует пренебречь, но очень хотелось бы, чтобы она перенесла ее в более счастливую область. Предчувствие будущего наказания, как в "Тускуланских диспутах", полностью отброшено, и в качестве принципа предполагается, что после смерти мы либо не будем несчастны, либо будем сверхсчастливы. В других отношениях трактат De Senectute кажется почти опровержением первой книги "Тускуланских вопросов", которая главным образом занята тем, чтобы показать убогость долгого затянувшегося существования. Чувства, вложенные в уста Катона, Цицерон признает своими собственными; но, несмотря на это, а также на более элегантный и отточенный стиль сочинения, чем можно было ожидать от цензора, перед нами предстают многие особенности его жизни, разговора и манер - его речь немного хвастлива, а его суровость, хотя и смягченная старостью в приятную сплетническую болтливость, все еще заметна; И в целом, беседа его так ведется, что, читая ее, мы испытываем нечто вроде того благосклонного уважения, которое испытываем при общении с почтенным старцем, имеющим вокруг себя столько жизни, к [pg 261] которой он пришел, чтобы, по крайней мере, очиститься от грубых желаний этого низшего мира.

Было отмечено как необычное, что, среди беспокойного перечисления возрастных удобств, Цицерон не упоминает о тех, которые возникают в домашнем обществе; но его любимой дочери Туллии уже не было, и муж Теренции, отец Марка Цицерона и тесть Долабеллы, возможно, чувствовал что-то по этому поводу, о чем он хотел избавить себя от воспоминаний. Но хотя он и упустил то, что мы причисляем к главным утешениям, все же он представляет преклонный возраст в слишком благоприятном свете. Он отрицает, например, что память от этого ухудшается, утверждая, что все, что нам интересно, мы помним, ведь ни один старик никогда не забывал, где спрятал свое сокровище. Кроме того, он говорил только о старости, отличающейся подвигами или ученостью, завершающей жизнь, великую и славную в глазах людей. За столом старика, которого он описывает, веселятся многочисленные друзья, а его присутствие, где бы он ни появился, приветствуют клиенты и иждивенцы. Все его примеры взяты из высших и лучших слоев общества. В почтенном изображении Цензора нет ни следов второго детства, ни засаленных панталон, ни того меланхолического и почти страшного образа, который представлен в десятой сатире Ювенала.

Но даже люди такого положения, достоинства и талантов, как Катон, в старости подвержены слабостям и несчастьям, которые ничуть не обезображивают приятный портрет, нарисованный Туллеем: - "В последней сцене жизни...

"На последней сцене жизни, какие чудеса удивляют,

Страхи храбрых и глупости мудрых!

Из глаз Мальборо текут слезы старости,

А у Свифта истекает срок годности, и он превращается в балаганщика и балаганщицу".

Трактат De Senectute был переложен Денхемом под названием Cato Major. Тема пороков старости разделена, как и у Цицерона, на четыре части. "Я не могу назвать это произведение ни произведением Талли, ни своим собственным, поскольку оно сильно отличается от оригинала не только изменением стиля, но и добавлениями и вычитаниями", - говорит он в своем предисловии. На самом деле, прекрасные чувства принадлежат Цицерону, а доггерный английский стих, в который он превратил классическую прозу Цицерона, - его собственный. Четвертая часть, посвященная приближению смерти, лучше всего написана в стихах.

Этот трактат также послужил образцом для диалога "Спуринна, или Утехи старости" сэра Томаса Бернарда. Катон в диалоге выступает Хаф, епископ Вустерский, которому на момент [pg 262] конференции, предположительно состоявшейся в 1739 году, шел девяностый год. Другие собеседники - Гибсон, епископ Лондонский, и мистер Литтлтон, впоследствии лорд Литтлтон. Рассмотрев, как и Цицерон, недостатки старости, английский автор переходит к рассмотрению ее преимуществ и наилучших способов повышения ее комфортности. Многие идеи и аргументы заимствованы у Цицерона; но среди утешений преклонного возраста выделяются обещания откровения о будущем состоянии счастья, к которому римлянин был чужд, а иллюстрации взяты главным образом из британской, а не греческой или римской истории.

De Amicitia. - В этом, как и во всех других своих диалогах, Цицерон наиболее разумно подошел к выбору лиц, которых он представляет в качестве ораторов. Это были люди, занимавшие видное положение в государстве; и хотя они умерли, римляне питали такое справедливое почтение к своим предкам, что с величайшим интересом слушали даже предполагаемые разговоры древних героев или мудрецов своей страны. Такие прославленные имена придавали дополнительное достоинство произносимым речам и даже сейчас вызывают у нас чувства почитания, намного превосходящие те, что мы испытываем к странствующим софистам, которые, за исключением Сократа, являются главными ораторами в диалогах Платона.

Памятная и наследственная дружба, существовавшая между Лелием и младшим Сципионом Африканским, делала их наиболее подходящими персонажами, от которых, как можно предположить, исходили чувства, выраженные в этой восхитительной теме. Их взаимная и непоколебимая привязанность придавала дополнительный блеск военной славе одного и созерцательной мудрости другого. "Таков, - пишет Цицерон во введении к трактату "О республике", - был общий закон дружбы между ними, что Лелий обожал Африкана, как бога, из-за его величайшей военной славы; и что Сципион, когда они были дома, почитал своего друга, который был старше его самого, как [отца456](#)." Родственная душа Цицерона, по-видимому, была глубоко поражена этим восхитительным собранием всех самых благородных и прекрасных качеств нашей природы. Дружба, существовавшая между ним и Аттиком, была

еще одним прекрасным примером подобного рода: И диалог *De Amicitia*, соответственно, с особой уместностью адресован Аттику, который, как говорит ему Цицерон в посвящении, не мог не обнаружить свой собственный портрет в изображении [pg 263] идеального друга. Этот трактат ближе к диалогу, чем "*De Senectute*", потому что в нем есть история, с обстоятельствами времени и места. Фанний, историк, и Муций Сцевола, авгур, оба зятя Лелия, нанесли ему визит сразу после внезапной и подозрительной смерти Сципиона Африканского. Недавняя потеря, которую понес Лелий, приводит к восхвалению неповторимых достоинств ушедшего героя и к обсуждению истинной природы тех уз, которыми они были так долго связаны. В ранней юности отец познакомил Цицерона с Муцием Сцеволой, и поэтому, среди прочих интересных вопросов, которые ему довелось услышать, он однажды присутствовал при том, как Сцевола излагал суть конференции о дружбе, которую он и Фанний провели с Лелием через несколько дней после смерти Сципиона. Многие из идей и чувств, которые тогда высказывал мягкий Лелий, Сцевола объявил, что изначально они исходили от Сципиона, с которым природа и законы дружбы были излюбленной темой для разговоров. Возможно, это не совсем выдумка или просто рассказано, чтобы придать диалогу печать подлинности. Вероятно, какой-то подобный разговор состоялся и был рассказан; и я не сомневаюсь, что некоторые фрагменты этого знаменитого диалога отражают настроения Лелия или даже самого Африкана.

Философские труды Цицерона, которые были перечислены до этого, являются полными или почти полными. Но хорошо известно, что он был автором многих других произведений, которые сейчас полностью утрачены или от которых остались лишь фрагменты.

Самым важным из них был "Трактат о республике", который при всеобщем крушении образования разделил судьбу тех институтов, которые он должен был прославить. Большая часть этого диалога исчезла вместе с "Истоками" Катона, работами Варро и "Историей" Саллюста, и мы лишились всех трудов, которые могли бы пролить свет на римские институты, нравы и правительство, - всего, что философски прослеживало прогресс Рима от его первоначального варварства до совершенства, которого он достиг в эпоху второго Сципиона Африканского.

Мало найдется памятников античной литературы, исчезновение которых вызывало бы большее сожаление, чем труд *De Republica*, который, как долгое время считалось, был великим хранилищем всей политической мудрости древних. Огромная важность предмета, рассматриваемого писателем, одновременно отличавшимся гением и прежним [pg 264] официальным достоинством; гордость и пристрастие, с которым сам автор говорит о нем, а также возвышенность и красота фрагмента под названием *Somnium Scipionis*, сохраненного из него Макробием, - все это возвышало трактат в воображении ученых и усугубляло их досаду по поводу его утраты. Отцы церкви, особенно Лактанций, дали некоторое представление об аргументах, использованных в нем по различным вопросам; несколько фрагментов существовали в трудах грамматиков, а полная копия сохранилась до XI века. С тех пор литературный мир в разные периоды тешил себя надеждами на его открытие; но только за последние несколько лет была найдена такая его часть, которой в значительной степени достаточно, чтобы удовлетворить любопытство, хотя, возможно, и не оправдать ожиданий.

Многим хорошо известно, и об этом будет подробнее сказано в [Приложении](#), что из-за нехватки папируса и пергамента в разные времена было принято стирать старые письма, чтобы допустить новые. Такому MS было дано название "палимпсест" - термин, использованный самим Цицероном. В письме к юристу Требатию, который написал ему на таком листе, Цицерон говорит, что, хотя он должен похвалить его за экономность в

использовании палимпсеста, он не может не задаться вопросом, что он стер, чтобы нацарапать такое письмо, если только это не были его юридические заметки: "Ибо я не могу думать, - добавляет он, - что вы вычеркнули мое письмо, чтобы заменить его своим [собственным](#)<sup>457</sup>". Эта практика стала очень распространенной в средние века, когда папирус и пергамент были в дефиците, а классика, за редким исключением, перестала быть предметом интереса. Монфокон заметил, что эти стертые MSS. были, возможно, более многочисленны, чем те, на которых впервые была сделана [надпись](#)<sup>458</sup>. Но хотя в некоторых случаях оригинальная надпись все еще была видна при внимательном рассмотрении, практического применения такая проверка не имела, пока Анджело Май не опубликовал несколько фрагментов, извлеченных из палимпсеста в Амброзианской библиотеке, хранителем которой он являлся. Воодушевленный успехом, он упорно продолжал заниматься этим новым делом и через определенные промежутки времени публиковал фрагменты, представляющие значительную ценность. В конце концов, будучи призван в Рим в качестве вознаграждения за свои ученые труды, Май продолжил в Ватикане те благородные исследования, которые он начал в Милане; именно ему мы теперь обязаны открытием и публикацией значительной части Цицероновой "Республики", которая была удалена (как предполагается, в [pg 265] VI веке) и заменена новой записью, содержащей комментарий святого Августина на [Псалмы](#)<sup>459</sup>.

Работа "О республике" была начата Цицероном в мае месяце 699 года, когда автору шел пятьдесят второй год, так что из всех его философских сочинений это было, по крайней мере, самое раннее, начатое. В письме к своему брату Квинту он сообщает, что в своих куманских и помпейских виллах занимался написанием большого и трудоемкого политического труда; если он увенчается успехом, то все будет хорошо, но если нет, то он бросит его в то море, которое было на виду, когда он его писал, и, поскольку он не может быть праздным, приступит к какому-нибудь другому [делу](#)<sup>460</sup>. Однако он прошел еще немного пути, когда неоднократно менял весь план работы; любопытно заметить, что автор столь совершенного гения, как Цицерон, имел подобные советы друзей, и те же уныние, и сомнения, и нерешительность, которые мучают низших писателей.

Когда он закончил первую и вторую книги, они были прочитаны некоторым из его друзей на его тускуланской вилле. Саллюст, который был одним из присутствующих, посоветовал ему изменить свой план и изложить тему от своего лица, утверждая, что введение тех древних философов и государственных деятелей, которым Цицерон отвел роли в диалоге, вместо того, чтобы добавить серьезности, придает аргументам надуманный вид, который имел бы больший вес, если бы был произнесен самим Цицероном, как работа не софиста или созерцательного теоретика, а консульского сенатора и государственного деятеля, сведущего в величайших делах и пишущего только то, что его собственный опыт научил его быть истинным. Эти доводы показались Цицерону весьма правдоподобными и на некоторое время заставили его задуматься об изменении своего плана, тем более что, поместив место действия диалога так далеко назад, он лишил себя возможности затронуть те важные революции в Республике, которые произошли позже того периода, к которому он себя приурочил. Но после некоторого раздумья, не желая выбрасывать [pg 266] две книги, которые уже были закончены и которыми он был очень доволен, он решил придерживаться своего первоначального [плана](#)<sup>461</sup>. И как он предпочел его с самого начала, чтобы избежать обид, так он и продолжал его без каких-либо изменений, кроме того, что теперь он ограничил шестью книгами то, что раньше предлагал расширить до девяти. Эти шесть были обнародованы до его отъезда в Киликию. Находясь там, он получил эпистолярные поздравления друзей с [успехом](#)<sup>462</sup>, и в своих ответах он проявляет весь восторг довольного и успешного [автора](#)<sup>463</sup>.

Май подробно обсуждает вопрос, кому был посвящен трактат De Republicâ. Начало проэмия к первой книге, которое могло бы определить этот вопрос, утеряно; но автор говорит: "Disputatio repetenda memoriâ est, quæ mihi, tibi quondam adolescentulo, est a P. Rutilio Rufo, Zmyrnæ cûm simul essemus, complures dies exposita." Цицерон находился в Смирне на двадцать девятом году жизни, и очевидно, что его спутник, которому посвящен этот трактат, был моложе его самого, поскольку он говорит: "Mihi, tibi quondam adolescentulo". Атик был на два года старше Цицерона и, следовательно, не мог быть его собеседником. На самом деле есть все основания предполагать, что трактат "О республике" был посвящен младшему брату автора Квинту, который, как мы знаем из проэмия последней книги "О финансах", был с Цицероном в Афинах во время путешествия, в ходе которого он заехал в Смирну - и, вероятно, сопровождал его в Азию, - и чей возраст подходит под выражение "mihi, tibi quondam adolescentulo". К этому следует добавить, что Цицерон, когда он сообщает брату (в упомянутом выше отрывке письма), что намерен изменить план своего труда, говорит: "Nunc loquar ipse tecum, et tamen illa quæ institueram ad te, si Romam venero, mittam<sup>464</sup>". Таким образом, сочинение в его первом варианте было адресовано Квинту, и, поскольку автор после некоторых колебаний опубликовал его почти в первоначальном виде, вряд ли можно сомневаться, что оно по-прежнему было посвящено его брату.

Первая книга "О республике", которую Цицерон читал Саллюстию и некоторым другим друзьям на своей тускуланской вилле, как уже говорилось, несовершенна в самом начале. Однако не так уж много в нем недостает, и сохранился пролог значительной длины, в котором автор [pg 267] (возможно, в защиту собственных интересов) борется с мнениями философов, которые, предпочитая созерцательную жизнь активной, порицают тех, кто занимается государственными делами. Первым он противопоставляет пример многих мудрых и великих людей и отвечает на те возражения против активной политической жизни, которые неоднократно выдвигались против нее. Этот пролог содержит несколько хороших рассуждений и, как и все труды его прославленного автора, демонстрирует благородное патриотическое чувство. Он отмечает, что вступил в эту дискуссию в качестве вступления к книге о республике, так как казалось уместным, как предисловие к такому произведению, бороться с настроениями тех, кто отрицает, что философ должен быть государственным деятелем. "Что касается самой работы, - говорит он, обращаясь (как я предполагал) к своему брату, - то я не изложу ничего нового или особенного для себя, но повторю дискуссию, которая однажды состоялась среди самых выдающихся людей своего века и мудрейших нашего государства, как она была рассказана мне и тебе в юности П. Рутилием Руфом, когда мы были с ним несколько дней в Смирне, и в этой дискуссии не было упущено ничего важного для правильной конституции содружества".

Далее автор упоминает, что во время консульства Тудитана и Аквилы (как он слышал от Руфа) младший Сципион Африканский решил проводить латинские праздники (Latinæ Feriæ) в своих садах, где некоторые из его самых близких друзей обещали навестить его. Первым из них появляется его племянник Квинт Туберо, человек, приверженный стоической философии и отличающийся строгостью нравов. Замечание, которое Туберо делает о двух солнцах, вундеркинде, который, кажется, недавно появился на небе, заставляет Сципиона похвалить Сократа за то, что он отказался от физических занятий, как не очень полезных для человека и не способных быть тщательно исследованными - чувство (кстати), которое, при всем уважении к греческому философу, делает мало чести его проницательности, поскольку физические исследования были не только очень полезны для человечества, но и являются почти единственными предметами, в которых была достигнута точная наука. Входят Фурий, Фил и Рутилий, который, как утверждается, пересказал разговор Цицерону, и, наконец, появляется Лелий в сопровождении своего друга Спурия Муммия (брата известного знатока

изящных искусств, взявшего Коринф) и двух его зятьев, К. Фанния и К. Сцеволы. Поприветствовав их, Сципион, поскольку на дворе была зима, проводит их на солнечное место, на луг, и, направляясь туда, к ним присоединяется М. Манилий.

"В выборе главных ораторов Цицерон, - как уже было отмечено, - был чрезвычайно благоразумен и счастлив. Было [pg 268] необходимо, чтобы выбранные лица были известны и как государственные деятели, и как ученые, чтобы философская дискуссия соответствовала их известным характерам, а высокая политическая репутация придавала авторитет их замечаниям о правительстве. Сципион и Лелий сочетают в себе оба эти качества в замечательной степени. Они были одними из первых римлян, которые добавили греческий вкус и образованность к мужественным добродетелям своей более грубой страны. Эти достижения утончили и отполировали их характеры, нисколько не умалив их силы и чистоты. Само имя Сципионов, *duo fulmina belli*, было символом военного таланта, патриотизма и великодушия: Лелий был несколько менее выдающимся в активной жизни, но, с другой стороны, пользовался еще более высокой репутацией за созерцательную [мудрость465](#) ."

После того как все расселись, разговор о двух солнцах возобновился, и Лелий, заметив, что у них достаточно дел, чтобы занять внимание более важными вопросами, добавил, что поскольку они сейчас бездельничают, он, со своей стороны, не возражает против того, чтобы выслушать Фила, который увлекался астрономией, по этому вопросу. Филус, воодушевленный таким образом, приступает к рассказу о некоем оррере, созданном Архимедом и привезенном в Рим Марцеллом; его устройство, как и применение, однажды, когда Филус присутствовал, было объяснено К. Сульпицием Галлом. Применение этого объяснения к феномену двух солнц утеряно, поскольку в палимпсесте имеется перерыв в восемь страниц. Вероятно, решение проблемы, если бы оно сохранилось, не стало бы большой фигурой в "Философских операциях". Но нельзя не восхищаться дискурсивным и деятельным гением Цицерона, который рассматривал все знания как объект, заслуживающий горячего [стремления466](#).

[pg 269].

В конце хиатуса Сципион, ссылаясь на астрономические познания Галла, прославленные Филом, рассказывает, что когда его отец, Паулус Эмилий, командовал в Македонии, войско было напугано затмением, Галл успокоил их страхи, объяснив феномен - анекдот, который вместе с другим, подобным ему, рассказанным о Перикле, доказывает ценность физических занятий и их тесную связь с жизненными делами. Этот вывод, по-видимому, был сделан в отрывке, который утрачен; за ним следует несколько прекрасных сентенций, сходных с некоторыми из тех, что содержатся в *Somnium Scipionis*, о спокойном изысканном наслаждении медитацией и наукой и о ничтожности всего земного по сравнению с бессмертием или вселенной. "Quid porro, - говорит Сципион в самом возвышенном тоне нравственного и интеллектуального величия, - quid porro aut praeclarum putet in rebus humanis, qui hæc deorum regna perspexerit? aut diuturnum, qui cognoverit quid sit æternum? aut gloriosum, qui viderit quàm parva sit terra, primum universa, deinde ea pars ejus quam homines incolant, quamque nos in exiguâ ejus parte adfixi, plurimis ignotissimi gentibus, speremus tamen nostrum nomen volitare et vagari latissime? Agros, vero, et ædificia, et pecudes, et immensum argenti pondus atque auri, qui bona nec putare nec appellare soleat, quod earum rerum videatur ei, levis fructus, exiguus usus, incertus dominatus, sæpe etiam teterrimorum hominum immensa possessio. Quàm est hic fortunatus putandus, cui soli vere liceat omnia non Quiritium sed sapientium jure pro suis vindicare! nec civili nexo, sed communi lege naturæ, quæ vetat ullam rem esse cujusquam nisi ejus qui tractare et uti sciat: qui imperia consulatusque [pg 270] nostros in necessariis non in expetendis rebus muneris fungendi gratiâ subeundos, non præmiorum aut

gloriæ causâ adpetendos putet: qui denique ut Africanum avum meum scribit Cato solitum esse dicere, possit idem de se prædicare, nunquam se plus agere, quàm nihil cùm ageret; nunquam minus solum esse, quàm cùm solus esset.

"Quis enim putare vere potest plus egisse Dionysium tum cùm omnia moliendo eripuerit civibus suis libertatem, quàm ejus civem Archimедem, cùm istam ipsam Sphæram, nihil cùm agere videretur, effecerit? Quis autem non magis solos esse qui in foro turbâque quicum conloqui libeat non habeant, quam qui nullo arbitro vel secum ipsi loquantur, vel quasi doctissimorum hominum in concilio adsint cùm eorum inventis scriptisque se oblectent? Quis vero divitiorem quemquam putet, quàm eum cui nihil desit, quod quidem natura desideret? aut potentiorем quàm illum, qui omnia quæ expetat, consequatur? aut beatiorem quàm qui sit omni perturbatione animi liberatus?"

Лелий, однако, ничуть не тронут этими звучными аргументами; он по-прежнему упорно утверждает, что самые важные из всех исследований - те, которые касаются Республики, и что их дело - выяснить, не почему на небе появилось два солнца, а почему в нынешних обстоятельствах (имеется в виду проект Гракхов) существует два сената и почти два народа. Поэтому при таком положении вещей, когда у них появился досуг, им следовало бы узнать у Сципиона, что он считает лучшим состоянием государства. Сципион выполняет эту просьбу и начинает с определения республики: "Est igitur respublica res populi-populus autem non omnis hominum cœtus quoquo modo congregatus, sed cœtus multitudinis juris consensu." Переходя к природе того, что он таким образом определил, он возвращается к происхождению общества, которое он полностью относит к тому социальному духу, который является одним из принципов нашей природы, а не к враждебности, или страху, или компактности. Народ, объединившись, может управляться одним, несколькими или множеством, любая из этих простых форм может быть терпимой, если хорошо управляется, но они подвержены разращению, свойственному им самим. Из этих трех простых форм Сципион предпочитает монархическую, и для этого выбора он приводит свои причины, которые носят несколько метафизический и аналоговый характер. Но хотя он больше одобряет чисто царское правление, чем две другие простые формы, он считает, что ни одна из них не хороша, и что совершенная конституция должна быть составлена из трех. "Quod cùm ita sit, tribus primis generibus longe præstat, meâ sententiâ, regium; regio autem ipsi præstabit id quod erit æquatum et tempera [pg 271] tum ex tribus optimis rerum publicarum modis. Placet enim esse quiddam in re publicâ præstans et regale; esse aliud auctoritate principum partum ac tributum; esse quasdam res servatas judicio voluntatique multitudinis. Hæc constitutio primum habet æqualitatem quamdam magnam, quâ carere diutius vix possunt liberi; deinde firmitudinem."

В этом панегирике на смешанную конституцию Цицерон взял свое представление о совершенном государстве из римского содружества - из его консулов, сената и народных собраний. Сципион утверждает, что из всех когда-либо существовавших конституций ни одна, ни по распределению частей, ни по дисциплине, не была столь совершенной, как та, что была установлена их предками, и что поэтому он будет постоянно ориентироваться на нее как на образец во всем, что он хочет сказать о наилучшей форме государства.

Это объясняет, что было главной целью Цицерона в его работе "О республике" - панегирик римскому правительству, такому, каким оно было или, как он предполагал, было в ранние века существования содружества. Во времена Цицерона, когда Рим был взбуроражен заговорами Катилина и фракциями Хлодия, когда проскрипции Силлы только закончились, а узурпация Цезаря приближалась, римская конституция стала такой же идеальной, как полития Платона; и в свои лучшие времена она никогда не достигала того совершенства,

которое приписывает ей Цицерон. Но когда писатель испытывает отвращение к настоящему и страх за будущее, он всегда готов создать утопию [прошлого](#)<sup>467</sup>.

Во второй книге, которая, как и первая, несовершенна в начале (хотя Май, кажется, думает, что не хватает всего нескольких слов), Сципион записывает высказывание Катона Цензора, что конституция Рима превосходит конституции всех других государств, потому что они были созданы по образцу законодателей-одиночек, как Крит - Миносом, Спарта - Ликургом, тогда как римское содружество - результат постепенного совершенствования опыта и мудрости веков. "Поэтому, - говорит он, - заимствуя слова у Катона, я вернусь к истокам римского государства и покажу его в его рождении, детстве, юности и зрелости - план, который кажется предпочтительнее, чем обрисовка воображаемой республики, подобной платоновской".

Сципион начинает с Ромула, к рождению которого он, правда, относится как к басне; но во всем последующем развитии римской истории он, или, другими словами, Цицерон, проявляет мало критики и не предаётся скептицизму. Он [pg 272] восхищается мудростью, с которой Ромул выбрал место для своей столицы - не на морском берегу, где она подвергалась бы многим опасностям и неудобствам, а на судоходной реке, со всеми удобствами моря: "Quî potuit igitur divinitus et utilitates complecti maritimas Romulus et vitia vitare? quàm quòd urbem perennis amnis et æquabilis et in mare late influentis posuit in ripâ, quo posset urbs et accipere ex mari quo egeret, et reddere quo redundaret: eodemque ut flumine res ad victum cultumque maxime necessarias non solum mari absorberet sed etiam advectas acciperet ex terrâ: ut mihi jam tum divinâsse ille videatur, hanc urbem sedem aliquando ut domum summo esse imperio præbituram: nam hanc rerum tantam potentiam non ferme facilius aliâ in parte Italiæ posita urbs tenere potuisset." - Подобным образом он восхваляет проницательность последующих правителей Римского государства. "Верный своему плану, - говорит М. Виллемейн, - ссылаясь на римскую конституцию и формировать скорее историю, чем политическую теорию, Цицерон переходит к хронологическому рассмотрению состояния Рима в различные эпохи его существования, начиная с царей. Этот план, если бы он пролил новый свет на очень темный предмет, представлял бы для нас гораздо больший интерес, чем идеи чисто умозрительного характера. Но Цицерон почти не отступает от общепринятых традиций, которые часто вызывали скептицизм у ученых. Он берет римскую историю почти в том виде, в каком мы ее имеем сейчас, и его размышления, кажется, не предполагают никаких других фактов, кроме тех, которые были так красноречиво описаны Ливием". Но хотя для наглядности и в знак уважения к общему мнению он рассуждает о событиях ранней римской истории в том виде, в каком их передает вульгарная традиция, очевидно, что, по его собственному убеждению, они были совершенно неопределенными; И если бы не хватало какого-нибудь нового авторитета по этому вопросу, можно было бы добавить авторитет Цицерона в пользу их полной неопределенности; ибо Лелий прерывает свой рассказ об Анкусе Марции: "Laudandus etiam iste rex-sed obscura est historia Romana"; и Сципион отвечает: "Ita est: sed temporum illorum tantum fere regum illustrata sunt nomina."

В конце рассуждений Сципиона, представляющих собой вечный панегирик сменявшим друг друга правительствам Рима и, за исключением приведенного выше отрывка, некритическое согласие с его общей историей, Туберон замечает, что Цицерон скорее восхвалял римское правительство, чем рассматривал конституцию государств вообще, и что до сих пор он не объяснял, с помощью какой дисциплины, нравов и законов должно создаваться или сохраняться государство. Сципион отвечает, что это будет предметом дальнейшего обсуждения, и, похоже, теперь [pg 273] перешел на более метафизический тон: Но от остальной части книги сохранилось лишь несколько фрагментов, из которых, однако,

следует, что был затронут вопрос о том, насколько точное соблюдение справедливости в государстве является политическим или необходимым. Это обсуждение, по предложению Сципиона, было приостановлено до следующего [дня468](#).

Поскольку третья книга трактата Цицерона начинала разговор на второй день, она, несомненно, была снабжена проэмием, большая часть которого теперь утрачена, как и значительная часть начала диалога. В конце предыдущей книги Сципион затронул вопрос о том, насколько соблюдение справедливости полезно для государства, и Филус предложил рассмотреть эту тему более подробно, поскольку было распространено мнение, что политика иногда требует несправедливости. До открытия Май мы знали из "De Civitate Dei" святого Августина, что в третьей книге трактата "О республике" Фил, как участник спора, взялся рассуждать о несправедливости и получил ответ от Лелия. Во фрагменте третьей книги Фил оправдывается тем, что стал (так сказать) адвокатом дьявола, но в конце концов соглашается предложить не свои аргументы по этому вопросу, а аргументы Карнеада, который за несколько лет до этого в один день выступил в Риме за справедливость, а на следующий день, опрокинув свои собственные аргументы, стал покровителем несправедливости. Филус, соответственно, утверждает, что если бы справедливость была чем-то реальным, то она была бы везде одинаковой, тогда как в одном народе то считается справедливым и святым, что в другом - несправедливым и нечестивым; и, подобным образом, в одном и том же городе то, что справедливо в один период, становится несправедливым в другой. В палимпсесте эти софизмы, возрожденные в наше время Мандевилем и другими, прерываются частыми расхождениями в тексте. Лелий, как мы узнаем от святого Августина и из отрывка в Aulus Gellius, был попрошен всеми присутствующими взять на себя защиту справедливости; но его речь, за исключением нескольких предложений, полностью отсутствует в палимпсесте. В конце он удостоивается высокой оценки от Сципиона, но после этого снова наступает большой перерыв. После этого Сципион утверждает, что богатство и власть, фидийские статуи или самые великолепные общественные работы составляют не республику, а *res publica*, благо всего государства, а не какой-либо отдельной его правящей части. В заключение он утверждает, что из всех форм правления [pg 274] чисто демократическая - наихудшая, а следующая за ней - несмешанная аристократия.

От четвертой книги в палимпсесте остался только один лист, содержание которого, похоже, подтверждает то, что мы узнаем из других источников, - она посвящена образованию и морали. Особенно жаль, что эта книга исчезла. Абстрактные рассуждения о справедливости, демократии и власти легко восполнить, а если их не восполнить, то ущерб будет невелик; но потеря подробностей, касающихся нравов и обычаев, из рук такого автора, как Цицерон, невозможна. Пятая книга почти так же сильно изуродована, как и четвертая, а от шестой не осталось ни одного фрагмента в палимпсесте, так что открытие Май ничего не добавило к прекрасному отрывку из этой книги под названием *Somnium Scipionis*, сохраненному Макробием. В заключении работы "О республике" говорилось о бессмертии славы здесь и вечности существования в другом месте. Книга *Somnium Scipionis* предназначена для утверждения в форме политической фикции возвышенного догмата о бессмертии души и, вероятно, была введена в заключение работы, чтобы добавить надежды и страхи будущего воздаяния к другим мотивам добродетельных усилий. В качестве иллюстрации к этой возвышенной теме Сципион рассказывает, что в юности, когда он впервые служил в Африке, он посетил двор Массиниссы, неизменного друга римлян, в частности семьи Корнелиев. Во время пиров и развлечений разговор зашел о словах и поступках первого великого Сципиона. Когда приемный внук удалился на покой, ему во сне явилась тень ушедшего героя, мрачно предсказала будущие события его жизни и побудила

ступать по пути патриотизма и истинной славы, сообщив о награде, предусмотренной на небесах для тех, кто хорошо заслужил свою страну.

Я счел нужным дать этот подробный отчет о трактате *De Republicâ* ради тех, кто, возможно, не имел возможности ознакомиться с публикацией Май и кому интересно узнать о ценности и масштабах его открытия. В целом, я подозреваю, что трактат разочарует тех, кто возлагал на него большие надежды, особенно если они рассчитывали найти в нем много политической или статистической информации. Он мало соответствует тому представлению, которое естественно сложилось бы о политическом труде из-под пера Цицерона - выдающегося государственного деятеля, которого всегда обхаживали лидеры политических партий, а одно время он сам возглавлял правительство своей страны. Но, если поразмыслить, не покажется удивительным, что мы получаем из этой работы так мало представления о сомнительных и спорных моментах римского государственного устройства. Те вопросы, с [pg 275] точки зрения способа заполнения сената, силы степеней народа и ранга различных юрисдикций, которые в современную эпоху стали предметом дискуссий, во времена Цицерона не были проблемой. Великие люди, которых он представляет в совместной беседе, понимали друг друга по таким вопросам с одного слова или предложения; и я уверен, что те части трактата *De Republicâ*, которые утрачены, содержали так же мало того, что могло бы способствовать решению таких трудностей, как и те части, которые удалось восстановить.

Но хотя работа Цицерона разочарует тех, кто ожидает найти в ней много политической информации, все же, как и в других его произведениях, каждая страница демонстрирует богатое и сияющее великолепие стиля, когда-либо подвергавшегося контролю со стороны самого правильного и чистого вкуса. В ней, как и во всех его сочинениях, есть отрывки изысканной красоты, и везде она дышит возвышенным духом добродетели и патриотизма. Латинский язык, столь благородный сам по себе и достойный, приобретает дополнительное величие в периоды жизни римского консула и добавляет невыразимую красоту и возвышенность к естественной возвышенности его чувств. Ни одно произведение, по сути, не наполнено таким нравственным и интеллектуальным величием, как труды Цицерона, ни одно не рассчитано на то, чтобы возвысить и очистить нашу природу, привить нам стремление к знаниям и добродетели и возбудить не просто страстное желание или праздную тоску, но напряженные усилия, направленные на достижение бессмертия. Действительно, вся жизнь Отца своей страны была благородным исполнением, а его возвышенные философские труды - лишь расширением той золотой заповеди, *tu vero enitere*, предписанной свыше его великому потомку духом первого [Африкануса](#)<sup>469</sup>.

Примерно через столетие после возрождения письменности, когда человечество окончательно отчаялось в возможности дальнейшего открытия философских трудов Цицерона, ученые люди того времени занялись сбором разрозненных фрагментов его утраченных произведений и их упорядочиванием в соответствии с порядком книг, из которых они были извлечены. Сигоний объединил таким образом разрозненные фрагменты сочинения "О республике" и предпринял аналогичную попытку восстановить другой утраченный трактат Цицерона, озаглавленный "Об утешении". Но в данном случае он не просто собрал фрагменты, а соединил их предложениями собственного сочинения. Трактат *De Consolatione* был написан Цицероном в 708 году по случаю смерти его горячо любимой Туллии, с целью успокоить собственный разум и закрепить для всех потомков добродетели [pg 276] и память о [дочери](#)<sup>470</sup>. В этом трактате он изложил парадоксальные положения о том, что человеческая жизнь - это наказание и что люди приходят в мир только для того, чтобы расплатиться за свои [грехи](#)<sup>471</sup>. Цицерон в основном следовал за Крантором [Академиком](#)<sup>472</sup>, который оставил знаменитое произведение на ту же тему; но он вставлял все, что ему

нравилось, в произведения других авторов, писавших на эту тему. По ходу дела он иллюстрировал свои наставления примерами из римской истории о выдающихся личностях, которые с удивительным постоянством переносили утраты, сходные с той, что понес он сам, или другие тяжелые [несчастья](#)<sup>473</sup>, - в частности, останавливаясь на домашних несчастьях К. Максима, похоронившего консульского сына; Эмилия Павла, потерявшего двух сыновей за два дня; и М. Катона, лишившегося сына, который был избранным [претором](#)<sup>474</sup>. Сигоний выдавал за утерянный труд Цицерона "Утешение", который он подарил публике. Это мошенничество продолжалось довольно долго, но в конце концов было обнаружено и разоблачено [Риккобони](#)<sup>475</sup>.

Цицерон также написал трактат в двух книгах, адресованный Аттику, на тему славы, которая была преобладающей и наиболее заметной страстью его души. Он был написан в 710 году во время путешествия в Грецию вдоль восхитительного побережья Кампании.

"По мере того как он двигался вдоль ровного берега,

Эти храмы, в своем великолепии выдающиеся

Средь дуг, и обелисков, и куполов, и башен,

отражающие сияние запада,

Пусть он мечтает о [славе](#)<sup>476</sup>!"

Этот трактат сохранился в XIV веке. Экземпляр был подарен Петрарке из его обширной коллекции книг Раймондом Соранцо, сицилийским [адвокатом](#)<sup>477</sup>. Петрарка долго хранил этот драгоценный том с большой осторожностью и высоко ценил его. К несчастью, один человек по имени Конвеноли, живший в Авиньоне и бывший его наставником, выпросил и получил его взаймы; а затем, попав в бедственное положение, заложил его для облегчения своих нужд какому-то неизвестному лицу, у которого Петрарка никогда [pg 277] не мог вернуть его в свое владение. Однако два экземпляра сохранились и в следующем веке: один - в частной библиотеке в Нюрнбурге, другой - в библиотеке венецианского дворянина Бернарда Джустиниани, который, умирая в 1489 году, завещал свои книги монастырю монахинь, врачом которого был Петр Алкионий. Филельфо обвиняли, хотя и безосновательно, в том, что он сжег нюрнбергский экземпляр, вставив отрывки из него в свой трактат De Contemptu [Mundi](#)<sup>478</sup>. Но обвинение в уничтожении оригинала, оставленного Джустиниани монахиням, было выдвинуто против Альциония на более веских основаниях и с большим успехом. Паулюс Мануций, в типографии которого Алкионий одно время был корректором, обвинил его в том, что он, пользуясь свободным доступом к библиотеке монахинь, чьим врачом он был, похитил трактат De Gloria и уничтожил его, чтобы скрыть свои плагиаты, после того как вставил из него различные отрывки в свой диалог De [Exilio](#)<sup>479</sup>. Утверждение Манутия основано только на исчезновении MS, - возможности, которой располагал Алкионий, чтобы присвоить его, и его собственном критическом мнении о диалоге De Exilio, в котором, по его мнению, есть много отрывков, написанных в стиле, свидетельствующем о талантах писателя, намного превосходящих таланты его номинального автора. Это обвинение было повторено Паулусом Йовиусом и [другими](#)<sup>480</sup>. Менкен в предисловии к своему изданию диалога De Exilio утверждает невиновность Алкиония и рассказывает о беседе с Бентли на эту тему, в ходе которой великий ученый заявил, что не нашел в работе Алкиония ничего, что могло бы уличить его во вменяемом [плагиате](#)<sup>481</sup>. Тирабоски подробно защищал его на том веском основании, что Джустиниани жил после

изобретения книгопечатания и что если бы он действительно владел трактатом Цицерона *De Gloriâ*, то, несомненно, опубликовал бы его, и что неизвестно, какому монастырю монахини Джустиниани завещали этот драгоценный MS.-что обвинение против Альциония было выдвинуто только после его смерти, хотя его диалог *De Exiliô* был впервые напечатан в 1522 году, а сам он дожил до 1527 года; и, наконец, что столь значительная его часть относится к современным событиям, что в нем не более нескольких страниц, которые могли быть украдены у Цицерона или любого писателя его эпохи<sup>482</sup>. М. Бернард в [pg 278] диссертации, приложенной к упомянутой выше работе "О республике", возродил это обвинение, по крайней мере в определенной степени, цитируя различные отрывки из работы Альциония, которые плохо связаны с другими, и которые, будучи более высокого порядка, можно предположить, что они были вырваны им из трактатов Цицерона. В целом, вопрос о краже и плагиате Альциония все еще остается нерешенным, и, вероятно, так будет продолжаться до тех пор, пока не будет обнаружена какая-нибудь совершенная копия трактата *De Gloriâ* - событие, которого скорее следует искренне желать, чем обоснованно ожидать.

Четвертое утраченное произведение Цицерона - "Гортензий о философии" (*Hortensius sive de Philosophia*). Кроме оратора, в честь которого оно названо, в диалоге выступали Катул, Лукулл и сам Цицерон. В первой части, где рассуждает Гортензий, он хотел возвысить красноречие над философией. На его доводы Цицерон ответил, показав, какую пользу философия приносит красноречию даже в несовершенном состоянии общественного прогресса, а также ее преимущественное использование в улучшенном состоянии общества, в котором не должно быть неправды, а значит, и трибуналов правосудия. Все это следует из отзыва о "Гортензии" святого Августина, который также цитирует из нее множество прекрасных отрывков, заявляя в то же время, что именно чтение этого труда впервые внушило ему любовь к мудрости: "*Viluit mihi repente omnis vana spes, et immortalitatem sapientiæ concupiscebam æstu cordis incredibili*"<sup>483</sup>. Этот диалог сохранялся еще долгое время после святого Августина, поскольку знаменитый Роджер Бэкон<sup>484</sup> цитирует его как сохранившийся в его эпоху.

Только после эпохи Августа произведения, изначально предназначенные для публики, обрели название и форму писем. Но несколько сборников посланий, написанных в период, о котором мы сейчас говорим, родственникам или друзьям в частном порядке, впоследствии получили широкое распространение. Знаменитыми были послания Корнелии, дочери старшего Сципиона Африканского и матери Гракхов, адресованные в основном ее сыновьям; но самым обширным сборником, сохранившимся до наших дней, являются "Письма Цицерона".

Их можно разделить на четыре части: 1. "Эпистолы семьи", или "Разная переписка"; 2. "Письма к Аттику"; 3. "Письма к брату Квинту"; 4. "Письма к Бруту".

Переписка, обычно озаглавленная *Ad Familiares*, в [pg 279] охватывает период около двадцати лет, начавшийся сразу после консульства Цицерона и закончившийся за несколько месяцев до его смерти. Письма, которые включает в себя этот сборник, настолько разнородны, что невозможно даже пробежаться по их содержанию. До битвы при Фарсалии он состоит главным образом из посланий, касающихся распределения консульских провинций и политических интриг, связанных с этим постоянно повторяющимся предметом споров, - рекомендательных писем, отправленных знакомым, отправляющимся в провинции, подробных писем отсутствующим друзьям, касающихся состояния партий в Риме, в частности замыслов Помпея и Цезаря, фракций Милона и Клодия; и, наконец, занимательных анекдотов о самых популярных и модных развлечениях столицы.

После битвы при Фарсалии и во время правления Цезаря письма в основном адресованы вождям помпеянской партии, которые в то время находились в изгнании за приверженность тому же делу, в котором участвовал сам Цицерон. Эти послания в основном заняты утешительными размышлениями о неблагоприятных обстоятельствах, в которых они оказались, и рассказами о его собственных усилиях добиться их отзыва. При чтении этих писем больно и унижительно наблюдать за тем, какое удовольствие Цицерон, очевидно, получал в этот период от внимания не только Сезара, но и его приближенных и любимцев, таких как Бальбус, Гирций и Панса.

После убийства Цезаря переписка в основном касается дел Республики и направлена главам заговора или ведущим людям государства, таким как Лепид и Асиний Поллион, которые в то время командовали армиями, и которых он с тревогой убеждает выступить в поддержку государства и выступить против Антония.

В сборник включено множество писем, адресованных Цицерону его друзьями. Больше всего их от его старого клиента Caelius, который, судя по всему, был восхитительным сплетником. Они написаны Цицерону во время его отсутствия в Риме, когда он управлял Киликией, и сообщают ему новости о политике партии, о примечательных делах, рассмотренных на Форуме, и о модных скандалах дня. Главной целью Целия, по-видимому, было получить взамен посвящение одной из работ Цицерона и груз пантер из Азии для его выставки игр перед римским народом. В заключение приводится множество писем от генералов, которые стояли во главе армий в провинциях после смерти Цезаря и продолжали командовать ими во время войны, которую сенат вел против Антония. Все они, [pg 280], но особенно Асиний Поллион и Лепид, похоже, действовали с непревзойденным вероломством и плутовством по отношению к Цицерону и сенату. В целом, хотя *Epistolae Familiares* были частными письмами, и хотя в них рассматриваются некоторые частные дела, они в основном касаются государственных проблем, в частности, содержат очень полную историю правления Цицерона в Киликии, гражданских разногласий в Риме и войны между Помпеем и Сезаром. Однако они редко демонстрируют вспышки того красноречия, которым был так богат оратор; и ни одна сделка, какой бы важной она ни была, не поднимает его стиль выше уровня обычного разговора.

*Epistolae ad Atticum* также представляют большую ценность для истории Рима. "Тот, кто, - говорит Корнелий Непос, - прочтет эти письма Цицерона, не будет нуждаться в связной истории того времени. Он так хорошо описывает взгляды ведущих людей, недостатки полководцев и смену партий в государстве, что нам ничего не нужно для информации; и такова была его проницательность, что мы почти готовы поверить, что это было своего рода прорицание; ведь Цицерон не только предсказывал то, что впоследствии произошло при его собственной жизни, но, подобно пророку, предсказывал события, которые теперь [сбываются](#)<sup>485</sup>". Вместе с этими знаниями мы получаем большее представление о личном характере Цицерона, чем из предыдущей серии писем, где он часто скрывается под политической маской великого театра, на сцене которого он выступал, и где многие его недостатки скрыты под изящными складками тоги. Именно Аттикусу он наиболее свободно раскрывал свои мысли - более полно, чем даже Туллию, Терентию или Тиро. И хотя в этих письмах он проявляет большую привязанность к своей семье, горячее рвение к интересам друзей, сильные чувства гуманности и справедливости, теплую благодарность к своим благодетелям и преданную любовь к своей стране, он не подавил своего тщеславия и не скрыл недостатков душевной организации, слишком восприимчивой к любым впечатлениям. Его чувствительность, действительно, была такова, что заставляла его думать, что его несчастья особенно отличаются от несчастий всех других людей, и что ни он сам, ни

мир никогда не смогут в достаточной мере оплакать их: отсюда плаксивый и жалобный тон, который пронизывает всю переписку, и который в письмах, написанных во время его изгнания, больше напоминает причитания Тристии Овидия, чем то, что можно было бы ожидать от первого государственного деятеля, оратора и философа Римской республики. На каждой странице их мы видим следы его непоследовательности и нерешительности, его политической, если не [pg 281] личной робости, его опрометчивой уверенности в процветании, его тревоги в опасности, его уныния в невзгодах, его слишком приятной ревности и деликатной подозрительности, его склонности к обидам и его непреклонного подчинения тем, кто добился его лестью и лицемерными признаниями в привязанности к содружеству. Атиккус, очевидно, был плохим советчиком для его славы и, возможно, для его конечной безопасности; и ему в значительной степени можно приписать то компромиссное поведение, которое так сильно умалило достоинства его характера. "Тебе удалось, - говорит Цицерон, говоря о Сезаре и Помпее, - убедить меня поддерживать хорошие отношения с одним, потому что он оказал мне услуги, и с другим, потому что он обладал большой властью<sup>486</sup>". И снова: "Я так пунктуально следовал твоим советам, что ни у одного из них не было фаворита помимо меня"; а после того, как война действительно началась, "я считаю очень любезным, что ты, в столь дружеской манере, советуешь мне как можно меньше заявлять ни за одну из сторон<sup>487</sup>". Такие роковые советы, очевидно, слишком хорошо соответствовали его собственным наклонностям и смягчали, возможно, слабости, которым он поддавался. Эти слабости Цицерона, конечно, было бы напрасно отрицать; но его чувствам мало кто может позавидовать, кто может думать о них без сожаления или говорить о них без снисхождения.

Однако именно эти письма передали память об Аттике потомкам и сделали его имя почти таким же общеизвестным, как и имя его прославленного корреспондента. "Nomen Attici perire, - говорит Сенека, - Ciceronis Epistolæ non sinunt. Nihil illi profuissent gener Agrippa, et Tiberius progener, et Drusus Cæsar pronepos. Inter tam magna nomina taceretur nisi Cicero illum applicuisset".

Пожалуй, самая интересная переписка Цицерона - это переписка с его братом Квинтом, который был на несколько лет моложе оратора. В 693 году он получил сан претора, а затем в течение четырех лет управлял Азией в качестве пропретора. Он вернулся в Рим в тот момент, когда его брат был отправлен в изгнание, и некоторое время после этого занимался в основном тем, что добивался его отзыва. В качестве лейтенанта Цезаря он с честью служил в Галлии, но с началом гражданской войны перешел на сторону республиканцев. Однако он был помилован Цезарем и убит кровожадным триумвиратом, созданным после его смерти. Квинт был человеком горячих привязанностей, обладал некоторыми военными талантами, но отличался нетерпеливым и раздражительным нравом. Оратор [pg 282], очевидно, был высокого мнения о его квалификации и представил его в качестве собеседника в диалогах De Legibus и De Divinatione.

Переписка с Квинтом разделена на три книги. Первое письмо в сборнике - одно из самых благородных произведений подобного рода, которые когда-либо были написаны. Оно адресовано Квинту по случаю того, что его правление в Азии было продлено на третий год. Пользуясь правами старшего брата, а также авторитетом, вытекающим из его достоинства и талантов, Цицерон советует и увещевает брата относительно надлежащего управления его провинцией, особенно в том, что касается выбора подчиненных и степени доверия к ним. Он убедительно, но с большой братской нежностью и привязанностью упрекает его за склонность к обидам; и завершает письмо прекрасным увещеванием: стараться во всем заслужить похвалу современников и завещать потомкам незапятнанное имя. Второе письмо

передает Квинту рассказ о некоторых жалобах, которые Цицерон услышал в Риме в связи с поведением своего брата в управлении государством. Два следующих послания, завершающие первую книгу, написаны из Фессалоники в начале его изгнания. Первое из них, начинающееся словами: "Брат мой, брат мой, брат мой", написанное в печальном состоянии волнения и подавленности, представляет собой прекрасный образец красноречивого и патетического изложения. Она полна сильных и почти беспредельных выражений привязанности и демонстрирует много преувеличений, как в чувствах, так и в языке, которым Цицерон так часто предавался в своих орациях.

Вторая и третья книги писем, адресованных его брату в Сардинии и Галлии, дают интересный отчет о состоянии государственных дел в 697, 698 и частично 699 годах, а также о его внутренних отношениях в тот же период.

Наряду с письмами к Квинту обычно печатается послание или мемуары, которые Квинт адресовал своему брату, когда тот выдвинул свою кандидатуру на пост консула, и которые озаглавлены *De Petitione Consulatus*. В нем даются советы относительно мер, которые он должен предпринять для достижения своей цели, в частности, говорится о лучших средствах для приобретения личных друзей и всеобщей популярности. Но, несмотря на то, что он был составлен исключительно для использования его братом, автор, по-видимому, задумывал его как руководство или пособие для всех, кто может оказаться в подобных обстоятельствах. Она написана с большим изяществом и безупречной чистотой стиля и представляет собой важный документ для истории Римской республики, поскольку дает [pg 283] нам более ясное представление, чем мы можем почерпнуть из любой другой сохранившейся работы, об интригах, к которым прибегали главы партий, чтобы получить голоса народа.

Подлинность переписки между Цицероном и Брутом стала предметом литературного спора, возможно, самого знаменитого из всех, которые когда-либо происходили, за исключением того, что касалось Посланий Фалариса.

Совершенно точно установлено, что между Цицероном и Брутом велась переписка, а собрание писем, перешедших между ними, насчитывающее не менее восьми книг, просуществовало несколько веков после смерти Цицерона. Все они были написаны в период, прошедший с момента убийства Цезаря до трагического конца оратора, который длился около полутора лет; из фрагментов, приведенных Плутархом и грамматиками, следует, что они в основном касались памятных политических событий этого важного периода и литературного спора, который велся между Цицероном и Брутом по поводу признаков совершенного [красноречия](#)<sup>488</sup>.

Об этом сборнике упоминают и цитируют отрывки из него Квинтилиан, Плутарх и даже Ноний [Марцелл](#)<sup>489</sup>, живший около 400 года. После этого все следы о нем теряются, пока в XIV веке мы не находим некоторые из спорных писем в собственности Петрарки; предполагается, что Петрарка сам был их [первооткрывателем](#)<sup>490</sup>. Восемнадцать из этих писем, то есть все, что было тогда известно, были опубликованы в Риме в 1470 году. Спустя много лет в Германии были найдены еще пять, но в изуродованном виде, и они во всех последующих изданиях печатались вместе с первоначальными восемнадцатью. Все письма касаются положения государственных дел после смерти Сезара. В них много обвинений: Брут обвиняет Цицерона в опасном возвышении Октавия и слишком обильном воздаянии ему почестей; Цицерон порицает Брута за то, что тот пощадил жизнь Антония во время заговора.

Теперь спорный момент: являются ли эти двадцать три письма частями оригинальных восьми книг подлинной переписки Цицерона и Брута, так часто цитируемой Плутархом,

Квинтилианом и Нонием, или же это подделка какого-то монаха или [pg 284] софиста в темные века, прошедшие между временем Нония и Петрарки.

С самого первого появления восемнадцать писем, попавших во владение Петрарки, были приняты учеными за оригинальные послания Цицерона и Брута; а пять, обнаруженные в Германии, хотя и вызывали некоторое время сомнения, вскоре были поставлены в один ряд с остальными. Эразм, кажется, был первым, кто заподозрил, что все они являются декламационным сочинением какого-то ратора или софиста. Однако все остальные комментаторы, критики и историки продолжали ссылаться на них как на неоспоримые останки великого автора, которому они приписывались. Миддлтон, в частности, в своей "Жизни Цицерона" свободно ссылается на них как на биографические авторитеты, наряду с "Знакомыми посланиями" и "Посланиями к Аттику".

Дела обстояли именно так, когда в 1741 году Танстолл обратился к Миддлтону с латинским посланием, написанным якобы для того, чтобы представить предложение о новом издании писем Цицерона к Аттику и его брату Квинту. В первой части этого послания он попытался восстановить оригинальное прочтение этих подлинных сокровищ цicerоновской истории и утверждал их подлинный смысл против их искажений или ложных толкований, которые привели к многим ошибочным выводам в "Жизни Цицерона" Миддлтона. Во второй части он отрицает подлинность всей переписки между Цицероном и Брутом, которая, как он утверждает, является продукцией какого-то софиста или схолиаста средних веков, который, вероятно, написал их, согласно практике тех дней, в качестве упражнения для своих риторических талантов, и с целью либо дополнить "Послания к Аттику", чтобы продолжить историю с того периода, на котором они заканчиваются, либо защитить характер Цицерона от обвинений в опрометчивости, когда он отдал слишком много власти в руки Октавию. Кроме того, Танстолл считает, что главную тему этих писем софисту подсказал отрывок из "Жизни Брута" Плутарха, где упоминается, что Брут спорил с Цицероном и жаловался на него их общему другу Аттику за то, что тот оказывал знаки внимания Октавию, которые показывали, что его целью было не завоевание свободы для своей страны, а любезный хозяин для себя.

Вскоре после этого Миддлтон опубликовал английский перевод всей переписки между Брутом и Цицероном с примечаниями; в предисловии, написанном с большой и неспровоцированной язвительностью, он попытался подтвердить авторитет посланий и ответить на возражения Танстолла. Его противник ответил огромным английским трудом, [pg 285] более 400 страниц, озаглавленным "Замечания по поводу настоящего собрания посланий между Цицероном и Брутом, представляющие несколько очевидных признаков подделки в этих посланиях, в ответ на недавние притязания доктора Миддлтона: 1744".

Трудно дать какой-либо очерк аргументативной части этого знаменитого спора, поскольку достоинство всех подобных дискуссий заключается в предельной точности и детальности исследования. Однако основной объем возражений, как правило, представлен Танстоллом в его латинском послании. Он заявляет, что, "когда он только что ознакомился с подлинными письмами Цицерона, он увидел, что письма к Бруту не обладают красотой и богатством цicerоновской дикции, что послания как Брута, так и Цицерона были написаны в одном и том же стиле и в одной и той же манере окраски, и подправлены с таким искусством и старанием, что, казалось, они исходят скорее из схоластических тонкостей и размышлений, чем из подлинных поступков и дел жизни, что как до, так и после даты написания писем к Аттику, было адресовано несколько посланий от Брута к Цицерону и от Цицерона к Бруту, странно, что те, что предшествовали письмам к Аттику, были потеряны, и остались только те, которые, похоже, были старательно предназначены для эпилога к Посланиям к Аттику - такие

причины заставили его подозревать, Но при более глубоком изучении самих писем он обнаружил много нелепостей в смысле, много несоответствий в языке, много замечательных предсказаний будущих событий, как со стороны Брута, так и со стороны Цицерона; Но самое главное - огромное количество исторических фактов, не только совершенно новых, но и полностью измененных, а некоторые даже явно ложных и противоречащих подлинным произведениям Цицерона."

Таково было состояние спора, в котором он находился между Танстоллом и Миддлтоном. В 1745 году, через год после того, как Миддлтон опубликовал свой перевод посланий, Маркленд включился в это литературное состязание и выступил против подлинности писем, опубликовав свои "Замечания о посланиях Цицерона к Бруту и Брута к Цицерону в письме к другу". Аргументы Танстолла в основном опирались на исторические несоответствия, а аргументы Маркленда - на фразы, встречающиеся в письмах, которые не являются ни цicerоновскими, ни даже чисто латинскими.

На этом я должен закончить этот длинный рассказ о трудах Цицерона - Цицерона, выдающегося консула республики, отца и спасителя своей страны, но не менее выдающегося оратора, философа и моралиста Рима.- "Salve primus omnium Patriæ appellate, -primus in togâ triumphum linguæque lauream merite, et facundiæ, Latiarumque [pg 286] Literarum parens: atque (ut Dictator Cæsar, hostis quondam tuus, de te scripsit,) omnium triumphorum lauream adopte majorem; quanto plus est, ingenii Romani terminos in tantum promovisse, quàm [imperii](#)491."

---

В предыдущем томе этой работы я проследил развитие языка римлян и рассказал о различных поэтах, которые украшали его до эпохи Августа. В ходе этой части моего исследования я имел возможность сравнить поэтические произведения Рима с греческими и показать, что латинская поэзия этой ранней эпохи, созданная по образцу афинской или александрийской, приобрела атмосферу подготовки и авторства, и, похоже, писалась для того, чтобы получить холодное одобрение публики или улыбки патрицианского покровителя, в то время как родные строки греческих бардов, похоже, изливались четвертыми, как дельфийские оракулы, потому что бог, вдохновлявший их, был слишком велик, чтобы вместить его в свое лоно. В прозаических сочинениях римлян, которые рассматриваются в настоящем томе, хотя образцами стиля все еще служили греческие образцы, мы не наблюдаем такой же раболепной подражательности. Сельскохозяйственные писатели Лациума обращались к предмету, в значительной степени чуждому морским чувствам и коммерческим занятиям греков; в то время как у латинских историков, ораторов и философов мы слышим тон практической пользы, проистекающий из знакомства их авторов с жизненными делами. Старые латинские историки по большей части сами участвовали в делах, о которых рассказывали, а почти все ораторские речи Цицерона были произнесены в Сенате или на Форуме. Среди римлян философия не была, как у многих греков, академической мечтой или спекуляцией, которой подменяли жизненные реалии. В Риме философские исследования проводились главным образом для того, чтобы снабжать аргументами и иллюстрациями покровителя для его конфликтов на Форуме, а также для того, чтобы направлять гражданина в выполнении его обязанностей перед обществом. Короче говоря, ценились только те занятия, которые, как прекрасно выразился Цицерон в лице Лелия: "Эффективны для гражданских дел: id enim esse præclarissimum sapientiæ munus, maximumque virtutis documentum puto."

---

[стр. А-1].

## APPENDIX.

[pg A-2]

"Некоторые ощущали молчаливый удар заплесневелого века,

Кто-то - враждебную ярость, кто-то - религиозный гнев:

Варварская слепота, христианский пыл сговорились,

И папское благочестие, и готический огонь".

Послание Поупа к Аддисону.

---

[pg A-3]

## ПРИЛОЖЕНИЕ.

Чтобы убедиться в подлинности произведений, обычно называемых классическими, важно выяснить, в каком виде они были переданы публике их авторами, проследить, как они сохранялись в течение долгой ночи темных веков, и указать, кем их гибнущие останки были впервые обнаружены при возвращении света. Не будет также неинтересно дополнить этот очерк перечислением основных изданий классиков, упомянутых на предыдущих страницах, и лучших переводов, которые время от времени появлялись на итальянском, французском и английском языках.

Рукописи латинских классиков во время существования Римской республики и империи можно разделить на так называемые *notata* и *perscripta*. Первые были написаны самим автором или его учеными рабами сокращениями или знаками, обозначавшими слоги и слова; вторые - те, которые были полностью переписаны обычными знаками библиотекарем, нанятым библиополами, или книготорговцами, для подготовки произведений автора к публичной продаже.

Книги, написанные рукой авторов, вероятно, были не очень разборчивы, по крайней мере, если судить по другим книгам Цицерона. Его брат Квинт жаловался, что не может прочитать свои письма, и Цицерон в ответ на это сказал: "*Scribis te meas literas superiores vix legere potuisse; hoc facio semper ut quicumque calamus in manus meas venerit, eo sic utar tamquam bono*<sup>492</sup>".

Но произведения, по крайней мере прозаические, римлян редко писались рукой автора, и, как правило, диктовались им какому-нибудь рабу или вольноотпущеннику, обученному чистописанию. Хорошо известно, что многие из ораций Цицерона, Катона и их великих современников-риториков были записаны писарями с короткой рукой, находившимися в

Сенате или на Форуме. Но даже самые тщательно подготовленные в чулане произведения записывались подобным образом рабами и вольноотпущенниками. Не было ни одной части его ученых сочинений, над которой Цицерон трудился бы больше или о которой его мысли были бы более [заняты493](#), чем посвящение *Academica* Варрону, и даже ее он диктовал своему рабу Спинтарусу, хотя делал это медленно, слово за словом, а не целыми предложениями Тиро, как это было принято в других его сочинениях. "Male mihi sit, - пишет он в письме к Аттикусу, - si umquam quidquam tam enitar. Ergo ne Tironi quidem dictavi, qui totas periochas persequi solet, sed Spintharo [syllabatim494](#)".

Такая практика, когда авторы диктовали свои произведения, породила необходимость или, по крайней мере, удобство писать быстро и использовать сокращения или условные знаки почти в каждом слове.

Соответственно, с самых ранних периодов римской литературы слова сокращались или обозначались примечаниями, которые иногда обозначали более одной буквы, иногда слоги, а иногда и целые слова. Функиус, который [pg A-4] утверждает, что Адам был первым [скорописцем495](#), с большей правдой утверждает, что римляне сокращали свои слова с самых отдаленных времен республики и в большей степени, чем любой другой древний народ. Иногда сокращения сводились к написанию начальной буквы вместо целого слова. Так, P. C. означало *Patres Conscripti*; C. R. - *Civis Romanus*; S. N. L. - *Socii Nominis Latini*. Такое сокращение, используемое в словах, которые часто повторяются и которые в одном смысле можно назвать общественными, а также являющееся общепризнанным, редко приводило к какому-либо недоразумению или ошибке. Но часто сокращения были гораздо сложнее, а ведущие буквы слов, употребляемых не так часто, были нотатами, и сокращения становились гораздо более сложными и сомнительными. Например, Meit. выражало *meminit*; Acus. - *Acerbus*; Quit. - *quærit*; Ror. - *Rhetor*.

Однако для большей оперативности письма и, возможно, в некоторых случаях в целях конспирации, вместо букв, которые сами по себе были сокращениями слов, стали использовать знаки или метки, которые в настоящее время можно было сделать одним штрихом или царапиной на стилусе, не поднимая и не поворачивая его. Некоторые авторы полагают, что эти знаки были совершенно [произвольными496](#), другие же с большей долей вероятности утверждают, что их формы можно разложить или проанализировать на фигуры или части фигур самих букв, которые они должны были изображать, хотя они часто далеко отходили от формы оригинальных [знаков497](#). Считается, что Энний изобрел 1100 таких [знаков498](#), которые он, несомненно, использовал в своих разнообразных сочинениях. Другие постепенно вошли в обиход при ручной работе по быстрому письму под диктовку. Тиро, любимый вольноотпущенник Цицерона, значительно увеличил их число и довел эту разновидность тахиграфии до наибольшего совершенства среди римлян. Вследствие этой моды на то, чтобы авторы диктовали свои произведения, экспедиции стали придавать огромное значение; она считалась главным достижением амануэсиса, и только тот считался совершенным в своем искусстве, чье перо могло сравниться с быстротой произнесения:

Hic et scriptor erit felix, cui litera verbum est,

Quique notis linguam superet, cursumque loquentis,

Excipiens longas per nova compendia [voces499](#).

Эти строки были написаны поэтом эпохи Августа, и, судя по [Марциалу500](#), [Авсонию501](#) и Пруденцию, эта система диктовки автором и быстрой нотации его амануэсисом продолжала практиковаться и в последующие века империи.

Именно в таком виде большинство сочинений древних первоначально поступало от авторов и передавалось друзьям, желавшим иметь копии, или книготорговцам для переписывания, или транскрипции, для публикации.

Существует достаточно доказательств того, как высоко ценились римлянами точные транскрипции произведений их собственных писателей. Однако на правильность печати рассчитывать не приходилось. В оригинальной нотации, вероятно, могли быть допущены некоторые ошибки из-за небрежности произношения автора, который диктовал, и поспешности его помощника; но главным источником ошибок в MSS были ошибки, допущенные библиотекарем при копировании с отмеченного образца. Существовала величайшая двусмысленность и сомнения в толковании как слов, заключенных в обычные иероглифы, так и в искусственные знаки. Иногда одно и то же слово выражалось разными буквами; так, MR. MT. MTR. все выражали Mater. Иногда, с другой стороны, один и тот же набор букв выражал разные слова; например, ACT. означал Actor, Auctoritas и Hactenus. Расположение букв часто было обратным тому порядку, в котором они стояли в слове при полном выражении; и часто одна буква имела не только свою собственную силу, но и силу нескольких [pg A-5] других. Таким образом, AMO. означало animo, потому что M имела там не только свою собственную силу, но, как сообщает ее форма, и силу ni. Дело обстояло еще хуже, когда прибегали не только к сокращениям, но и к знакам. Они по-разному использовались разными авторами, а также по-разному интерпретировались переписчиками. Некоторые из этих знаков были чрезвычайно похожи по форме: едва ли можно было отличить знак, обозначающий слог ab, от знака, выражавшего слог im; знаки слогов is и it были почти неразличимы, а ad и at были совершенно одинаковы. Знак, обозначающий слово talis, был немного более наклонным, чем знак qualis; а разница в тиронийских знаках, обозначающих полные слова Ager и Amicus, была едва [заметной](#)<sup>502</sup>.

Древние латинские писатели также использовали ряд знаков для обозначения ударений в словах и количества слогов. Древнейшие авторы, такие как Ливий Андроник и Невий, всегда ставили две гласные, когда слог должен был произноситься [долго](#)<sup>503</sup>. Аттий, великий трагик, был первым, кто отказался от этого обычая; после него, в соответствии с принятой им новой практикой, над долгими гласными ставился определенный знак. Когда и этот обычай (который Квинтилиан клеймит как *ineptissimus*<sup>504</sup>) вышел из употребления, знак часто понимали неправильно, и Функиус приводит несколько примеров искажений и ложных прочтений из-за ошибки переписчиков, которые полагали, что он предназначен для выражения m, n или других [букв](#)<sup>505</sup>.

В дополнение ко всему этому мало внимания уделялось выделению слов и предложений, а искусство пунктуации было несовершенно.

Наконец, что самое главное, орфография латыни была крайне неустойчивой и неопределенной. Мы уже видели в начале этой работы, как она менялась во времена республики, и, по сути, так и не стала фиксированной. Май в своем предисловии неоднократно говорит о странных несоответствиях орфографии в кодексе, содержащем труд Цицерона "De Republica"; а Кассиодор, который из всех своих современников занимался литературой в основном во времена правления варваров в Италии, часто сожалеет о том, что древние римляне оставили свою орфографию, обремененную величайшими трудностями. "Orthographia, - говорит он, - apud Græcos plerumque sine ambiguitate probatur expressa; inter Latinos vero sub ardua difficultate relictā monstratur; unde etiam modo studium magnum lectoris inquirēt."

Вследствие этой диктовки от руки и неопределенной орфографии мы видим, что искажение классики началось очень рано. Девятая сатира Луцилия была направлена против нелепых ошибок переписчиков и содержала правила для большей правильности. Цицерон в своих письмах к брату Квинту горько жалуется на ошибки переписчиков: "De Latinis vero, quo me vertam, nescio; ita mendose et scribuntur, et [veneunt506](#)". Страбон говорит, что в его время книготорговцы нанимали невежественных переписчиков, которые пренебрегали сравнением написанного с образцом; это, добавляет он, имело место во многих произведениях, переписанных с целью продажи, как в Риме, так и в [Александрии507](#). Марциал также предостерегает своего читателя от ошибок, вызванных неточностью и поспешностью продавцов книг и переписчиков, которых они нанимали:

"Si qua videbuntur chartis tibi, lector, in istis,

Sive obscura nimis, sive Latina parum;

Non meus est error: nocuit Librarius illis,

Dum properat versus annumerare [tibi508](#)".

Аулус Геллий неоднократно жалуется на неточность копий в его время: От него мы узнаем, что труды величайших классиков уже были испорчены и фальсифицированы не только случайными ошибками переписчиков, но и преднамеренными извращениями критиков, которые смело изменяли все, что было слишком изящным или поэтичным для их собственного вкуса и [понимания509](#). К многочисленным искажениям в тексте Саллюста он относится [особенно510](#).

[pg A-6].

Практика сокращать большие произведения, особенно истории, и делать из них выписки тоже вредила сохранности MSS. Эта практика, вызванная нехваткой бумаги, началась еще во времена Брута, который делал выписки даже из скудных летописей своей страны. Эти выдержки редко компенсировали оригиналы, но заставляли пренебрегать ими, и в результате они были утеряны.

Также представляется вероятным, что уничтожение сокровищ классической литературы началось в очень ранний период. Библиотека Варро, которая была самым обширным частным собранием книг в Италии, была разрушена и рассеяна, когда его вилла была занята [Антонием511](#); а некоторые из его собственных трактатов, например, адресованный Помпею трактат об обязанностях консула, были безвозвратно утеряны. До появления книгопечатания книги, ввиду их большой нехватки и ценности, в основном накапливались в публичных библиотеках. Некоторые из них сгорели во время пожара, в результате которого в царствование Нерона было сожжено дотла множество [храмов512](#), в частности библиотека в храме Аполлона на Палатинском холме, основанная Августом и содержавшая всех римских поэтов и историков до его эпохи. Это литературное учреждение, восстановленное, насколько это было возможно, Домицианом, во второй раз пострадало от огня; а обширная библиотека Капитолия погибла в пожаре во время правления [Коммода513](#). Если учесть, что в эти периоды копии латинских произведений были немногочисленны и находились в основном в стенах Рима, можно составить некоторое представление о масштабах потерь, понесенных в результате этих последовательных пожаров.

Начиная со знаменательной эпохи смерти Пертинакса, краткое правление каждого последующего императора заканчивалось убийствами, гражданскими войнами и революциями. Императорский трон заполняли солдаты удачи, которые приходили, как тени, и, как тени, уходили. Рим в конце концов перестал быть постоянной и привычной резиденцией государей, которые теперь обычно были заняты на расстоянии в поле, чтобы отразить иностранных врагов или подавить узурпаторов. Несомненно, что в этот период многие из лучших памятников искусства были разрушены, а некоторые из самых великолепных произведений архитектуры изуродованы, но вряд ли можно предположить, что хрупкая структура пергамента или папируса должна была устоять перед ударом внезапного разрушения или постепенного заплесневения от небрежения.

Но главные разрушения произошли после того, как Константин перенес резиденцию империи. Утрату многих классических произведений в ту эпоху приписывают главным образом нашествию северных варваров, но в не меньшей степени она была вызвана слепым рвением первых христиан. Многие публичные библиотеки располагались в храмах, и поэтому они больше подвергались ярости прозелитов новой веры. Это опустошение началось в Италии в IV веке, еще до того, как варвары проникли в сердце империи; в том же веке, если верить Сульпицию Северу, епископ Мартин предпринял крестовый поход против храмов [галлов](#)<sup>514</sup>. Святой Августин, святой Иероним и Лактанций, правда, хорошо знали классику, но считали ее чем-то вроде запретного плода, а святой Иероним, как он сам сообщает, был выпорот ангелом за то, что читал Плавта и [Цицерона](#)<sup>515</sup>. Следующий, или пятый, век ознаменовался первым взятием Рима и его последовательными опустошениями Аларихом, Гензерихом и Атиллой. Во второй половине века был разграблен и Милан, который, наряду с Римом, был главным хранилищем книг в Италии.

Монашество, которое в своем первом учреждении, особенно на востоке, было столь разрушительным для литературных произведений, стало, когда оно более продвинулось вперед, главной причиной их сохранения. Когда в начале шестого века монахи объединились в некое подобие гражданского союза по установленным правилам святого Бенедикта, это учреждение способствовало если не распространению литературы, то, по крайней мере, ее сохранению. В постановлениях святого Бенедикта не было запрета на чтение классических трудов, как в постановлениях святого Исидора: и следствием этого было то, что везде, где какой-либо аббат или даже монах имел вкус к [pg A-7] письмам, книги вводились в монастырь. Мы имеем замечательный пример этого на примере Кассиодора, чей гений, образованность и добродетель пролили свет на один из самых мрачных периодов итальянской истории. После выдающихся заслуг в качестве государственного министра во время правления Теодориха и регентства Амаласунты, в 540 году, когда ему исполнилось семьдесят лет, он удалился в монастырь Монте-Казино, расположенный в самом восхитительном месте, недалеко от места его рождения, в Калабрии. Там он стал столь же полезен для литературы, как и для государства, и монастырь, в котором он поселился, заслуживает того, чтобы быть упомянутым первым в любой будущей истории сохранения классики. До своего вступления в монастырь он обладал обширной библиотекой, которой обогатил [обитель](#)<sup>516</sup>; впоследствии он пополнил ее за счет коллекции СМС, которые по его приказу были привезены к нему из разных уголков Италии. Сохранился его приказ одному монаху достать для него трактат Альбина "О музыке", что показывает, что его коллекция не ограничивалась богословскими трактатами, а его работа "De Artibus ac Disciplinis liberalium Literarum" является убедительным свидетельством его классической образованности и того значения, которое он ей придавал. В его библиотеке были, по крайней мере, Энний, Теренций, Лукреций, Варро, Цицерон и [Саллюст](#)<sup>517</sup>. Монахи его монастыря были

привлечены им к переписыванию рукописей; в своем труде "De Orthographia" он не преминул дать подробные указания, как правильно и легко копировать.

Таким образом, собрав обширную библиотеку, распространяя копии древних СМС, давая устные наставления, читая письменные лекции и сочиняя объемистые труды, он завершил долгую и достойную жизнь на службе религии и образованию.

Примеру Кассиодора последовали и в других монастырях. Примерно через полвека после его смерти Колумбан основал монастырь бенедиктинцев в Боббио, городе, расположенном среди северных Апеннин. Это религиозное общество, как сообщает нам Тирабоски, отличалось не только святостью нравов, но и культивированием литературы. Очень удачно, что теперь были созданы хранилища для книг, ведь в противном случае сокровища классической литературы в Италии, скорее всего, погибли бы во время войн Белисария, Нарсеса и нашествия Тотилы. Именно в эпоху Кассиодора, то есть в начале и середине VI века, Тирабоски относит серьезное и систематическое начало переписывания [классики](#)<sup>518</sup>. Он упоминает имена некоторых из самых выдающихся переписчиков; но более полный список был ранее представлен [Фабрицием](#)<sup>519</sup>.

В лице Григория Великого, который был папой в конце VI - начале VII века, литература, согласно распространенному мнению, обрела на западе врага, столь же пагубного для ее интересов, каким был халиф Омар на востоке. Этому понтифика обвинили в сожжении классической библиотеки, а также некоторых ценных работ, которые заменили те, что ранее были уничтожены в Палатинской библиотеке. Иоанн Солсберийский - единственный авторитет для этого обвинения; и даже он, живший через шесть веков после Григория, упоминает о нем только как о предании и сообщении: "Fertur Beatus Gregorius bibliothecam combussisse gentilem, quo divinæ paginæ gratior esset locus, et major auctoritas, et diligentia studiosior<sup>520</sup>"; и еще: "Ut traditur a majoribus, incendio dedit probatæ lectionis scripta, Palatinus quæcunque tenebat [Apollo](#)<sup>521</sup>". Кардан сообщает нам, что Григорий также приказал сжечь пьесы Невия, Энния и Афрания. То, что он подавлял произведения Цицерона, основывается на отрывке из эдикта, опубликованного Людовиком XI, датированного 1473 годом и процитированного Лироном в его "Историческом сингуляритете" <sup>522</sup>. Святой Антоний, который был архиепископом Флоренции в середине XV века, цитируется Воссием как древнейший автор, утверждавший, что он сжег десятилетия [Ливия](#)<sup>523</sup>. Эти обвинения были решительно поддержаны [Брукером](#)<sup>524</sup>, в то время как Тирабоски, с другой стороны, постарался защитить память понтифика от всех подобных [обвинений](#)<sup>525</sup>. Байль [pg A-8] занял благоразумный [нейтралитет](#)<sup>526</sup>. [Дендина](#)<sup>527</sup> и [Гингенз](#)<sup>528</sup>, самые последние авторы, которые затрагивали эту тему, похоже, считают вопрос, после всего, что было написано по нему, все еще сомнительным, и вряд ли он получит дальнейшее разъяснение. Несомненно, Григорий не любил классическую, или профанную, литературу из-за оракулов, идолопоклонства и обрядов, с которыми она связана, и запретил ее изучение [духовенству](#)<sup>529</sup>; отсюда, возможно, и возникли сообщения о том, что он умышленно уничтожил сохранившиеся библиотеки и книги Рима.

В течение двух столетий, последовавших за смертью Григория, Италия была разделена между греками и лангобардами и раздиралась духовными противоречиями. Самым многочисленным и варварским племенем, перешедшим через Альпы, были лангобарды, которые пришли в Италию под предводительством своего короля Альбоина в 568 году, сразу после смерти Нарсеса. Это было уже не племя или армия, вторгшаяся в Италию, а целый народ, состоящий из стариков, женщин и детей, покрывший ее равнины. Эта невежественная и свирепая раса распространилась от Альп до Рима в течение седьмого и восьмого веков. И хотя сам Рим избежал лангобардского владычества, только ужасы вечной

осады могут передать адекватное представление о его бедственном положении. Вражда лангобардских вождей, их войны с греками, которые все еще оставались хозяевами Рима, и в конце концов с франками (все эти состязания сопровождались пожарами и резней) превратили сад на полуострове в [пустыню](#)<sup>530</sup>. До сих пор суеверные чувства северных орд внушали им некоторое уважение к сакральному порядку, который они нашли установленным в Италии. Почитание личности священника распространялось и на безопасность его имущества, и в то время как дворец и замок были объаты пламенем, монастырь избежал святотатства. Но лангобарды распространили свою ярость на предметы, которые их грубые предшественники обычно уважали, и теперь образование подверглось нападению в самой уязвимой части. Среди всеобщего разрушения не пощадили монастыри и их библиотеки; вместе с другими лангобардами была разграблена библиотека Монте-Казино, одна из самых ценных и обширных в [Италии](#)<sup>531</sup>. Некоторые книги, сохранившиеся при разграблении библиотек, были унесены этими захватчиками на родину, а некоторые были спасены монахами, искавшими убежища в других королевствах, что объясняет количество классических СМС, обнаруженных впоследствии во Франции и [Германии](#)<sup>532</sup>.

На фоне разрушения вкуса и письма в эти века, вероятно, было сделано лишь несколько новых копий с сохранившихся тогда MSS. Однако некоторые классические произведения все же были спасены и остались в монастырских библиотеках. Ансперт, который был аббатом Беневента в восьмом веке, заявляет, что никогда не изучал Гомера, Цицерона или Вергилия, из чего следует, что они все еще сохранялись и были доступны для его [ознакомления](#)<sup>533</sup>.

Разделение Италии между лангобардами и греками продолжалось до конца VIII века, когда Карл Великий положил конец королевству первых и основал свою империю. Был ли этот монарх сам претендентом на звание ученого, более чем сомнительно; но независимо от того, обладал он образованностью или нет, он был щедрым покровителем тех, кто ею обладал. Он собрал вокруг своего двора тех, кто отличался талантами и эрудицией; он основал школы и назначил пенсию ученым; он также основал своего рода Академию, главой которой был Алкуин, и в которой каждый принимал священное или классическое прозвище. Это способствовало умножению классических списков, и многие из них нашли место в императорской библиотеке, о которой упоминает Эгинхард. Карл Великий также основал монастырь Фульда, и, как следствие, копии этих СМС попали в Германию в начале IX [века](#)<sup>534</sup>. В его эпоху были популярны в основном более поздние латинские писатели, такие как Боэций, Макробий и Капелла; но Вергилий, [pg A-9] Цицерон и Ливий не были неизвестны. Поэтический рассказ Алкуина о библиотеке в Йорке, основанной архиепископом Эгбертом, первым библиотекарем которой он был, дает нам некоторое представление об обычном содержании библиотек того времени.

"Illic invenies veterum vestigia patrum;

Quicquid habet pro se Latio Romanus in orbe,

Græcia vel quicquid transmisit clara Latinis".

Затем, перечислив труды всех отцов, которые занимали место в библиотеке, он переходит к своему каталогу.

"Historici veteres, Pompeius, Plinius, ipse

Acer Aristoteles rhetor, atque Tullius ingens;

Quid quoque Sedulius, vel quid canit ipse Juvencus,

Alcuinus, et Clemens Prosper, Paulinus orator;

Quid Fortunatus vel quid Lactantius edunt.

Quæ Maro Virgilius, Statius, Lucanus et auctor,

Artis grammaticæ vel quid scripsere magistri".

Но хотя библиотеки существовали и в других странах, Италия всегда содержала наибольшее количество классических СМС. В IX веке Лупус, получивший образование в Фульде, а затем ставший аббатом Феррьера, монастыря в Орлеануа, просил папу Бенедикта III прислать ему Цицерона Ораторского и Квинтилиана, частями которых он владел, но не имел ни одного [полного](#)<sup>535</sup>; а в другом письме он просит из Италии копию [Суетония](#)<sup>536</sup>. Ряд его писем дает нам благоприятное впечатление о состоянии профанной литературы в его время. В первом же письме к Эйнхарту, который был его наставником, он цитирует Горация и "Тускуланские вопросы". Вергилий неоднократно цитируется в его посланиях, а строки Катулла являются привычным авторитетом в отношении правильного количества слогов. Лупус не ограничился простой транскрипцией текстов. Он приложил немало усилий для исправления текстов, о чем свидетельствует его письмо Ансбальду, аббату Прума, где он признается, что получил от него копию посланий Цицерона, которая позволила бы ему исправить те их списки, которыми он сам [обладал](#)<sup>537</sup>.

В монастырях существовало правило, согласно которому те, кто вступал в монашескую жизнь, должны были каждый день несколько часов заниматься ручным трудом; но поскольку все не были способны к занятиям, требующим больших телесных нагрузок, многие монахи выполняли свои обязанности, переписывая рукописи. Таким образом, в IX веке переписывание стало любимым занятием, и аббаты всячески поощряли [его](#)<sup>538</sup>. В каждом большом монастыре была квартира под названием Скрипторий, в которой писатели занимались переписыванием книг, которые считались подходящими для библиотеки. Главы монастырей брали друг у друга классические книги и, переписав, [возвращали](#)<sup>539</sup>. - Таким образом, книги замечательно умножались. Библиотеки стали постоянным приложением к монастырям и в Италии больше нигде не существовали. В этот период мы не слышим ни о королевских, ни о частных библиотеках. Среди священников и приходского духовенства было мало информации, и почти каждый образованный человек был членом монастыря.

Но в то время как в монастырях увеличивалось количество СМС, в то же время в течение этого столетия существовало множество противодействующих причин, которые сделали их более скудными, чем они могли бы быть в противном случае. Во время норманнского нашествия монастыри стали главным объектом грабежа. Со времени завоевания Александрии сарацинами в седьмом веке, когда египетский папирус почти перестали ввозить в Европу, и до конца десятого, когда, похоже, появилось искусство делать бумагу из хлопковых тряпок, не было никаких материалов для письма, кроме пергамента, вещества слишком дорогого, чтобы его можно было с готовностью использовать только для литературных [целей](#)<sup>540</sup>. Нехватка бумаги также не только препятствовала увеличению [pg A-10] классических рукописей, но и привела к потере некоторых из них, существовавших в то время, поскольку символы были удалены, чтобы освободить место для более любимой продукции. Монахи-переписчики имели обыкновение сдирать поверхность пергаментных манускриптов или стирать чернила химическим способом, чтобы приспособить их к трудам какого-нибудь христианского автора; таким образом, в результате необычной и фатальной метаморфозы классика часто превращалась в пустую гомилию или монастырскую легенду. О том, что многие ценные произведения античности погибли таким образом, свидетельствует множество обнаруженных MSS, явно написанных на стертых пергаментах. Так, фрагменты

"Ораций" Цицерона, недавно найденные в Амброзианской библиотеке, были частично стерты, чтобы освободить место для трудов Седулия и Актов Халкидонского собора; а трактат Цицерона "Республика" был вычеркнут, чтобы получить комментарий святого Августина к Псалмам.

Десятое столетие принято считать веком глубочайшей тьмы на западе Европы. В его течение Италия была объединена Отто I. с Германской империей и раздираема гражданскими противоречиями. Муратори подробно рассказывает о разграблении итальянских монастырей, которое было следствием этих волнений, и о нашествии гуннов в 899<sup>541</sup> году. Однако Италия по-прежнему оставалась великим хранилищем классических рукописей, и в этой стране их время от времени искали с особой жадностью. Герберт, ставший папой в последнем году десятого века под именем Сильвестра II, не жалел ни сил, ни средств на приобретение транскрипций MSS. Этот необычный человек, движимый жаждой науки, рано покинул свой дом и страну: он побывал в разных странах Европы, но именно в Испании, тогда частично подвластной арабам, он получил возможность удовлетворить свой математический талант и стремление к общей информации. Будучи не менее готовым к общению, чем к приобретению знаний, он основал школу по возвращении в Италию и значительно увеличил библиотеку в Боббио, в Ломбардии, в аббатство которого он был назначен. Будучи архиепископом Реймса во Франции, это королевство испытало на себе последствия его просвещенного рвения. Во время своего папства, полученного для него его учеником Отто III, он упорно продолжал любить учебу. В его щедрости к ученым, в трате средств на оплату труда переписчиков, а также на исследование хранилищ, в которых еще можно было найти заплесневелые реликвии древнего образования, прослеживается либеральность, граничащая с изобилием. "Nosti, - говорит он в одном из своих посланий монаху Райнальдо, - quanto studio librorum exemplaria undique conquiram; nosti quot scriptores in urbibus, aut in agris Italiæ passim habeantur. Age ergo, et te solo conscio, ex tuis sumptibus fac ut mihi scribantur Manilius de Astronomia, et Victorinus. Spondeo tibi, et certum teneo quod, quicquid erogaveris, cumulatim remittam<sup>542</sup>." Исчерпав таким образом Италию, Сильвестр направил свои исследования в страны за Альпами, о чем мы узнаем из его письма к Эгберту, аббату Тура. - "Cui rei preparandæ bibliothecam assidue comparo; et sicut Romæ dudum, et in aliis partibus Italiæ, in Germaniâ quoque, et Belgicâ, scriptores auctorumque exemplaria multitudine nummorum redemi; adjutus benevolentia et studio amicorum comprovincialium: sic identidem apud vos per vos fieri sinite ut exorem. Quos scribi velimus, in fine epistolæ designabimus<sup>543</sup>". Этот список, однако, не напечатан ни в одном из изданий "Писем Герберта", с которыми я имел возможность ознакомиться.

Таким образом, получается, что ревностные поиски классиков и их успешные открытия велись задолго до эпохи Поджо или даже Петрарки; но между разными странами было так мало общения, а монахи были так мало знакомы с сокровищами своих собственных библиотек, что классический автор мог считаться потерянным в Италии, хотя и был знаком нескольким ученым людям и все еще тайлся во многих монастырях.

Герберт, до своего возведения в понтификат, был, как уже упоминалось, аббатом Боббио; каталог библиотеки этого монастыря, составленный Муратори, можно взять за образец описания и объема классических сокровищ, содержащихся в лучших монастырских библиотеках X века. Хотя коллекция, несомненно, состоит в основном из произведений святых и отцов, в одном томе мы находим Персия, Валерия Флакка и Ювенала. [pg A-11] В списке также перечислены "Тописка" Цицерона и его катилинарные орации, Марциал, части Авзония и Плиния, первая книга Лукреция, четыре книги Клавдиана, столько же Лукана и две книги Овидия<sup>544</sup>. Монастырь Монте-Казино, в котором, как мы видели, жил Кассиодор,

отличался примерно в тот же период своей классической библиотекой. "Монахи Казино в Италии, - отмечает Уортон, - до 1000 года отличались не только знанием наук, но и вниманием к учености и знакомством с классиками. Их ученый аббат, Дезидерий, собрал лучших римских писателей. Это братство не только сочиняло научные трактаты по музыке, логике, астрономии и витрувианской архитектуре, но и тратило часть своего времени на переписывание Тацита, Иорнанда, "Фастов" Овидия, Цицерона, Сенеки, Доната-грамматика, Вергилия, Феокрита и Гомера".

В одиннадцатом веке, когда бенедиктинцы вызвали скандал своей пышностью и роскошью, карфуцианский и цистерцианский ордена привлекли внимание и восхищение самоотверженной аскезой; но они ценили себя не меньше бенедиктинцев за изящество своих классических транскрипций; и примерно в тот же период в Италии впервые начались переводы с классического языка на *Lingua volgare*.

В конце одиннадцатого века начались крестовые походы, и на протяжении всего двенадцатого столетия они занимали умы общественности, исключая почти все другие предметы и занятия. Школы и монастыри были охвачены этой религиозной и военной манией: Все оседлые занятия были приостановлены, а на каждое начинание, которое не способствовало распространению заразы времени, накладывалось клеймо позора.

Примерно в середине XIII века, после смерти императора Фридриха II, Италия впервые была разделена на ряд мелких суверенитетов, не связанных между собой никакой системой общего союза, кроме номинальной верности императору. Это разделение, хотя и вызвало соперничество в оружии, также породило определенную степень подражания в обучении. Было создано множество университетов для изучения теологии и проведения схоластических диспутов; и хотя классика не распространялась публично, она существовала в стенах монастыря и была хорошо известна ученым людям того времени. Брунетто Латини, учитель Данте и автор "Тезоро", перевел на итальянский язык несколько ораций Цицерона, некоторые части его риторических сочинений и значительную часть [Саллюстия](#)<sup>545</sup>. Данте в своем *Amoroso Convito* часто цитирует Ливия, Вергилия и *Cicero de Officiis*; а Мехус упоминает различные переводы Сенеки, Овидия и Вергилия, которые были выполнены в эпоху Данте и которые он видел в списках в различных библиотеках [Италии](#)<sup>546</sup>.

Однако именно Петрарка в XIV веке возглавил работу по извлечению классиков из подземелий, где они до сих пор находились, и представлению их света и славы взорам людей. Пользуясь репутацией создателя самого мелодичного и поэтичного языка Европы, Петрарка приобрел еще более высокий титул славы благодаря своим успешным усилиям по пробуждению своей страны от дремоты невежества, которая грозила стать вечной. В ранней юности, вместо сухих и унылых произведений, которые в то время составляли общее чтение, он пристрастился к чтению Вергилия и Цицерона; и когда он впервые начал свою эпистолярную переписку, он решительно выразил желание, чтобы их слава возобладала над авторитетом Аристотеля и его комментаторов; и заявил о своей вере в высокие преимущества, которыми будет пользоваться мир, если монашеская философия уступит место классической литературе. Петрарка, как явствует из его писем, был самым усердным собирателем и реставратором древних рукописей, которые когда-либо существовали. В этом он был энтузиастом, как и во всем остальном, что заслуживало энтузиазма - любви, дружбе, славе, патриотизме и религии. Он никогда не проходил мимо старого монастыря, не обыскав его библиотеку, и не знал ни одного друга, отправлявшегося в те кварталы [pg A-12], где, как он предполагал, должны быть спрятаны книги, без уговоров достать для него какой-нибудь классический MS. Очевидно, что он появился как раз вовремя, чтобы уберечь от полного разрушения многие из заплесневелых останков классической древности и возбудить в своих

соотечественниках желание сохранить эти сокровища, когда их удовлетворение было накануне того, чтобы стать навсегда неосуществимым. В юности он видел несколько ныне утраченных трактатов Цицерона и великий труд Варро "Rerum Divinarum et Humanarum"<sup>547</sup>, который навсегда исчез из мира; и вполне вероятно, что если бы не появился кто-то, наделенный его пылкой любовью к письму и неутомимой исследовательской деятельностью, многие подобные работы, которыми мы наслаждаемся сейчас, вскоре канули бы в Лету.

Примерно в тот же период Боккаччо также собрал несколько латинских MSS и скопировал те, которые не смог приобрести. Он переписал так много латинских поэтов, ораторов и историков, что кажется удивительным, если бы переписчик по профессии сделал так много. Во время путешествия в Монте-Казино, место, которое принято считать необычайно богатым книгами, он был поражен и огорчен, обнаружив, что библиотека изгнана из монастыря в сарай, куда можно было попасть только по лестнице. Он открыл многие книги и обнаружил, что большая часть надписей стерлась от сырости. Его горе усугубилось, когда монахи рассказали ему, что, когда им нужны были деньги, они стирали древнее письмо, писали псалтыри и легенды на пергаменте, а новые списки продавали женщинам и [детям](#)<sup>548</sup>.

Но хотя в XIV веке копии классиков множились и становились все более доступными миру, и хотя некоторые из них были сделаны руками Петрарки и Боккаччо, в целом транскрипции были гораздо менее точными, чем в прежние времена. Латинский язык, получивший большую устойчивость, чем можно было ожидать, благодаря посвящению в служители церкви, теперь превратился в мертвый язык, и многие переписчики не понимали того, что писали. Еще больше ошибок, чем те, которые были вызваны невежеством, было вызвано самонадеянностью претендентов на образованность, которые часто поддавались искушению изменить текст, чтобы приспособить его смысл к своим собственным слабым способностям и несовершенному вкусу. В то время как было легко найдено средство от грубого недосмотра или пренебрежения невежд и лентяев, заменяющих одну букву другой или вставляющих слово без смысла, ошибки, влияющие на смысл автора, которые были внесены таким образом, были худшего рода и в основном способствовали созданию той массы различных чтений, на которых так часто упражнялась проницательность современных ученых. В одном из отрывков трактата Колуччо Салютати "De Fato", опубликованном аббатом Мехусом, подробно описаны различные способы, с помощью которых переписчики испортили [MSS](#)<sup>549</sup>. До такой степени дошло это искажение, что Петрарка, говоря о переписчиках своего времени и тех, что непосредственно предшествовали ему, спрашивает: "Quis scriptorum inscitiae medebitur, inertiaeque corrumpenti omnia ac miscenti? Ne quaero jam aut queror Orthographiam, quae jam dudum interiit; qualitercunque utinam scriberent quod jubentur. An si redeat Cicero aut Livius, ante omnes Plinius Secundus, sua scripta religentes intelligent?" Колуччо Салютати так хорошо понимал вред, наносимый письму невежеством или небрежностью переписчиков, что в качестве меры борьбы с этим злом он предложил повсеместно создавать публичные библиотеки, руководство которыми должно быть поручено ученым людям, которые могли бы тщательно сверять доверенные им рукописи и определять наиболее правильные [чтения](#)<sup>550</sup>. Этой работе, а также выявлению поддельных произведений, которых по разным причинам стало распространяться множество, Колуччо посвятил значительную часть своего времени и занятий. Его план создания публичных библиотек не удался, но он собрал частную, которая в ту эпоху уступала только библиотеке Петрарки. Значительную классическую библиотеку, хотя и состоящую в основном из поздних классиков, в частности Сенеки, Макробия, Апулея и Суетония, собрал Тедальдо де Каза, чьи книги с многочисленными примечаниями и правками, сделанными его собственной рукой, были осмотрены аббатом Мехусом в библиотеке Санта-Кроче во [Флоренции](#)<sup>551</sup>.

Путь, открытый Петраркой, Боккаччо и Колуччо Салютати в XIV веке, в следующем столетии с удивительным усердием и успехом продолжили Поджио Браччолини, Филельфо, и Амброзио Травер [pg A-13] сари, аббат Камальдоли, под руководством и покровительством семьи Медичи и Никколо Никколи.

Из всех ученых людей своего времени Поджио, кажется, с наибольшим усердием посвятил себя поиску классических MSS. Ни трудности путешествия, ни равнодушие глав монастырей к его литературным изысканиям не могли ослабить его рвения. Его пыл и старания, к счастью, увенчались полным успехом. Количество списков, обнаруженных им в разных частях Европы в течение почти пятидесяти лет, останется неизменным доказательством его неустанной настойчивости и проницательности в этих поисках. Проведя молодость в путешествиях по разным странам, он в конце концов поселился в Риме, где продолжал оставаться секретарем на службе у восьми сменявших друг друга понтификов. В этом качестве он в 1414 году сопровождал папу Иоанна XXIII на Констанцкий собор, который открылся в том же году. Проживая в Констанце, он совершил несколько экспедиций, наиболее интересных для писем, в перерывах между отдыхом во время судебных процессов над Жаном Гусом и Иеронимом Пражским, которые он официально возглавлял. Главной его экскурсией была поездка в монастырь Святого Гала, расположенный в двадцати милях от Констанца, где, по его сведениям, он мог найти некоторые списки древнеримских писателей<sup>552</sup>. Первые аббаты и многие из первых монахов Сен-Гала были изначально переведены в этот монастырь из литературного заведения, основанного Карлом Великим в Фульде. Верембер и Гельперик, отправленные в Сен-Гал из Фульды в IX веке, привнесли в свое новое место жительства сильный вкус к письму и практику переписывания классиков. Изучая "Историю литературы Франции", составленную бенедиктинцами, мы обнаруживаем, что ни один монастырь в средние века не породил столько выдающихся ученых, как Сен-Галь. В этом знаменитом монастыре, который, по выражению Тенхове, так долго был общежитием муз, Поджио обнаружил несколько ценнейших классиков - правда, не в библиотеке монастыря, а покрытых пылью и грязью и гниющих на дне подполья, куда, по его собственному рассказу, не бросили бы ни одного преступника, приговоренного к смерти<sup>553</sup>. Это свидетельствует о том, что, как бы ни заботились монахи о классических книгах в свое время, впоследствии ими стали постыдно пренебрегать.

Заслуги Амброзио из Камальдоли в области литературы уступали только заслугам Поджо. Амброзио родился в Форли в 1386 году и был учеником Эммануила Хризолораса. В возрасте четырнадцати лет он поступил в монастырь Камальдоли во Флоренции, а через тридцать лет стал настоятелем его ордена. В добром примирительном расположении Амброзио, проявившемся в том, что он поддерживал непрерывную дружбу с Никколо Никколи, Поджо и Филельфо и умерил ссоры этих вспыльчивых литераторов, - в его ревности к священным интересам, дисциплине и чистоте своего монастыря, и, наконец, в его восторженной любви к письму, в которой он уступал только Петрарке, мы видим ярчайший образец монашеского характера, память о котором дошла до нас из средних веков. Хотя Амброзио в основном находился в стенах монастыря, он имел, пожалуй, лучшие претензии из всех людей своего возраста на звание ученого. Вся ранняя часть его жизни, а также досуг в конце ее, были заняты сбором древних рукописей из всех мест, где их можно было достать, и поддержанием постоянной переписки с самыми выдающимися людьми своего века. Его письма, опубликованные в 1759 году во Флоренции с длинным предисловием и житием аббата Мехуса, содержат самую полную информацию, которую только можно найти о восстановлении древних классических рукописей и состоянии литературы во Флоренции в пятнадцатом веке.

Из этих посланий следует, что хотя монахи, безусловно, способствовали сохранению драгоценных реликвий классической древности, их скупость и фанатизм теперь скорее мешали проведению исследований, предпринятых с целью извлечения их на свет. Они были заинтересованы в том, чтобы сохранить эти сокровища при себе, потому что препятствовать распространению знаний было максимой их политики, а расшифровка MSS была для них источником значительного дохода. Поэтому они часто ставили препятствия на пути запросов ученых, которые были вынуждены прибегать к различным ухищрениям, чтобы извлечь классические MSS. из тайников [монастыря554](#).

[pg A-14].

Усилия Поджо и Амброзио, однако, стимулировались и поддерживались щедрым покровительством многих богатых людей того времени, которые не жалели средств на возмещение и вознаграждение тех, кто проводил успешные исследования этих излюбленных объектов поиска. "До такого энтузиазма, - говорит Тирабоски, - было доведено это желание, что ради древнего MS. предпринимались долгие путешествия, взымались сокровища и разжигалась вражда; и открытие книги считалось почти равносильным завоеванию королевства".

Самыми ревностными поборниками этих исследований и наиболее рьяными коллекционерами MSS. в XV веке были кардинал Урсини, Никколо Никколи и семья Медичи.

Никколо Никколи, который был скромным гражданином Флоренции, посвятил все свое время и состояние приобретению древних MSS. В этом деле он добился значительных успехов, собрав 800 томов, большая часть которых содержала римских авторов. Поджо в своей погребальной оратории Никколо свидетельствует о его либеральности и усердии и приписывает успешное открытие стольких классических MSS поощрению, которое он оказал. "Quod autem, - говорит он, - egregiam laudem meretur, summam operam, curamque adhibuit ad pervestigandos auctores, qui culpâ temporum perierant. Quâ in re verè possum dicere, omnes libros fere, qui noviter tum ab aliis reperti sunt, tum a me ipso, qui integrum Quintilianum, Ciceronis nostri orationes, Silium Italicum, Marcellinum, Lucretii partem, multosque præterea e Germanorum Gallorumque ergastulis, meâ diligentîâ eripui, atque in lucem extuli, Nicholai suasu, impulsu, cohortatione, et pæne verborum molestiâ esse Latinis literis [restitutos555](#)." Некоторые из этих классических произведений Никколо переписал своей рукой, причем с большой точностью, после того как получил [их556](#). Манускрипты, написанные его рукой, были давно известны и отличались красотой и четкостью знаков. Он также не довольствовался простым переписыванием: Он усердно занимался исправлением ошибок в переданных ему MSS и расстановкой текста в надлежащем порядке. "Quum eos auctores, - говорит Мехус, - ex vetustissimis codicibus exscriberet, qui suo potissimum consilio, aliorum vero operâ inventi sunt, non solum mendis, quibus obsiti erant, expurgavit, sed etiam distinxit, capitibusque [locupletavit557](#)". Так рассуждал Никколо в этом виде правки, что Полициан всегда очень доверял своим [копиям558](#); и, действительно, из стихотворения, адресованного ему в свое время, следует, что он тщательно сопоставил различные MSS одной и той же работы, прежде чем переписать свою собственную копию.

"Ille hos errores, unâ exemplaribus actis

Pluribus ante oculos, ne postera oberret et ætas,

Corrigit."

До времен Никколо единственными библиотеками, имевшими хоть какое-то значение и ценность в Италии, были библиотеки Петрарки, Колуччо Салютати и Боккаччо. Книги, принадлежавшие Петрарке и Колуччо, были проданы или разошлись после смерти их прославленных владельцев. Библиотека Боккаччо была завещана им религиозному ордену, Отшельникам Святого Августина; Никколо отремонтировал и привел в порядок эту библиотеку, чтобы она могла использоваться монастырем, и построил для ее приема соответствующий зал<sup>559</sup>. Кроме того, Никколо был первым человеком в современную эпоху, которому пришла в голову идея создания публичной библиотеки. Перед смертью, которая случилась в 1437 году, он распорядился, чтобы его книги были переданы в общественное пользование; для этой цели он назначил шестнадцать кураторов, среди которых был Космо Медичи. После его кончины выяснилось, что он сильно задолжал и что его либеральные намерения могут быть сорваны из-за несостоятельности его обстоятельств. Поэтому Космо предложил своим приближенным, что если они передадут ему исключительное право распоряжаться книгами, то он сам погасит все долги Никколо, на что они с готовностью согласились. Получив таким образом исключительное право распоряжаться книгами, он передал их для общественного пользования в доминиканский монастырь Сан-Марко во Флоренции, который сам возвел с огромными затратами<sup>560</sup>. Эта библиотека, некоторое время прославленная под названием Bibliotheca Marciana, или библиотека святого Марка, была [pg A-15] упорядочена и каталогизирована Томмазо да Сарзана Каландрино, в то время бедным, но ревностным ученым из низшего духовенства, а впоследствии папой, по имени Николай V. Здание, в котором хранились книги Никколо, было разрушено землетрясением в 1454 году, Космо перестроил его по такому плану, чтобы вместить более обширное собрание. После этого она пополнялась за счет частных пожертвований граждан Флоренции, которые, подхватив дух царствующей семьи, соперничали друг с другом в размере и стоимости своих даров<sup>561</sup>.

Когда Космо, одержав окончательную победу над своими врагами, был возвращен из изгнания и стал первым гражданином Флоренции, "которой он управлял без оружия и титула", он использовал свои огромные богатства для поощрения ученых людей и собирания под своей крышей останков древних греческих и римских писателей. Его богатство и обширные торговые связи с различными частями Европы и Азии позволили ему удовлетворить подобную страсть больше, чем любому другому человеку. Он предписал всем своим друзьям и корреспондентам искать и приобретать древние MSS на всех языках и по всем темам. Из этих начал возникла знаменитая библиотека Медичи, которая во времена Космо особенно отличалась наличием списков латинских классиков - в частности, полных и точных копий Вергилия, Цицерона, Сенеки, Овидия и Тибулла<sup>562</sup>. После смерти основателя это собрание еще более обогатилось благодаря вниманию его потомков, особенно внука, Лоренцо, при котором оно получило название Медицейско-Лаврентьевской библиотеки. "Если и было какое-то занятие, - пишет биограф Лоренцо, - которым он занимался с большим рвением и упорством, чем остальные, то это было пополнение его коллекций книг и древностей. Его эмиссары были разосланы по всем частям света с целью сбора книг, и он не жалел средств на приобретение для ученых материалов, необходимых для продолжения их исследований<sup>563</sup>". В осуществлении этого благородного замысла ему помогали Ермолао Барбаро и Пауло Кортези; но главным его соратником был Полициан, которому он поручил заботу о своей коллекции и ее упорядочивание, а также совершал через определенные промежутки времени экскурсии по Италии, чтобы обнаружить и приобрести те остатки древности, которые соответствовали целям его покровителя. Во время его последней болезни под присмотром Ласкариса ожидалось большое количество книг. Когда жизненная искра почти угасла, он подозвал к себе Полициана и, схватив его за руку, сказал, что хотел бы дожить до завершения строительства библиотеки<sup>564</sup>.

После смерти Лоренцо часть томов была рассеяна, когда Карл VIII Французский вторгся в Италию; а после изгнания семьи Медичи из Флоренции в 1496 году оставшиеся тома Лаврентьевской коллекции были объединены с книгами в библиотеке Святого Марка.

Лоренцо стремился как можно шире распространить дух литературы, поэтому он разрешил герцогу Урбино, который особенно отличился как покровитель образования, копировать те из своих списков, которыми тот пожелает обладать. Семьи Висконти в Милане, Эсте в Ферраре и Гонзага в Мантуе, воодушевленные славным примером, поданным перед ними, подражали Медичи в покровительстве классической литературе и создании ученых учреждений. "Разделение Италии, - говорит мистер Миллс, - на множество независимых княжеств было обстоятельством, весьма благоприятствующим питанию и распространению образования. В каждом городе был свой государь-меценат. Князья Италии соперничали друг с другом в литературном покровительстве так же, как и в политической власти, и смена власти не влияла на [письма565](#)". Восемь пап подряд нанимали Поджио в качестве своего секретаря, что очень способствовало развитию литературы и сбору рукописей в Риме. Последним понтификом, которому он служил, был Николай V., который до своего возвышения, как мы видели, устроил библиотеку Святого Марка во Флоренции. С юности он проявлял удивительную жадность к копиям древних СМС и необычайную склонность к изящному [pg A-16] и точному переписыванию собственной рукой. Благодаря усердию и образованности, которые он проявлял в школах Болоньи, он добился покровительства многих литературных деятелей. Привязанный к семье кардинала Альбергати, он сопровождал его в нескольких посольствах и редко возвращался, не привезя с собой копии таких древних произведений, которые ранее были неизвестны в Италии. Названия некоторых из них упоминает его биограф, который добавляет, что не было ни одного латинского автора, с трудами которого он не был бы знаком. Это позволило ему быть полезным в организации многих библиотек, сформированных в этот [период566](#). Его продвижение на Папскую кафедру в 1447 году было, в обстоятельствах того времени, особенно благоприятным для дела письма. При содействии Поджио он основал библиотеку Ватикана. Скучная коллекция его предшественников была почти рассеяна или уничтожена частыми переездами из Рима в Авиньон: но Николай с лихвой возместил эти потери; перед смертью он собрал до 5000 томов греческих и римских авторов, и Ватикан, впоследствии увеличенный Сикстом IV и Львом X., стал, как по объему, так и по стоимости, первой библиотекой в мире.

Именно с Поджио можно считать начавшимися занятия, свойственные комментатору, по крайней мере, в том, что касается латинской классики. Поджо жил с 1380 по 1459 год. Его сменил к концу XV века и в течение всего XVI длинный ряд итальянских комментаторов, среди которых высший ранг по праву может быть присвоен Полициану (родился в 1454 г. - умер в 1494 г.) Ему мир в основном обязан исправлениями и разъяснениями текстов римских авторов, которые по разным причинам были, когда их впервые обнаружили, либо испорчены, либо почти нечитаемы. Применяя свои критические таланты, Полициан не ограничивался каким-то одним точным методом, а использовал те, которые, по его мнению, лучше всего соответствовали его цели: в одних случаях он просто сравнивал различные копии, старательно отмечал отклонения, отбрасывал поддельные чтения и заменял их истинными. В других случаях он шел дальше, добавляя схолии и примечания, иллюстрирующие текст, либо на основе собственных предположений, либо авторитета предшествующих авторов. К имени Полициана можно добавить имена его злейшего соперника и современника Георгия Мерула (родился в 1420 г. - умер в 1494 г.); Альда Мануция (1447-1516); его сына Павла; Ландини, автора *Disputationes Camaldulenses* (1424-1504); Филиппа Бироальда (1453-1505); Петра Виктория (1498-1585); Робортеллуса (1516-1567). Большинство этих комментаторов были исключительно вербальными критиками, но это был самый полезный вид критики, который

можно было использовать в тот период, когда они жили. Мы уже видели, что во времена Петрарки классические рукописи были очень неточно переписаны, и поэтому первым долгом комментатора было исправление и очищение текста. Критика общих достоинств автора или красот отдельных отрывков, и даже объяснение полного смысла, выведенного из античности, мифологии, истории или географии, были весьма второстепенными соображениями. Да и знания в то время не были достаточно развиты, чтобы снабжать их подобными иллюстрациями. Грамматика и словесная критика служили крыльцом, через которое нужно было войти в тот храм возвышенности и красоты, который воздвигли древние; и без этого доступа философия никогда бы не просветила буквы, а буквы не украсили бы философию. "Я не могу не думать, - пишет мистер Пейн Найт в своем "Аналитическом очерке о греческом алфавите", - что суждение публики о соответствующих заслугах различных классов критиков особенно пристрастно и несправедливо. Те из них, кто берет на себя обязанность указывать на красоты и выявлять недостатки литературных произведений, вместе с оратором и историком занимают самые высокие места, в то время как те, кто берет на себя более трудоемкую задачу смыть ржавчину и налет времени, и вернуть тем формам и краскам, которые являются объектами критики, их первоначальную чистоту и яркость, деградируют вместе с составителем указателей и антикваром среди пионеров литературы, чье дело - расчищать путь для тех, кто способен на более великолепные и почетные начинания. Тем не менее, если мы проанализируем результаты деятельности этих двух классов критиков, то обнаружим, что первые не принесли никакой пользы, а последние оказали человечеству самые важные услуги. Все люди со вкусом и пониманием знают, исходя из собственных чувств, когда одобрять, а когда не одобрять, и поэтому не нуждаются в наставлениях критика. Но [pg A-17] какими бы ни были вкус и проникательность читателя или гений и способности писателя, ни тот, ни другой не могут проявиться, пока текст остается искаженным из-за ошибок переписчиков и затемненным глоссами невежественных грамматиков. Именно тогда требуется помощь словесного критика; и хотя его труд по препарированию слогов и анализу букв может показаться презренным в своей работе, он окажется важным в своем эффекте". Именно тем ранним критикам, которые смыли ржавчину и налет времени и вернули те формы и цвета, которые являются предметом критики, классическая литература была в основном обязана. Вновь открытое искусство книгопечатания, которое само по себе было порождением всеобщего стремления к литературному совершенствованию и ежедневного опыта трудностей, возникающих при изучении классики, в значительной степени способствовало развитию этого вида полезной критики. По инициативе Лоренцо и других покровителей образования в Италии многие ученые этой страны были вынуждены уделять внимание сверке и исправлению списков древних авторов, чтобы они могли быть представлены в печати с максимально возможной точностью и в своей первоначальной чистоте. Не маловажным стимулом для трудолюбивого ученого было и то, что его комментарии больше не должны были скрываться в недрах нескольких обширных библиотек, но теперь должны были быть выставлены на обозрение человечества и навечно запечатлены на бессмертной странице поэта или историка, чьи произведения он сохранил или разъяснил.

С Фульвиом Урсином, умершим в 1600 году, первая школа итальянских комментаторов может считаться завершенной. В следующем столетии классическая промышленность была направлена главным образом на перевод; а в восемнадцатом веке список выдающихся комментаторов пополнился лишь именем Вульпия, который ввел новый стиль в классическую критику, представив забавное собрание стихов, как древних, так и современных поэтов, которые были параллельны отрывкам его автора, не только в некоторых словах, но и в поэтической идее.

Карьера, которая так славно началась в Италии в конце пятнадцатого века, вскоре была продолжена во Франции и Германии. Юлий Скалигер, уроженец Вероны, получил гражданство во Франции и поселился там в начале XVI века. В этой стране под покровительством Франциска I были введены классические исследования, и продолжалось в его и шесть последующих царствований длинной чередой прославленных ученых, среди которых Турнебус (1512-1565), Ламбринус (1526-1572), семья Стефенов, соперничавшая с итальянскими Мануциями, Мурет (1526-1585), Казобон (1559-1614), Иосиф Скалигер (1540-1609) и Салмасий (1588-1653), отличившиеся иллюстрациями к латинским классикам и более трудными разъяснениями тех исследований, которые помогают и способствуют полному пониманию их смысла и красоты. Наши географические и исторические знания о древнем мире были расширены Чарльзом Стивенсом, его хронология была установлена Скалигером, а весь круг древностей был расширен Салмасиусом. После середины семнадцатого века во Франции появился новый вкус к иллюстрированию классической литературы - более легкая манера и более философский дух. Знаменитые споры о сравнительных достоинствах древних и современных авторов способствовали более популярному изложению классики; а поскольку предводители королевской семьи были на стороне древних, они содействовали знаменитому изданию Дельфина, начатому под эгидой герцога де Монтозье и осуществленному группой ученых иезуитов под руководством Боссюэ и Юэтиуса. Элегантность и вкус были необходимы для обучения молодого французского принца; поэтому вместо глубоких филологических познаний или тщательной подборки материалов к книге прилагались легкие заметки, объясняющие мифологические и исторические аллюзии, содержащиеся в произведениях автора, а также замечания о его наиболее заметных недостатках и достоинствах.

Иосиф Скалигер и Салмасий, французские протестанты, нашли убежище для своих еретических принципов и либеральное вознаграждение за свою ученость в Лейденском университете; вместе с Дюзой (1545-1604) и Юстусом Липсиусом (1547-1606) они стали отцами и основателями классического знания в Нидерландах. Поскольку жители этой территории говорили и писали на языке, плохо приспособленном для выражения оригинальных мыслей, все их силы были направлены на то, чтобы изложить на полотне свои юмористические и величественные концепции или разъяснить труды тех, кто был одарен более благосклонным языком. Эти занятия и исследования продолжили Гейнсиус (1582-1655), Герард и Исаак Воссииус (1577-1689), Гроновиус (1611-1671). В этот период Шревелиус (1615-1664) начал публикацию классиков, cum Notis [pg A-18] Variorum; а в конце семнадцатого века его примеру последовали некоторые из самых выдающихся редакторов. Достоинства этих изданий были очень разными и оценивались по-разному. Морхофф, отдавая должное редакционным работам Гроновиуса и других ученых людей, в которых части комментариев предшественников, разумно извлеченные, давались в полном объеме, предаётся инвективам против других изданий variorum, в которых все было изуродовано и неправильно. "Sane ne comparandæ quidem illi" (издания Альдуса) "sunt ineptæ Variorum editiones; quam nuper pestem bonis auctoribus Bibliopolæ Batavi inducere cœperunt, reclamantibus frustra viris doctis<sup>567</sup>". В XVIII веке Бурманы (1668-1778), Удендорп (1696-1761) и Хаверкамп (1684-1742) продолжали поддерживать честь школы, которая до сих пор не имела аналогов по достоверности, полноте и глубине иллюстраций.

В Германии школа, основанная Карлом Великим в Фульде, и школа в Падерборне долгое время процветали под руководством Мейнверка. Автор "Жизни" этого ученого, рассказывая об этих заведениях, говорит: "Ibi viguit Horatius, magnus atque Virgilius, Crispus et Sallustius, et Urbanus Statius". В девятом веке Рабин Маур, ученик Алкуина и глава соборной школы в Фульде, стал знаменитым учителем; он не пренебрегал светской литературой, когда его

священные уроки были важны. Однако классическое образование впервые основательно пробудилось в Германии благодаря ученым Томаса Кемписа в конце пятнадцатого века. Несколько немецких юношей, объединенных в своеобразное литературное братство, отправились в Италию в то время, когда в этой стране наиболее активно велись поиски классических рукописей. Рудольф Агрикола, впоследствии профессор философии в Вормсе, был одним из самых выдающихся из этих ученых. Живя сразу после изобретения книгопечатания и в то время, когда это искусство еще не полностью вытеснило переписывание списков, он обладал обширной коллекцией этих списков, а также произведений, только что вышедших из-под печатного станка. И то, и другое было проиллюстрировано им различными чтениями на полях; из писем Эразма мы узнаем, какое значение он придавал этим примечаниям и как использовал вариации. Рудольфа сменил Герман фон Буше, который читал лекции по классике в Лейпциге. Он имел в своем распоряжении ряд латинских классиков; но из его писем видно, что некоторые, например Silius Italicus, все еще были ему недоступны, или их можно было достать только с большим трудом. Немецкие ученые не вывели на свет так много MSS. и не размножили их копии, как итальянцы, потому что, по сути, их страна была менее богата, чем Италия, сокровищами, завещанными нам античностью; но они проявили такую же критическую остроту в исправлении ошибок в MSS., которыми они владели. Шестнадцатый век стал эпохой, когда в Германии появились самые ценные и многочисленные комментарии к латинской классике. Эта страна, как и Нидерланды, была просвещена в этот период эрудицией Эразма (1467-1536). В ту же и последующую эпоху Камерариус (1500-1574), Таубманн (1565-1613), Ацидалиус (1567-1595) и Грутерус (1560-1627) обогатили мир одними из лучших изданий классиков, которые до сих пор появлялись. К концу семнадцатого века классическая литература в Германии на некоторое время пришла в упадок - полемическое богословие и религиозные войны в этот период истощили и поглотили внимание ее университетов. Но около середины XVIII века она вновь возродилась благодаря Й. Мату Геснеру (1691-1766). Геснер (1691-1761) и Эрнести (1707-1781), которые создали в Германии эпоху изучения античных авторов. Эти два ученых превосходили всех своих предшественников вкусом, философским духом и широким знакомством со вспомогательными отраслями эрудиции: Они с пользой использовали свои критические знания языков; они обращали внимание сразу на слова и на тему древних писателей, устанавливали и применяли правила законного толкования, тщательно анализировали как смысл, так и форму выражения. Их задача была расширена от слов до вещей; и то, что было названо эстетическими аннотациями, сочеталось с филологическими дискуссиями. "Non volui, - говорит Геснер в предисловии к своему изданию Клавдиана, - commentarios scribere, collectos undique, aut locos communes: Non volui dictionem poetæ, [pg A-19] congestis aliorum poetarum formulis illustrare; sed cum illud volui efficere poeta ut intelligatur, tum iudicio meo juvare volui juniorum iudicium, quid pulchrum, atque decens, et summorum poetarum simile putarem ostendendo, et contra, ea, ubi errâsse illum a naturâ, a magnis exemplis, a decoro arbitrarer, cum fide indicando." Ж. Эрнести считает Геснера бесспорно первым, кто ввел то, что он называет эстетским способом [критики](#)<sup>568</sup>. Но честь быть основателем этой новой школы, возможно, с большей справедливостью, другие приписывают [Хейне](#)<sup>569</sup> (1729-1811). "С середины прошлого века, - отмечается в позднем биографическом очерке о Хейне, - несколько умных филологов Германии проявили более утонченный и философский метод в обращении с различными отраслями классической науки, которые, не пренебрегая ни грамматическим исследованием языка, ни критическим анализом текста, больше не рассматривали греческого или римского писателя как предмет для простого грамматиста и критика; но, рассматривая изучение древних как школу для мысли, чувства и вкуса, посвятили нас в великую тайну чтения каждой вещи в том же духе, в котором она была изначально написана. Они продемонстрировали, как доктриной, так и

примером, каким образом необходимо входить в мысли писателя, настраивать себя в унисон с его особым тоном концепции и выражения, исследовать обстоятельства, под влиянием которых находился его ум, мотивы, которыми он руководствовался, и влияния, которые сотрудничали в придании интенсивности и характера его чувствам. Во главе этой школы стоит Хейне; и следует признать, что ничто так решительно не способствовало поддержанию и развитию изучения классической литературы, как сочетание, которое он осуществил, философии с эрудицией, как в своих комментариях к древним авторам, так и в тех работах, в которых он иллюстрировал различные моменты античности или обсуждал привычки мышления и дух древнего мира." Со времен Хейна почти все великое наследие римской литературы было обработано комментаторами, которые вознесли немцев на неоспоримое первенство среди народов Европы за глубокую классическую образованность и все восхитительные исследования, связанные с литературной историей. Мне достаточно упомянуть имена Цейниуса (1736-1788), Яни (1743-1790), Вернсдорфа (1723-1793); а среди тех, кто еще жив, - Харлес (род. 1738), Шютц (1747), Шнайдер (1751), Вольф (1757), Бек (1757), Доринг (1759), Митшерлих (1760), Ветцель (1762), Геренц (1765), Эйхштедт (1771), Герман (1772).

В то время как классическая литература и топография были так высоко культивированы за рубежом, Англия, в период возрождения литературы, сильно отставала от своих континентальных соседей в разъяснении и публикации драгоценных остатков античного образования. Из книги Эймса "Типографские древности" следует, что пресса наших знаменитых древних печатников, таких как Кэкстон, Винкин де Ворд и Пинсон, редко использовалась для придания точности или украшения произведениям классиков; и действительно, к середине XVI века в этой стране на языке оригинала были опубликованы только "Теренций" и "Канцелярии Цицерона". В семнадцатом веке ситуация ничуть не улучшилась. Ивлин, уделявший большое внимание этому вопросу, в письме к лорду-канцлеру Кларендону, датированном ноябрем 1666 года, дает следующий отчет о состоянии классической типографии и редактуре в Англии: "Наши книготорговцы, - говорит он, - следуют своему собственному суждению, печатая древних авторов в соответствии с тем текстом, который они нашли сохранившимся, когда впервые ввели свою копию; в то время как из MSS., собранных промышленностью более поздних критиков, эти авторы чрезвычайно улучшены. Например, около тридцати лет назад Юстин был исправлен Исааком Воссием во многих сотнях мест, наиболее существенных для смысла и изящества, и с тех пор часто переиздавался в Голландии по более чистой копии, но у нас все еще в соответствии со старым чтением. То же самое касается "Флора", "Трагедий" Сенеки и почти всех остальных, которые тем временем были подвергнуты поношению за границей несколькими учеными руками, что, кроме того, что заставляет отвергать наши и позорит нашу нацию, наносит немалый ущерб обучению и сокровищам нации в пропорции. Причиной этого в основном является то, что канцелярист заключает с печатником настолько жесткую и жестокую сделку, насколько может, а печатник берется за любого, кто хуже владеет языком, чтобы быть менее проигравшим; точность в этом никак не [pg A-20] ing оговорка, благодаря чему ошибки повторяются и множатся в каждом издании570". С того времени, к которому относится это письмо, Бентли, который носит величайшее имя в Англии как критик, пусть даже острый и изобретательный, своими косыми изменениями больше вредил, чем исправлял текст, по крайней мере, тех латинских авторов, которых он комментировал. Он заменял то, что считал лучшим, тем, что находил на самом деле; и таков был его недостаток вкуса, что то, что он считал лучшим (о чем свидетельствуют его изменения в тексте Лукреция), часто разрушало поэтическую идею и почти смысл автора.

Прежде чем перейти к подробному описанию кодексов и изданий произведений ранней классики, упомянутых в тексте, я счел нужным кратко напомнить читателю общие обстоятельства, связанные с утратой и восстановлением классических списков Рима, и напомнить имена нескольких самых знаменитых комментаторов в Италии, Франции, Голландии и Германии. Это сделает следующее Приложение, в котором должны быть постоянные ссылки на открытие MSS. и труды комментаторов, несколько более четким и ясным, чем я мог бы сделать иначе.

## ЛИВИЙ АНДРОНИК, НЕВИЙ.

Фрагменты этих древних писателей столь незначительны, что никому не пришло в голову редактировать их отдельно. Поэтому их можно найти только в общих сборниках всех латинских поэтов, как, например, *Maittaires Opera et Fragmenta Veterum Poetarum Latinorum*, London, 1713. 2 Tom. fo., (к некоторым экземплярам которого был напечатан новый титульный лист с датой, Hag. Comit. 1721;) или в сборниках латинских трагических поэтов, таких как *Syntagma Tragœdiæ Latinæ* Дельрио, Париж, 1620, и *Scriverius' Collectanea Veterum Tragicorum*, Lugd. Bat. 1620. Иначе обстоит дело с

## ЭННИУС,

Как мы уже видели, от его сочинений сохранились более обширные фрагменты, чем от сочинений его предшественников. Все произведения этого поэта были известны еще во времена Кассиодора, но с тех пор не появилось ни одной копии. Однако фрагменты, найденные у Цицерона, Макробия и старых грамматиков, настолько значительны, что их часто собирали вместе и много комментировали. Впервые они были напечатаны в книге Стефана "*Fragmenta Veterum Poetarum Latinorum*", но без должной связи и критики. Людовик Вивес намеревался собрать и упорядочить их, как нам сообщается в одном из его примечаний к "*De Civitate Dei*" святого Августина: но он не дожил до этой [цели](#)<sup>571</sup>. Первым, кто упорядочил эти разрозненные фрагменты, объединил их вместе и отнес к тем книгам, к которым они относились, был Гиер. Колумна. Он принял орфографию, которая, как он установил, изучая древнеримские памятники и надписи, была характерна для латинского языка в эпоху Энния. Он также добавил комментарий и приложил жизнь поэта. Издание, которое он таким образом полностью подготовил, было впервые опубликовано в Неаполе в 1590 году, через четыре года после его смерти, его сыном Иоанном [Колумной](#)<sup>572</sup>. Это издание Энния (*Editio Princeps of Ennius*) очень редкое, но оно было переиздано в Амстердаме в 1707 году под руководством Фр. Хесселиуса. К оригинальному комментарию Колумны добавлены примечания к Эннию, которые были вставлены в сборник латинских трагических поэтов Дельрио и Скриверия, а сам Гесселиус снабдил его очень полным *Index Verborum*. Античные авторы, цитирующие строки из Энния, иногда указывают книгу "Анналов" или название трагедии, к которой они относятся, но иногда эта информация опускается. Поэтому расположение стихов последнего описания (которые отмечены звездочкой в издании Колумны), да и вообще точное расположение всего текста, в значительной степени носит предположительный характер. Соответственно, мы находим [pg A-21], что порядок строк в издании Паулуca Мерулы сильно отличается от принятого Колумной. Материалы для издания Мерулы, включающего только "Анналы" Энния, уже были собраны и подготовлены к тому времени, когда издание Колумны впервые было представлено миру. Мерула, однако, полагал, что, хотя главной целью Колумны было

сравнение и сопоставление строк Энния со строками других героических поэтов, сам он был более счастлив в расположении стихов и восстановлении древней орфографии, которая в издании Мерулы гораздо более древняя, чем в издании Колумны. Он также обнаружил несколько фрагментов "Анналов", неизвестных Колумне, в рукописи сочинения Л. Кальпа. Пизона, писателя эпохи Траяна, озаглавленного *De Continentiâ Veterum Poetarum* и хранящегося в библиотеке Сен-Виктор в Париже. В этих обстоятельствах Мерула не остановило появление издания Колумны, и он продолжил работу над своим собственным, которое в конце концов вышло в Лейдене в 1595 году. То же самое расхождение, которое существует между Колумной и Мерулой в расположении "Анналов", проявляется в совмещении трагических фрагментов, принятых Колумной, и тех, которые предпочел Дельрио в своей "Синтагме трагедий латинских".

Н. Планк опубликовал в Геттингене в 1807 году фрагменты трагедии Энния "Медея". Они включают в себя все стихи, относящиеся к этой драме, собранные Колумной, а также некоторые новые, извлеченные редактором из старых грамматиков. Все они сравниваются с параллельными отрывками из "Медеи" Еврипида. К работе приложены две диссертации: одна - о происхождении и природе трагедии у римлян, другая - о том, написал ли Энний две трагедии или только одну, под названием "Медея". Также прилагается комментарий, в котором, как замечает Фурман, можно найти много, но мало: "Man findet in demselben multa, aber nicht [multum](#)<sup>573</sup>".

Некоторые прекрасные отрывки из фрагментов Энния были заполнены, а старые чтения исправлены благодаря недавнему открытию работы "De Republicâ" Цицерона, который всегда цитирует древних поэтов. Так, отрывок из "Анналов", где римский народ оплакивает смерть Ромула, в издании Колумны выглядит следующим образом

-- "O Romole, Romole, dic ô

Qualem te patriæ custodem dii genuerunt,

Tu produxisti nos intra luminis oras,

O pater, ô genitor, ô sanguen diis oriundum".

Этот фрагмент может быть дополнен, а стихи упорядочены и исправлены на основе цитаты из первой книги *De Republicâ*-

"Pectora pia tenet desiderium; simul inter

Sese sic memorant-O Romule, Romule die,

Qualem te patriæ custodem di genuerunt,

O pater, ô genitor, ô sanguen dîs oriundum!

Tu produxisti nos intra luminis oras".

Фрагменты "Анналов Энния" в том виде, в каком их изложил Мерула, были переведены на итальянский язык Бернардо Филиппини и опубликованы в Риме в 1659 году вместе с его "Поэзией". Я не знаю других переводов этих фрагментов.

## ПЛАВУТ.

Не подлежит сомнению, что даже самые древние списки Плавта были рано испорчены переписчиками и существенно отличались друг от друга. Варро в своей книге *De Analogiâ* приписывает некоторые фразы, которые он не одобрял, в *Truculentus*, небрежности переписчиков. Латинские комедии, написанные в эпоху Плавта, были предназначены для представления на сцене, а не для домашнего чтения. Поэтому [pg A-22] вероятно, что, по крайней мере, во время правления Республики было мало копий пьес Плавта, кроме тех, что доставлялись актерам. Драмы обычно покупались эдилами для развлечения народа во время празднования определенных праздников. Как только поэт заключал договор с эдилом, он терял право собственности на пьесу, а зачастую и всякую заинтересованность в ее успехе. Поэтому представляется вероятным, что еще при жизни автора эти магистраты или нанятые ими цензоры изменяли стихи по своему усмотрению или отправляли комедию на доработку автору: Но несомненно, что после его смерти актеры изменяли и моделировали пьесу в соответствии со своей фантазией или преобладающим вкусом публики, подобно тому как Киббер и Гаррик работали над пьесами Шекспира. Поэтому к ним добавлялись новые прологи, адаптированные к обстоятельствам, целые стихи исключались, а строки, принадлежащие одной пьесе, часто переносились в другую. Об этой порче MSS достаточно свидетельствует тот факт, что древнейшие грамматиканы часто цитируют стихи из пьесы Плавта, которые теперь уже нельзя найти в цитируемой драме. Так, строка, приведенная Фестом и Сервием из "Миль", не встречается ни в одном из MSS или древних изданий этой комедии, хотя в более поздних оттисках она была вставлена на свое [место574](#). Далее, Плавт и вообще старые латинские писатели были сильно испорчены переписчиками в средние века, которые не были полностью знакомы с изменениями, происходившими в языке, и для которых латынь эпохи Константина была более знакома, чем латынь Сципиона. Их часто озадачивало и сбивало с толку появление буквы, например, с, в слове, которое они привыкли писать через g, и нередко они совершенно не понимали значения древних слов. Во фрагменте Турпилия персонаж одной из комедий говорит: "Qui mea verba venatur pestis arcedat"; так вот, переписчик, не зная глагола arcedat, написал ars cedat, что превращает отрывок в [бессмыслицу575](#).

Комедии Плавта часто цитируются писателями XIV века, в частности Петраркой, который упоминает о развлечениях, которые он получал от "Казины" [576](#). Однако до времени Поджио было известно только восемь из них, и, следовательно, в старых списках XIV века мы находим только восемь [комедий577](#). Однако благодаря Николаю Тревесскому, которого Поджио нанял для поиска в монастырях Германии, было обнаружено еще двенадцать. Таким образом, были обнаружены такие пьесы, как "Вакхиды", "Менекми", "Мостеллари", "Милес Глориозус", "Меркатор", "Псевдолус", "Пинулус", "Перса", "Руденс", "Стихус", "Тринуммус", "Трукулентус". Как только Поджио узнал об этом ценном и важном открытии, он призвал кардинала Урсини отправить специального гонца, чтобы доставить сокровище в целостности и сохранности в Рим. Однако его просьбы не были приняты во внимание, и списки комедий прибыли только через два года, в 1428 году, под руководством самого Николая [Тревесского578](#). Кардинал конфисковал их сразу же после того, как они были доставлены в Италию. Этот шаг вызвал сильное возмущение Поджо; тщетно добиваясь их восстановления, он обвинил Урсини в попытке заставить поверить, что Плавт был возвращен благодаря его усилиям и за его собственный [счет579](#). В конце концов, благодаря вмешательству Лоренцо, брата Космо Медичи, кардинала убедили доверить драгоценный том Никколо Никколи, который тщательно его переписал. Однако Никколо задержал его во Флоренции надолго после того, как с него была сделана копия; и мы видим, как его друг Амброзио из Камальдоли самым искренним образом умолял кардинала вернуть его: "Cardinalis Ursinus Plautum suum

recipere cupit. Non video quam ob causam, Plautum illi restituere non debeas, quem olim transcripsisti. Oro, ut amicissimo homini geratur [mos580](#)". Оригинал MS. был в конце концов возвращен кардиналу, после смерти которого он перешел во владение Лоренцо Медичи и таким образом стал частью библиотеки Медичи. Копия, снятая [pg A-23] Никколо Никколи, после его смерти была передана вместе с другими его книгами в монастырь Святого Марка.

На основе транскрипта этого экземпляра, содержавшего двенадцать вновь восстановленных пьес, а также на основе списков остальных восьми комедий, которые были более распространены и актуальны, Георгий Мерула, ученик Филельфо и один из величайших латинских ученых того времени, составил первое издание пьес Плавта, которое было напечатано Ж. де Колонья и Винделином де Спира в Венеции в 1472 году, фолио, и переиздано в 1482 году в Тревизе. Судя по всему, Мерула не имел прямого доступа к оригиналу, привезенному из Германии, или к копии, хранящейся в библиотеке Марциана; ведь в своем посвящении епископу Павии он говорит, "что существует только один MS. Плавта, с которого, как с архетипа, были взяты все копии, которые можно было достать; и если бы я каким-либо образом, - продолжает он, - мог приложить к нему руки, то "Вакхиды", "Мостеллари", "Менекмии", "Милы" и "Меркатор" могли бы быть более правильными; ибо копии этих комедий, взятые с оригинального MS., были сильно испорчены в последующих транскрипциях; но копии последних семи комедий, которые я раздобыл, не были так сильно испорчены критиками, и поэтому будут более точными". Затем Мерула сравнивает свои труды по исправлению испорченного текста с трудами Геркулеса. Его издание обычно считается editio princeps Плавта; но я думаю, ясно, что по крайней мере восемь комедий были напечатаны ранее: Харлес сообщает нам, что Морелли в одном из своих писем писал ему так: "Существует издание Плавта, которое я считаю столь же древним, как и венецианское 1472 года; оно sine ullâ notâ, и в нем нет ни цифр, ни подписей, ни заглавных слов. В нем содержатся следующие пьесы: Amphitryo, Asinaria, Aulularia, Captivi, Curculio, Casina, Cistellaria, [Epidicus581](#)". Следует заметить, что это были восемь комедий, существовавших в Италии до важного открытия остальных двенадцати, сделанного Николаем Тревеским в Германии; и можно предположить, что они были напечатаны до даты издания Мерулы, поскольку к тому времени новооткрытые комедии уже вошли в обращение, и вряд ли какой-либо редактор дал бы миру несовершенное издание только восьми комедий, когда все драмы были доступны и вызывали такой большой интерес у публики.

Евсевий Скутари, ученый Мерула, возглавил издание, которое было исправлено по сравнению с изданием его учителя, и было напечатано в 1490 году в Милане, фолио, и перепечатано в Венеции в 1495 году.

В 1499 году в Венеции вышло издание, созданное совместными усилиями Петра Валлы и Бернара Сарацинуса. К ним добавилось издание Jo. Бапт. Пия, вышедшее в Милане в 1500 году, с предисловием Филиппа Бироальда. Таубман говорит, что "все издания, которые были выпущены в свет в период правления Сарацина и Пия и тирании в литературе, были прерваны". В Страсбургском оттиске 1508 года использован текст Скутари, и примерно в то же время было сделано несколько переизданий изданий Валлы и Пия.

Издание Шарпантье в 1513 году было подготовлено на основе сопоставления различных изданий, поскольку у редактора не было MSS; но в основном использовались издания Пия и Сарацина. Шарпантье привел аргументы и разделил строки лучше, чем любой из его предшественников; он также более удачно расположил сцены, особенно те, которые относятся к Мостелларию.

Немногие латинские классики подверглись большей порче, чем Плавт, теми, кто хотел изменить его текст. Во всех изданиях, которые до сих пор появлялись, извращения были вызваны главным образом стремлением редакторов подогнать его строки под предполагаемые законы метра. Ник. Ангелиус, руководивший изданием, напечатанным Джунтой во Флоренции в 1514 году, первым заметил, что искажения возникли из-за стремления "к печатным числам" (*ad implendos pedum numeros*). Соответственно, он выбросил из своего издания все слова, которые были несанкционированно вставлены для заполнения стихов. Из некоторых MSS, с которыми до сих пор не удалось ознакомиться, он добавил несколько прологов к пьесам, а также начало первого акта "Вакхидов", которое Ласкарис в одном из своих писем кардиналу Бембо сообщает, что сам нашел в Мессине, на Сицилии. Однако они, хотя и были вставлены во все последующие издания Плавта, явно написаны более современной рукой, чем рука Плавта. Два издания были подготовлены и напечатаны Мануцием, [pg A-24] 1516 и 1522; издание 1522 года, хотя и подготовленное Ф. Асуланусом, по рукописи, исправленной рукой старшего Альдуса и Эразма, не заслуживает высокой [оценки](#)<sup>582</sup>. Два издания Р. Стивенса, 1529 и 1530 годов, были созданы на основе издания Джунты, с исправлением нескольких ошибок. За ними последовало множество изданий в Италии, Франции и Германии, некоторые из которых были просто повторными, а другие сопровождались новыми и учеными комментариями.

Никому, однако, Плавт не был так обязан, как Камерарию, чье усердие и трудолюбие были таковы, что едва ли найдется стих Плавта, который не получил бы от него некоторых изменений. В 1535 году в Магдебурге вышли шесть комедий (*Aulularia*, *Captivi*, *Miles Gloriosus*, *Menæchmi*, *Mostellaria*, *Trinummus*), которые он пересмотрел и прокомментировал, но которые были опубликованы по его рукописи без его ведома и полномочий. Привилегия первого полного издания, напечатанного под его руководством, датируется 1538 годом.

Текст и примечания Камерария послужили основой для большинства последующих изданий. Издания Плантина, редактором которых был Самбук и которые были напечатаны в Антверпене в 1566 году и Базиле в 1568 году, содержат примечания и исправления Камерария, причем примерно на 300 стихов больше, чем все предыдущие оттиски.

Ламбинус, готовя парижское издание 1577 года, сопоставил ряд MSS. и собрал множество отрывков из древних грамматиков. Однако он дожил только до тринадцати комедий; его коллега, Гелиас, завершил работу и добавил индекс, после чего она вышла с предисловием сына Ламбинуса. На этом издании (в котором проявилась большая критическая образованность и проницательность, особенно в обнаружении двойных смыслов) в основном были сделаны последующие оттиски: Лейден, [1581](#)<sup>583</sup>, Женева, 1581, и Париж, 1587.

Ламбинус, готовя свое издание, полагался в основном на собственную изобретательность и образованность. Таубман, следующий известный редактор Плавта, составил комментарии других авторов. В основном он использовал текст Камерария, но сопоставил его с двумя MSS в Палатинской библиотеке, которые когда-то принадлежали Камерарию, и получил ценную помощь Грутеруса, который в то время был хранителем библиотеки в Гейдельберге. Новооткрытые фрагменты, различные мнения древних и современных писателей о Плавте, обширный указатель *verborum*, предисловие, посвящение триумвирам литературы того времени, Иосифу Скалигеру, Юстусу Липсию и Казобону - словом, все виды литературного аппарата сопровождали издание Таубмана, которое впервые появилось во Франкфурте в 1605 году. Однако оно было напечатано очень неточно; настолько неточно, что редактор в письме, адресованном Юнгерману в сентябре 1606 года, признается, что ему было стыдно за него. Филипп Пареус, давно занимавшийся теми же исследованиями, что и Таубман,

воспользовался возможностью, предоставленной неточностью этого издания, и опубликовал во Франкфурте в 1610 году "Плавта", который, как утверждалось, был соперником того, что было создано объединенными усилиями Таубмана и Грутеруса, и который разочаровал не только ожидания публики, но и самих ученых редакторов. Их чувства по этому поводу, а также оппозиционный Плавт, отредактированный Пареем, побудили Таубмана выпустить исправленное издание своего прежнего. Этот второй оттиск, гораздо более точный, чем первый, был напечатан в Виттенберге в 1612 году и сопровождался диссертацией Камерариуса *De Fabulis Plautonicis* и диссертацией Юля Скалигера *De Versibus Comicis*. Таубман умер на следующий год после появления этого издания: Однако его слава пережила его самого и не только восстановила его репутацию, которая была несколько запятнана плохими чернилами и грязной бумагой прежнего издания, но и полностью затмила классическую репутацию Парей. Завидуя славе своих соперников, этот ученый получил возможность ознакомиться с MSS, которые были собраны Таубманом и Грутерусом. Теперь он сравнил их более тщательно, чем это делали его предшественники, и опубликовал плоды своего труда в Нойштадте в 1617 году. Это было расценено как умаление [pg A-25] точности и критической изобретательности Грутеруса и оскорбление маны Таубмана - "*Hinc iurgium, tumultus Grutero et Pareo*". Грутерус напал на Парей в небольшом трактате, озаглавленном "*Asini Cumani fraterculus e Plauto electis electus per Eustathium Schwarzium puerum*", 1619, и получил от Парей не менее горький ответ в его "*Provocatio ad Senatum Criticum adversus personatos Pareomastigos*". С этого времени Парей и Грутерус продолжали печатать сменяющие друг друга издания Плавта, подражая и одобряя друг друга. Грутерус напечатал одно из них в Виттенберге в 1621 году, снабдив его предисловием с инвективой против Парей и "*Euphemiæ amicorum in Plautum Gruteri*". Затем Парей попытался превзойти своего соперника, включив в свое издание сборник литературных разночтений - например, описание Булленгером греческих и римских театров. В конце концов Парей одержал верх над своим упрямым соперником единственным возможным способом - пережил его; после этого он получил возможность без помех опубликовать свое последнее издание Плавта, напечатанное во Франкфурте в 1641 году и содержащее Диссертацию о жизни и сочинениях Плавта; восхваления, произнесенные в его честь; замечания о его версификации; диатрибу *de jocis et salibus Plautinis*; выставку его подражаний греческим поэтам; и, наконец, *Euphemiæ* ученых друзей. Теперь, избавившись от всех опасений, связанных с нападками Грутера, он смело назвал свое издание "*Absolutissimam, perfectissimam, omnibusque virtutibus suis ornatissimam*".

На этом я завершаю историю этого примечательного спора. За время его существования были опубликованы различные другие издания Плавта - Исаака Понтануса, Амстердам, 1620 г., с принадлежащего ему MS. Heinsius, Leyden, 1635, и Buxhornius, 1645, который имел преимущество консультироваться с копией Плавта, обогащенной примечаниями, сделанными на MS, в почерке Иосифа Скалигера.

В конце концов Гроновиус опубликовал издание, обычно называемое *Variorum*. Бентли в своих критических комментариях к Менандру с большим презрением отзывается о примечаниях, составленных Гроновиусом. Первое издание *Variorum* было напечатано в Лейдене в 1664 году, второе - в 1669-м, а третье, считающееся лучшим, - в Амстердаме в 1684 году.

Дельфийское издание было почти со-временным с этими изданиями *Variorum*, оно было напечатано в Париже в 1679 году. Оно было отредактировано под руководством Жака Л'Єuvre или *Operarius*, но не считается одним из лучших в том классе, к которому принадлежит. Текст был в основном сформирован на основе последнего издания Грутеруса,

а примечания Таубмана были использованы в основном. Прологомены к жизни и сочинениям Плавта почерпнуты из различных источников и весьма обширны. Ни один из старых комментаторов не мог опубликовать издание Плавта, не побаловав себя диссертацией *De Obscœnis*. В каждом дельфийском издании классиков нам сообщают, что *consultum est pudori Serenissimi Delphini*; но это достигается разными способами. Иногда оскорбительные строки оставляют, но *interpretatio* опускают, а вместо нее рядом с отрывком вывешивают огни звезд: но в дельфийском "Плавтусе" они сосредоточены в одном месте, "*in gratiam*", как выражается "*provectoris ætatis*", в конце тома, под внушительным названием "*PLAUTI OBSCœNA*:"

"И вот они все в одном месте;

Вместо того чтобы быть разбросанными по страницам,

Они выстроились в красивый отряд,

Чтобы встретиться с бесхитростной молодежью будущих веков.

Пока какой-нибудь менее строгий редактор не опустится

чтобы вернуть их в их отдельные клетки;

Вместо того чтобы стоять, уставившись друг на друга,

Как садовые боги, и не очень [приличные584](#)".

Так называемое Эрнестинское издание Плавта, которое принято считать лучшим из произведений этого поэта, было напечатано в Лейпциге в 1760 году. Оно было подготовлено в основном Ауг Отто, но Эрнести написал предисловие, содержащее полный отчет о предыдущих изданиях Плавта.

Два издания Вульпиев были напечатаны в Падуге в 1725 и 1764 годах.

Текст второго бипонтинского издания, 1788 года, был исправлен Брунком. План [pg A-26] бипонтинских изданий латинских классиков хорошо известен. В них почти нет аннотаций и комментариев, но текст тщательно выправлен, а в предисловии приведен отчет о предыдущих изданиях.

В позднем издании Шмидера (Геттинген, 1804) в основном использован текст Гроновиуса, но редактор также добавил несколько собственных предположительных поправок. Комментарий, по-видимому, был подготовлен в значительной спешке. Предварительные заметки о жизни и сочинениях Плавта, а также о предыдущих изданиях его произведений очень кратки и неудовлетворительны. Существует еще более позднее немецкое издание Боте, которое время от времени выходит томами в Берлине. Он свел воедино два MSS, к которым ранее не обращался и которые, по мнению редактора, относятся к одиннадцатому или двенадцатому веку. Его главная цель в этом новом издании - вернуть строкам Плавта их правильное метрическое расположение.

С аналогичной целью - вернуть стихам правильную меру - в Германии за последние несколько лет были напечатаны различные издания отдельных пьес Плавта. Такого рода изданиями являются "Тринуммус" Германа (Лейпциг, 1800) и "Мили" (Веймар, 1804) Данца, который внес весьма смелые изменения в текст своего автора.

Италия была страной, в которой впервые возродилось образование, в которой впервые были обнаружены списки классиков и напечатаны их первые издания, - естественно было

ожидать, что из всех современных языков Европы классики должны были быть раньше всего переведены на итальянский язык. Соответственно, мы видим, что самые знаменитые и популярные из них появились на волжском языке до 1500 [года585](#).

Что касается Плавта, то Маффеи упоминает в качестве первого перевода "Амфитриона" работу in ottava rima, напечатанную без даты. Это произведение долгое время считалось творением [Боккаччо586](#), но на самом деле оно было написано Гуго Брунеллески, автором равной или более древней эпохи, чьи инициалы были ошибочно приняты за инициалы Джованни Боккаччо. Хотя Маффеи говорит о нем как о драматической версии, на самом деле это повесть или роман, основанный на комедии Плавта, и назывался он Geta e [Birria587](#). Пандольфо Колленуччо был первым, кто перевел "Амфитрион" в надлежащей драматической форме, terza rima. Он состоял на службе у Геркулеса, первого герцога Феррары, который заставил представить эту версию в январе 1487 года в великолепном театре, который он недавно построил, и по случаю бракосочетания своей дочери Лукреции. Менекми, переведенная частично на оттаву, а частично на terza rima, стала первым произведением, когда-либо исполнявшимся на этом театре. Семья Эсте была большим популяризатором этих версий; которые, хотя и не печатались до шестнадцатого века, в большинстве своем были сделаны и представлены до конца пятнадцатого. Драматический вкус герцога Геркулеса перешел к его сыну Альфонсо, по приказу которого Челио Кальканьино перевел Miles Gloriosus. Пайтони перечисляет четыре различных перевода "Асинари", сделанных в течение шестнадцатого века, один из которых был поставлен в монастыре Святого Стефана в Венеции.

В восемнадцатом веке было также несколько версий отдельных пьес; но Пайтони, чья работа была напечатана в 1767 году, не упоминает ни одного полного итальянского перевода Плавта, ни одной версии Truculentus или Trinummus. Первой версией всех комедий была версия Nic. Eug. Арджелио, которая сопровождалась латинским текстом и была напечатана в Неаполе в 1783 году в 10 томах 8vo.

Темой перевода рано занялись во Франции. В 1540 году Стеф опубликовал работу, содержащую правила перевода. Доле, за которым вскоре последовали аналогичные произведения; в последующее столетие его принципы стали предметом многочисленных споров среди критиков и ученых. Однако Плавт не был одним из самых ранних классиков. Хотя Теренция неоднократно переводили, пока язык был почти в состоянии варварства, Плавт не появлялся во французском одеянии, пока в него не облачился аббат Мароль, по просьбе Фюретьера, в 1658 году. Аббат, больше стремившийся написать много, чем хороших книг, выполнил свою задачу за несколько месяцев, причем писал по мере того, как отбрасывались листы. Его перевод посвящен королю Людовику XIV и сопровождается латинским текстом. Далее мы увидим, что почти все латинские авторы этого [pg A-27] периода были переведены на французский язык неутомимым аббатом де Мароллем. К сожалению, он обладал роскошью и досугом, в которых Провидение отказало Плавтусу, Теренцию и Катутлу; и досуг, которым он наслаждался, был посвящен главным образом переводам. "Перевод, - говорит д'Израэль, - был манией аббата де Мароля; иногда две или три классические жертвы за сезон попадали на его бойню. О своих переводах он думал, что они близки к истине; он не осознавал своего собственного бездуховного стиля и воображал, что поэзия состоит только в мыслях, а не в изяществе и гармонии [стиха588](#)".

Уже упоминался перевод "Каптиви" в прозе, выполненный де Косте в 1716 году. Этот автор не торопился так же, как Мароллес, поскольку хранил свою версию десять лет, прежде чем

напечатать ее. К переводу он приложил диссертацию, в которой утверждает, что Плавт в этой комедии строго соблюдал драматические единства времени и места.

Мад. Дасье перевела "Амфитриона", "Руденса" и "Эпидикуса". Ее версия, сопровождаемая латинским текстом и посвященная Кольберу, была впервые напечатана в 1683 году. К переводу прилагается исследование недостатков и достоинств этих комедий, особенно в отношении драматических единств, и примечания, отнюдь не лишенные образованности. Некоторые изменения по сравнению с печатными латинскими изданиями сделаны в расположении сцен. В своей диссертации об "Эпидике", который был любимой пьесой самого Плавта, Мад. Дасье пытается оправдать это предпочтение поэта и действительно хочет убедить нас, что это безупречная постановка. Гуже замечает, что при чтении оригинала человек не очень впечатляется всеми разнообразными красотами, которые она перечисляет, а при чтении ее перевода - тем более.

М. де Лимьер, опубликовавший в 1719 году версию всех пьес Плавта, не стал переводить заново те, что были переведены Мад. Дасье и де Косте, но вставил их версии в свою работу. Они значительно лучше других, переведенных самим Лимье. Все они написаны в прозе, за исключением "Стиха" и "Тринума", которые автор переложил в стих, чтобы дать образец своего поэтического таланта. В стихах он наложил на себя ненужное ограничение, переведя каждую латинскую строку только одной французской, чтобы в переводе не было ни одного стиха больше, чем в оригинале; следствием этого является то, что все в целом сдержанно и неясно. В эту работу вставлены разборы и анализы каждого произведения, изложение сюжетов, а также замечания о подражаниях Плавта древним писателям и тем, кто был современником после него.

В том же году, когда Лимьер опубликовал свою версию, Гюдевиль выпустил перевод Плавта. Это очень вольный перевод, и Гуже говорит, что это "Plaute travesti, plutot que traduit". Он пытается сделать свой оригинал более бурлескным за счет преувеличений и необычных гиперболических выражений; непристойности значительно усилены, и в конце он составил своего рода таблицу или указатель непристойных отрывков, ссылаясь на их соответствующую страницу, которую можно найти, не изучая никакой другой части драмы. Цель таблицы - чтобы читатель мог пропустить их по своему усмотрению.

Современный журнал, сравнивая два перевода, замечает: "Il semble que M. Limiers s'attache davantage à son original, et qu'il en fait mieux sentir le véritable caractère; et que le Sieur Gueudeville est plus badin, plus vif, plus [bouffon](#)<sup>589</sup>." Фабрициус выносит о них почти такое же [суждение](#)<sup>590</sup>.

Англичане рано познакомились с пьесами Плавта. Из книги Холиншеда следует, что на одиннадцатом году правления короля Генриха VIII, то есть в 1520 году, перед королем была поставлена комедия [Плавта](#)<sup>591</sup>. Мисс Эйкин в своих "Мемуарах о дворе Елизаветы" сообщает нам, что когда эта королева посетила Кембридж в 1564 году, она отправилась в воскресенье утром в Королевскую часовню, чтобы послушать латинскую проповедь ad clerum; "а вечером, когда корпус этого торжественного здания был превращен во временный театр, она была удовлетворена представлением "Аулулании" [Плавта](#)<sup>592</sup>". В тексте упоминалось, что в 1595 году появился перевод "Менекми" Плавта, выполненный У. У. - инициалы, под которыми [pg A-28] обычно подразумевается Уильям Уорнер, автор "Англии Альбиона". В 1694 году Эшар опубликовал прозаический перевод трех комедий, отобранных Мад. Дасье - "Амфитрион", "Эпидикус" и "Руденс". Очевидно, однако, что он чаще переводил с французского, чем с авторского. Его стиль, кроме того, груб и неуклюж; и, хотя он стремится быть знакомым, он обычно низок и вульгарен. Некоторые отрывки из "Амфитриона" он

перевел в самом грубом диалоге улиц: "Клянусь, я полагаю, что Фебус разыграл этого доброго парня и тоже спит! Я буду повешен, если он не был в этом замешан и не принял слишком много от этого существа". На каждой странице мы также находим самую бессвязную мешанину из старинных и современных нравов. Он говорит о лорде-главном судье Афин, о невестах и олддерменах; заставляет своих языческих персонажей приносить британские и христианские клятвы, такие как "Клянусь лордом Гарри! - Перед Джорджем! - Это так же верно, как Евангелие!".

В 1746 году Томас Кук, известный переводчик Гесиода, опубликовал предложения о полном переводе Плавта, но напечатал только "Амфитрион". Доктор Джонсон рассказывал, что Кук прожил двадцать лет над этим переводом Плавта, на который он постоянно принимал [подписку593](#).

В подражание Колману, который в своем "Теренции" ввел новый и изящный способ перевода в привычный пустой стих, мистер Торнтон в 1667 году опубликовал версию семи пьес в той же манере: "Амфитрион", "Милес Глориозус", "Каптиви", "Тринуммус", "Меркатор", "Аулулария", "Руденс". Из них перевод "Меркатора" был предоставлен Колманом, а "Каптиви" - мистером Уорнером. Торнтон намеревался перевести остальные тринадцать, но помешала смерть. Работу, однако, продолжил мистер Уорнер, который перевел Каптиви. К обеим версиям были приложены примечания, собранные в основном из лучших комментаторов и из примечаний французских переводчиков Плавта.

## ТЕРЕНЦИЯ.

Копии Теренция, которые были созданы в эпоху автора или вскоре после нее, были испорчены по той же причине, что и копии Плавта. Варро утверждает, что в его время существовавшие тогда копии Теренция были крайне испорчены. Однако он относится к тем классикам, о чьих произведениях нельзя сказать, что они были обнаружены в период возрождения литературы, поскольку, по сути, его комедии никогда не были утрачены. В поздние века империи их комментировали Эмилий Аспер, Валерий Пробус, Марций Салютарис, Флавий Капер и Гелениус Акро, а в конце V века Руфин написал диатрибу о метрах Теренция. Сульпиций Аполлинарий, грамматик второго века, составил аргументы к пьесам, а Илиус Донат прокомментировал их в четвертом веке. Человек, называвший себя Каллионом, в восьмом веке переработал и исправил рукопись, которая долгое время хранилась в Ватикане. Евграфий комментировал Теренция, опять же, в десятом, а Кальпурний - в середине пятнадцатого века. Гинифорте читал лекции о Теренции в Новаре в 1430 году, а Филельфо - во Флоренции примерно в тот же [период594](#). Петрарка тоже, когда Леонтий Пилат, испытывая отвращение к Италии, вернулся на родину, подарил ему экземпляр "Теренция" в качестве попутчика, - глупый подарок, как добавляет Петрарка, ибо нет никакого сходства между самым мрачным из греков и самым живым из африканцев. Поскольку Петрарка в это время, по-видимому, искренне недолголюбил Леонтия, маловероятно, что подаренный им экземпляр "Теренция" был очень скуден. Все это свидетельствует о том, что шесть пьес Теренция были не просто сохранившимися, но и очень распространенными в Италии в темные века. Один из старейших списков "Теренция", который, вероятно, использовался в самых ранних печатных изданиях, хранится в Ватиканской библиотеке: Фабриций описывает его как написанный Хродогарием во времена Карла Великого и переработанный [Каллионом595](#). Еще один список Теренция в

Ватиканской библиотеке - тот, что в XVI веке попал во владение кардинала Бембо. Он был пересмотрен [Полицианом596](#), который написал на нем своей рукой, что он никогда не видел [pg A-29] более древнего: "Ego, Angelus Politianus, homo vetustatis minime incuriosus, nullum me vidisse, ad hanc diem, codicem vetustiore fateor." Возраст рукописи на момент написания Фабрицием в 1698 году составлял, по свидетельству этого автора, более тысячи лет, что позволяет отнести ее транскрипцию самое позднее к 698 году. В этой рукописи есть разделение стихов, которое не используется в вышеупомянутой рукописи, написанной Хродогарием. Полициан своей рукой исправил с него копию, которая находилась в Лаврентьевской библиотеке, и сверил с ней другую, которая впоследствии принадлежала Петру Викториусу. После смерти кардинала Бембо эта древняя рукопись перешла во владение Фульвия Урсинуса и была им завещана Ватиканской [библиотеке597](#).

Существует много неясностей в отношении Editio Princeps Теренция, да и в отношении большинства изданий его работ, появившихся в XV веке. Издание, напечатанное Ментелином в Страсбурге, без даты, но предположительно в 1468 году, кажется, теперь рассматривается как имеющее наилучшие претензии на [приоритет598](#). Теренций, напечатанный Пинсоном в 1497 году, был, как я полагаю, первым латинским классиком, изданным в этой стране. Самые ранние издания "Теренция" не имеют разделения на стихи, разделение на них впервые появилось в издании 1487 года, в соответствии с переложением, сделанным Полицианом с копии кардинала Бембо. Вестерховиус в пролегоменах к своему изданию 1726 года перечисляет не менее 248 изданий "Теренция", предшествовавших его времени. Хотя в этих изданиях последовательно участвовали типографии Альди (1517-21), Стефенсов (1529-52 и др.) и Эльзевиров (1635), текст Теренция, похоже, не привлек внимания ни одного из самых выдающихся ученых или критиков XVI и XVII веков, за исключением Муретуса. Издание Фаэрнуса (Флоренция, 1565), для которого были собраны различные ценные MSS, стало основой почти всех последующих оттисков, особенно Вестерховиуса, который обычно считается лучшим изданием Теренция. Тем не менее, по словам г-на Дибдина, оно "более достойно восхищения за тщательную проработку и исследование, чем за проявление каких-либо критических тонкостей в построении текста или иллюстрации трудных отрывков". Она содержит комментарии Доната, Кальпурния и Евграфиуса, а также приложена "Жизнь Теренция", приписываемая Суетонию, - диссертация Д. Хайнзиуса "Ad Horatii de Plauto et Terentio iudicium", "Evanthius, De Tragœdiâ et Comœdiâ" и трактат, собранный редактором из лучших источников, касающийся живописных представлений римлян.

Первое издание "Теренция" Бентли было напечатано в Кембридже в том же году, что и издание Вестерховиуса. Одной из главных целей Бентли была реформация метров Теренция, к которой он приложил эрудированную диссертацию. Смелость его изменений в тексте, которые в значительной степени были рассчитаны на достижение этой цели, навлекла на него в его же эпоху прозвище "режущий Бентли" и неоднократные поношения со стороны последующих редакторов.

Из более поздних изданий лучшим с точки зрения критического совершенства заслуженно считается издание Цейниуса (Лейпсик, 1774). Есть, однако, три немецких издания, еще более поздние; издание Шмидера (Галле, 1794), Боте (Магдебург, 1806) и Перлета (Лейпсик, 1821), которое в первую очередь примечательно большим количеством типографских ошибок - примерно столько же, сколько в одной из старых английских Библий Перла.

Пьесы Теренция гораздо менее многочисленны, чем пьесы Плавта, поэтому переводы всех их появились в более ранний период, как на итальянском, так и на французском языках. Первый полный итальянский перевод "Теренция" был выполнен в прозе. Он посвящен Бенедетто Куртио человеком, называющим себя Боргофранко; но из-за двусмысленности некоторых выражений в этом посвящении возник спор, является ли он автором или только редактором этой версии - Фонтанини поддерживает первое, а Апостола Дзено - второе [предположение599](#). Впервые книга была напечатана в Венеции в 1533 году; Пайтони перечисляет шесть последующих изданий в течение шестнадцатого века. Следующей версией была версия Джованни Фабрини, которая, как мы узнаем из названия, слово в слово повторяет оригинал; она была напечатана в Венеции [pg A-30] 1548. Третий прозаический перевод, опубликованный в Риме в 1612 году, посвящен кардиналу Боргезе печатником Дзанетти, который упоминает, что это работа неизвестного автора, случайно попавшая в его руки: Однако Фонтанини и апост. Дзено, уже давно выяснили, что автора звали Кристофоро Розарио. Кресчимбени положительно отзываеся о версии, написанной маркизой Малеспини. Другая дама, Луиза Бергалли, перевела *verso sciolto* и напечатала отдельно некоторые пьесы Теренция: Она собрала их и, дописав остальные, опубликовала их вместе в Венеции в 1733 году. В 1736 году в Урбино было напечатано великолепное издание поэтического перевода Теренция, сопровождаемого латинским переводом, с фигурками актеров, взятыми из хранящегося в Ватикане списка. Оно написано шрифтом *verso sciolto*, за исключением прологов, которые написаны шрифтом *versi sdruciolli*. Автор, которым был Николас Фортигуэрра и который умер до того, как его версия была напечатана, говорит, что комедии являются *nunc primum Italicis versibus redditæ* [600](#); но в этом он не был достаточно информирован, поскольку его версии предшествовала версия Луизы Бергалли, а также множество отдельных переводов каждой отдельной пьесы. Перевод двух пьес Теренция, "Андрия" и "Евнуха", на русский язык, выполненный Джустиано де Кандиа, был напечатан Паулем Мануцием в 1544 [году601](#). Три пьесы Теренция, "Андрия", "Евнух" и "Геавтонтиморумен", были впоследствии переведены аббатом Беллавити и опубликованы в Бассане в 1758 году.

Неизвестно, кто был автором первого французского перевода "Теренция", и даже в какой период он существовал. Дю Вердые и Фабрициус утверждают, что им был Октавиен де Сен-Желе, епископ Ангулемский, живший во времена правления Карла VIII. Однако это сомнительно, поскольку Пьер Гросне, французский поэт, современник епископа, упоминая о других переведенных им классиках, ничего не говорит о какой-либо его версии "Теренция", но прямо упоминает о версии Жилья Кибилла.

"Господин Жиль по имени Кибиль,

Он считается очень умелым:

Car il a tout traduit Therence

Ou il y a mainte [sentence602](#)."

Автор, кем бы он ни был, упоминает, что перевод был сделан по приказу короля; но он не уточняет, кем из французских монархов было дано это повеление. Его работа была впервые напечатана, но без даты, Антони Вераром, столь известным как издатель самых ранних рыцарских романов; а поскольку Верар умер в 1520 году, она должна была быть напечатана до этой [даты603](#). Она состоит из одного тома формата фолио, украшена фигурками, вырезанными из дерева, и озаглавлена "Грант Теренс на французском языке, как в рифме, так и в прозе, с примерами на латыни". Как следует из названия, здесь есть как прозаический, так и стихотворный перевод; кроме того, приводится латинский текст. Трудно

сказать, какой из переводов хуже; стихотворный, состоящий из восьми слогов, иногда почти неразборчив, а вариации мужских и женских рифм почти не соблюдаются.

Перевод, напечатанный в 1583 году с латинским текстом, автор которого также неизвестен, мало чем превосходит предшествующий ему. Бошамп в своих "Исследованиях французских театров" упоминает два других перевода XVI века - один в 1566, другой в 1584 году. Первый, выполненный Жаном Бурлье, написан в прозе, второй - в рифму и переведен стих в стих. Мад. Дасье включает все версии шестнадцатого века в одно общее порицание, исключая лишь версию "Евнуха" Баифа, напечатанную в 1573 году в его "Поэтическом журнале". Она состоит из восьми и десяти слогов и была написана по заказу королевы Катарины, матери Карла IX. Мад. Дасье считает его хорошим переводом, за исключением того, что примерно в двадцати отрывках смысл оригинала был искажен. Гуже в своей "Французской библиотеке" отмечает, что если бы мад. Дасье [pg A-31] была знакома с "Андрианом" Бонавентуры де Перье, напечатанным в 1537 году, она сделала бы исключение и в его пользу. Бонавентура был камердинером Маргариты, королевы Наваррской, а после ее смерти - редактором ее рассказов, и сам был автором сборника в схожем вкусе. Он писал в то время, когда французский язык достиг своего наивысшего совершенства, очистившись от грубости, которая появилась в рыцарских романах, и сохранив при этом ту энергию и простоту, которую он в значительной степени утратил вскоре после воцарения Бурбонов. Эта версия была одной из первых работ Бонавентуры, о чем в "Avis aux Lecteurs" он говорит: "Que c'etait son apprentissage": он намеревался перевести все пьесы Теренция, но помешала его трагическая смерть. Та же комедия, выбранная Бонавентурой де Перье, была переведена в прозу Чарльзом Стивенсом, братом знаменитого печатника.

Аббат Мароль в своем переводе "Теренция" преуспел не больше, чем в переводе Плавта. Мы видим в нем ту же тяжеловесность, то же отсутствие элегантности и верности оригиналу. Шапелен замечает: "Que ce traducteur etoit l'Antipode du bon sens, et qu'il s'eloignoit partout de l'intelligence des auteurs qui avoient le malheur de passer par ses mains." Его перевод вышел в 1659 году в двух томах 8vo, сопровождаемый примечаниями, выдержанными в том же вкусе, что и те, которыми он снабдил своего Плавта.

Примерно в этот период джентльмены Пор-Рояля во Франции уделяли большое внимание воспитанию молодежи и культивированию классической образованности. Месье де Саси, выдающийся член этой религиозной ассоциации, известный в свое время как автор "Heures de Port-Royal", перевел на прозу "Андрею", "Адельфию" и "Формио" 604. Эта версия, напечатанная им в 1647 году под вымышленным именем М. де Сент-Обена, получила множество похвал в "Реформаторском Парнасе" и "Юношах-самоучках". Последующих изданий было много, и некоторые даже после появления перевода Мад. Дасье. Версия трех других комедий, написанная сеньором де Мартиньяком, была задумана и объявлена как дополнение или продолжение работы месье де Саси.

Остается упомянуть перевод "Теренция", выполненный мадам Дасье. Дасье. Друзья советовали этой даме отказаться от этой затеи, но она была полна решимости упорствовать 605. Она вставала в пять часов каждое утро в течение целой зимы, за которую успела закончить четыре комедии; но, просмотрев их по истечении нескольких месяцев, она решила, что в них слишком много труда и недостает легкости. Поэтому она бросила их в огонь и, проявив больше умеренности, возобновила работу, которую в конце концов завершила с удовлетворением для себя и публики. Ее перевод был напечатан в 1688 году, в 3 томах 12mo, с латинским текстом, предисловием, жизнью поэта и примечаниями к каждому из его произведений. Она не стала, как в своих переводах Плавта, подробно разбирать каждую сцену, а довольствовалась общими замечаниями. Эта дама также внесла

значительные изменения в начало и окончание сцен и актов; ее предположения по этим вопросам, как говорят, были впоследствии подтверждены авторитетной и превосходной рукописью, обнаруженной в Королевской [библиотеке606](#). Первое издание было улучшено, впоследствии напечатанное в Роттердаме в 1717 году, которое также было украшено рисунками из двух MSS. Существует еще более поздний перевод Ле Моннье, 1771 года, который сейчас считается лучшим.

Первый перевод, появившийся в этой стране и озаглавленный "Теренций в Англии", не имеет даты, но предполагается, что он был напечатан в 1520 году. За ним последовал перевод Бернарда, 1598 год, перевод Гула, 1670 год, перевод Эчарда, 1694 год, и перевод доктора Патрика, 1745 год. Все эти прозаические версии плоские и устаревшие, а во многих местах неверные оригиналу. В конце концов Колман опубликовал перевод в привычном чистом стихе, в котором он преуспел чрезвычайно хорошо. Он редко ошибается в смысле своего автора и часто достигает его отточенной легкости стиля и манеры. Ценной частью работы являются примечания, разумно отобранные у прежних комментаторов, с некоторыми собственными наблюдениями.

[pg A-32]

## LUCILIUS.

Ф. Дуза был первым, кто собрал фрагменты этого поэта-сатирика и оформил их в центо. Показав свои записи и заметки Иосифу Скалигеру, он получил предложение напечатать их, и в 1597 году в Лейдене появилось соответствующее издание. Вскоре, однако, оно стало очень скудным. Один экземпляр был случайно обнаружен Вульпием в одной из главных публичных библиотек Италии; но из-за места, которое он занимал, он был настолько разрушен постоянным падением карнизов с крыши дома, что когда он взял его в руки, он был едва разборчив. Восстановив, однако, текст и внеся в него все возможные изменения, он перепечатал его в Падуе в 1735 году.

## ЛУКРЕЦИЙ.

Произведение Лукреция, как и "Энеида" Вергилия, к моменту его смерти не получило завершающей руки автора. Предание о том, что Цицерон переработал его и представил публике, не опирается ни на один более древний авторитет, чем Евсевий; и если бы эта история была правдивой, она, вероятно, упоминалась бы в какой-либо части объемных трудов Цицерона или ранних критиков. [Эйхштедт607](#), отрицая пересмотр Цицероном, считает, что она была исправлена каким-то критиком или грамматиком, и что таким образом до потомков дошли два MSS, во многом отличающиеся друг от друга: один в том виде, в каком он вышел из рук поэта, а другой - с поправками редактора. Это он пытается доказать на основании большого неравенства языка - теперь устаревшего и грубого, а теперь отполированного и утонченного, - которое, по его мнению, может быть объяснено только тем, что оригиналы и исправленные копии были смешаны вместе в некоторых из тех транскрипций средних веков, на основе которых были сформированы первые печатные издания. Старые грамматики, утверждает он, также часто цитируют стихи Лукреция, которые больше не являются частью его поэмы и которые, следовательно, должны были быть полностью опущены корректором; и, наконец, чтения в различных MSS. настолько сильно отличаются, что невероятно, чтобы вариации исходили от переписчиков или интерполяторов, и могли быть вызваны только автором или редактором поэмы.

Но хотя автор и не до конца отшлифовал поэму, нет никаких оснований для предположения, что она когда-либо состояла из более чем шести книг - мнение, которое, похоже, возникло из-за орфографической ошибки и противоречит словам самого поэта.[608](#)

Произведение Лукреция, по-видимому, не было популярно в Риме, и его списки, вероятно, были не очень многочисленны в последние века империи. Его цитирует Рабан Маур, аббат Фульды, в своей книге *De Universo*[609](#), написанной в девятом веке. Копии этой книги, однако, кажется, полностью исчезли до возрождения литературы; но в конце концов Поджио Браччолини, присутствуя на Констанцском соборе, куда он отправился в 1414 году, обнаружил один MS. в монастыре Святого Гала, примерно в двадцати милях от этого [города](#)[610](#). Именно из следующих строк латинской элегии Кристофоро Ландини на смерть этого знаменитого украшения своего века мы узнаем, кому мы обязаны первой философской поэмой. Ландини, рассказывая об открытиях своего друга, восклицает.

"Illius manu, nobis, doctissime rhetor,

Integer in Latium, Quintiliane, redis;

Et te, Lucreti, longo post tempore, tandem

Civibus et Patriæ reddit habere tuæ".

Поджио отправил новооткрытое сокровище Никколо Никколи, у которого оригинал хранился четырнадцать лет. Поджио убедительно требовал его вернуть, и в конце концов он его сохранил; но прежде чем вернуть, Никколи сделал с него своей рукой транскрипцию, которая до сих пор хранится в Лаврентьевской [библиотеке](#)[611](#).

Издание, опубликованное в Вероне в 1486 году, не очень корректное, долгое время считалось Editio Princeps Лукреция. Однако более древний оттиск, напечатанный в Брешии в 1473 году, недавно стал известен библиографам. Он был отредактирован Феррандусом с единственного экземпляра, который он смог раздобыть. Но хотя у него не было возможности сопоставить различные MSS, издание все равно считается ценным благодаря своей точности и прекрасному чтению. В настоящее время, как я полагаю, сохранилось только три экземпляра, два из которых находятся в Англии. Текст Лукреция был сильно испорчен в последующих изданиях пятнадцатого века, и даже в издании Альдуса, опубликованном в Венеции в 1500 году, редактором которого был Аванций, и которое стало первым латинским классическим изданием, напечатанным [Альдусом](#)[612](#). Отчасти это произошло из-за того, что второе издание 1486 года, к сожалению, было выбрано в качестве основы для всех них, вместо предыдущего и более предпочтительного издания, напечатанного в Брешии. В нескольких, но очень немногих местах второе издание улучшило первое, как, например, в прекрасном описании беспомощности новорожденного младенца: "Navita, nodus humus".

"Navita, nudus humi jacet infans, indigus omni

Vitali auxilio," --

где в Брешианском издании вместо indigus написано indignus. И снова, в пятой книге.

"Nec poterat quenquam placidi pellacia ponti,

Subdola pellicere in fraudem, ridentibus undis,"

где в Брешианском издании вместо pellicere написано pollicere, что представляется ошибочным. В конце концов Баптиста Пий, с помощью некоторых поправок своего

прецептора Филиппа Бироальда, к которым он имел доступ, и путем кропотливого сопоставления MSS, в значительной степени преуспел в восстановлении первоначальной чистоты испорченного текста своего автора. Его издание, напечатанное в Болонье в 1511 году, и два альдинских издания, опубликованные в 1515 году под руководством Невагера, который был гораздо лучшим редактором, чем Аванциус, продолжали считаться самыми авторитетными до 1563 года, когда Ламбинус напечатал в Париже издание, подготовленное на основе сверки пяти оригинальных MSS и всех предыдущих изданий, кроме первого и второго, которые, похоже, были ему неизвестны. Текст, как он хвастается в предисловии, был исправлен в 800 различных местах и сопровождался очень обширным комментарием. Ламбина сменил Гифаний, который был скорее грамматиком, чем острым или вкусным критиком. Он собрал воедино, без разбора, заметки и предположения о Лукреции всех ученых своего и предшествующего века. Дуза в сатирических стихах обвинил его в том, что он присвоил и опубликовал в своем издании без признания некоторые сочинения Л. Фрутерия, которые были переданы ему на смертном одре, чтобы быть напечатанными. Его главная заслуга заключается в том, что он касается грамматического толкования и объяснения древних обычаев, а также в более обширном собрании параллельных отрывков, чем это было сделано до сих пор. Издания Д. Парей (Франкфорт, 1631) и Нардия (Флоренция, 1647) были не лучше издания Гифания; а дельфийское издание Лукреция, выполненное М. Ле Феем, давно известно как самое худшее из тех, к которым оно принадлежит. "Notæ ejus", - говорит Фабриций, - "plenæ sunt pudendis hallucinationibus". Действительно, его коллеги и те, кто руководил этим великим начинанием дельфийских классиков, так стыдились ее, что пытались, хотя и безуспешно, подавить ее.

С момента первой публикации издания Ламбина прошло почти полтора столетия, в течение которых публике не было предложено ни одного сносного нового впечатления о Лукреции, когда Крич, более известный как переводчик Лукреция, напечатал в 1695 году латинское издание поэта, разъяснению которого он посвятил всю свою жизнь. Его изучение эпикурейской системы и близкое знакомство с работами Гассенди [pg A-34] полностью подготовили его к философской иллюстрации своего любимого автора. В целом, однако, издание Гаверкампа, Лейден, 1725 г., является лучшим из всех, что когда-либо появлялись у Лукреция. Оно было подготовлено на основе сопоставления двадцати пяти MSS, а также древнейших изданий, и содержит не только все примечания Крича и Ламбинуса, но и некоторые заметки Исаака Воссюса, которые ранее не печатались. К ней прилагаются предисловия к наиболее важным изданиям; единственный недостаток, который был найден в ней, заключается в том, что в своих новых чтениях редактор иногда нарушал гармонию стихосложения. Лукреций, конечно, не может считаться одним из классиков, которым больше всего повезло с редакторами и комментаторами. В шестнадцатом и семнадцатом веках ему не удалось добиться внимания самых выдающихся критиков эпохи, и он был оставлен на откуп предположениям второсортных ученых. Ему выпал жребий быть порученным самому невежественному и варварскому из редакторов Дельфина; его катастрофа завершилась тем, что он попал в руки Уэйкфилда, чье издание является одним из самых неосмотрительных и безвкусных, когда-либо выходивших из печати. При подготовке этой работы, посвященной мистеру Фоксу, редактор использовал несколько MSS, хранящихся в Кембриджском университете и Британском музее, а также некоторые MS. заметки Бентли, найденные в экземпляре печатного издания, которое первоначально принадлежало доктору Миду. В своем предисловии он с большой язвительностью высказывается в адрес мистера Камберленда за то, что тот утаил от него некоторые другие примечания Бентли, которые находились в его распоряжении. Для него было бы счастьем, если бы он никогда не видел примечаний Бентли, поскольку многие из его худших прочтений взяты из этого источника. Усердно изучая MSS. и старые издания, он восстановил столько

древней латинской орфографии, сколько делает чтение поэта утомительным, хотя, по его собственному признанию, он не был в этом единообразен и последователен; и он самым кропотливым образом собрал, особенно из Вергилия, множество предполагаемых параллельных отрывков, многие из которых имеют мало сходства со строками, с которыми они сравниваются. Длинное латинское стихотворение, адресованное Фоксу и оплакивающее ужасы войны, не компенсирует очень краткие и неудовлетворительные заметки, касающиеся всего, что касается жизни и трудов поэта, а также предыдущих изданий его произведений. Комментарии скучны, за пределами пресловутой скуки комментариев; и везде, где было спорное или сомнительное чтение, обычно выбирается то, которое наиболее приручено и бессмысленно, наиболее неприятно для уха и наиболее чуждо как духу поэта, так и поэзии в целом. Я просто выберу один пример из каждой книги, чтобы показать, как прекрасные строки были полностью уничтожены изменением одного слова или даже буквы, и я выберу такие отрывки, которые знакомы каждому. В своем великолепном панегирике Эпикуру в первой книге Лукреций, восхищаясь просвещенной смелостью этого философа, описывает его следующим образом

"Quem neque fama Deûm, nec fulmina, nec minitanti

Murmure compressit cœlum".

Выражение Fama Deûm подразумевает, что Эпикура не мог сдержать тот внушительный характер, которым глубоко укоренившиеся предрассудки и авторитет басни наделили богов Олимпа - мысль весьма поэтичная и в то же время панегирическая по отношению к могучему уму, пренебрегшему всей этой суеверной славой. Но Уэйкфилд, изменив одну букву, лишает этот отрывок и смысла, и поэзии - он читает,

"Quem neque fama Deûm, nec fulmina, nec minitanti".

что подразумевает, что решительный ум Эпикура не может быть под контролем храмов богов, что, если и имеет какой-либо смысл, то самый фригидный и пуританский. Это нововведение, которое редактор в примечании называет *egregiam emendationem*, не подкреплено, насколько он сообщает нам, авторитетом какого-либо древнего MS. или издания, но оно было так написано на полях экземпляра Лукреция, принадлежавшего Бентли, где оно было помещено, как признает Уэйкфилд, *nude ascripta et indefensa*. Во второй книге Лукреций, утверждая, что отсутствие великолепия не умаляет счастья, говорит,

[pg A-35].

"Si non aurea sunt juvenum simulacra per ædes, &c.

\* \* \* \* \*

Nec citharæ reboant laqueata aurataque tecta".

Но Уэйкфилд вместо *tecta* читает *templa* и обосновывает свое чтение не авторитетом каких-либо древних MSS, а тем, что *templa* используется для *tecta* некоторыми авторами и применяется к частным жилищам! Третья книга начинается очень энергично с восхваления Эпикура:

"E tenebris tantis tam clarum extollere lumen

Qui primus potuisti, illustrans commoda vitæ,

Te sequor, O Graiæ gentis decus!"

Этот неожиданный и прекрасный апостроф ослаблен и уничтожен изменением на

"O tenebris tantis tam clarum extollere lumen".

Строки становятся еще хуже от того, что междометие дважды повторяется в течение трех стихов. В четвертой книге Лукреций, ссылаясь на достоинства своего собственного произведения, заявляет,

"Deinde, quod obscurâ de re tam lucida pango

Carmina, Musæo contingens cuncta lepore".

Здесь слово pango представляет нам образ поэта за лирой, изливающего свои плавные стихи, и, кроме того, в его звучании есть что-то от звона музыкального инструмента. Уэйкфилд, однако, заменил это слово на pando, что напоминает нам только о транскрипции и публикации. Лукреций в пятой книге называет причину, по которой люди полагали, что обиталище богов находится на небе,

"Per cœlum volvi quia nox et luna videtur,

Luna, dies, et nox, et noctis signa serena!".

Это последнее слово Уэйкфилд заменил на severa, что значительно ухудшает красоту строки. Noctis signa serena - это звезды и планеты; но если вместо них подставить signa severa, то отрывок станет тавтологичным, поскольку signa severa представлены сразу после этого в строке

"Noctivagæque faces cœli flammæque volantes".

Я выбрал только те отрывки, в которых Уэйкфилд отклонился от общепринятого чтения, не опираясь ни на одно древнее издание или авторитетный MS. Случаи, когда при разнице в MSS. и изданиях он выбирал худшее чтение, бесчисленны.

Первое издание "Лукреция" Уэйкфилда было напечатано в Лондоне в 1796 году; второе - в Глазго в 1813 году, которое стало еще более ценным, чем первое, благодаря тому, что в последнем томе были приведены чтения из Editio Princeps, напечатанного в Брешии; из Вероны 1486 года, Венеции 1495 года - Альдинского издания 1500 года и Бипонтинского 1782 года, что очень ярко демонстрирует превосходство Editio Princeps над теми изданиями, которые были сразу же за ним последовали. В конце этого издания опубликованы некоторые примечания и поправки, сделанные Бентли на собственном экземпляре издания Лукреция Фабера, хранящемся в библиотеке Британского музея. Они не имеют большого значения, и хотя некоторые из них, несомненно, улучшают текст Фабера, но, взятые в целом, они могут повредить строкам поэта, если, к сожалению, будут приняты в последующих изданиях.

Эйхштедт в своем недавнем оттиске, опубликованном в Лейпсике, в основном следовал тексту Уэйкфилда, но иногда отступал от него, когда нововведения казались ему слишком смелыми. У него было преимущество консультироваться с Editio Princeps, которым не обладает ни один современный редактор. Он приложил к тексту предисловия Уэйкфилда и собственную длинную диссертацию о жизни и поэтических сочинениях Лукреция, в которой он едва ли отдает должное поэтическому гению своего автора. Первый том, содержащий текст и весьма обширный словесный указатель, был напечатан в Лейпциге в 1801 году. Предполагалось, что второй том будет включать в себя комментарии, но он еще не был опубликован.

Вряд ли найдется поэт, более трудный для счастливого перевода, чем Лукреций. В заумных и несерьезных философских рассуждениях, занимающих столь значительную часть поэмы, едва ли возможно, не жертвуя проницательностью, сохранить гармонию стихосложения; а в орнаментальных отрывках дикция настолько проста, чиста и мелодична, что перевести ее с верностью и изяществом - задача не из легких.

Вследствие, возможно, вольности его философских и искаженных нравственных постулатов, Лукреций дольше, чем почти все другие классики, переводился на итальянский язык. Уже в конце семнадцатого века, до того как была выполнена какая-либо версия, Маркетти, профессор математики и философии в Пизанском университете, предпринял перевод на *verso sciolto*. Маркетти, очевидно, переводил с издания Ламбинуса - лучшего, которое появилось в то время. Однако его версия, хотя и завершенная в XVII веке, была опубликована только в 1717 году, через три года после его смерти, когда она была напечатана с датой в Лондоне под руководством человека, называющего себя Антино Рулло, с предисловием, посвященным великому принцу Евгению, в котором редактор называет ее *"la più grande, e la più bella poetic' opera che nel passato secolo nascesse ad accrescere un nuovo lume di gloria ad Italia."* Общественное мнение, как в Италии, так и в других странах, подтвердило мнение редактора, и все признают, что переводчику удалось точно сохранить дух и смысл латинского оригинала, не утратив при этом ни одной из прелестей итальянского языка. Говорят, что эта работа отличается такой свободой и свежестью, что никто, если не был предварительно проинформирован об этом, не мог определить, латинский или итальянский Лукреций является оригиналом. Грациана, сам знаменитый поэт, ознакомившийся с переводом в MS., так справедливо характеризует его достоинства в письме, адресованном автору: "Вы перевели эту поэму с большим удовольствием и легкостью; раскрывая ее возвышенные и научные материалы в тонком стиле и элегантной манере; и, что еще более достойно восхищения, ваша дикция редко переходит в удлинённый парафраз, и никогда без величайшей рассудительности". Ознакомление с этим восхитительным переводом было запрещено инквизицией, однако этот запрет не помешал напечатать последующий оттиск в Лозанне в 1761 году. Это издание, состоящее из двух томов, содержит итальянский перевод "Анти-Лукреция" Полиньяка, выполненный Ф. Марией Риччи. Редактор, Деревни, действительно заявляет, что он не решился бы опубликовать ни один перевод Лукреция, каким бы превосходным он ни был, если бы не сопровождался этим мощным противоядием. К этому изданию прилагаются исторические и критические заметки, а также предисловие и "Protesta del Traduttore", которые были вставлены в первое издание.

Большинство французских переводов Лукреция выполнены в прозе. Из всех видов поэзии та, которую называют дидактической и которая состоит из деталей регулярной системы или рациональных наставлений, вытекающих друг из друга в связную цепь мыслей, страдает меньше всего, будучи переложённой на прозу. Почти каждый дидактический поэт, однако, обогащает свою работу такими украшениями, которые вытекают из его темы, хотя и не являются строго связанными с ней; но ни в одной дидактической поэме эти отрывки не столь многочисленны и не столь очаровательны, как в поэме Лукреция; и, соответственно, в прозаическом переводе, хотя все систематическое или поучительное может быть передано с уместностью, все, что относится к украшению и составляет главное изящество оригинала, выглядит неуместным и неуместным. Самый ранний перевод Лукреция на французский язык был сделан Гийомом дез Аутельсом примерно в середине шестнадцатого века. Аббат Мороллес, уже упоминавшийся как переводчик Плавта и Теренция, перевел Лукреция на французский прозой: У этой версии было два издания, первое из которых было напечатано в

1650 году. Он был адресован Кристине, королеве Швеции; поскольку автор был очень либерален к этой принцессе в комплиментах, он надеялся, что она будет столь же либеральна в вознаграждении; но он был сильно обманут, и об этом разочаровании он горько жалуется в своих "Мемуарах". Об этом переводе Гуже замечает, что постоянно приходится обращаться к латинскому тексту, чтобы понять его [смысл613](#). Однако во втором издании 1659 года он был значительно исправлен, при обстоятельствах, о которых автор сообщает в списке своих работ, приложенном к переводу Вергилия. Гассенди, глубоко изучивший системы Эпикура и Лукреция, раздобыв экземпляр первого издания Маролля, за несколько дней до смерти послал за автором и собственноручно указал ему на те места, в которых, по его мнению, его перевод имел недостатки, а также снабдил его рядом примечаний, иллюстрирующих поэта. Таким образом, аббат получил достаточно материалов для улучшения своего труда, и он был так доволен своим вторым изданием, что добился запрета на перепечатку первого, внесенного в Привилегию второго. Он вставил в него "Апологетические рассуждения", защищая перевод и чтение Лукреция, и приложил посвящение мсье Ламуаньону, председателю парламента, которого он теперь заменил королевой Кристиной. Мольер, ознакомившись с первым изданием прозаического перевода Маролля, побудил его переложить Лукреция на французский стих. Первоначально он намеревался переложить всю поэму в стихах, но впоследствии ограничился рифмами в наиболее декоративных частях, а остальное изложил в простой прозе. Продолжая работу над своей версией, он единообразно репетировал ее перед Шапелем и Рохо, которые совместно выразили свое одобрение исполнению. Но ей было суждено погибнуть, когда она была уже близка к завершению. Камердинер переводчика, отвечавший за его парик, не имея бумаги, чтобы завить его, взял в руки свободный лист версии, который был немедленно разорван на куски и брошен в огонь, как только выполнил свою функцию. Мольер был одним из самых раздражительных представителей рода *irritable vatum*, и это происшествие было слишком провокационным, чтобы его терпеть. Он решил никогда больше не переводить ни строчки и бросил весь остаток своей версии в пламя, которое таким образом поглотило ее [часть614](#). Эта неудачная попытка Мольера побудила аббата Мароля перевести всего Лукреция в стихах. Он выполнил эту задачу менее чем за четыре месяца и опубликовал плоды своего труда в 1677 году. Однако быстрота исполнения - единственное достоинство, которым он может похвастаться. Его перевод суров, плосок и перевернут; кроме того, он очень расплывчат: поэма Лукреция состоит из 7389 строк, а версия - не менее чем из 12338615.

Впоследствии "Лукреций" был переведен в прозу бароном де Кутюром. Его версия, напечатанная в Париже в 1685 году, несколько лучше по стилю, чем у Маролля, но не более верна оригиналу, будучи крайне перефразированной. К книге прилагается "Жизнь Лукреция", составленная на основе материалов, предоставленных Губертом, Гифанием, Ламбинусом и другими комментаторами, а к каждой книге - небольшой свод примечаний, свидетельствующих о том, что автор был лучше знаком со своим предметом, чем Мароллес. Тем не менее, поэма Лукреция была мало известна во Франции в семнадцатом веке, как в оригинале, так и в переводе. Шолье, один из самых элегантных и изысканных поэтов той эпохи, был настолько мало знаком с моральными уроками, которые она преподносит, что написал следующие строки: - "Épique et Lucrece".

-- "Эпикур и Лукреция

M'ont appris que la Sagesse

Не стоит отходить от репассажа,

Ou des bras de sa maîtresse,

Содержимое я оставляю на дне".

В конце концов Ла Гранж перевел Лукреция в 1768 году, а Ле Блан де Гийе - в 1788 году. Брюне высоко отзывается о версии Ла Гранжа, которую он считает лучшей на французском языке, и говорит, что версия Ле Блан де Гийе несколько переработана. Г-н Гуд, упоминая о различных переводах Лукреция, не ссылается на издание Ла Гранжа, но высоко отзывается о версии Ле Блан де Гийе. Он признает, что иногда ошибается, а еще чаще неясно выражается: "В целом, однако, - продолжает он, - это произведение большого достоинства и занимает второе место среди переводов Лукреция, которые до сих пор появлялись в любой стране". Разумеется, она стоит непосредственно рядом с переводом Маркетти. Эта версия сопровождается латинским текстом на альтернативных страницах. Она украшена табличками, [pg A-38] иллюстрирована примечаниями и представлена обширным предварительным рассуждением, которое содержит биографию автора, составленную на основе Гифания и Крича, а также некоторые общие замечания по эпикурейской философии.

Первая попытка переложить поэму Лукреция на английский язык была предпринята Ивлином, знаменитым автором "Сильвы". Это было одно из самых ранних его произведений, напечатанное в 1656 году. Она сопровождалась приложением примечаний, свидетельствующих о значительном знакомстве с предметом, и к ней были приложены хвалебные письма или стихи Уоллера, Фэншоу, сэра Ричарда Брауна и Кристофера Уосса. Эвелин приступил к своей трудной задаче с большим энтузиазмом, восхищаясь своим оригиналом и стремясь сделать его полностью справедливым. Однако на деле он осознал свою неспособность создать, как он выражается, "какую-либо инсценировку, равную изяществу оригинала", и, соответственно, прекратил свои труды с первой книгой. Этому решению, как он утверждает, в немалой степени способствовала небрежная манера, в которой был напечатан образец его перевода. К экземпляру, хранящемуся в библиотеке в Уоттоне, приложена записка, написанная его собственным почерком: "Никогда книга не использовалась печатником так отвратительно; никогда копия не была так небрежно просмотрена тем, кто взялся просмотреть корректурные листы со всей точностью и тщательностью, а именно доктором Триплетом, хорошо известным своими способностями, который притворился, что хочет услужить мне в мое отсутствие, и так охотно предложил себя. Я получил от нее столько пользы, что тщетная ее публикация и неуспех в типографии отбили у меня охоту беспокоить мир [остальными](#) [б16](#)". Однако это притворное отвращение к типографии его "Лукреция", скорее всего, было предлогом. Более вероятно, что от дальнейшего исполнения своей версии его удержали либо ее неуспех, либо намеки, которые он получил от некоторых своих друзей относительно моральной и религиозной опасности его затеи. "Что касается вашего Лукреция, - пишет Джереми Тейлор в письме к нему, датированном 16 апреля 1656 года, - то, как я понимаю, вы поддались настойчивости ваших слишком добрых друзей, которые взяли над вами верх. Я не стану говорить вам, что ваш Лукреций так же далек от суровости христианина, как прекрасная эфиопка от долга епископа Гелиодора; ибо на самом деле это не что иное, как то, что может стать трудами христианского джентльмена, - то, в чем наш злой век не нуждается, только в ослабленном виде: для чего также, я надеюсь, вы либо в примечаниях, либо в предисловии подготовите достаточное противоядие; но раз уж вы занялись им, не пренебрегайте украшением его и заботой о нем, которую он может потребовать или в которой нуждается; ибо это пренебрежение будет упреком вашему собственному поступку и будет выглядеть так, будто вы сделали это с неудовлетворенным умом; и тогда вы можете сделать это полностью грехом, от которого, только благодаря благоразумию и милосердию, вы могли бы прежде

посоветовать воздержаться. Но, сэр, если вы позволите, я наложу на вас такое покаяние за публикацию Лукреция, которое не будет неприятно ни Богу, ни вам; и поскольку вы занимаетесь этими вещами, которые могут прямо служить обучению, а косвенно - заблуждениям или доверию людей, которые сами по себе достаточно склонны скрывать свои пороки в нерелигии, я знаю, что вы захотите и потерпите, если вас будут просить, использовать то же перо для прославления Бога и служения евхаристии и [молитвы617](#)".

В 1682 году Крич, которого не останавливали подобные религиозные угрызения, опубликовал свой перевод всей поэмы Лукреция. Как ученый, он был весьма квалифицирован для трудного дела, за которое взялся: но он писал с такой поспешностью, что его произведение повсюду выдает неточности автора, который поддается первым внушениям своего ума и который больше желает закончить, чем стремится закончить хорошо. Кроме того, он всегда стремится скорее передать простой смысл своего оригинала, чем показать какую-либо часть декоративного одеяния, в которое он облачен. Поэтому, хотя он в целом верен своему автору, ему почти везде не хватает одной из самых ярких характеристик римского поэта - великолепия и красоты выражения. Он часто бывает укрощенным, прозаичным и даже доггером; и иногда он обнаруживает умозрительные идеи порочного вкуса, в самом прямом противоречии с простым характером и величественным гением своего римского оригинала. Поуп говорил, "что Крич сильно навредил своему переводу Лукреция, подражая Коули и внося обороты даже в некоторые из самых величественных [частей618](#)". Доктор Дрейк также отмечает, "что в этой версии двустиие привело почти [pg A-39] каждой странице к самым нелепым излишествами. Отсутствие вкуса в выборе языка, однако, столь же заметно у Крича, как и недостаток мастерства и адресности в управлении его [стихосложением619](#)". Обширные примечания, которыми сопровождается перевод, в основном взяты из работ Гассенди. К переводу прилагается ряд похвальных стихотворений, в том числе одно из стихотворений Ивлина, в котором он признает, что Крич преуспел в славном начинании, в котором сам потерпел неудачу. Драйден также был очень доволен переводом Крича, но это не помешало ему перевести в стихах некоторые из более высоких и декоративных отрывков, которым Крич вряд ли отдал должное, например, те, что находятся в начале первой и второй книг, заключительную часть третьей книги, против страха смерти, и четвертую, касающуюся природы любви. Этим прекрасным отрывкам Драйден придал легкость, бодрость и гармонию своей музы; но, хотя они выполнены в привычном духе, его переводы лишены величественной торжественной окраски Лукреция, они несколько приторны и парафрастичны. За это, однако, он отвечает в своих "Поэтических сборниках", упоминая о своих переводах в сравнении с версией Крича. "Способы нашего перевода, - замечает он, - весьма различны: Крич следует Лукрецию более тщательно, чем я, который стал переводчиком всей поэмы, я же проявляю большую вольность, поскольку это лучше всего соответствовало моему замыслу, который заключался в том, чтобы сделать его настолько приятным, насколько я мог. Он был слишком объемным, если бы использовал мой метод в столь длинном произведении, а я, несомненно, воспользовался его, если бы взялся переводить все целиком".

Переводы Крича и Драйдена выполнены в рифму. Перевод мистера Гуда, напечатанный в 1805 году, выполнен пустым стихом, и можно усомниться в том, что это предпочтение способствовало успешному выполнению его замысла. Перевод сопровождается оригинальным текстом Лукреция, напечатанным по изданию Уэйкфилда, и к нему приложены очень полные примечания, содержащие отрывки, демонстрирующие подражания Лукрецию со стороны последующих поэтов. Предисловие включает заметки о предыдущих изданиях его автора и объяснение его собственного плана. Далее следуют Жизнь Лукреция и Приложение к Жизни, включающее анализ и защиту системы Эпикура, а также

сравнительный очерк большинства других философских теорий, как древних, так и современных.

Перевод мистера Гуда был дополнен в 1813 году переводом доктора Басби, который выполнен в рифму и снабжен огромными пролегоменами о жизни и гении Лукреция, а также о философии и морали его поэмы.

## КАТУЛЛ.

Рукописи Катулла были повреждены и несовершенны еще во времена Аула [Геллия](#)<sup>620</sup>, жившего в царствование Адриана и Антонинов; в его эпоху, как и в пятнадцатом веке, существовали различные лекции. В X веке в Вероне сохранилась рукопись Катулла, с которой ознакомился епископ Ратериус, приехавший из-за Альп и упоминающий ее в своих "Рассуждениях" как произведение, которого он никогда не видел до своего приезда в Верону. Другой рукописью владел в XIV веке Пастренго, веронский дворянин и друг [Петрарки](#)<sup>621</sup>, который дважды цитирует ее в своем труде "De Originibus"; но эти и все другие MSS полностью исчезли среди путаницы, в которой в то время находилась Италия, и поэтому Катулла можно считать одним из классиков, появившихся на свет в эпоху возрождения литературы. Массив, содержащий стихи Катулла, был найден не в Италии, а в одном из монастырей Франции или Германии (Скалигер говорит о Франции) в течение пятнадцатого века, а согласно Маффею, в 1425 [году](#)<sup>622</sup>. Все, что нам известно о его открытии, содержится в варварской латинской эпиграмме, написанной Гуарином Веронским, который решил изложить свои сведения по этому вопросу в виде почти неразборчивой загадки. Она была приложена к изданию Катулла, напечатанному в Италии в 1472 году, где она озаглавлена *Hexichum Guarini Veronensis Oratoris Clariss. in libellum V. Catulli ejus concivis*:

[pg A-40].

"Ad Patriam venio longis de finibus exul:

Causa mei reditûs compatriota fuit.

Scilicet a calamis tribuit cui Francia nomen,

Quique notat turbæ prætereuntis iter.

Quo licet ingenio vestrum celebrate Catullum

Quovis sub modio clausa papyrus erat".

В первой строке объясняется, что этот документ был привезен в Италию из-за Альп, а во второй - что его обнаружил земляк Катулла, то есть житель Вероны. Третья строка содержит грандиозную загадку. Одни критики полагают, что она указывает на название монастыря, где была обнаружена рукопись; другие - что она обозначает имя человека, который ее нашел. Лессинг придерживается последнего мнения, и, согласно его интерпретации, строка подразумевает, что она была обнаружена кем-то, чье имя является французским словом, обозначающим перья или ручки, то есть плюмажи. Ближайшее к этому имя - *Plumatius*, на основании которого Лессинг приписывает открытие Катулла Бернардину Плумацію, великому ученому и врачу из Вероны, процветавшему в последней половине XV [века](#)<sup>623</sup>. Эта догадка Лессинга была более обоснованной, чем он сам, по-видимому, осознавал,

поскольку второй слог в имени Plumatius недалек от французского глагола *hater*, который в одном смысле, как выражается эпиграмма, -

"Notat turbæ prætereuntis iter".

Луций Пиньорий, считающий, что эти строки были написаны не Гварином Веронским, а найденная им рукопись, также предполагает, что она была найдена в амбаре, поскольку в последней строке говорится, что она была спрятана *sub modio*, а бушели нигде не хранятся, кроме как в [амбарах](#)<sup>624</sup>. Это означает, что строку следует понимать в самом буквальном смысле, но выражение, вероятно, имело лишь пословичный смысл.

Жалкая ситуация, в которой оказался этот MS., и то обстоятельство, что он был единственным сохранившимся до наших дней древним, в достаточной степени объясняет многочисленные и очевидные искажения текста Катулла, а также то, что издания этого поэта представляют большее количество различных и противоречивых чтений, чем издания почти любого другого классика.

После того как эта рукопись была привезена в Италию, она попала в руки Гваринуса из Вероны, который приложил много усилий для ее исправления, и в дальнейшем ее исправил его сын Баптиста Гваринус, как сообщает нам третий представитель этой семьи, Александр Гваринус, в проэмии к своему изданию Катулла 1521 года, адресованной Альфонсу, третьему герцогу Феррары. Баптиста Гваринус, как далее упоминает Александр в своей проэмии, опубликовал издание Катулла по рукописи, которую он так старательно исправлял, но без каких-либо комментариев. Это издание, однако, теперь полностью исчезло; а издание 1472 года, напечатанное Спирой в Венеции, в котором Катулл объединен с Тибуллом и Проперцием, считается *Editio Princeps*. Различные издания, в которых эти поэты появлялись вместе, будет удобнее перечислить далее: как в них, так и в оттисках Катулла, напечатанных отдельно, редакторы сильно отклонялись от исправленного текста Баптисты Гварина. Поэтому Александр Гваринус в 1521 году напечатал издание Катулла с целью восстановить подлинные чтения своего отца и деда, работавших над древним списком, который послужил прототипом для всех остальных. Однако, судя по всему, ошибочные чтения стали постоянными. Маффеи в своей "Веронской иллюстрации"<sup>625</sup> указывает на абсурдные и несанкционированные изменения Воссюса и Скалигера в чистых чтениях Гварини.

Мурет взял на себя ответственность за издание Катулла, которое было напечатано младшим Альдом Мануцием в 1558 году. Это издание не является таким, как можно было бы ожидать от непревзойденного критика и ученого, которым оно было подготовлено. Исаак Воссюс прокомментировал Катулла, но его аннотации оставались скрытыми в течение многих лет после его смерти, пока их не извлек на свет его подручный Беверланд, который с помощью этого ценного приобретения смог подготовить лучшее издание Катулла, которое было впервые напечатано в Лондоне в 1684 году. Его комментарии были глубоко проработаны по каждому пункту - "*Poetam*", говорит Харлес, "*commentario eruditissimo, ita tamen ut inverecundiâ illi interdum haud cederet, illustravit.*" Вульпиус опубликовал еще более совершенное издание в [pg A-41] Падуе в 1737 году, при подготовке которого он широко использовал *Editio Princeps*. В примечаниях он ввел новый и наиболее приятный вид комментария, иллюстрируя своего автора параллельными отрывками из древних и современных поэтов, особенно итальянских; не такими параллельными отрывками, какие собрал Уэйкфилд, где слова *qui* или *atque* встречаются в обоих случаях, но там, где есть очевидное подражание или сходство в мыслях или образах. Он также приложил диатрибу *De Metris Catullianis*. В 1738 году в отношении Катулла было совершено любопытное мошенничество. Каррадини де Аллио, ученый с известной репутацией, опубликовал в

Венеции издание, которое он выдавал за напечатанное с древнего списка, случайно обнаруженного им в гончарной мастерской, без обложки и титульного листа, весь измазанный грязью. Оно было посвящено курфюрсту Баварии; и хотя это было одно из самых дерзких мошенничеств подобного рода, которое практиковалось со времен Сигония и Анния Витербиенса, оно навязывалось многим ученым людям. Полученный им кредит доверия внес новые расстройств в текст Катулла, а когда обман был наконец обнаружен, его исполнитель лишь посмеялся над временным успехом своего самозванства.

В начале своей жизни Доринг напечатал издание главной поэмы Катулла - "Эпиталамия Пелея и Фетиды". Воодушевленный успехом этой публикации, он впоследствии подготовил полное издание Катулла, которое вышло в Лейпциге в 1788 году.

Эпиталамия Пелея и Фетиды, главное произведение Катулла, была переведена на итальянский язык Людовико Дольче и напечатана в 1538 году в конце небольшого тома разных произведений, посвященных Тициану. В колофоне сказано: "Il fine dell' epitalamio tradotto per M. Lod. Dolce, in verso sciolto". Этот Эпиталамий был также переведен в XVIII веке на оттаву рима Паризотти с длинным предисловием, в котором он утверждает, что оттава, или *terza rima*, лучше приспособлена для перевода латинских классиков, чем *versi sciolti*. Гингенэ в предисловии к своему французскому переводу этого Эпиталамия упоминает три другие итальянские версии прошлого века - Неручи, Торелли и графа д'Аяно, которые, по его словам, обладают значительными достоинствами. Он также сообщает нам, что Антонио Конти начал перевод этой поэмы, который был найден незаконченным после его смерти; но он сопровождался многими ценными критическими замечаниями и аннотациями, которые были использованы в мемуаре, вставленном в документы Французской академии М. Д'Арно, чьи плагиаты у итальянского автора были подробно указаны М. Жинжене в его предисловии. Конти завершил перевод "Комы Береники" в стихах, сопровождаемый объяснением предмета и учеными примечаниями, который был напечатан вместе с его работами в Венеции в 1739 году. Кома Береники была также переведена *in terza rima* неаполитанцем Саверио Маттеи, а Пагнини - *in versi sdruccioli*. Наконец, в 1803 году Уго Фосколо, ныне хорошо известный в нашей стране как автор "Письма Якопо Ортиса", напечатал в Милане перевод этой элегии в стихах под названием "La Chioma di Berenice, poema di Callimaco, tradotto da Valerio Catullo, volgarizzato ed illustrato da Ugo Foscolo". Версия предваряется четырьмя диссертациями; текст сопровождается примечаниями, а за ним следуют четырнадцать так называемых *considerazioni*, в которых автор сурово порицает и сатирически высмеивает педантичных комментаторов и филологов своей страны. Мистер Хобхауз в своих "Иллюстрациях к Чайльд Гарольду" [626](#) утверждает, что весь этот труд, занимающий почти 300 страниц большого формата *octavo*, представляет собой серьезную и продолжительную иронию над словесной критикой комментаторов. "Некоторые ученые, - продолжает он, - попались в эту ловушку, и Фосколо, выпустивший всего несколько экземпляров, теперь добавил "Прощание" к своим читателям, в котором он оплачивает им за похвалы, разоблачая тайны и злоупотребления филологического искусства. Те, кого он обманул, должно быть, были не на шутку раздражены, узнав, что его частые цитаты были придуманы специально для этого случая, а его комментарий был намеренно испещрен многими грубейшими ошибками".

Все произведения Катулла были впервые переведены на итальянский язык аббатом Франциском Марией Бьяккой из Пармы, который скрыл свое настоящее имя, в соответствии с аффектированной модой того времени, под именем Парминдо Ибиченсе, пастор Аркад. Аббат умер в 1735 году, и его версия была напечатана в Милане после его смерти, в 1740

году, в двадцать первом томе "Общего собрания [pg A-42] итальянских переводов из древних латинских поэтов". Самая последняя итальянская версия - это версия Пуччини, напечатанная в Пизе в 1805 году. Она очень слаба по духу; и последний английский переводчик Катулла замечает, "что она в первую очередь примечательна брезгливостью, с которой она опускает всякую теплоту в любовных стихах, в то время как она бессовестно сохраняет некоторые из самых отвратительных отрывков".

Во все времена французы много занимались прозаическими переводами классики. Они не очень подходили для эпических поэм и даже комедий римлян, и были совершенно отвратительны для лирических или эпиграмматических произведений Катулла. Большая часть красоты каждой поэмы заключается в мелодичности ее номеров. Но есть определенные виды поэзии, в которых главное достоинство заключается в сладости и гармонии стихосложения. Смелость фигур, пышность образов, частое использование метафор, быстрота переходов, свобода отступлений, которые допустимы в любом виде поэзии, для многих ее видов являются необходимыми. Но они совершенно не подходят к характеру прозы, а в прозаическом переводе кажутся нелепыми и неуместными, поскольку никогда не встречаются ни в одном оригинальном прозаическом произведении. Так вот, красоты Катулла как раз такого рода, о которых невозможно передать ни малейшего представления в прозаическом переводе. Многие из его стихотворений относятся к лирике, в которой допускается большая степень нестандартности мышления и более необузданное буйство фантазии, чем в любом другом виде композиции. Поэтому пытаться перевести лирическое стихотворение в прозу - самое нелепое из всех начинаний; ведь те самые черты оригинала, которые важны для него и составляют его высшую красоту, при переводе в прозу становятся непростительными изъянами. Что может быть нелепее французского прозаического перевода диких дифирамбов Атиса или пылких, почти исступленных любовных стихов к Лесбии? Именно из поэзии элегии Катулла черпают почти всю свою нежность, его амурные стихи - всю свою деликатность, игривость или сладострастие, а его эпиграммы - все свое жало.

Неутомимый переводчик латинских поэтов, аббат Мароль, был первым, кто перевел Катулла на французский язык. Он был автором, хуже всех остальных справившимся с задачей, за которую взялся, поскольку его тяжелое и свинцовое перо было плохо приспособлено для передачи изящных легких граций оригинала. Его прозаический перевод был напечатан в 1653 году. В 1676 году за ним последовал перевод в стихах, также выполненный Мароллем, но только тридцать экземпляров были отпечатаны и распространены среди друзей переводчика. Ла Шапель (не автор "Путешествия") перевел большинство стихотворений Катулла и вставил их в свою "Историю Галанта" под названием "Любовные похождения Катулла", напечатанную в 1680 году, в которой в стиле любовного прозаического романа рассказывается о приключениях и интригах Катулла, его друзей и любовниц. Следующий перевод, хотя и не всех его произведений, выполнен М. Пезаем в 1771 году, который не упускает случая высмеять Маролля и его работу. Он выполнен в прозе, как и более поздний французский перевод М. Ноэля, Париж, 1806 год. Первый том работы Ноэля содержит "Предварительные рассуждения о жизни, поэзии, изданиях и переводах Катулла", а также саму версию, сопровождаемую латинским текстом. Второй том состоит из очень большого количества примечаний, в основном демонстрирующих подражания Катуллу со стороны французских поэтов. Брюне упоминает еще более поздний перевод М. Моллевота, выполненный в стихах и доказывающий, что Катулл может быть более справедливым в рифме, чем в прозе.

Английский перевод Катулла, обычно приписываемый доктору Нотту, был опубликован анонимно в 1795 году, сопровождаемый ценными аннотациями. Он был первым, кто, по его собственным словам, перевел Катулла целиком, без остатка, и в той или иной мере перевел все его непристойности. Эта версия очень близко примыкает к оригиналу и имеет то достоинство, что она проста и буквальна, но она скучна и незлегантна: ей недостает легкости и свободы, и она редко представляет нам те поэтические достоинства и почти недостижимое великолепие дикции, которые характеризуют оригинал. Пока я писал эту книгу, в мои руки попал поэтический перевод мистера Лэмба. Он также снабжен длинным предисловием и примечаниями, которые выглядят со вкусом и забавными. Главные возражения против перевода прямо противоположны тем, которые были высказаны против версии, которой он предшествовал: он кажется дефектным с точки зрения верности, слишком расплывчатым и избыточным. Ни один автор не страдает так сильно от того, что его разбавляют, как Катулл, и его можно передать только с помощью краткости, такой же сжатой и пикантной, как его собственная. Действительно, мысли и язык Катулла ставят на пути переводчика больше трудностей, чем мысли и язык почти любого другого классического автора. Его особенности чувств, его идиоматические изыски [pg A-43] стиля, эта легкая невыразимая грация, эта элегантная легкость и дух, которыми он был наделен богаче, чем почти любой другой поэт, едва ли могут пройти через руки переводчика, не будучи в той или иной степени испорченными или легированными.

## ЛАБЕРИЙ-ПУБЛИЙ СИР.

Единственный фрагмент Лаберия, которым мы располагаем, был сохранен Макробием в его "Сатурналиях". Фрагменты Публия Сиры сохранились в основном у Сенеки и Авла Геллия. Геллий, а разрозненные изречения, записанные ими, были собраны в различных MSS XIV и XV веков. Впервые они были напечатаны вместе под руководством Эразма в 1502 году, в пересмотренном и исправленном виде по рукописи, хранящейся в Кембриджском университете. Фабриций опубликовал несколько дополнительных максим, которые ранее не печатались, в 1550 году. Стивенс отредактировал их в конце своих "Фрагментов из греческих и латинских комических поэтов" в 1564 году, а Бентли опубликовал их вместе с "Теренцием и баснями Федра" в Кембридже в 1726 году. Усовершенствованное издание, подготовленное Грутером, было напечатано под руководством Хаверкампа по рукописи после его смерти. Однако наиболее полное издание, до сих пор появившееся на свет, было опубликовано Ореллиусом в Лейпсике в 1822 году. Оно содержит 879 максим, расположенных в алфавитном порядке, из которых, по крайней мере, как утверждает редактор, были исключены все поддельные, а также добавлены несколько подлинных. На противоположной стороне страницы приведен греческий вариант афоризмов, выполненный Иосифом Скалигером, и приложен длинный комментарий, в котором он цитирует все афоризмы предыдущих или последующих авторов, которые выражали чувства, сходные с чувствами Публия Сируса.

Эти предложения были переведены на английский язык из издания Эразма под следующим названием: "Пословицы или адажи, с новыми дополнениями, собранные из Чилиадов Эразма, Ричардом Тавернером. К этому также добавлено: "Mimi Publiani". Отпечатано в Ло'доне, в Флетстрете, по знаку Уайта Харта. Cum privilegio ad imprimendum solum". На обороте титула - "Пролог автора, извиняющийся за его слабые способности" и завершающийся словами: "И все же мой харт не стоит винить". Книга содержит шестьдесят четыре листа, последний пустой. На последней печатной странице находятся "Неисправности, избежанные при печати", которых семь. Внизу стоит колофон: "Отпечатано

в Лондоне Ричардом Бэнкесом, в "Whyte Harte", 1539". Эта книга часто переиздавалась. Джеймс Элфинстон, давно известный публике своей неудачной попыткой ввести новую и единообразную орфографию в английский язык, в 1794 году перевел "The Sententious Poets-Publius dhe Syrrian-Laberius dhe Roman Knight, &c. arrainged and translated to correspondent Inglish [Mezzure627](#)".

## КАТО-ВАРРО.

Из Аулуса Геллия следует, что еще в его время труды Катона начали портиться из-за невежества переписчиков. Как уже упоминалось в тексте, его книга о сельском хозяйстве, единственная из его многочисленных работ, которая сохранилась, дошла до нас в очень несовершенном и изуродованном виде. Один MS. Катона, но очень дефектный и неполный, был у Никколо Никколи; сохранилось его письмо, в котором он просит одного из своих корреспондентов, по имени Микелотий, одолжить ему очень древнюю копию у епископа Аретино, чтобы его собственная могла стать более [совершенной628](#). Большинство изданий, которыми мы располагаем в настоящее время, следуют за списком, который, как говорят, был обнаружен в Париже архитектором Фра Джокондо из Вероны и привезен им в Италию. Трактат Варро "О сельском хозяйстве" был впервые обнаружен Кандиди, о чем он сам сообщает в письме к Никколо [Никколи629](#).

[pg A-44].

Сельскохозяйственные труды Катона и Варро обычно печатались вместе, а также вместе с трудами Колумеллы и Палладия под названием *Rei Rusticæ Scriptores*. Не известно ни одного древнего MS, в котором все *Rei Rusticæ Scriptores* были бы собраны вместе. Впервые они были объединены в издании *Editio Princeps*, отредактированном Георгием Мерулой и напечатанном в Венеции в 1470 году. Следующее издание, под руководством Брускиуса, напечатанное в 1482 году, почти полностью исчезло. Во многих отрывках его чтения отличались от чтений всех остальных изданий, как явствует из примечаний, переданных из Рима Понтедерой Геснеру, когда тот готовил свое знаменитое [издание630](#). Филипп Бероальдус исправил множество недочетов и ошибок, вкравшихся в *Editio Princeps*. Его поправки были использованы в издании Бенедикта Гектора, выпущенном в Болонье в 1494 году. Геснер тщательно сверил это издание с *Editio princeps* и сообщил нам, что оно содержит множество важных исправлений. Несмотря на некоторые различия, он считает, что все издания, предшествующие Альдусу, принадлежат к одному классу или семейству. Альдинское издание, напечатанное в 1514 году, было осуществлено под руководством фра Джокондо из Вероны, который, раздобыв в Париже несколько ранее не изученных списков, ввел в них много новых чтений и заполнил несколько пробелов в тексте, особенно в пятьдесят седьмой [главе631](#). Это издание, однако, не пользуется большим уважением; "Sequitur, - говорит Фабриций, - novi nec optimi generis editio Aldina:" А Шнайдер, самый последний редактор *Rei Rusticæ Scriptores*, утверждает, что Джокондо испортил и извратил почти каждый отрывок, который он изменил. Николай Ангелиус взял на себя ответственность за издание, выпущенное Джунтой во Флоренции в 1515 году. Его новые прочтения изобретательны, но многие из них совершенно несанкционированны и предположительны. Альдина продолжала оставаться основой всех последующих изданий вплоть до времени Петра Викториуса, который был настолько великим реставратором и улучшителем *Rei Rusticæ Scriptores*, что Геснер называет его *Æsculapius*, а Фабриций - *Sospitator*. Викторий получил доступ к ряду MSS, которые Полициан сверил с *Editio Princeps*. Самый древний и важный из них, содержащий Катона и почти всего Варро, был найден Викториусом в

библиотеке Святого Марка; другой, написанный французскими буквами, находился в Медицейской библиотеке; третий принадлежал Франциску Барбарусу и был переписан им с превосходного образца в [Падуге632](#). Но хотя Викторий имел возможность ознакомиться с этими списками, не похоже, что он обладал списком, сделанным умелой рукой Полициана; ведь он был вставлен не в списки, а в его собственную печатную копию Editio Princeps; а Геснер подробно показывает, что Петр Викторий никогда не обращался ни к одной копии Editio [Princeps633](#). Свою образованность и критические таланты Викториус в первую очередь направил на Варро. Через некоторое время после этого Джованни делла Каза, посланный папой по каким-то государственным делам во Флоренцию, где в то время проживал Викторий, привез ему послание от кардинала Марцелла Червина с просьбой приложить к Катону часть того усердия, которое он ранее проявил к Варро. Викторий вскоре выполнил порученное ему задание. Он также вернулся к Варро и внимательно пересмотрел свои прежние труды об этом [авторе634](#). Наконец, он решил собрать воедино все MSS рустьских писателей, которые ему удалось раздобыть. Вышеупомянутые, проверенные Полицианом, были важнейшими источниками, из которых он черпал новые и разнообразные чтения.

Неизвестно, чтобы Викторий напечатал в Италии какое-либо издание с текстом *Rei Rusticæ Scriptores*. Его письмо к Сервинусу говорит о том, что он как раз собирался отредактировать их; но сделал ли он это, неизвестно. "Quartam classem", говорит Харлес, "constituit Victorius, sospitator horum scriptorum: qui quidem num primum in Italiâ recensitos dederit eos cum Gesnero et Ernesti [ignoro635](#)." Насколько можно судить, его исправления и дополнения были впервые напечатаны в Лейденском издании 1541 года, где в заголовке указано, что авторы, которых оно содержит, - *Restituti per Petrum Victorium, ad veterum exemplarium fidem, suæ integritati*. Его кастинги были напечатаны в следующем году, но без текста авторов, во Флоренции. Лейденское издание было перепечатано в Париже в 1543 году Робертом Стивенсом, за ним последовало издание Hier. Commellinus, 1595.

[pg A-45]

В конце концов Геснер предпринял полное издание *Rei Rusticæ Scriptores* при обстоятельствах, о которых он рассказал нам в своем предисловии. Выдающийся книготорговец Фричиус задумал напечатать этих авторов; для помощи в этом деле он нанял молодого, но уже тогда выдающегося ученого Шёттгениуса. Он подготовил сборник лучших комментаторов и собрание различных чтений. Однако это начинание было отложено в ожидании прибытия MSS из Италии, а Шёттгениус тем временем был отозван на некоторое расстояние, чтобы заняться другим делом, оставив плоды своего труда в руках Фричиуса. В 1726 году этот книготорговец пришел к Геснеру и сообщил ему, что коллагии Полициана, написанные на его экземпляре Editio Princeps, наконец-то дошли до него, а также некоторые ценные замечания о деревенских писателях, переданные из Италии Понтедерой и Фаччолати. Фричиус попросил Геснера привести в порядок все собранные материалы. Ему были подготовлены подборки из комментариев и различных чтений, предшествовавших времени Виктории, но он начал усердно изучать все, что было ценного в более поздних изданиях. В конце концов его громоздкое издание вышло с предисловием, в котором подробно описаны труды других и его собственные, и с предисловиями к самым знаменитым предшествующим изданиям. Некоторые из примечаний уже были напечатаны ранее, как, например, примечания Мерсиуса, Скалигера и Фульвия Урсинуса, другие же, как, например, примечания Шеттгениуса, Понтедера и самого Геснера, еще не видели света. Хотя Геснер никогда не упоминает Понтедера, не называя его должным образом *Clarissimus Pontedera*, этот ученый отнюдь не был доволен результатами издания Геснера и с большим остервенением нападал на него в своем великом труде *Antiquitatum Rusticarum*. Первое

издание Геснера было напечатано в Лейпциге в 1735 году. Эрнести взял на себя публикацию второго издания; в дополнение к диссертации Аусония Попмы "De Instrumento Fundi", которая была приложением к первому изданию, он вставил описание и объяснение вольера Варро, сделанное Сегнером.

Самым последним изданием *Scriptores Rei Rusticæ* является издание Шнайдера, который считает, что он усовершенствовал издание Геснера, сопоставив древнее издание Брускиуса и первое альдинское издание, ни с одним из которых его предшественник не консультировался.

Помимо того, что сельскохозяйственные трактаты Катона и Варро входят в состав каждого сборника "*Rei Rusticæ Scriptores*", они неоднократно печатались сами по себе, а также отдельно от трактатов Колумеллы и Палладия. Авсоний Попма в своем отдельном издании Катона 1590 года в основном, без особого признания, использовал некоторые ценные аннотации и замечания, содержащиеся в *Adversaria Турнебуса*. К этому изданию прилагались и другие фрагменты Катона. Однако они не имели большого значения, а главная часть издания - работа о сельском хозяйстве - была продана с большим трудом благодаря полному изданию сельскохозяйственных писателей, выпущенному Коммеллином через пять лет после этого. Однако Рафленгиус переиздал его в 1598 году под новым названием и с добавлением примечаний Мерсиуса. Попма снова пересмотрел свои труды и опубликовал улучшенное издание в 1620 году. Трактат Варро "*De Re Rusticâ*" был опубликован отдельно в 1545 году, а вместе с другими его трудами - Стивенсом в 1569 году. Аусоний Попма также отредактировал его в 1601 году, используя, по своему обыкновению, чужие заметки и наблюдения.

Труд Катона "*De Re Rusticâ*" был переведен на итальянский язык Пагани, чья версия была напечатана в Венеции в 1792 году; а на французский - Сабуро, Париж, 1775 год. Мне неизвестен полный английский перевод "Катона", но многочисленные выдержки из него содержатся в "*Мужеводстве древних*" Диксона.

Италия создала больше переводов латинских писателей, чем любая другая страна; и естественно предположить, что сельскохозяйственные труды тех, кто возделывал ту же землю, что и они сами, будут особенно интересны итальянцам. Однако я не знаю ни одной версии Варро на их языке. Существует английский перевод, выполненный преподобным мистером Оуэном, напечатанный в Оксфорде в 1800 году. В своем предисловии автор говорит: "Перебрав множество экземпляров этой работы римского писателя, имеющихся в моем распоряжении, и обнаружив большое количество разночтений, я счел нелегкой задачей сделать перевод его трактата о сельском хозяйстве. Перевести любого обычного арабского автора на английский язык было бы для меня менее трудной задачей несколько лет назад, чем перевести эту часть работ этого знаменитого писателя".

[pg A-46]

## САЛЛЮСТИЙ.

Этот историк подвергся критике в работе Асиния Поллиона, в частности, из-за того, что он часто использовал устаревшие слова и выражения. Сульпиций Аполлинарий, грамматик, живший во времена правления Антонинов, хвастался, что он был единственным человеком

своего времени, который мог понять Саллюста. Его труды иллюстрировали многие древние грамматики, такие как Аспер и Статилий Максим. В IX веке Лупус, аббат Феррьеров, в одном из своих писем молил своего друга Регимбертуса достать для него копию [Саллюста](#)<sup>636</sup>; в [1240](#) году в библиотеке аббатства Гластонбери была копия его работ<sup>637</sup>. Стиль Саллюста очень своеобразен: он часто опускает слова, которые другие писатели вставили бы, и вставляет те, которые они опустили бы. Поэтому его текст стал рано и очень часто портиться, поскольку переписчики и переписчицы опускали то, что они, естественно, считали лишним, и дополняли то, что считали недостатком.

В течение 1470 года появилось не менее трех изданий Саллюста. Было много споров, и, похоже, до сих пор не установлено, какое из них является Editio Princeps. Одно из них было напечатано под руководством Мерулы Спирой в Венеции, но два других не имеют названия места и печатника: Предполагается, что из этих двух изданий одно, фолио, было напечатано в [Риме](#)<sup>638</sup>, а другое, кварто, - в Париже, Герингом, Кранцем и [Фрибургом](#)<sup>639</sup>. Венецианское издание обычно считается Editio Princeps<sup>640</sup>, но Фурман считает, что и парижское, и римское издания предшествовали ему. Римское, по его мнению, совпадающему с мнением Харлеса, является самым ранним из всех. Бипонтинские редакторы называют парижский оттиск Primaria Princeps. Кроме этих трех, в течение пятнадцатого века было опубликовано еще около тридцати изданий. Одно из них было напечатано в Венеции в 1493 году по переложению Помпония Летуса, которого последующие редакторы обвиняли во внесении многих искажений, вкравшихся в текст [Саллюста](#)<sup>641</sup>. В этом же веке появился ряд комментариев, написанных учеными, которые сами не публиковали издания историка, но внесли большой вклад в помощь тем, кто готовил их в следующем. В частности, комментарий Лаврентия Валлы, который был впервые напечатан в Риме в 1490 году и в котором едва ли хоть одно слово было пропущено без замечаний или объяснений, обогатил большинство изданий, появившихся в конце XV и начале последующего [века](#)<sup>642</sup>. Первыми в шестнадцатом веке были издания Альдуса, Венеция, 1509 и 1521 годы. Каррио, опубликовавший издание в Антверпене в 1579 году, собрал множество фрагментов великой "Истории Рима" Саллюста; он же внес изменения в текст Катилины и Югуртинских войн, как он сам хвастается, в нескольких тысячах мест. Издание Грутера в 1607 году, в котором текст подвергся значительным изменениям на основании Палатинской рукописи, получило в свое время значительную известность. Самое раннее издание Variorum датируется 1649 годом; но лучшим является издание, напечатанное в Лейдене с примечаниями Гроновиуса в 1690 году. Огромное количество списков и копий древнейших изданий было собрано Вассом для кембриджского издания 1710 года. Он в основном следовал тексту Грутера, но добавил примечания различных комментаторов, а также некоторые собственные оригинальные наблюдения, в частности сравнения, которые он установил между своим автором и древнегреческими писателями. Издания Кортиуса (Лейпсик, 1724) и Хаверкампа (Амстердам, 1742) превосходны. Первый при подготовке своего труда проконсультировался не менее чем с тридцатью MSS, пятнадцать из которых хранятся в библиотеке Вольфенбюттеля. Он также тщательно изучил большинство старых изданий и нашел несколько хороших чтений в Венеции 1470-1493 годов и Лейпциге 1508 года. Однако большинство изданий пятнадцатого века, как он утверждает, очень плохие; и, по его словам, большее количество ошибок, которые [pg A-47] вкрались в текст Саллюста, следует отнести на их счет, чем на счет искажений Помпония Летуса. Кортий в основном ошибался, полагая, что краткость Саллюстия состоит исключительно в скудости слов, поэтому он всегда предпочитал те чтения, где их было выброшено наибольшее количество, хотя смысл при этом затемнялся, а иногда и вовсе терялся. Все чтения в издании Хаверкампа основаны на чтениях Вассе и Грутера. Текст перегружен примечаниями: "Textus", - говорит Эрнести, - "velut cymba in oceano, ita in notis natat". Различные чтения отделены от примечаний, они

вставлены между текстом и комментарием. В первом томе мы имеем текст Саллюста и примечания, во втором - предисловия различных редакторов о Саллюсте, его жизни, фрагментах его произведений и суждениях, высказанных древними авторами о его сочинениях. Текст издания Теллера, Берлин, 1790 г., составлен на основе текста Кортиуса, но отходит от него, где редактор счел себя оправданным различными чтениями редкого и древнего издания, опубликованного в Брешии в 1495 г., с которым он консультировался. Оно совершенно не снабжено пролегоменами или примечаниями, касающимися жизни и творчества автора или его произведений; но к нему приложена редакция знаменитого испанского перевода, выполненного под покровительством младенца дона Габриэля, и очень полный Index Latinitatis. Лучшим из последних немецких изданий является издание Ланге, Галле, 1815 год. В этой работе редактор в основном следует за Гаверкампом. Его главной целью было восстановить чистоту текста, который, по его мнению, был сильно испорчен необдуманными и несанкционированными изменениями предыдущих редакторов, в особенности Кортиуса. Прилагаются примечания, отчасти иллюстрирующие гений и талант Саллюста, а отчасти ту часть римской истории, которую он рассматривал.

Саллюст был переведен на итальянский язык генуэзцем по имени Агост. Ортика (Венеция, 1518). Труд Ортика также включает в себя версию четвертой катилинарной оратории Цицерона и предполагаемый ответ Катилины. Стиль варварский, запутанный и неясный, а в некоторых отрывках почти невразумительный. С точки зрения стиля, перевод Лелио Карани (Флоренция, 1530) чище, но он слишком парафрастичен и не всегда точно передает смысл оригинала. Версия Пауло Спинолы (1564) была едва ли более счастливой. Эти три перевода стали скудными к середине прошлого века и имели недостатки во многих наиболее существенных качествах перевода, доктор Баттиста Бьянки, профессор латыни в Сиенне, предпринял улучшенный перевод, в котором он попытался подражать краткости Саллюста, хотя и не стал, как некоторые его предшественники, вставлять устаревшие итальянские слова, соответствующие античным латинским выражениям, принятым в его оригинале. К этому переводу, впервые напечатанному в Венеции в 1761 году, прилагается длинное и обстоятельное предисловие, в котором автор рассуждает об исторических и литературных достоинствах Саллюста и перечисляет переводы его произведений, появившиеся к тому времени на разных языках Европы. После этого следует жизнь латинского автора. Кроме того, в подножии страницы имеются примечания, а в конце всего текста - указатель. Следующим появившимся итальянским переводом какой-либо заметки был перевод Альфиери, который считается в Италии шедевром: Его стиль прозы, основанный на стилях классических писателей, прекрасно подходил для этой задачи.

На французский язык было переведено больше "Саллюста", чем на любой другой язык. Говорят, его переводили еще во времена правления короля Франции Иоанна, умершего в 1364 году. "Le Roi Jean, - говорит Виллаге, - ainsi qu'on l'a rapporté, avoit fait entreprendre des versions de quelques auteurs Latins, tels que Salluste et [Tite-Live](#)<sup>643</sup>". Я не предполагаю, однако, что этот перевод был передан в печать после изобретения книгопечатания. Первой версией, напечатанной в 1617 году, была версия Бодуэна; в течение того же века ее сменили тщетные попытки Кассаньи и Дю Тейля. Версия аббата Ле Массона, появившаяся в начале следующего века, сопровождалась защитой морального облика историка. За ней через несколько лет последовала версия аббата Тивона, которая, хотя и не дает адекватного представления о силе и сентиментальной краткости оригинала, в большинстве своем чрезвычайно верна смыслу автора. Недостаток этого перевода в прежних качествах, по-видимому, побудил М. Доттевила предпринять попытку нового перевода, поскольку он, как

представляется, [pg A-48] всегда стремился к краткости и лаконичности стиля. "Его Саллюст, - говорит последний английский переводчик, - как и его Тацит, суров и сух; и его бесплодные попытки соперничать в краткости с обоими историками достаточны, чтобы доказать, если бы такое доказательство было необходимо, насколько абсурдна попытка любого переводчика, ради того чтобы уловить какую-то особенность сходства или какое-то придуманное изящество дикции, нарушить гений своего родного языка". Аналогичная критика в следующем абзаце распространяется на версию М. Бози, хотя она признается самой верной и точной из всех, когда-либо появлявшихся на французском языке. Перевод Доттевиля был впервые напечатан в 1760 году, а перевод Бози - через пятнадцать лет после этого. Примерно в то же время М. де Бросс, президент парламента Дижона, опубликовал "Историю Рима в седьмом веке", которая, как утверждается, была составлена в основном из фрагментов Саллюста. На первом месте в историческом плане стоит война Югурты, затем следуют события, произошедшие между этим поединком и заговором Катилина, взятые из фрагментов Саллюста, которые вплетены в основную часть повествования, и, наконец, сам заговор. Работа, состоящая из трех томов 4то, содержит очень полные примечания и включает в себя жизнь Саллюста, которая, хотя и написана в безразличном стиле, демонстрирует значительную образованность и исследовательскую работу. Хотя версия де Бросса была признана одним из лучших переводов классиков, появившихся на французском или любом другом языке, она, по-видимому, не рассматривалась как исключаящая последующие попытки. В 1808 году появился перевод Дюро Деламала, а в более позднее время - перевод Моллево, который выдержал не менее трех изданий. Тем не менее, многие жители Франции предпочитают версию Доттевиля более современным переводам.

Судя по всему, труды Саллюста стали известны и популярны в Англии вскоре после возрождения литературы. Перевод "Югуртинской войны", выполненный "сэром Александром Барклаем, священником, по приказу герцога Норфолка, и напечатанный Ричардом Пинсоном", был опубликован уже во времена правления Генриха VIII. На титульном листе написано: "Здесь начинается знаменитый цикл о войне, которую вели ромейцы против Югурта, узурпатора Нумидийского королевства: Который был составлен на латыни знаменитым Саллюстом. И переведен на английский язык сэром Александром Барклаем, префектом, по повелению правого и могущественного принца Томаса герцога Нортфолка". Том не имеет даты, но предполагается, что он был напечатан около 1540 года. Он был дважды переиздан в 1557 году, и в одном из этих изданий к нему прилагался "Заговор Катилины" в переводе Томаса Пейнела. Версия Барклая, хотя и хорошая для своего времени, устарела, но в середине и конце XVII века появилось не менее трех переводов: один - Уильяма Кросса, а два других - анонимных авторов. Все эти ранние переводы - "Faithfully done in Englysh", в соответствии со вкусом того времени, которое, если смысл был передан сносно, мало заботилось о точности и еще меньше - об изяществе [дикции](#)<sup>644</sup>. В переводе Роу 1709 года смысл автора передан верно, но стиль слабый и разговорный. Гордон, более известный как переводчик Тацита, также перевел Саллюста в 1744 году. Его версия сопровождается серией рассуждений на темы, связанные с римской историей, в том числе о фракциях и партиях, государственной коррупции и гражданских войнах. Послания Саллюстия к Цезарю о правительстве также переведены им, и их подлинность подтверждена. В 1751 году доктор Роуз опубликовал новый перевод "Катилины" и "Югуртинских войн". "Этот перевод, - говорит Стюарт, - по праву заслуживает того уважения, которым он пользуется, а сам автор - значительных похвал за его стремление совместить преимущества вольной и буквальной версии. Его главный недостаток проистекает из того, что составляет большую трудность во всех классических переводах - объединение четкой передачи смысла с легкостью и свободой оригинальной композиции. Для критически настроенного читателя это станет очевидным, если он сравнит версию Саллюста с оригинальными произведениями самого

доктора Роуза. В речах, где древние писатели приложили всю свою энергию, и в которых за ними должны были последовать аналогичные усилия переводчика, автор холоден и вял, и он ни разу не поднимается выше уровня обычного повествования". Самым последним английским переводом является перевод вышеупомянутого автора - 1806 год, два тома формата кварто. К нему прилагаются два длинных эссе с примечаниями: одно - о жизни, другое - о литературном характере и сочинениях Саллюста. [pg A-49] Испанский перевод Саллюста, выполненный под эгидой дона Габриэля, получил широкую известность благодаря своим листам и несравненной типографии. Он был напечатан в 1772 году.

## КИСАР.

Лупус, аббат Феррье, в одном из своих писем говорит, что не сохранилось ни одного исторического труда Цезаря, кроме его Комментариев к Галльской войне, копию которых он обещает прислать своему корреспонденту, епископу Герибольду, как только сможет ее [раздобыть](#)<sup>645</sup>. Другие комментарии, De Bello Civili и De Bello Alexandrino, о которых он говорит, что они также сохранились, были написаны, как он утверждает, Гиртием. Таким образом, получается, что, хотя Лупус и ошибся с автором сочинения De Bello Civili, вся серия мемуаров, известная сейчас под названием "Комментарии Сезара", существовала в девятом веке. Примерно через столетие после этого папа Герберт, или Сильвестр II, пишет архиепископу Реймскому, чтобы тот одолжил у аббата Тердона, обладавшего одним экземпляром, копию "Комментариев" Цезаря и попросил переписать ее для [него](#)<sup>646</sup>. Комментарии Сезара неоднократно цитируются в "Историческом справочнике" Винсента де Бове, сочинении XIII века, и в других произведениях того же периода. Поэтому вполне вероятно, что в ту эпоху их копии не были очень редкими; но к середине XV века они стали настолько редкими, что Кандиди в письме к Никколо Никколи сообщает о находке одного MS. Cæsar как о большом событии.

Андреа, епископ Алерии, взял на себя ответственность за первое издание "Сезара", и к нему приложено его эрудированное послание. Оно вышло в Риме из типографии Свейнгейма и Паннарца уже в 1469 году. Из этого Editio Princeps Cæsar было выброшено всего 275 экземпляров; но в 1472 году оно было переиздано там же. В конце пятнадцатого века было выпущено множество изданий, большинство из которых теперь стали редкостью. Первым в следующем столетии было издание Филиппа Бироальдуса (Болонья, 1504). За ним последовали Альдинские издания (Венеция 1513-19), которые не отличаются ни точностью, ни красотой, как другие ранние издания классиков, вышедшие из знаменитой типографии Мануция. В первом из них было семь страниц ошибок - "Mendis scatet", говорят бипонтинские редакторы. В издание 1566 года были вставлены листы с изображением боевых орудий, лагерей и самых знаменитых мест, упомянутых в походах Цезаря, которые стали обычным украшением и приложением к последующим оттискам.

Фульвий Урсинус опубликовал издание, заслуживающее внимания, в 1570 году. Урсинус обнаружил рукопись, написанную в середине X века, которую он использовал в основном для исправления текста. Его обвиняют в том, что при публикации этой работы он совершил литературную кражу: якобы он получил множество примечаний от Петра Циаккония, которые смешал со своими собственными и вставил как таковые, полностью скрыв имя настоящего автора.

Следующим известным изданием стало издание Страда (Франкфорт, 1574). Этот оттиск примечателен тем, что содержит сорок табличек с изображениями сражений и других вещей, относящихся к походам Сезара, а также надписи, найденные в различных городах Испании. Он также отличается тем, что послужил прототипом для великолепного издания "Сезара" Кларка, которое мистер Дибдин считает "самым роскошным классическим изданием, когда-либо созданным в этой стране". В нем, - говорит он, - восемьдесят семь медных табличек, которые были выгравированы за счет различных знатных особ, которым они посвящены. Об этих табличках я не склонен думать так высоко, как некоторые горячие поклонники: Голова Мальборо, которому посвящено это придворное произведение, выполненная Кнеллером и Верту, не дает никакого возвышенного представления об этом знаменитом герое; а бюст Юлия Сезара, который следует за ним, покажется скучным и незлегантным тем, кто рассматривал аналогичную гравюру в издании "Физиогномики" Лаватера в формате кварто. Тарелки в целом скорее любопытны, чем искусно выполнены; по сравнению с тем, что Флаксман сделал для Гомера и Эсхила, они безвкусны и бездуховны. Шрифт этого великолепного тома поистине прекрасен и великолепен, а его тонкий блеск и безупречное исполнение обеспечивают издателю бессмертие. Текст сопровождается различными чтениями на мар [pg A-50] гине; а в конце тома, после фрагментов о Сезаре, помещены критические заметки редактора, составленные с большим трудом на основе сопоставления древних MSS. и прежних изданий. Д-р Кларк особенно тщательно проконсультировался с MS, хранящимся в библиотеке королевы, и одним, принадлежащим епископу Эли. Работа завершается большим и правильным указателем имен и мест. В целом это великолепное издание, которое станет долговечным памятником вкуса и эрудиции редактора".

Лучшим изданием со времен доктора Кларка является издание Удендорпа, напечатанное в Лейдене в 1737 году. Этот редактор пользовался многими древними MSS, в частности двумя из начала девятого века, один из которых принадлежал Юлию Бонгарсию, а другой - Петру Белловаценсу. "Все предыдущие комментаторы Сезара, - говорит Харлес, - были затмены мастерством и исследованиями Удендорпа, который, тщательно изучив многочисленные MSS. и издания, часто успешно восстанавливал истинное древнее чтение своего автора". В свою публикацию он включил рассуждения Додуэлла об авторе книг *De Bello Alexandrino* и Scaliger's *Topographical Description of Gaul*. Морус перепечатал это издание, но со многими критическими улучшениями, в Лейпсике в 1780 году. Он проиллюстрировал военную тактику Сезара на основе "Истории галлов" Риттера и книг Гишардуса "*De Re Militari Veterum*". Лучшим современным немецким изданием является издание Оберлина (Лейпсик, 1805). Оно основано на изданиях Удендорпа и Моруса, с дополнительными замечаниями и тщательным пересмотром текста. В предисловии рассматриваются и опровергаются те труды, в которых пытаются поколебать веру, причитающуюся "Комментариям" Сезара; добавлено несколько фрагментов о Сезаре, а также те заметки древних авторов о нем, которые были пропущены или упущены Морусом.

Впервые "Сезар" был переведен на итальянский язык Агостом. Ортика, переводчик Саллюстия. В предисловии он говорит, что его версия была выполнена в очень спешном порядке, так как она была переписана и напечатана в течение шести месяцев. Аржелати не смог установить дату самого древнего издания, которое было напечатано в Милане, но он считает, что оно относится к XV [веку](#)<sup>647</sup>. За этим оттиском последовало не менее двенадцати других, до середины шестнадцатого века. Последующий перевод, выполненный Ф. Бальделли, появился в Венеции в 1554 году. За этим изданием последовало множество

других, в частности, одно, вышедшее в Венеции в 1595 году, в формате кварто, за которое отвечал великий архитектор Палладио. Он вставил в него различные гравюры с изображениями сражений, лагерей, осад и других военных операций, сделанные с листов, которые были выполнены двумя его сыновьями, Леонидой и Орацио, и попали в его руки вскоре после их преждевременной кончины. Он подготовил это издание главным образом для того, чтобы представить эти рисунки и тем самым почтить память своих детей. К этому изданию прилагается предисловие Палладио о военном деле римлян, их легионах, оружии и лагерях. Великолепный оттиск с версии Бальделли, сопровождаемый эскизами Палладио, был сброшен в Венеции в 1619 году. В 1737 году в Венеции появился перевод, напечатанный с древней рукописи Сезара на итальянском языке, которую, по словам редактора, он обнаружил (где именно, он не уточняет) и в некоторых местах исправил и модернизировал. Пайтони разоблачил этот литературный обман и показал, что это всего лишь перевод Бальделли, с несколькими измененными словами в начале абзацев. В некоторых отношениях, однако, это хорошее издание, содержащее различные таблицы и примечания, способствующие правильному пониманию автора.

Мы уже видели, что несколько переводов латинских классиков были выполнены по приказу французского короля Иоанна. Карл V, сменивший его в 1364 году, был еще более горячим покровителем образования и сам неплохо разбирался в латинской литературе. "Tant que competement", - говорит Кристина де Пизе в своих мемуарах о нем, - "entendoit son Latin". По его приказу и указаниям был сделан первый французский перевод "Сезара" <sup>648</sup>. Но самым ранним французским переводом "Комментариев" Сезара, который был напечатан, был перевод Робера Гагена, посвященный Карлу VIII и опубликованный в 1488 году. Из последних французских версий наиболее уважаемой является версия Турпена де Крисси, сопровождаемая историческими и критическими примечаниями и напечатанная в Монтаржи в 1785 году.

[pg A-51].

Часть "Комментариев" Цезаря, касающаяся галльских войн, была переведена на английский язык еще в 1565 году Артуром Голдингом, который посвятил свою работу сэру Уильяму Сесилу, впоследствии лорду Берли. В 1695 году был напечатан перевод всех "Комментариев" со следующим названием: "Комментарии Цезаря, его войн в Галлии и гражданских войн между ним и Помпеем, со многими превосходными и благоразумными замечаниями по этому поводу; а также искусство нашего современного обучения; автор Клемент Эдмондс, эсквайр". Лучшим переводом является перевод "Уильяма Дункана, профессора философии Абердинского университета, напечатанный в Лондоне в 1755 году" с длинным предварительным рассуждением о римском военном искусстве.

## ЦИЦЕРОН.

Некоторые из ораторий Цицерона представляли собой заученные агитки, которые он готовил и переписывал перед произнесением. Однако это не относится к большей части его речей, большинство из которых были произнесены без особой предварительной подготовки, но затем переписаны с такими исправлениями и приукрашиваниями, которые придали им большой блеск и лоск, чем когда они первоначально сорвались с его губ. До того как изобретение книгопечатания расширило возможности удовлетворения общественного любопытства, поскольку ни одна оратория не была представлена миру, кроме как самим

автором, у него всегда была возможность изменить и улучшить ее по опыту того, какой эффект она производила при произнесении. Плиний сообщает нам, что многие вещи, которые Цицерон расширил в то время, когда он действительно выступал в Сенате и на Форуме, были отменены, когда он в конце концов передал свои оратории публике в письменном [виде649](#). Сам Цицерон где-то заявил, что защита Корнелия заняла четыре дня, из чего Плиний делает вывод, что те орации, которые, будучи произнесены в полном объеме, заняли так много времени в суде, были сильно изменены и сокращены, когда он впоследствии собрал их в один том. Оратории, в частности, для Мурены и Варена, говорит он, теперь, похоже, содержат лишь общие положения. Иногда, однако, они были расширены, а не сокращены, оратором в чулане, как это, по общему признанию, было в случае с защитой Милона. Несколько ораций, которые произнес Цицерон, он не считал достойными сохранения. Так, об оратории в защиту Дейотара он говорит в одном из писем к Долабелле: "Я не предполагал, что среди моих бумаг сохранилась пустяковая речь, которую я произнес в честь Дейотара; однако я нашел ее и послал тебе, согласно твоей [просьбе650](#)". Так объясняется, что многие речи Цицерона, произнесение которых зафиксировано в истории, теперь утрачены. Однако, судя по всему, те речи, которые он считал заслуживающими его внимания, хотя они могли сильно отличаться от того состояния, в котором они были произнесены изначально, дошли до нас в чистом виде либо в той форме, в которой он хотел бы их произнести, либо в той, которую он считал наиболее подходящей для публикации и ознакомления. Вероятно, они были переписаны им самим, а их копии размножены его вольноотпущенниками, такими как Тиро и Тираннио, которых он приучил к точному переписыванию. Его орациям также посчастливилось встретить в очень ранний период рассудительного и ученого комментатора в лице Аскония Педиана, грамматика времен правления Нерона, часть комментариев которого была обнаружена Поджио, наряду с другими классическими произведениями, в монастыре Святого Галла, недалеко от Констанца.

Все оратории Цицерона не были утрачены в средние века. Папа Герберт в одном из своих писем просит у аббата Гезильберта копию заключительной части речи к Деджотару; другому своему корреспонденту он пишет, чтобы тот принес ему трактат Цицерона "О республике" и "Орации против Верреса": "Comitentur iter tuum Tulliana opuscula, et de Republicâ et in [Verrem651](#):"Брунетто Латини, умерший в 1294 году, перевел на итальянский язык оратории на Деджотара, Марцелла и Лигария, которые затем были напечатаны в Лионе в 1568 [году652](#). Эти три речи [pg A-52], будучи в значительной степени комплиментарными обращениями к Цезарю и не содержащими никаких чувств, кроме тех, которые можно было бы смело выразить в присутствии неограниченного государя, в тиранические века Рима были переписаны в большем количестве, чем те оратории, в которых дышал угасающий дух свободы.

Цицерон был кумиром Петрарки, великого реставратора классической литературы. Он никогда не мог говорить о нем иначе, как в выражениях глубокого и восторженного восхищения. Сладость и звучность периодов Туллия очаровывала его слух; и хотя он не мог проникнуть в глубины его философии, но его энергичная фантазия часто взлетала вместе с римским оратором в самые высокие области воображения. Поэтому, стремясь к открытию всех классиков, он старался сохранить те произведения Цицерона, которые были известны в то время, и восстановить те, которые были [утрачены653](#). Петрарка получил взаймы от Лапо из Кастильонкио копию нескольких ораций Цицерона, среди которых были "Филиппики" и оратория к Милону. Он хранил их у себя в течение четырех лет, чтобы переписать своей рукой из-за ошибок переписчиков того времени. Об этом мы узнаем из писем Лапо, опубликованных аббатом Мехусом. Приехав в Льеж в возрасте около двадцати пяти лет, то

есть в 1329 году, Петрарка оставался там до тех пор, пока две оратории Цицерона, которые он обнаружил в этом городе, не были переписаны, одна его собственной рукой, а другая - его другом, и обе они были немедленно переправлены им в Италию. В Льеже он задержался на некоторое время из-за трудностей с приобретением даже самых плохих чернил. Еще несколько ораций Цицерона были обнаружены Петраркой в разных частях Италии.

Доминико Арретино, который был почти современником Петрарки, в одной из своих работ, озаглавленной "Фонс", утверждает, что видел одиннадцать ораций Цицерона и что один человек сказал ему, что он действительно обладает двадцатью из них и читал [их](#)<sup>654</sup>. Однако, судя по всему, во времена Космо Медичи те произведения Цицерона, которые сохранились, были сильно испорчены. "Illorum librorum", - говорит Никколо Никколи, говоря о некоторых работах Цицерона, - "magna pars interierit, hi vero qui supersunt adeo mendosi sunt, ut paulo ab interitu distent"; поэтому в середине XV века находка нового списка Цицерона приветствовалась как новое приобретение. В Лангре, в библиотеке монахов Клугни в Бургундии, Поджио нашел орацию к Цецине, которую тут же переписал и разослал различные копии своим друзьям в Италии. В монастырях вокруг Констанца он обнаружил две оратории против Рулла, De Lege Agrariâ, и орацию к народу на ту же тему; также оратории Pro Rabirio и Pro Roscio. В примечании к копии оратории в Пизонеме, хранящейся в аббатстве Санта-Мария во Флоренции, говорится о том, что эта оратория была также обнаружена [Поджио](#)<sup>655</sup>.

Сборник трактата Цицерона "De Inventione" был хорошо известен в темные века, его перевел на итальянский язык в сокращенном виде в XIII веке профессор из Болоньи. Это была почти первая прозаическая работа, появившаяся на этом языке, и она была напечатана в Лионе вместе с "Этикой Аристотеля" Брунетто Латини, который также перевел первую книгу De [Inventione](#)<sup>656</sup>. Лупус из Ферьера обладал копией "Риторики" Цицерона, как он сам сообщает [нам](#)<sup>657</sup>, но она была неполной; поэтому он просит Эйнхарта, который был его наставником, одолжить ему свою копию этой работы, чтобы довести до совершенства свою собственную. Ингульф, живший в Англии в конце XI века, утверждает, что его отправили из Вестминстера в школу в Оксфорде, где он изучил Аристотеля и первые две книги "Риторики" [Талли](#)<sup>658</sup>. Если первые две книги "Риторики", а это все, что до сих пор удалось обнаружить, использовались в качестве начального произведения в государственной школе в Оксфорде, вряд ли можно предположить, что они были очень скудны в Италии. От юриста Раймонда Суперанция, или Сорранца, которому он был обязан книгами De Gloriâ, Петрарка получил несовершенную копию трактата De Oratore, MSS которого, хотя в целом и неполные, были отнюдь не редкостью в тот период. "Ab hoc [pg A-53] habui," говорит он, "et Varronis et Ciceronis aliqua: Cujus unum volumen de communibus fuit; sed inter ipsa communia libri de Oratore ac de Legibus imperfecti, ut fere semper inveniuntur." Со дня смерти Петрарки прошло почти полвека, прежде чем была обнаружена полная копия риторических сочинений Цицерона. Примерно в 1418 году, во времена правления Мартина V, когда Поджио находился в Англии, Герард Ландриани, епископ Лоди, нашел в этом городе, среди развалин древнего монастыря, пластинку, содержащую трактат Цицерона "De Oratore", его "Брут и оратор". Он перевез его с собой в Милан и там отдал Гаспару Базицца. Однако характер его написания был таков, что немногие ученые и антиквары в этом городе могли его прочесть. В конце концов Космус, молодой веронский ученый, расшифровал и переписал диалог De Oratore. Блондус Флавий, автор "Italia Illustrata", приехавший в ранней юности из родного Форли в Милан, переписал "Брута" и отправил его копии Гваринусу из Вероны и Леонарду Юстиниани в Венецию. Таким образом, риторические произведения Цицерона вскоре распространились по всей Италии. Открытие было воспринято как триумф и стало предметом всеобщих поздравлений. Поджио

был извещен об этом, находясь в Англии, и там ожидал прибытия копии с самым живым [нетерпением](#)<sup>659</sup>.

Философские труды Цицерона дошли до нас в более несовершенном виде, чем его ораторские диалоги или оратории. Вследствие благородного духа свободы и патриотизма, которым они дышат, их запрет, без сомнения, быстро последовал бы за запретом их автора. Существует распространенная история о том, как внук Августа спрятал одну из философских работ Цицерона, будучи обнаруженным во время ее прочтения своим дедом, и хотя он получил его милостивое разрешение закончить ее, анекдот показывает, что она была в числе запрещенных книг (*libri prohibiti*). Главным чтением Александра Севера, действительно, были "Республика" и "Офиры" <sup>660</sup>: Но Александр был имперским фиником, который так и не возродился в Римской империи; и мы почти ничего не слышим о Цицероне во времена правления варварских государей Италии в средние века.

Петрарка приобрел несовершенную копию трактата Цицерона "De Legibus" у адвоката Раймонда [Сорранца](#)<sup>661</sup>, который обладал обширнейшей библиотекой и которому, как мы только что видели, он был обязан за MS. диалога "De Oratore".

Впоследствии не было сделано никаких новых открытий относительно остальных частей работы De Legibus. Остальные философские труды Цицерона были найдены Петраркой среди книг в библиотеке его отца или добыты для него людьми, которых он нанимал для этой цели почти во всех уголках Италии: "Abeuntibus amicis, - говорит он, - et, ut fit, petentibus numquid e patriâ suâ vellem, respondebam, - nihil præter libros Ciceronis". Петрарка часто цитирует трактат De Finibus, как работу, с которой он был знаком. Однако Леонарда Аретина принято считать первооткрывателем этого диалога, а также трактата De Naturâ [Deorum](#)<sup>662</sup>.

"Собрания моих писем не существует, - пишет Цицерон в одном из своих посланий к Аттику, - но у Тиро их около семидесяти, и ты можешь предоставить еще несколько. Я должен просмотреть и исправить их, и тогда их можно будет опубликовать". Однако это так и не было сделано им самим. После революции в Римском государстве публикация его писем должна была быть опасной из-за свободы, с которой он выражает свое мнение об Октавии и министрах его власти. Корнелий Непос упоминает, что некоторые письма Цицерона были опубликованы, но шестнадцать книг Посланий к Аттику, начиная с его консульства и до смерти, хотя и сохранились, ни в коем случае не были в общем [обращении](#)<sup>663</sup>. Правления принцев, сменивших Августа, были не более благоприятны для свободы, чем его собственное; поэтому "Знакомые письма", как и письма к Аттику, вероятно, долго пролежали в шкафах [pg A-54] любопытных, прежде чем их подвергли критическому анализу. Письма Цицерона, однако, были хорошо известны в средние века, и даже в те времена предпринимались усилия, чтобы иметь их точные копии. Лупус Феррариенсис приобрел дубликаты Посланий Цицерона, чтобы сопоставить их со своими собственными MSS и таким образом составить правильное и полное [собрание](#)<sup>664</sup>. Иоанн Солсберийский приводит два письма Цицерона к Каю Кассию, одно из которых теперь содержится в двенадцатой, а другое - в пятнадцатой книге "Знакомых посланий". В "Жизни Юлия Цезаря", которая проходит под именем Юлия Цезаря и была написана в средние века, время от времени встречаются выдержки из "Знакомых посланий". Однако они стали скудными к тому времени, когда Петрарка нашел их копию в Вероне - месте, где он вряд ли ожидал сделать такое [открытие](#)<sup>665</sup>. Этот старый MS, который Викториус считает ровесником флорентийских Пандектов, в конце концов попал в библиотеку Медичи; а копия, которую Петрарка переписал с него, была привезена из Падуи во Флоренцию Никколо Никколи, после смерти которого она была помещена в библиотеку Святого Марка в этом [городе](#)<sup>666</sup>. Некоторые ученые, изучавшие обе рукописи, отмечают, что транскрипция Петрарки в некоторых

отношениях отличалась от [оригинала667](#). Кроме того, она была снабжена различными исправлениями и глоссами, написанными рукой [самого](#) Никколо Никколи668. Все остальные списки "Знакомых посланий" возникли на основе этого, обнаруженного Петраркой, как мы узнаем из отрывка Лагомарсина, который так говорит о различных кодексах "Знакомых посланий": "Quibus tamen ego codicibus non tantum tribuo, quantum uni illi omnium quotquot ubique terrarum, idem epistolarum corpus continentes, extant, vetustissimo, (et ex quo cæteros omnes qui usquam sunt tanquam e fonte ac capite manâsse, et Angelus Politianus, et Petrus Victorius memoriæ prodiderunt,) qui Florentiæ in Mediceo-Laurentianæ Bibliothecæ XLIX. adservatur numero IX. extra [notatus669](#)". Было много сомнений и дискуссий по поводу того, как эти Письма впервые получили название Familiares. Они не называются так ни в одном оригинале Цицерона, не упоминаются под этим названием ни у одного древнего автора, например, у Аулуса Геллия или Присциана. Эти авторы обычно цитируют каждую книгу Посланий по имени человека, которому адресовано первое письмо в этой книге. Так, Геллий цитирует первую книгу под названием "Письма к Лентулу", поскольку она начинается с письма к нему. Также нет единообразия в названиях MSS, в которых используется название Epistolæ Familiares. В одних MCC они называются Epistolæ Familiares, в других - Epistolæ ad Familiares, а в одном из Палатинских MCC. Libri Epistolarum Familiarum.

До 1340 года Петрарка также обнаружил Послания к [Аттику670](#), которые отсутствовали на протяжении многих веков, и, ознакомившись с ними, заявил, что теперь он считает Цицерона невнимательным и несчастным стариком. Он переписал их своей рукой и расположил в нужном порядке. После его смерти рукописный текст перешел во владение Колуччо Салютати, а затем стал собственностью ученика Колуччо Леонарда Аретина. Донат, сын Леонарда, стал наследником, и от него она перешла к Донату Аччайолусу. После его смерти она попала в руки безвестного грамматика, который передал ее Бартолломео Кавальканти, в библиотеке которого с ней ознакомился П. Викториус, после чего она была подарена ему владельцем. Викториус, высоко ценя эту рукопись, которая, по его мнению, была написана рукой Петрарки, решил, что она будет храниться с наибольшей безопасностью в каком-нибудь общественном собрании; и, соответственно, он подарил ее Космо, первому герцогу Тосканы, для хранения в Медицейской [библиотеке671](#). Что касается древнейшей рукописи, с которой Петрарка сделал копию, то она, к сожалению, была утеряна, о чем сетует Петр Викторий в одном из своих [Посланий672](#). "Utinam inveniretur exemplum, unde has ad Atticum descripsit Petrarca, ut exstat illud, quo usus est in describendis alteris illis, quæ Familiares appellantur, de cujus libri antiquitate, omni veneratione digna, magnifice multa vereque alio loco prædicavi." Таким образом, получается, что Послания к Аттику были хорошо известны Петрарке. Однако, поскольку в XV веке их было мало, Поджио, который нашел копию, присутствуя на Констанцском соборе, [pg A-55] в свой век считался первооткрывателем всего собрания Посланий к Аттику, и в том же свете рассматривался современными писателями.

Три книги "Письма Цицерона к брату Квинту" были найдены итальянским грамматиком Каспаринио из Бергамо, умершим в 1431 году, который за некоторое время до своей смерти приложил немало усилий, чтобы исправить их испорченный [текст673](#). То, что они были сильно испорчены, можно предположить, исходя из того, что мы знаем о том, как они были изначально написаны, поскольку из одного из писем [Цицерона674](#) следует, что Квинт жаловался, что с трудом читает некоторые из своих прежних писем. Если Квинт с трудом мог прочесть почерк своего брата, то каковы же должны были быть трудности и ошибки библиотекаря, который впервые собрал и переписал их?

Перевод Аратуса, сделанный Цицероном, судя по всему, сохранился в девятом веке. У Лупуса из Ферьера была несовершенная копия, и он просит полную копию у своего корреспондента Ансбальда. "Tu autem, - говорит он, - huic nostro cursori Tullium in Arato trade; ut ex eo, quem me impetraturum credo, quæ deesse illi Egil noster aperuit, suppleantur.<sup>675</sup>".

До выхода в свет полного собрания сочинений Цицерона были напечатаны различные издания отдельных фрагментов его произведений. Орации, трактат *De Oratore*, *Opera Philosophica*, *Epistolæ Familiares* и *Ad Atticum* были отредактированы в Италии между 1466 и 1471 годами - большинство из них были напечатаны в Риме Свейнгеймом и Паннарцем. Самой древней типографией в Италии была та, что была основана в монастыре Субиако, в Кампанье Рима, этими печатниками. Свейнхейм и Паннарц были двумя немецкими учеными, которых побудило поселиться в этом монастыре то обстоятельство, что в нем жили в основном немецкие монахи. В 1467 году они отправились из Субиако в Рим<sup>676</sup>; после этого переезда они получили помощь в исправлении своих изданий от бедного, но выдающегося ученого Джандреа де Бусси; им также помогало покровительство Андреа, епископа Алерийского, который снабдил предисловиями многие из их классических изданий. Несмотря на то, что спрос на классические издания существовал так недавно, а также новизну, полезность и важность искусства, которое они впервые ввели в Италии, а также поддержку, которую они получили от людей высокого ранга и образованности, они работали с большими трудностями и продолжали свое дело с очень недостаточным вознаграждением, как мы узнаем из петиции, представленной в 1472 году от их имени папе Сексту главным покровителем, епископом Алерии. Их нужда, вероятно, была вызвана количеством экземпляров каждого оттиска, которые они выбрасывали, и которые превышали спрос, они были настолько обременены теми, которые оставались у них на руках, что были доведены до величайшей бедности и бедствия<sup>677</sup>. Первой книгой, которую они напечатали в Риме, были "Эпистолы семьи" Цицерона.

Александр Минутиан, опубликовавший в Милане в 1498 году издание всех сочинений в четырех томах фолио, был первым, кто собрал разрозненные публикации Цицерона в одну единую книгу. Харлес сообщает нам в одном месте, что Минуциан не обращался ни к каким MSS при подготовке этого издания, а просто свел воедино ранее опубликованные издания отдельных частей сочинений Цицерона, так что его работа является лишь продолжением предыдущих изданий<sup>678</sup>; но в другом месте он упоминает, что ознакомился с MSS "Ораций", которые Поджио привез из Германии в Италию<sup>679</sup>. В "Орациях" Минуциан в основном следовал Бресцианскому изданию 1483 года, которое само было основано на Римском. Труд был отпечатан не в соответствии с наилучшей организацией, а по мере того, как копии предыдущих изданий последовательно доходили до него, что он сам признает в предисловии. "Sed quam necessitas præscripsit dum vetustiora exemplaria ex diversis et longinquis locis exspectamus." "Если мы прочтем Саксия", - говорит г-н Дибдин, - "мы увидим, с каким трудом и ценой больших затрат был составлен этот знаменитый труд Минуциана". Де Бюр и Эрнести щедро расхваливают его типографскую красоту. Последний говорит, что она напечатана "grandi modulo, chartis et lite [pg A-56] ris pulchris et splendidis". Альдинское издание, выходившее по частям с 1512 по 1523 год, нельзя назвать очень критичным или правильным, хотя последняя его часть была напечатана под руководством Наугериуса. Перечислять последующие издания Цицерона было бы бесконечно. Однако издание Петра Викториуса, которого Харлес называет *Ciceronis Æsculapius*, напечатанное в Венеции в 1534-37 годах в четырех томах folio, не должно быть забыто, поскольку нет комментатора, которому Цицерон был бы обязан больше, чем Викториусу, особенно в исправлении и дополнении

Посланий. Издание Ламбинуса, Париж, 1566 год, также заслуживает внимания. Ламбинус был острым и смелым комментатором, который внес много исправлений в текст, но некоторые изменения принял слишком поспешно. Начиная с его времени и далее, Харлес считает, что редакторов Цицерона можно разделить на два класса: одни следовали смелым изменениям, внесенным Ламбинусом, а другие предпочитали более скрупулезный текст Викториуса. К последнему классу относится Грутерус, который в своем издании, опубликованном в Гамбурге в 1618 году, похоже, упорно отвергал даже самые очевидные поправки, которые были недавно сделаны в тексте его автора. Три издания Цицерона Эрнести (Lips. 1737, Hal. Sax. 1758-74) и три издания Оливета (Paris, 1740, Geneva, 1758, Oxon. 1783) слишком хорошо известны, чтобы их описывать. Оливет не собирал MSS, но он сравнил друг с другом четыре наиболее важных, по его мнению, издания Цицерона: П. Викториуса, Павла Мануция, Ламбина и Грутера. В 1795 году в Лейпсике был напечатан первый том нового издания Цицерона, выполненного Беком, и с тех пор из-под его пера вышло еще три тома с большими интервалами. Последний том появился в 1807 году и вместе с тремя предыдущими включает в себя "Орации" Цицерона. Предисловие содержит очень полный отчет о предшествующих изданиях и наиболее авторитетных MSS Цицерона. За основу текста были взяты издания Эрнести, но редактор отступает от них там, где видит для этого повод. Он не предлагает много новых собственных поправок, но, похоже, очень остро оценивает достоинства различных чтений и разумно выбирает из чужих исправлений. Пока это издание Бека шло в Германии, Шютц выпустил еще одно, которое теперь завершено, за исключением части Index Latinitatis. К тексту приложено мало примечаний, но к каждой оратории и произведению Цицерона приложены длинные резюме, а "Риторика к Гереннию" представлена обширной диссертацией о настоящем авторе этого трактата. Также было принято новое расположение *Epistolae Familiares*. Они больше не печатаются, как в большинстве других изданий, в хронологическом ряду, а классифицируются в соответствии с лицами, которым они адресованы. Вся публикация посвящена Великобритании и союзным государствам в длинном панегирике.

В последнее время в Германии также вышло несколько научных и критических изданий отдельных частей работ Цицерона, в частности его "Философских сочинений". Издание всех его философских трактатов под редакцией Геренца, которое в настоящее время продолжается и уже включает в себя *Academica*, диалоги *De Legibus* и *De Finibus*, отличается умными предисловиями и экскурсами о периодах создания соответствующих диалогов, а также о замысле автора при их составлении.

Переводы Цицерона настолько многочисленны, что для итальянских переводов я должен отослать читателя к Paitoni, *Biblioteca degli autori antichi Greci e Latini Volgarizzati*, Tom. I. p. 219; и Argelati, *Biblioteca degli Volgarizzatori*, Tom. I. p. 214. Французские версии см. в Goujet, *Bibliothèque Française*, Tom. II. p. 221; а для английских - Брюггеманн, *Обзор изданий и переводов древнегреческих и латинских авторов*, p. 481.

[pg A-57].

---

Для пользы тех, кто хочет продолжить свои изыскания в области римской литературы, я приложил примечание к некоторым из наиболее важных книг, посвященных этому предмету. Звездочка стоит перед названиями тех работ, к которым я обращался при составлении предыдущих страниц.

AIMERICHIUS.-Specimen veteris Romanæ Literaturæ deperditæ vel adhuc latentis, seu Syllabus Historicus et Criticus veterum olim notæ eruditionis Romanorum, ab urbe conditâ ad Honorii Augusti excessum, eorum imprimis quorum Latina opera vel omnino vel ex parte desiderantur. Ferrara, 1784. 8vo.

"Этот труд призван дать представление о римской литературе, начиная с основания города и до смерти императора Гонория. В предисловии, написанном другом автора, рассказывается о том, как жили римляне, как в столице, так и в провинциях, в течение этого долгого периода. Историко-литературный "Силлабус" содержит девять статей, посвященных различным литературным вопросам. В первой аббат Аймериус дает нам краткое описание и критический обзор древних римских писателей, как языческих, так и христианских, чьи произведения сохранились в государственных или частных библиотеках до смерти императора Гонория. Во второй части приведены названия и сюжеты нескольких произведений, которые были утрачены, но на которые ссылались или указывали современные писатели или почти такие, чьи свидетельства приводит наш автор. Третья часть содержит рассказ о самых знаменитых публичных и частных библиотеках, которые были известны в Риме до смерти Гонория, а в четвертой мы имеем сведения о произношении римлян, их манере письма и изменениях, произошедших в их орфографии. В пятой части аббат рассказывает о магистратурах, которые не могли быть получены ни в Риме, ни в провинциях, кроме как людьми, знающими грамоту, а также об обрядах и жертвоприношениях, о роскоши, богатстве, публичных зрелищах и т. д. В шестой части он высказывает свое особое мнение о древней литературе римлян и о смешении латинского и греческого языков, которые они использовали как в разговоре, так и в своих сочинениях. Седьмая часть содержит указание на основные ереси, которые беспокоили церковь со времен апостолов до Гонория; а восьмая - несколько памятных фактов и изречений, не известных широкой публике, которые относятся к литературной, гражданской, военной и церковной истории этого периода. В заключительной статье аббат обращает внимание на латинские произведения, которые были утеряны в течение значительного времени, и показывает, как и кем они были впервые обнаружены." - Из этого рассказа, , который я извлек из "Введения в изучение библиографии" Хорна, я крайне сожалею, что у меня не было возможности ознакомиться с работой Аймериха.

BLESSIG.-De Origine Philosophiæ apud Romanos. Страсбург, 1770. 4to.

BECMANNUS.-Manductio ad linguam Latinam cum Tractatu de Originibus Linguæ Latinæ. 1608. 8vo.

\*Casaubon.-De Satyrica Græcorum Poësi et Romanorum Satira libri duo, in quibus etiam Poëtæ recensentur, qui in utrâque poësi floruerunt. Halæ, 1774. 8vo.

Этот трактат, являющийся одним из самых известных и приятных произведений Казобона, служит источником почти всего, что было написано современными [pg A-58] авторами на тему сатирической поэзии римлян. Казобон прослеживает ее раннюю историю в стихах Фесценнина, баснях Ателлана, сатирах Энния и Луцилия и доказывает, что римляне изобрели этот вид композиции, для которой, как он утверждает, у них не было образца в поэзии греков.

CELLARIUS.-Dissertatio de Studiis Romanorum Literariis. Halle, 1698. 4to.

CORRADUS.-Quæstura-Partes duæ, quarum altera de Ciceronis Vitâ et Libris-Altera Ciceronis Libros permultis locis emendat. Lips. 1754. 8vo.

\*Crusius.-Lives of the Roman Poets. London, 1733. 2 Vols.

\*Eberhardt.-Über den Zustand der Schönen Wissenschaften bei den Römern. Altona, 1801. 8vo.

Эта работа написана шведом и на шведском языке. В оригинале она содержит весьма поверхностный и неточный очерк предмета; но к немецкому переводу прилагается несколько ценных примечаний и исправлений.

\*Fabricius.-Bibliotheca Latina, digesta et aucta diligentia Jo. Aug. Ernesti. Lips. 1773. 3 Tom. 8vo.

Известная и справедливо почитаемая "Библиотека Фабриция" содержит сведения обо всех латинских писателях от Плавта до Марциана Капеллы. В большинстве статей мы имеем биографический очерк автора - список его сочинений - отчет о наиболее авторитетных MSS его произведений - лучшие издания и самые знаменитые переводы на современные языки Европы.

FUHRMANN.-Handbuch der Classischen Literatur, oder Anleitung zur Kenntniss der Griechischen und Römischen Classischen Schriftsteller, ihren Schriften, und der besten Ausgaben, und Uebersetzungen derselben. Рудольштадт, 1809-10.

Два тома этого труда посвящены римской литературе. Это в основном библиографический труд, содержащий очень полные отчеты об изданиях и переводах классиков, появившихся, в частности, в Германии; но есть и некоторые критические отчеты о произведениях римских авторов: они в основном взяты из журналов и рецензий, и, следовательно, автор часто повторяет одно и то же разными словами и еще чаще противоречит сам себе.

\*Fuhrmann.-Anleitung zur Geschichte der Classischen Literatur der Griechen und Römer. Рудольштадт, 1816.

Сокращение предыдущей работы.

\*Funccius.- De Origine et Pueritiâ, De Adolescentiâ, Virili Ætate, et Senectute Linguæ Latinæ. Франкфорт, 1720.

Это одно из самых ученых и ценных произведений по латинской литературе. В первом трактате, De Pueritiâ, автор в основном рассматривает происхождение и развитие римского языка.

\*Gaudentius PAGANINUS.-De Philosophiæ ap. Romanos Ortu et Progressu. Pisa, 1643, 4.

Очень скучный и несовершенный отчет о состоянии философии у римлян, начиная с самых ранних периодов и заканчивая временем Боэция.

\*Hankius. (MART.) - De Romanarum Rerum Scriptoribus. Lips. 1687. 4to.

Первая часть этого труда содержит краткое изложение древнеримских анналистов и историков. Вторая часть относится к современным писателям, занимавшимся римскими делами.

\*Harles. (TH. CHRIST.)-Introductio in Notitiam Literaturæ Romanæ, imprimis Scriptorum Latinorum. Noriberg. 1781. 2 Tom. 8vo.

Этот труд Харлеса, насколько он простирается, написан по тому же плану и во многом схож с "Библиотекой" Фабрициуса. Однако она не продолжается дальше эпохи Августа включительно.

\*Harles. (Th. Christ.)-Brevior Notitia Literaturæ Romanæ, imprimis Scriptorum Latinorum. Lips. 1788. 1 Tom. 8vo.

\*Harles. (Th. Christ.)-Supplementa ad Breviorem Notitiam Literaturæ Romanæ. Lips. 1788. 2 Tom. 8vo.

Эта и предыдущая работы написаны по тому же плану, что и "Введение"; но в них история римских писателей и издания их произведений доведены до самых последних периодов. Приходится сожалеть, что эти работы Харлеса не были объединены в одну; поскольку, взятые по отдельности, каждая из них неполна, а все вместе они изобилуют повторениями.

\*Клюглинг. (C. F.)-Supplementa ad Breviorem Notitiam Literaturæ Romanæ. Lips. 1817.

Это дополнение к "Харлесу" содержит отчет об изданиях классиков, появившихся главным образом в Германии после публикации "Бревиорской нотиции".

KÖNIG.-De Satirâ Romanorum. Ольденбург, 1796.

KRIEGL.-Diatribæ de Veterum Romanorum Peregrinationibus Academicis. Jenæ, 1704. 4to.

LEO (ANNIBAL DI).-Memorie di Pacuvio. Neapol. 1763.

MEIEROTTO.-De Præcipuis rerum Romanarum Scriptoribus. Berlin, 1792. folio.

\*Müller.-Einleitung zu nöthiger Kenntniss und Gebrauche der alten Lateinischen Schriftsteller. Дрезден, 1747. 5 Том. 8vo.

\*Moine D'ORGEVAL.-Considerations sur le Progrès des Belles Lettres chez les Romains. Paris, 1749.

\*Osannus.-Analecta Critica, Poësis Romanorum scænicæ reliquias illustrantia. Берлин, 1717.

Это работа, отличающаяся значительной изобретательностью и исследовательским подходом. Она содержит некоторые рассуждения о дате, когда регулярные комедии и трагедии были впервые выставлены в Риме; но в основном она занята сравнением фрагментов древних латинских драматургов с соответствующими отрывками в греческих оригиналах.

\*САГИТТАРИЙ (КАСП.) - Комментарии к Жизни и Писанию Liv. Andronici, Nævii, Ennii, Cæcilii, Pacuvii, Attii, Attilii, Lucilii, Afranii, Catonis. Альтенбург, 1672.

Это небольшой том в 110 страниц, который сейчас стал крайне дефицитным.

SAGITTARIUS (CASP.)-De Vitâ, scriptis, editionibus, interpretibus, lectione, atque imitatione Plauti, Terentii, Ciceronis. Altenburg, 1671.

\*Гистория романской литературы. Paris, 1815. 4 тома. 8vo.

См. выше. Предисловие, стр. xiii.

\*Tiraboschi.-Storia della Litteratura Italiana. Модена, 1787. Том. I. и II.

См. выше. Предисловие, с. xiii.

\*VOSSIUS (GERARD).-De Historicis Latinis Libri tres. Lugd. Bat. 1651.

\*Walchius.-Historia Critica Latinæ Linguæ. Lips. 1761.

\*Ziegler.-De Mimis Romanorum. Gotting. 1789.

## ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА.

|               | Родился. | Умер.  |
|---------------|----------|--------|
|               | A.U.K.   | A.U.C. |
| L. Andronicus |          | 534    |
| Nævius        |          | 550    |
| Энний         | 515      | 585    |
| Плавт         | 525      | 570    |
| Цецилий       |          | 586    |
| Теренций      | 560      | 594    |
| Пакувий       | 534      | 624    |
| Аттий         | 584      | 664    |
| Луцилий       | 605      | 659?   |
| Лукреций      | 658      | 702    |
| Катулл        | 667      | 708?   |
| Лаберий       |          | 710    |
| Катон         | 519      | 605    |
| Варро         | 637      | 727    |
| Саллюст       | 668      | 718    |
| Сезар         | 656      | 709    |
| Гортензий     | 640      | 703    |
| Цицерон       | 647      | 710    |

## Сноски

### 1.

Voyage du Jeune Anacharsis, T. II. c. 20.

### 2.

Antiquitat. Rom. Lib. I.

### 3.

Geograph. Lib. VI.

### 4.

Hist. Nat. Lib. XVIII. c. 11.; XXXVII. c. 12.

### 5.

Вергилий, Georg. Lib. II.

- 6.**  
Плутарх, в "Нуме".
- 7.**  
Ливий, Эпитома, Lib. XVIII. Valer. Maxim. Lib. IV. с. 4. § 6.
- 8.**  
Цицерон, De Senectute, с. 16.
- 9.**  
Rapin, Hortorum, Lib. IV.
- 10.**  
Bonstetten, Voyage dans le Latium, p. 274.
- 11.**  
J. C. L. Sismondi, Tableau de l'Agriculture Toscane, и Chasteauvieux, Lettres Ecrites d'Italie. Paris, 1816. 2 Tom.
- 12.**  
Плутарх, в "Катоне".
- 13.**  
Плутарх, в "Катоне".
- 14.**  
Plin. Hist. Nat. Lib. XIV. с. 4; Lib. XVI. с. 39.
- 15.**  
Плутарх, в "Катоне".
- 16.**  
Ibid.
- 17.**  
В Катоне.
- 18.**  
С. 160.
- 19.**  
Цицерон, Брут, с. 17.
- 20.**  
Вегеций, Lib. I. с. 8.
- 21.**  
Плутарх, в "Катоне".
- 22.**  
Валерий Максим, Lib. VIII. с. 7. Валерий говорит, что ему было 86 лет; но Катон не дожил до 85 лет. Цицерон, в Бруто, с. 20. Плиний, Hist. Nat. Lib. XIX. с. 1.
- 23.**  
Ливий, Lib. XXXIX. с. 40.

**24.**

Lib. XXXIV. c. 2.

**25.**

Noct. Attic. Lib. VII. c. 3.

**26.**

Брут, с. 17.

**27.**

Lib. XXXIX. c. 40.

**28.**

Noct. Attic. Lib. X. c. 3.

**29.**

Hist. Nat. Lib. VIII. c. 5.

**30.**

Брут, с. 17.

**31.**

Брут, с. 87.

**32.**

Квинтилий. Inst. Orat. Lib. III. c. 1.

**33.**

Плиний, Hist. Nat. Lib. XXV. c. 2.

**34.**

Плиний, Hist. Nat. Lib. XXV. c. 2.

**35.**

Ливий, Lib. IV. c. 25.

**36.**

Plin. Hist. Nat. Lib. XXIX. c. 1.

**37.**

Плутарх, в "Катоне".

**38.**

Plin. Hist. Nat. Lib. XX. c. 9.

**39.**

Ibid. Lib. XXIX. c. 1.

**40.**

Плиний, Hist. Nat. Lib. XXIX. c. 1.

**41.**

Stor. del. Let. Ital. Part. III. Lib. III. c. 5. § 5.

#### 42.

См. Spon, *Recherches Curieuses d'Antiquité*. Diss. 27. Bayle, *Dict. Hist. art.* Porcius, Rem. H.

В какой степени ценилась медицина в Риме, и какой класс людей ею занимался, было одним из *quæstiones vexatæ* классической литературы в нашей стране в начале и середине прошлого века. Доктор Мид в своей "*Oratio Herveiana*" и Спон в "*Recherches d'Antiquité*" развили идею, впервые высказанную Казобоном в его "*Анивании на Суетония*", что врачи в Риме высоко ценились и часто были свободными гражданами; что именно хирурги были подневольными *ресус*; и что ошибочное представление о том, что врачи были рабами, возникло из-за смешения этих двух порядков. Эти авторы в основном опирались на классические отрывки, из которых следует, что врачи назывались друзьями Цицерона, Сезара и Помпея. Миддлтон в известной латинской диссертации утверждает, что в Риме не было различия между врачом, хирургом и аптекарем и что, по крайней мере, до времен Юлия Сезара, медицинским искусством занимались только иностранцы и рабы или вольноотпущенники, которые, получив свободу за свои познания в различных отраслях, открывали лавку для практики. -*De Medicorum apud veteres Romanos de gentium Conditione Dissertatio*. Разные работы, том IV. См. на эту тему: Schlæger, *Histor. litis*, *De Medicorum apud veteres Romanos de gentium Conditione*. Helmst. 1740.

#### 43.

Noct. Attic. Lib. VII. c. 10.

#### 44.

*De Officiis*, Lib. I. c. 29. *Multa sunt multorum facete dicta: ut ea, quæ a sene Catone collecta sunt, quæ vocant apophthegmata.*

#### 45.

Sat. Lib. I. 2.

#### 46.

О семье Катона см. Aulus Gellius, Noct. Attic. Lib. XIII. c. 19.

#### 47.

У нас есть множество подробных описаний вилл роскошных римлян, начиная со времен Гортензия и заканчивая Плинием, но так мало рассказов о виллах более простого века Сципиона, что я привожу описание Сенеки, который видел этот особняк именно в том состоянии, в котором он был, когда им владел и в нем жил прославленный покоритель Ганнибала. "*Vidi villam structam lapide quadrato, murum circumdatum sylvæ, turres quoque in propugnaculum villæ utrimque subrectas. Cisternam ædificiis et viridibus subditam, quæ sufficere in usum exercitûs posset. Balneolum angustum, tenebricosum ex consuetudine antiquâ. Magna ergo me voluptas subit contemplantem mores Scipionis et nostros. In hoc angulo, ille Carthaginis horror, cui Roma debet quod tantum semel capta est, abluebat corpus laboribus rusticis fessum; exercebat enim operâ se, terramque, ut mos fuit priscis, ipse subigebat. Sub hoc ille tecto tam sordido stetit-hoc illum pavementum tam vile sustinuit.*" Senec. Epist. 86.

#### 48.

Lib. II.

#### 49.

Trionfo della Fama, c. 3.

**50.**

Varro, De Re Rusticâ, Lib. II. proœm.

**51.**

Cæsar, Comment. de Bello Civili, Lib. II. c. 17, &c.

**52.**

Суетоний, в Jul. Cæs. c. 44.

**53.**

Epist. Fam. Lib. IX. Ep. 6. Ed. Schütz.

**54.**

De Re Rusticâ, Lib. II.

**55.**

Цицерон, Филипп. II. c. 40.

**56.**

См. Castell's Villas of the Ancients.

**57.**

De Re Rusticâ, Lib. III. c. 5.

**58.**

Классический тур по Италии.

**59.**

Аппиан, De Bello Civili, Lib. IV. 47.

**60.**

Житие Асина в Бервике. Поллио, М. Варро и др.

**61.**

Scaligerana prima, p. 144.

**62.**

Πολυγραφεύτης. Epist. ad Attic. Lib. III. Ep. 18.

**63.**

Цицерон, De Divinat. Lib. I. c. 18. Сенека, Epist. 98.

**64.**

Суетоний, De Illust. Grammat. c. 1.

**65.**

Суетоний (De Illust. Gram.) говорит, что он был послан Атталом в момент смерти Энния. Энний умер в 585 году, в это время в Пергаме царствовал Евмен, а Аттал сменил его только в 595 году; так что Суетоний ошибся либо в том, в каком году Кратес прибыл в Рим, либо в том, каким царем он был послан, - я скорее думаю, что он ошибся в последнем случае; Ибо, если Кратес был первым греческим ритором, преподававшим в Риме, что кажется общепризнанным, он должен был быть там до 593 года, в котором риторы были изгнаны из Рима вместе с философами.

**66.**

Суетоний, с. 2.

**67.**

Court de Gebelin, Monde Primitif, T. VI. Disc. Prelim. p. 12.

**68.**

Epist. ad Attic. Lib. XIII. Ep. 12.

**69.**

Ibid. Lib. XIII. Ep. 18.

**70.**

Epist. Famil. Lib. IX. Ep. 8.

**71.**

Aulus Gellius, Lib. I. c. 18

**72.**

См. также о кельтских производных: Court de Gebelin, Monde Primitif. Disc. Prelim. T. VI. p. 23.

**73.**

Jupiter, Juno, Saturnus, Vulcanus, Vesta, et alii plurimi quos Varro conatur ad mundi partes sive elementa transferre. (St. August. Civit. Dei, Lib. VIII. c. 5.)

**74.**

Лактанций, Div. Inst. Lib. I. c. 6.

**75.**

Болингброк, Использование и изучение истории, Lett. 3.

**76.**

Au. Gellius, Lib. XIV. c. 7.

**77.**

Святой Августин, De Civitat. Dei, Lib. XIX. c. 1.

**78.**

Антиох Аскалонский, преподаватель старой Академии.

**79.**

Фабриций, Biblioth. Latin. Lib. I. c. 7.

**80.**

Au. Gellius, Noct. Attic. Lib. XIII. c. 11.

**81.**

Ibid. Lib. VII. c. 16.

**82.**

Tom. I. p. 241.

**83.**

Долгое время считалось, что папа Григорий Первый уничтожил труды Варро, чтобы скрыть плагиат святого Августина, который многое позаимствовал из богословских и философских

трудов римского ученого. Однако это маловероятно. Этот прославленный отец христианской церкви постоянно ссылается на ученого язычника без всякой видимой цели сокрытия; он восхваляет его в выражениях, рассчитанных на то, чтобы привлечь внимание к предмету своего восхваления. Святой Августин не обладал столь скудными способностями гения, чтобы требовать от него возведения города истинного Бога из разрушающихся фрагментов языческих храмов.

**84.**

Академия. Poster. Lib. I. с. 3.

**85.**

Морхоф, Полигистор. Том. I. Lib. I. Falsterus, Hist. Rei Liter. ap. Roman.

**86.**

Middendorp, De Academ. Lib. III.

**87.**

Tiraboschi, Stor. dell Lett. Ital. Part III. Lib. III. с. 8.

**88.**

Plin. Hist. Nat. Lib. XVIII. с. 3.

**89.**

Плутарх, в Paul. Æmil.

**90.**

Id. in Sylla.

**91.**

Плутарх, в Лукулло.

**92.**

Там же.

**93.**

Epist. ad Attic. Lib. IV. Ep. 4 и 8.

**94.**

Epist. ad Quint. Frat. Lib. II. Ep. 4. По мнению некоторых писателей, это был младший Тираннио, ученик старшего, который устроил библиотеку Цицерона и обучал его племянника.-Mater, Ecole d'Alexandrie, Tom. I. p. 179.

**95.**

Suidas, Lexic.

**96.**

Plin. Hist. Nat. Lib. VII. с. 30.

**97.**

Plin. Hist. Nat. Lib. XXXV. с. 14.

**98.**

Au. Gellius, Lib. IV. с. 9.

**99.**

Плутарх, в "Цицероне".

**100.**

Chron. Euseb.

**101.**

Суетоний, в Августе. с. 94.

**102.**

Au. Геллий, Noct. Attic. Lib. XIX. с. 14.

**103.**

Там же.

**104.**

Au. Gellius, Lib. X. с. 4.

**105.**

См. далее, в отношении Нигидия Фигула, Bayle, Dict. Histor. Art. Nigidius, и Mem. de l'Acad. des Inscriptions, Tom. XXIX. p. 190.

**106.**

Au. Gellius, Noct. Attic. Lib. XIII. с. 9.

**107.**

Griffet, De Arte Regnandi.

**108.**

De Oratore, Lib. II. с. 13.

**109.**

Vopiscus, Vit. Taciti Imp.

**110.**

Römische Geschichte, Tom. I. p. 367.

**111.**

Cicero, De Oratore, Lib. II. с. 13.

**112.**

Lib. I. с. 2.

**113.**

Quæ in Commentariis Pontificum aliisque publicis privatisque erant monumentis, incensâ urbe, pleræque interfîere. Livy, Lib. VI. с. 1.

**114.**

Livy, Lib. VI. с. 1.

**115.**

Полибий, Lib. III. с. 22, 25, 26.

**116.**

Epist. Lib. II. Ep. 1.

**117.**

Lib. IV. p. 257. ed. Sylburg, 1586.

**118.**

Lib. II. p. 111.

**119.**

Lib. III. p. 174.

**120.**

Lib. IV. c. 7.

**121.**

Lib. III. c. 22.

**122.**

Hist. Nat. Lib. XXXIV. c. 14.

**123.**

Hist. Nat. Lib. XXXIV. c. 14.

**124.**

Ливий, Lib. IV. c. 23.

**125.**

Дионис. Halic. Lib. I. p. 60.

**126.**

Плиний, Hist. Nat. Lib. XXXV. c. 2.

**127.**

В Нуме.

**128.**

Lib. VIII. c. 40.

**129.**

His laudationibus historia rerum nostrarum est facta mendosior. Multa enim scripta sunt in iis, quæ facta non sunt-falsi triumphi, plures consulatus, genera etiam falsa. Brutus, c. 16.

**130.**

Lib. III. c. 20.

**131.**

L'Evesque, Hist. Critique de la Republique Romaine, T. I.

**132.**

Livy, Lib. V. c. 21.

**133.**

Bankes, Civil History of Rome, Vol. I.

**134.**

Брут, с. 11.

**135.**

Livy, Lib. II. с. 40.

**136.**

Вопрос о подлинности или недостоверности римской истории долгое время был и до сих пор остается предметом многочисленных дискуссий во Франции. "В Париже, - говорит лорд Болингброк, - есть набор заявленных парадоксальных ораций. Суть одной из них заключалась в том, чтобы показать, что история Рима на протяжении четырех первых веков была просто выдумкой. Человек, участвовавший в ней, доказывал это так сильно и так хорошо, что несколько слушателей, выходя, сказали, что человек, задавший этот вопрос, играл на добыче, и что это далеко не парадокс, а простая и очевидная истина" - Spence's Anecdotes, p. 197. Эта литературная полемика велась главным образом в "Записках" Академии надписей и т. д. Месье де Пуйи в мемуарах за 1722 год привел свои доказательства и аргументы против подлинности. В следующем году ему слабо возразил М. Салье, а М. Бофор защитил его в "Мемуарах Академии" и более подробно в "Диссертации о неподлинности девяти первых веков истории Романии" (1738). Romaine, (1738), которая содержит ясное и убедительное изложение состояния вопроса. В последнее время этот спор был возобновлен в "Мемуарах" Института, в материалах которого за 1815 год есть длинная статья М. Левеска, утверждающая полную неопределенность римской истории до вторжения галлов; противоположную сторону вопроса энергично отстаивал М. Ларше. Этот спор, хотя и начался во Франции, не ограничился только этой страной. Гук и Гиббон доказывали достоверность (Miscell. Works, Vol. IV. p. 40), а Клувериус - неопределенность римской истории (Ital. Antiq. Lib. III. с. 2.) Нибур, покойный немецкий историк Рима, считает все до Тулла Хостилия совершенно баснословным. Время, прошедшее от его воцарения до войны с Пирром, он рассматривает как период, который можно найти почти в каждой истории, между просто басней и достоверной записью. Бек во введении к своему немецкому переводу книги Фергюсона "Римская республика" (Ueber die Quellen der altesten Römischen Geschichte und ihren Werth) попытался до некоторой степени подтвердить подлинность римской истории; но его рассуждения и цитаты не идут дальше доказательства того, что никогда не может быть оспорено, что есть много правды в общем изложении событий - что цари были изгнаны, что этруски были окончательно покорены, и что были созданы консулы. Он признает, что многое зависит от традиции, но традиция, по его мнению, настолько сильно переплетена с любой историей, что ее нельзя отбрасывать. Остальная часть трактата занята слабой попыткой показать, что в Риме после его захвата галлами существовало больше памятников, чем принято считать, и что Фабий Пиктор хорошо их использовал.

**137.**

Плиний, Hist. Nat. Lib. XXXV. с. 4.

**138.**

Hankius, De Romanar. Rerum Scriptor. Pars I. с. 1.

**139.**

Lib. VII.

**140.**

Lib. IV. p. 234.

**141.**

In Romulo.

**142.**

Lib. III. c. 9.

**143.**

Либ. I.

**144.**

Lib. III. c. 8.

**145.**

Эрнести попытался, но, как мне кажется, безуспешно, поддержать подлинность "Анналов" Фабия против порицаний Полибия в своей диссертации под названием "Pro Fabii Fide adversus Polybium", помещенной в его *Opuscula Philologica*, Leipsic, 1746-Lugd. Bat. 1764. Он пытается показать на основании других отрывков, что Полибий был большим недоброжелателем предшествующих историков, и что он судил о событиях больше по тому, что было вероятно и могло произойти, чем по тому, что произошло на самом деле, и что ни один историк не мог обладать лучшей информацией, чем Фабий. На вопросы, которые Полибий задает Фабия относительно причин, которые тот называет в качестве истоков второй Пунической войны, Эрнести отвечает за него, что карфагенский сенат не мог отнять у Ганнибала командование в Испании или выдать его, как римский сенат мог лишить Цезаря его армии, когда тот находился на берегах Рубикона; А что касается поддержки, которую Ганнибал получил в Италии, то на это можно ответить, что это вполне соответствует политической мудрости и практике других народов, когда правительство, вынужденное вступить в борьбу из-за неповиновения или злых умыслов своих подданных, прилагает все усилия, чтобы добиться окончательного успеха или с честью выйти из затруднений, в которые оно было неохотно вовлечено.

**146.**

Lib. I. p. 64.

**147.**

Fabium æqualem temporibus hujusce belli potissimum auctorem habui. Lib. XXII. c. 7.

**148.**

Брут, с. 27.

**149.**

Hist. Nat. Lib. XI. c. 53.

**150.**

Noct. Attic. Lib. XI. c. 14.

**151.**

Он же, вероятно, подсказал Саллюстию фразу, которая вызвала большой скандал у столь серьезного историка. Цицерон говорит в одном из своих писем (Epist. Famil. Lib. IX. Ep. 22): "At vero Piso, in annalibus suis, queritur, adolescentes peni deditos esse".

**152.**

Römische Geschichte, Tom. I. p. 245.

Поскольку его рассказ о римских делах был написан на греческом языке, я опускаю в списке

латинских летописцев Луция Цинция Алимента, который был современником Фабия, попав в плен к Ганнибалу во время второй Пунической войны. Но хотя его история была написана на греческом языке, он написал на латыни биографический очерк сицилийского ратора Горгия Леонтина, а также книгу "De Re Militari", которую цитирует Ау. Геллий, а Вегеций признал ее основой для своих более подробных комментариев на ту же тему.

**153.**

Брут, с. 26.

**154.**

Этот отрывок - фрагмент из первой книги утраченной истории Саллюстия. Map. Victorinus in prim. Ciceronis de Inventione.

**155.**

De Fontibus et Auctoritate Vitarum Parallel. Plutarchi, p. 134. Gotteng. 1820.

**156.**

Lib. I. с. 7.

**157.**

Брут, с. 26.

**158.**

Lib. I. с. 7.

**159.**

Æl. Spartianus, in Hadriano.

**160.**

Ау. Геллий, Noct. Attic. Lib. II. с. 13.

**161.**

De Legibus, Lib. I. с. 2.

**162.**

Lib. V. с. 18.

**163.**

Брут, с. 35.

**164.**

Noct. Attic. Lib. IX. с. 13.

**165.**

Noct. Attic. Lib. XIII. с. 28.

**166.**

Ibid. Lib. VII. с. 19.

**167.**

Noct. Attic. Lib. VI. с. 8.

**168.**

См. выше, т. I. p. 322.

**169.**

Брут, с. 63.

**170.**

Lib. II. с. 9.

**171.**

Югурта, с. 95.

**172.**

Брут, с. 63.

**173.**

De Legibus, Lib. I. с. 2.

**174.**

Brutus, с. 29. Некоторые полагают, что Цицерон имел в виду не "Киропедию" Ксенофонта, а жизнь Кира, написанную Скауром. Это, действительно, сначала кажется более вероятным, чем то, что он должен был одарить столь экстравагантным комплиментом "Мемуары" Скавра; но его слова не допускают такого толкования: "Præclaram illam quidem, sed neque tam rebus nostris aptam, nec tamen Scauri laudibus antepponendam."

**175.**

Lib. VII.

**176.**

In Mario.

**177.**

Lib. II. с. 13.

**178.**

Lib. II. с. 5. Lib. VI. с. 4.

**179.**

Плутарх, в Лукулло.

**180.**

Плутарх, В Силле.

**181.**

В Марио.

**182.**

Мемуары о дворе Августа, т. I.

**183.**

В Веспасиано, с. 8.

**184.**

Malheureux sort de l'histoire! Les spectateurs sont trop peu instruits, et les acteurs trop intéressés pour nous puissions compter sur les recits des uns ou des autres.-Gibbon's Miscell. Works, Vol. IV.

**185.**

Noct. Att. Lib. XVII. c. 18.

**186.**

Nardini, Roma Antica. Lib. IV. c. 7.

**187.**

Steuart's Sallust, Essay I.

**188.**

Классический экскурс, т. II. с. 6.

**189.**

Sat. Lib. I. Sat. 2.

**190.**

Suetonius, De Grammaticis.

**191.**

Leben des Sallust.

**192.**

Bankes, Civil Hist. of Rome, Vol. II.

**193.**

Авторы "Всеобщей истории" полагают, что это были финикийские и пунические книги, вывезенные из Карфагена Сципионом после его разрушения и подаренные им Миципсу; они дают любопытный отчет об этих книгах, о которых еще сохранилась некоторая память и которые, по их предположению, были частью царской коллекции Нумидии.

**194.**

Сенека. Epist. 114.

**195.**

Любопытно, в какие грубые ошибки иногда впадают самые ученые и аккуратные писатели. Фабриций, говоря об этих письмах, говорит: "Duæ orationes (sive epistolæ potius) de Rep. ordinandâ ad Cæsarem missæ, cum in Hispanias proficisceretur contra Petreium et Afranium, victo Cn. Pompeio."-Bibliothec. Latin. Lib. I. c. 9.

**196.**

Lectiones Subsecivæ, Lib. I. c. 3. Lib. II. c. 2.

**197.**

Асиний Поллион, однако, как мы узнаем от Суетония, считал, что комментарии были составлены с недостаточной тщательностью и точностью, что автор был очень доверчив к действиям других и что он очень поспешно записал то, что считал сам, с намерением, которое он так и не осуществил, впоследствии пересмотреть и исправить -Sueton. in Cæsar. c. 56.

**198.**

Bankes, Civil Hist. of Rome, Vol. II.

**199.**

Neque Druides habent, qui rebus divinis præsint; neque sacrificiis student. Deorum numero eos solos ducunt, quos cernunt, et quorum opibus aperte juvantur-Solem, et Vulcanum, et Lunam: reliquos ne famâ quidem acceperunt. Lib. VI. c. 21.

**200.**

Deorum maximè Mercurium colunt, cui, certis diebus, humanis quoque hostiis, litare fas habent. Herculem ac Martem concessis animalibus placant ... Lucos ac nemora consecrant, deorumque nominibus appellant Secretum illud, quod solâ reverentia vident. De Mor. Germ. c. 9.

**201.**

Germ. Antiqua, Lib. I. c. 3.

**202.**

Брут, с. 72.

**203.**

См. Плутарх "В Сезаре", где рассказывается, что Сезар писал стихи и речи и читал их пиратам, к которым попал в плен, по возвращении в Рим из Вифинии, где он искал убежища от власти Силлы.

**204.**

Hist. Critic. Ling. Lat. p. 537.

**205.**

Epist. ad Attic. Lib. XII. ep. 40.

**206.**

Middleton's Life of Cicero, Vol. II, p. 347, 2d ed.

**207.**

Hist. Nat. Lib. XVIII. c. 26.

**208.**

Суэтон. In Cæsar. c. 56.

**209.**

Цицерон, Брут, с. 72.

**210.**

Au. Gellius, Noct. Attic. Lib. I. c. 10.

**211.**

Charisius, Lib. I.

**212.**

Au. Геллий, Lib VII, с. 9.

**213.**

Суэтон. In Cæsar. c. 56.

**214.**

Там же.

**215.**

См. выше, т. I. с. 204.

**216.**

См. также Blondellus, Hist. du Calendrier Romain. Paris, 1682, 4to; Bianchinus, Dissert. de Calendario et Cyclo Cæsaris, Rom. 1703, folio; и Court de Gebelin, Monde Primit. T. IV.

**217.**

Mihi non illud quidem accidit, ut Alexandrino atque Africano bello interesssem; quæ bella tamen ex parte nobis Cæsaris sermone sunt nota. De Bell. Gall. Lib. VIII.

**218.**

Imperfecta ab rebus gestis Alexandriæ confeci, usque ad exitum, non quidem civilis dissensionis, cuius finem nullum videmus, sed vitæ Cæsaris. De Bell. Gall.

**219.**

De Hist. Lat. Lib. I. c. 13.

**220.**

Суэтон. In Cæsar. c. 72.

**221.**

Epist. Famil. Lib. V. Ep. 12.

**222.**

Lib. IV. Ep. 6.

**223.**

De Ling. Lat. Lib. IV.

**224.**

Hist. Nat. Lib. VIII. c. 2.

**225.**

Epist. Famil. Lib. VI. Ep. 7.

**226.**

"Duæ sunt artes, - говорит Цицерон, - quæ possunt locare homines in amplissimo gradu dignitatis: una imperatoris, altera oratoris boni: Ab hoc enim pacis ornamenta retinentur; ab illo belli pericula repelluntur." Orat. pro Muræna, c. 14.

**227.**

Ratio ipsa in hanc sententiam ducit, ut existimem sapientiam sine eloquentia parum prodesse civitatibus. Rhetoricorum, Lib. I. c. 1.

**228.**

Lib. II.

**229.**

Брут, с. 22.

**230.**

De Orat. Lib. I. c. 60.

**231.**

Rhetoric. seu De Inventione, Lib. I. c. 1.

**232.**

Плутарх, In Tiber. Graccho.

**233.**

Плутарх, В Тибре. Гракх.

**234.**

Нокт. Аттик. Lib. X. c. 3.

**235.**

Плутарх, In Tib. Graccho.

**236.**

De Orator. Lib. III. c. 60. Рассказы Плутарха и Цицерона о красноречии К. Гракха, кажется, не вполне согласуются с тем, что сообщает по этому поводу Геллий.

**237.**

Funccius, De Virili Ætate Lat. Ling. c. 1. § 24.

**238.**

Lib. IV. Od. 1.

**239.**

Цицерон, De Oratore, Lib. II. c. 2.

**240.**

Валер. Maxim. Lib. VII. c. 3.

**241.**

Валер. Максим. Lib. III. c. 7; и Lib. VI. c. 8.

**242.**

De Oratore, Lib. II. c. 28, 29, 48, 49.

**243.**

Id. Lib. II. c. 47.

**244.**

Плутарх In Mario. Valerius Maximus, Lib. VIII. c. 9.

**245.**

Цицерон, De Oratore, Lib. III. c. 3.

**246.**

Id. Lib. I. c. 33.

**247.**

Цицерон, De Orat. Lib. I. c. 26, 27.

**248.**

Цицерон, De Orat. Lib. II. c. 1.

**249.**

Плутарх, In Sylla.

**250.**

De Oratore, Lib. III. c. 3.

**251.**

Плутарх, In Sylla.

**252.**

De Oratore, Lib. III. c. 3.

**253.**

Брут, с. 89.

**254.**

Брут, с. 63.

**255.**

Там же.

**256.**

De Oratore, Lib. III. c. 61.

**257.**

Цицерон, Брут, с. 89.

**258.**

Ibid.

**259.**

Там же.

**260.**

Plin. Hist. Nat. Lib. XVII. c. 1.

**261.**

Ibid. Lib. XXXIII. c. 11.

**262.**

Nardini, Roma Antica, Lib. VI. c. 15.

**263.**

Sueton. in Augusto, c. 72.

**264.**

Варро, De Re Rustica, Lib. III. c. 6.

**265.**

Макробий, Сатурналии, Lib. III. c. 13.

**266.**

Plin. Hist. Nat. Lib. XIV. c. 14.

**267.**

Ibid. Lib. XXV. c. 11.

**268.**

Varro, De Re Rustica, Lib. III. c. 3.

**269.**

Ibid. Lib. III. c. 17.

**270.**

Ibid.

**271.**

Plin. Hist. Nat. Lib. IX. c. 55.

**272.**

Цицер. Academica, Lib. II. c. 25, 31, 33.

**273.**

Bonstetten, Voyage dans le Latium, p. 152-160. Nibby, Viaggio Antiquario ne contorni di Roma, T. II.

**274.**

Варро, De Re Rustica, Lib. III. c. 13.

**275.**

Сикеро, Brutus, c. 95.

**276.**

Варро, De Re Rustica. Цицерон, Epist. ad Attic. Lib. V. Ep. 2.

**277.**

Серен. Самоник, De Medicina, c. 15.

**278.**

Цицерон, Epist. Familiares, Lib. VIII. Ep. 2.

**279.**

Dio Cassius, Lib. XXXIX.

**280.**

Квинт. Inst. Orat. Lib. XI. c. 3.

**281.**

Epist. ad Atticum, Lib. III. Ep. 9, &c.

**282.**

В доказательство своей поразительной памяти Сенека сообщает, что для испытания своих способностей к запоминанию он целый день пробыл на публичном аукционе, а когда тот закончился, повторил по порядку, что было продано, кому и по какой цене. Его рассказ сравнили с отчетом клерка, и оказалось, что память служила ему верой и правдой во всех отношениях. Сенок. Præf. Lib. I. Controv.

**283.**

Aulus Gellius, Noct. Attic. Lib. I. c. 5.

**284.**

Валерий Максим, Lib. VIII. с. 10.

**285.**

Ibid.

**286.**

Макробий, Сатурналии, Lib. III. с. 13.

**287.**

Там же.

**288.**

Meiners, Decadence des Mœurs chez les Romains.

**289.**

Гортензий был сначала женат на дочери оратора К. Катуты, который является одним из ораторов в диалоге "Оратор". (Затем он попросил и получил от Катона жену Марцию, которая, унаследовав большую часть богатства Гортензия после его смерти, была возвращена бывшим мужем (Плутарх, "В Катоне"). От первой жены у Гортензия были сын и дочь. С сыном Квинтом ему повезло не больше, чем его сопернику Цицерону с сыном Марком. Цицерон, будучи проконсулом Киликии, упоминает в одном из своих писем о скандальном появлении младшего Гортензия в Лаодикее во время представления гладиаторов: "Я пригласил его однажды на ужин, - говорит он, - по поручению его отца; и, по тому же поводу, только один раз". (Epist. Ad Attic. Lib. VI. Ep. 3.) Такого было его недостойное поведение, что его отец в это время подумывал лишить его наследства и сделать наследником своего племянника Мессалу; но он не стал упорствовать в этом намерении. (После смерти отца он примкнул к партии Цезаря (Цицерон, Epist. Ad Att. Lib. X. Ep. 16, 17, 18), который назначил его проконсулом Македонии; в этом положении он перешел на сторону заговорщиков, впоследствии убитых Цезарем. По приказу Брута он убил Кая Антония, брата триумвира, который попал в его руки; после этого он был взят в плен в битве при Филиппах и убит Марком Антонием в качестве возмездия на могиле своего брата (Цицерон, Philip. X. с. 5 и 6). (Плутарх, "М. Бруто").

Дочь Гортензия унаследовала дух и красноречие своего отца. Триумвиры Антоний, Октавий и Лепид обложили римских матрон суровой данью, и она смело выступила в их защиту перед этими известными вымогателями и добилась некоторого смягчения пошлин. (Valer. Maxim. Lib. VIII. с. 3.)

Квинт, сын оратора, оставил двух детей, К. Гортензия Корбио и М. Гортензия Хортала. Первый из них был чудовищем разврата; его современник, Валерий Максим, упоминает его в числе наиболее ярких примеров тех потомков, которые выродились из чести своих предков. (Этот негодяй, не имевший шансов стать отцом, и богатство семьи, частично осевшее на жене Катона, частично растраченное из-за расточительности, а частично конфискованное во время гражданских войн, Август Сезар, который был большим сторонником брака, дал Гортензию Горталу денежное пособие, чтобы тот мог жениться, дабы столь прославленный род не угас. Однако он и его дети впали в нужду во время правления преемника его благодетеля. Тацит с присущей ему силой изобразил ту унижительную сцену, когда он с четырьмя детьми явился просить помощи у сената; историк также записал жесткий ответ, который он получил от неумолимого Тиберия. Понимая, однако, что его суровость не нравится сенату, император сказал, что, если они того пожелают, он даст определенную сумму каждому из детей Хорталуса мужского пола. Они поблагодарили, но Горталус, то ли от ужаса, то ли из благородства духа, не сказал ни слова, и с этого времени Тиберий не

проявлял к нему благосклонности, а его семья погрузилась в самую нищету (Tacit. Annal. Lib. II. с. 37 и 38.) И такими были потомки оратора с парком, плантациями, прудами и картинами!

**290.**

Катулл. Carm. 53.

**291.**

Плиний, Epist. Lib. I. ep. 2.

**292.**

Брут, с. 80.

**293.**

Там же.

**294.**

По одним данным, это произошло незадолго до, а по другим - через некоторое время после изгнания Тарквина.

**295.**

"Exactis deinde regibus leges hæ exoleverunt; iterumque cœpit populus Romanus incerto magis jure et consuetudine ali, quam per latam legem."-Pompon. LÆTUS, De Leg. II. § 3.

**296.**

Гиббон, Упадок и падение Римской империи, с. 44.

**297.**

De Legibus, Lib. II. с. 23. De Oratore, Lib. I, с. 42.

**298.**

"Decem tabularum leges", - говорит Ливий, - "nunc quoque, in hoc immenso aliarum super aliis acervatarum legum cumulo, fons omnis publici privatique est juris".

**299.**

Цицерон, De Oratore, Lib. II. с. 33.

**300.**

Saint Prix, Hist. du Droit Romain, p. 23. Ed. Paris, 1821.

**301.**

Упадок и падение Римской империи, с. 44.

**302.**

Цицерон, De Orat. Lib. I. с. 57.

**303.**

Ibid. Lib. I. с. 58.

**304.**

Следует, однако, признать, что Цицерон в других своих произведениях высоко оценивает изучение гражданского права, особенно в следующем прекрасном отрывке, произнесенном в присутствии Красса: "Senectuti vero celebrandæ et ornandæ quid honestius potest esse perfugium, quàm juris interpretatio? Equidem mihi hoc subsidium jam inde ab adolescentiâ comparavi, non solum ad causarum usum forensem, sed etiam ad decus atque ornamentum

senectutis; ut cùm me vires (quod fere jam tempus adventat) deficere cœpissent, ab solitudine domum meam vindicarem." (De Oratore, Lib. I. c. 45.) Шультингий, знаменитый гражданин, в своей диссертации De Jurisprudentia Ciceronis пытается доказать на основании различных отрывков из его ораций и риторических сочинений, что Цицерон был хорошо осведомлен в самых глубоких и красивых вопросах римской юриспруденции, а также хорошо разбирался в международном праве, поскольку Гроций заимствовал у него многие принципы и иллюстрации в своем трактате De Jure Belli et Pacis.

**305.**

De Oratore, Lib. I.

**306.**

Ibid. Lib. II. c. 49.

**307.**

"An non pudeat, certam creditam pecuniam periodis postulare, aut circa stillicidia affici?"-Quint. Inst. Orat. Lib. VIII. c. 3.

**308.**

Polletus, Historia Fori Romani, ap. Supplement. ad Graevii et Gronov. antiquitat. T. I. p. 351.

**309.**

In Verrem, Act. I. c. 14.

**310.**

Nardini, Roma Antica, Lib. V. c. 2, &c.

**311.**

Вепр. Æneid. Lib. VII.

**312.**

"Parvis de rebus, - говорит он, - sed fortasse necessariis consulimur, Patres conscripti. De Appiâ viâ et de monetâ Consul-De Lupercis tribunus plebis refert. Quarum rerum etsi facilis explicatio videtur, tamen animus aberrat a sententiâ, suspensus curis majoribus."-C. I.

**313.**

Orator, c. 30.

**314.**

Orator, c. 30. spe et expectatione laudati.

**315.**

De Officiis, Lib. II. c. 14.

**316.**

Брут, c. 91.

**317.**

Сесилий был евреем, проживавшим в Сицилии; поэтому Цицерон, обыгрывая имя Верреса, спрашивает: "Quid Judæo cum Verre?" (кабан). (кабан).

**318.**

В конце концов, однако, его постигла заслуженная и подходящая судьба. Отказавшись отдать свои коринфские вазы Марку Антонию, он был проскрибирован за них и предан смерти алчным Триумвиром.

**319.**

Ливий, Lib. XXV. с. 40.

**320.**

Гиллис, История Греции, часть II. Т. IV. с. 27.

**321.**

Лекции по риторике и т. д. Vol. II. Lect. XXVIII.

**322.**

Lib. II. Ep. 1.

**323.**

Вольф в предисловии к своему изданию оратории Марцелла упоминает, что видел схоластическую декламацию, озаглавленную "Oratio Catilinæ, in M. Ciceronem". Она заканчивается так: "Me consularem patricium, civem et amicum reipublicæ a faucibus inimici consulis eripite; supplicem atque insontem pristinæ claritudini, omnium civium gratiæ, et benevolentia vestræ restitute. Аминь".

**324.**

Funccius, De Viril. Ætat. Ling. Lat. Pars II. с. 2.

**325.**

Аоний Палеарий написал декламацию в ответ на эту речь, озаглавленную "Contra Murænam".

**326.**

Происхождение и развитие языка, книга IV.

**327.**

Correspondence, p. 85.

**328.**

Jenisch, Parallel der beiden größten Redner des Althertum, p. 124, ed. Berlin, 1821.

**329.**

Плутарх, В Цицероне.

**330.**

Филипп. VI. с. 1.

**331.**

Ювенал, Сатир. X. v. 118.

**332.**

Квинтилий. Inst. Orat. Lib. V.

**333.**

Orator, с. 67, 70.

**334.**

Hist. Nat. Lib. VII. c. 30.

**335.**

Плутарх, In Cicer.

**336.**

Макробий, Saturnal. Lib. III. c. 14.

**337.**

Нокт. Аттик. Lib. I. c. 7.

**338.**

Dio Cassius, XXXIX. c. 9.

**339.**

Epist. ad Attic. Lib. IV. Ep. 1.

**340.**

Epist. ad Attic. Lib. IV. Ep. 2.

**341.**

См. Nichol's Literary Anecdotes. Харлес также, кажется, полагает, что епископ Росс говорил серьезно: "Orationem pro Sulla spuriam esse audacter pronunciavit vir quidam doctus in-A Dissertation, in which the defence of P. Sulla, &c. is proved to be spurious."-HARLES, Introduct. in Notitiam Literat. Rom. Tom. II. p. 153.

**342.**

Биб. Lat. Lib. I. c. 8.

**343.**

Lib. IV. Ep. 2.

**344.**

"Cum Appendice De Oratione, quæ vulgo fertur, M. T. Ciceronis pro Q. Ligario", в котором автор пытается отнять у Цицерона прекрасную орацию для Лигария, которая потрясла даже душу Сезара, в то время как он перевел на свой язык две жалкие орации, Post Reditum и Ad Quirites, настаивая на законности обеих и увеличивая их истинно классические красоты! В своем Предисловии он достаточно приятно пародирует аргументы Вольфа против оратории Марцелла, иронично показывая, что они исходят не от этого великого ученого, а от псевдо-Вольфа, который присвоил себе его имя.

**345.**

Paral. der Beyden Grösten Redner des Altherthums.

**346.**

Брут, с. 12 и др.

**347.**

Epist. Famil. Lib. I. Ep. 9.

**348.**

Epist. ad Attic. Lib. XII. Ep. 5, &c.

**349.**

Epist. Famil. Lib. VI. Ep. 18.

**350.**

Ibid. Lib. VII. Ep. 19.

**351.**

Inst. Orat. Lib. XII. c. 10.

**352.**

Brutus, c. 91. Is dedit operam (si modo id consequi potuit) ut nimis redundantes nos juvenili quâdam dicendi impunitate et licentiâ reprimeret; et quasi extra ripas diffluentes coerceret.

**353.**

Наблюдение. Critic. in Sophoc. et Ciceron. Lips. 1802.

**354.**

Fuhrmann, Handbuch der Classisch. Literat.

**355.**

De Nat. et Const. Rhetor. c. 13.

**356.**

Dissert. Utrum ars Rhetorica ad Herennium Ciceroni falsò inscribitur.

**357.**

De Re Poet. Lib. III. c. 31. и 34.

**358.**

См. P. Burmanni Secund. In Præf. ad Rhetoric. ad Herennium. Также Фабриций, Bib. Lat. Lib. I. c. 8.

**359.**

Paradise Regained.

**360.**

De Orat. Lib. I. c. 10. Ab illo fonte et capite Socrate.

**361.**

Academ. Lib. II. c. 5.

**362.**

De Natur. Deor. Lib. I. c. 43.

**363.**

Плиний, Hist. Nat. Lib. XXXV. c. 11.

**364.**

Mem. de l'Institut. Royale, Tom. XXX.

**365.**

Цицерон называет его Princeps Stoicorum (De Divin. Lib. II. c. 47) и eruditissimum hominem, et pæne divinum (Pro Muræna, c. 31).

**366.**

Censuerunt ut M. Pomponius Prætor animadverteret uti e republicâ fideque suâ videretur Romæ ne essent. (Au. Gellius, Noct. Attic. Lib. XV. c. 11.)

**367.**

Ælian, Histor. Var. Lib. III. c. 17.

**368.**

Плутарх, In Catone.

**369.**

Au. Gellius, Noct. Attic. Lib. VII. c. 14.

**370.**

De Oratore, Lib. III. c. 18.

**371.**

Ibid. Lib. II. c. 38.

**372.**

Hæc in philosophiâ ratio contra omnia disserendi, nullamque rem aperte judicandi, profecta a Socrate, repetita ab Arcesilao, confirmata a Carneade, usque ad nostram viguit ætatem. De Nat. Deor. Lib. I. c. 5.

**373.**

Academ. Prior. Lib. II. c. 48.

**374.**

Valer. Max. Lib. VIII. c. 7.

**375.**

Академ. Prior. Lib. II. c. 31.

**376.**

Квинтилий. Inst. Orat. Lib. XII. c. 1. Лактанций. Instit. Lib. V. c. 14.

**377.**

Плутарх, In Catone. Plin. Hist. Nat. Lib. VII. c. 30.

**378.**

Divin. Institut. Lib. V. c. 16.

**379.**

Плутарх, De Fortitud. Alexandri.

**380.**

Diog. Laert. In Clitomacho.

**381.**

Цицерон, академик. Приор. Lib. II. c. 32.

**382.**

Академик. Приор. Lib. II. c. 32.

**383.**

Mater, Ecole d'Alexandrie, Tom. II. p. 131.

**384.**

В Греции, после этих прецедентов, началась, наконец, жизнь чемпионов в садах лицея или академии, где читался курс философии, который истинные любители имели исключительное искусство никогда не заканчивать. Всю свою жизнь они оставались прикрепленными к какому-нибудь шефу секты, например, Метродору или Эпикуру, муштровали в школах, а затем входили в омбре этих тем, которые они так долго вынашивали". (De Pauw, Recherches Philosophiques sur les Grecs, T. II.)

**385.**

Цицерон, Academ. Prior. Lib. II. c. 4.

**386.**

Epist. Familiares.

**387.**

Garve, Anmerk. zu Büchern von den Pflichten. Бреслау, 1819. Schoell, Hist. Abregée de la Litterat. Romaine.

**388.**

P. XII.

**389.**

Цицерон. Опера, Том. XIII. p. 15.

**390.**

Epist. ad Attic. Lib. XII. Ep. 52.

**391.**

Epist. Lib. XIII. Ep. 21.

**392.**

Диалог. Гиппарх.

**393.**

Black's Life of Tasso, Vol. II.

**394.**

Hulsemann, Über die Principien und den Geist der Gesetze. Leipsic, 1802.

**395.**

Quæque de optimâ republicâ sentiremus, in sex libris ante diximus; accommodabimus hoc tempore leges ad illum, quem probamus civitatûs statum. De Legib. Lib. III. c. 2.

**396.**

Epist. ad Quint. Frat. Lib. II. Ep. 14. Lib. III. Ep. 5 и 6.

**397.**

De Legib. Lib. II. c. 17.

**398.**

Ibid. Lib. I. c. 20.

**399.**

Hominis Amicissimi, Cn. Помпеи, laudes illustrabit. Lib. I. c. 3.

**400.**

De Legibus, Lib. II. c. 1.

**401.**

Ibid. Lib. I. c. 5.

**402.**

Экскурсия из Рима в Арпино, р. 89. Ed. Женева, 1820.

**403.**

Plin. Hist. Nat. Lib. XXXI. c. 2.

**404.**

"Cæruleus nos Liris amat."-Martial, Lib. XIII. Ep. 83. См. также Лукан, Lib. II.

**405.**

De Legibus, Lib. II. c. 2.

**406.**

Kelsall, Excursion, p. 116.

**407.**

De Legibus, Lib. II. c. 1.

**408.**

Epist. ad Attic. Lib. XII. Ep. 12.

**409.**

Классический тур по Италии сэра Р. К. Хоара, том I. стр. 293.

**410.**

Классический тур, т. II. с. 9.

**411.**

Классическая экскурсия из Рима в Арпино, с. 99. Цицерон всегда считал жителей Арпинума своей особой защитой и покровительством, и приятно обнаружить, что его современные жители по-прежнему различными способами демонстрируют должное почтение к своему прославленному горожанину. Их театр называется Театро Туллиано, сцена которого украшена бюстом оратора; и даже сейчас рабочие заняты на строительстве новой ратуши с нишами, предназначенными для статуй Мария и Цицерона.

**412.**

Макроб. Saturnal. Lib. VI. c. 4.

**413.**

Saturnal. Lib. VI. c. 4.

**414.**

Диоген Лаэртций, Lib. VII.

**415.**

Diog. Laert. Lib. VII.

**416.**

Plin. Hist. Nat. Lib. XXXI. c. 3.

**417.**

Академия. Prior. Lib. II. c. 33.

**418.**

Epist. Famil. Lib. IX. Ep. 8.

**419.**

Et ut nos nunc sedemus ad Lucrinum, pisciculosque exsultantes videmus. De propriet. Serm. c. 1. 335. voc. exsultare.

**420.**

Epist. Dedicat. ad Prælect. in Cic. Acad.

**421.**

Введение в Академию. Прим. ред. Липса. 1810.

**422.**

Nec esse, nec dici posse novum opus, ac penitus mutatum; sed tantummodo correctum, magis politum, et quoad formam et dictionem, hîc et illic, splendidius mutatum. De Lib. Cic. Academ. Comment.

**423.**

Классический экскурс, т. II. с. 8.

**424.**

Рим в девятнадцатом веке, т. III. Let. 93.

**425.**

De Finibus, Lib. III. и IV. Kelsall, Excursion from Rome to Arpino, p. 193.

**426.**

Epist. ad Attic. Lib. I. Ep. 1.

**427.**

Middleton's Life of Cicero, Vol. I. p. 142.

**428.**

Blainville's Travels, Vol. II.

**429.**

Юстас, Классический тур, т. II. с. 8. Гротта Феррата долгое время считалась как путешественниками (Эддисон, Письма об Италии, Бленвиль, Путешествия и т.д.), так и антикварами (Кальмет, Гист. Универс. Ключериус, Итал. Антик.) местом, где находилась тускуланская вилла Цицерона. Общепринятое мнение было впервые намеренно поставлено под сомнение Цуццери в диссертации, опубликованной в 1746 году, под названием "Sopra un' antica Villa scoperta sopra Frescati nell appartenenze della nuova villa dell collegio Romano". Этот автор помещает это место рядом с виллой и монастырем Руффинелла, который находится выше по склону, чем Гротта Феррата, и лежит между Фрескати и городом Тускулум.

Ему ответил Кардони, монах базилианского ордена из Гротта-Феррата, в своем труде "Disceptatio Apologetica de Tusculano Ciceronis", Romæ, 1757. Кардони в основном опирается на отрывок из Страбона, где этот географ говорит, что Тускуланский холм плодороден, хорошо поливается и окружен прекрасными виллами. Теперь Кардони, относя этот отрывок (который относится к Тускуланскому холму в целом) исключительно к Тускуланской вилле, утверждает несколько несправедливо, что описание Страбона соответствует Гротта Феррата, но не Руффинелла. (Нибби в своем "Viaggio Antiquario" поддерживает претензии Руффинеллы на основании отрывка из Фронтинуса, который он интерпретирует не более откровенно и успешно. Однако, за исключением Юстаса, все современные путешественники, с чьими работами я ознакомился, высказываются в пользу Руффинеллы (Т. II. р. 41.). "В монастыре Руффинелла, говорит Форсайт, дальше по холму, чем Гротта Феррата, его (Цицерона) имя было найдено выбитым на некоторых древних плитках, которые должны определять положение виллы, а не любого движимого имущества." -Remarks on Italy, p. 281. См. также Рим в девятнадцатом веке, том III. Письмо 92, и Kelsall's Classical Excursion, p. 192.

#### 430.

Alex. ab Alexandro, Dies Geniales, Lib. I. c. 23. Rossmini, Vita di Filelfo, T. III. p. 59. Ed. Milan, 1808, 3 Tom. 8vo.

#### 431.

Tusc. Disp. Lib. II. c. 3. Lib. III. c. 3.

#### 432.

Ювенал, я думаю, вероятно, имел в виду этот отрывок из "Тускуланских диспутов" в благородных и патетических строках своей десятой Сатиры - "Provida Pompeio dederat Campania febres" и т. д.

"Provida Pompeio dederat Campania febres" и т. д.

#### 433.

О некоторых преимуществах и недостатках метода написания диалогов говорит мистер Хьюм во введении к своим "Диалогам о естественной религии" (Лондон, 1779, 8vo), которые, очевидно, были написаны по образцу "Природы богов" Цицерона.

#### 434.

В английских выдержках из Цицерона De Nat. Deor. я воспользовался очень хорошим, но анонимным переводом, напечатанным в Лонд. 1741, 8vo.

#### 435.

В "Геркуланенсии" (стр. 22) сэр Уильям Драммонд довольно подробно доказывает, что сочинение "О благочестии по Эпикуру" (Περὶ Εὐσεβεΐας κατ' Ἐπικούρου), фрагмент которого был обнаружен в Геркулануме, послужило прототипом значительной части рассуждений Веллея. Читатель найдет версию отрывков, в которых проявляется сходство, в "Квартальном обозрении" (№ V.), где также отмечается, "что сэр Уильям, как нам кажется, потерпел полную неудачу в том, чтобы сделать вероятным, что Цицерон когда-либо видел этот важный фрагмент, отрывки, в которых есть какое-либо сходство, относятся, без исключения, к тому, что каждый автор сообщает о доктринах определенных старших философов, как они выражены в их работах; И эти сообщения ни в коем случае не настолько точно схожи, чтобы мы могли предположить, что Цицерон даже взял на себя вполне оправданную вольность, чтобы сэкономить себе немного хлопот, воспользовавшись выдержками из Хрисиппа и Диогена Вавилонского, сделанными другим автором." Шютц, немецкий редактор Цицерона,

перечисляет некоторые работы, которые, по его мнению, Цицерон читал, и другие, которые он, похоже, знал только по резюме и сокращениям. Ниже приводится его предположение относительно трудов Эпикура: - "Epicuri denique κυριας δοξας, ejus kavova seu libros, de Judicio, item περὶ φυσικῶς et περὶ ὁσιότητος, non ex aliorum tantum testimoniis, sed ex suâ ipsius lectione ei notos fuisse, facile, tot locis ubi de eo agitur inter se collatis, intelligitur." (Cicer. Opera, Tom. XV. p. 27.) Возможно, трактат περὶ Ὀσιότητος был аналогичным произведению Περί Ευσεβείας.

#### 436.

В своих "Диалогах о естественной религии" мистер Хьюм вкладывает в уста одного из своих персонажей два очень удачных замечания. Говоря об аргументе Цицерона в пользу Божества, выведенном из величия и великолепия природы, он замечает: "Если этот аргумент, говорю я, имел какую-то силу в прежние века, то насколько большую он должен иметь сейчас, когда границы природы так бесконечно расширены и перед нами открывается такая великолепная сцена!" Р. 103.- И снова, упоминая о том, что неверность Галена была излечена изучением анатомии (которое было гораздо более расширено им, чем во времена Цицерона), он говорит: "И если неверность Галена, даже когда эти естественные науки были еще несовершенны, не могла противостоять таким поразительным явлениям, то до какого уровня упорства должен был дойти философ в наш век, который теперь может сомневаться в существовании Высшего Разума!" Р. 23.- См. также Лактанций, De Opificio Dei.

#### 437.

В Бононии в 1811 году был опубликован труд М. Т. Цицерона "Ciceronis de Naturâ Deorum Liber Quartus: e pervetusto Codice MS. Membranaceo nunc primum edidit P. Seraphinus Ord. Fr. Min.- Этот трактат был переиздан (Oxonii, 1813) мистером Лунном, который говорит в предисловии, что "он не сомневается, по мнению нескольких его друзей, что это произведение является литературной подделкой". В этом, действительно, не может быть никаких сомнений, что подтверждается, помимо прочих доказательств, и минутным счетом евреев: "Sed etiam plures adhibere deos vel divos, a quibus ipsi regantur, quos nomine Elohim designare soleant, secundi ordinis," &c. (p. 12.)- Есть определенный юмор в том, как итальянский редактор в предисловии, написанном в грубом стиле простого монаха, уверяет, что работа не является подделкой: "Sed ne quis existimet, me ipsum fecisse hunc librum, testor, detestor, obtestor, et contestor, per S. Franciscum Assissium, me talem facere non posse, qui sacris incumbere cogor, nec profanis possum," &c.

#### 438.

С. 29.

#### 439.

С. 7.

#### 440.

Multis etiam sensi mirabile videri, eam nobis potissimum probatam esse philosophiam, quæ lucem eriperet, et quasi noctem quandam rebus offunderet, desertæque disciplinæ et jampridem relictæ patrociniū nec opinatum a nobis esse susceptum.- (De Nat. Deor. Lib. I. c. 3.)

#### 441.

Warburton, Divine Legation, Vol. II. p. 168. Ed. 1755. Варбуртон здесь ссылается на Bentley-Remarks on a late Discourse of Free-thinking, Part II. Rem. 53.

**442.**

Bolingbroke's Works, Vol. VIII. p. 81. ed. 8vo.

**443.**

Ibid. p. 266, 278.

**444.**

Fuerint qui judicarent oportere statui per Senatum ut aboleantur hæc scripta, quibus religio Christiana comprobetur, et vetustatis opprimatur auctoritas.-Arnobius, Adversus Gentes, Lib. III.

**445.**

В предисловии ко второй книге этого трактата, De Divinatione, Цицерон, перечисляя свои поздние философские сочинения, говорит: "Quibus libris editis, tres libri perfecti sunt De Naturâ Deorum \* \* \* quæ ut plene essent cumulateque perfecta, De Divinatione ingressi sumus his libris scribere."- (De Div. Lib. II. c. 1.)

**446.**

Hoc sum contentus; quod, etiamsi, quomodo quidque fiat, ignorem, quid fiat, intelligo.

**447.**

C. 38.

**448.**

C. 3.

**449.**

Коули.

**450.**

Plin. Hist. Nat. Lib. XXXI. c. 2.

**451.**

По крайней мере, так утверждает Миддлтон (Vol. III. p. 297) и приводит в качестве авторитета "Жизнь Адриана" Спартиана (с. 25). Спартиан, однако, говорит только, что он был похоронен на вилле Цицерона в Путеолах - "Apud ipsas Bajas periit, invisusque omnibus sepultus est in villâ Ciceronianâ Puteolis."

**452.**

Классический экскурс, т. II. с. 11.

**453.**

Philosophische Anmerkungen zu Cicero's Büchern von den Pflichten, Breslau, 1819.

**454.**

Lib. I. c. 39.

**455.**

Роджерс, Человеческая жизнь.

**456.**

"Fuit enim hoc in amicitîâ quasi quoddam jus inter illos, ut militiæ, propter eximiam belli gloriam, Africanum ut deum coleret Lælius; domi vicissim Lælium, quòd ætate antecedebat, observaret in parentis loco Scipio."

**457.**

Epist. Famil. Lib. VII. ep. 18. In palimpsesto, laudo equidem parsimoniam, sed miror, quid in illâ chartulâ fuerit, quod delere malueris quam hæc non scribere; nisi forte tuas formulas: non enim puto te meas epistolas delere, ut reponas tuas.

**458.**

Mem. de l'Academ. des Inscriptions, &c. Tom. VI.

**459.**

Май опубликовал "De Republicâ" в Риме с предисловием, в котором изложил историю своего открытия, примечаниями и указателем поправок. Она была перепечатана с этого издания в Лондоне без изменений в 1823 году; также в Париже в 1823 году с примечаниями Майи и выдержками из его предисловия; и cura Steinacker в Лейпсике в 1823 году. К этому немецкому изданию имеется предисловие Германа, которое, как я с разочарованием обнаружил, содержит лишь некоторые замечания по поводу одного отрывка из "De Republicâ", касающегося разделения граждан на классы Сервием Туллим. В том же году был опубликован превосходный французский перевод М. Вильмена, сопровождаемый вступительным обзором переводимой им работы, а также заметками и диссертациями на темы образования, нравов и религии, которые, как он полагает, составляли сюжеты трех последних книг, до сих пор не восстановленных.

**460.**

Epist. ad Quint. Frat. Lib. II. ep. 14.

**461.**

Epist. ad Quint. Frat. Lib. III. ep. 5 и 6.

**462.**

Cælius ad Ciceronem, Epist. Famil. Lib. VIII. Ep. 1. Tui libri politici omnibus vigent.

**463.**

Epist. ad Attic. Lib. VI.

**464.**

Epist. ad Quint. Frat. Lib. III. ep. 6.

**465.**

Приведенная выше цитата взята из XL. номера "Североамериканского обозрения" за июль 1823 года. Весьма похвально для учености наших трансатлантических собратьев, что работа De Republicâ при первой публикации стала предметом статьи в одном из их главных литературных журналов, в то время как, насколько мне известно, обзоры этой древней страны колледжей и университетов обошли абсолютным молчанием самое важное классическое открытие со времен Медичи.

**466.**

Я не знаю, чтобы эта отличительная черта характера Цицерона была где-нибудь так хорошо описана, как в следующем отрывке М. Виллемена, в котором он представил в этом отношении прекрасное сравнение между Цицероном и самым прославленным писателем его собственной нации. Говоря об отступлении, касающемся Паргелия и Оррерия, он признает, что оно было малозначительным, но добавляет: "Может ли возникнуть чувство уважения, когда мы говорим об этом прекрасном философском любопытстве, à ce goût universel de la science dont fut animé Cicéron, et qui au milieu d'une vie agitée par tant de travaux,

et dans un état de civilisation encore dénué de secours, lui fit rechercher avec un insatiable ardeur tous les moyens de connoissances nouvelles et de lumières?

"Этот человек, который с таким трудом овладел искусством красноречия и ежедневно выступал на форуме, в суде, в трибунале; Этот великий оратор, который во время своего консульства занимался еще и частными делами, в окружении жизни, полной мрака, волнений и досады, в этом движении исследований и дел, о котором свидетельствует множество писем, столь восхитительных и столь быстро написанных, изучал все, что в его эпоху можно было узнать. Он культивировал поэзию: он изучил и перенес в Рим все философские взгляды греков; он стремился восстановить представления о физике. Из одного из его писем мы узнаем, что он занят составлением технического трактата по географии, примерно так же, как Вольтер составлял хронологическую аббревиатуру истории Аллемании. Эти два жанра обладают в итоге особой отличительной чертой: они сочетают в себе яркие черты воображения и ума, пылкость всех знаний и интеллектуальную активность, которая не прекращается и не исчезает ни на минуту.

"Без сомнения, между ними были большие расхождения, особенно в отношении преобладающего призвания, которое влекло одного к красноречию, а другого - к поэзии; без сомнения, также разнообразие времен и ситуаций обнаруживало больше различий между французским писателем VI века и консулом Римской республики: mais cette ardeur de tout savoir, ce mouvement de la pensée qui s'appliquait également à tout, forme un trait éminent qui les rapproche; И, может быть, смятение чувств по отношению к этой истине вызвало у Вольтера восхищение, живо ощущаемое и искреннее, которое он испытывает по отношению к жене Сизерона."-Р. LXII.

#### 467.

Эта первая книга занимала в палимпсесте 211 страниц. Из них 72 отсутствуют; но два коротких фрагмента, относящихся к этой книге, можно найти у Лактанция и Нония, так что около трети книги все еще потеряно.

#### 468.

Май не может точно сказать, какая часть второй книги отсутствует в палимпсесте, но он считает, что, вероятно, третья часть; от нее осталось достаточно, чтобы утешить читателя за потерю.

#### 469.

Somnium Scipionis.

#### 470.

Epist. ad Attic. Lib. XII. Ep. 14.

#### 471.

Лактанций, Divin. Inst. Lib. III. c. 18. Luendorum scelerum causâ nasci homines.

#### 472.

Plin. Hist. Nat. Lib. I. Pref.

#### 473.

De Divin. Lib. II. c. 9.

#### 474.

Tusc. Disput. Lib. III. c. 28.

**475.**

Scharfii, Dissert. de vero auctore Consolationis. Miscell. Lips. Observ. 130.

**476.**

Линии Роджерса, написанные в Пестуме.

**477.**

Петрарка, Epist. Rer. Senil. Lib. XV. Ep. 1.

**478.**

Varillas, Vie de Louis XI. Menagiana, Tom. II.

**479.**

В комментарии. Epist. Ad Attic. XV. 27.

**480.**

Eulogia.

**481.**

Mencken, Præf. P. Alcyonî de Exilio, Lips. 1707.

**482.**

Tiraboschi, Stor. dell. Letter. Ital. Part. III. Lib. III. c. 4. § 14. Гингенэ считает, что Тирабоски полностью преуспел в оправдании Алкиония. Hist. Litter. d'Ital. T. VII. p. 254.

**483.**

Исповедь. III. 4, и De Vit. Beata. проœм.

**484.**

Tunstall, Observations on the Epistles between Cicero and Brutus, p. 20. Ed. London, 1744.

**485.**

Vit. Attici, c. 16.

**486.**

Epist. Lib. VII. Ep. 1.

**487.**

Ibid. Ep. 26.

**488.**

Несколько ничего не значащих писем, которые были переданы между этими двумя великими людьми во время проконсульства Цицерона в Киликии, были включены в Epistolæ Familiares и имеют неоспоримую подлинность. Неясно, стали ли они частью большого собрания из восьми книг, в котором содержалась последующая переписка между Цицероном и Брутом.

**489.**

Middleton's Pref. to the Epistles of Cicero and Brutus, p. 4. Лондон, 1743.

**490.**

Tunstall, Observations, &c. p. 27.

**491.**

Плиний, Hist. Nat.

**492.**

Epist. ad Quint. Frat. Lib. II. Ep. 15.

**493.**

Epist. Ad Attic. Lib. XIII. passim, ed. Schütz.

**494.**

Ibid. Epist. 25.

**495.**

De Pueritia Ling. Lat. c. 1. § 10. Adamum scribendi atque signandi modum præmonstrasse primitus ratio ipsa persuadet.

**496.**

Lenep, De Tirone, p. 77. Прим. ред. Amsteld. 1804.

**497.**

Kopp, Palæographia Critica. Ed. Manheim, 1817. 2 Tom. 4to.

**498.**

Isidorus, Originum, Lib. I. c. 21.

**499.**

Manilius, Astronom. Lib. IV. v. 197.

**500.**

Lib. XIV. Epig. 202.

**501.**

Epigr. 138.

**502.**

Kopp, Palæographia Critica.

**503.**

Квинтилий. Inst. Orator. Lib. I. c. 3.

**504.**

Там же.

**505.**

Funccius, De Virili Ætat. Ling. Lat. Pars II. c. 8. § 9.

**506.**

Epist. ad Quint. Frat. Lib. III. Ep. 5.

**507.**

Geograph. Lib. XIII.

**508.**

Lib. II. Ep. 8.

**509.**

Noct. Attic. Lib. II. c. 14. et passim.

**510.**

Ibid. Lib. XX. c. 6.

**511.**

Noct. Attic. Lib. III. c. 10.

**512.**

Тацит. Annal. Lib. XV. c. 38-41.

**513.**

Joann. Sarisberiensis, De Nug. Curial. Lib. VIII. c. 19. Lursenius, Dissert. De Bibliothecis Veterum, p. 297.

**514.**

Sulp. Severus, De Martini Vita, c. 16.

**515.**

Epist. XVIII. Opera.

**516.**

Кассиодор. Опера.

**517.**

Petit-Radel, Recherches sur les Biblioth. Anciennes.

**518.**

Stor. dell Letter. Ital. Часть I. Lib. I.

**519.**

Bibliotheca Latin.

**520.**

De Nug. Cur. Lib. VIII. c. 19.

**521.**

Ibid. Lib. II. c. 26.

**522.**

Tom. I.

**523.**

De Historicis Latinis, Lib. I, c. 19.

**524.**

Hist. Critic. Philosoph. Tom. III.

**525.**

Stor. dell Letterat. Ital. Tom. III. Lib. II. c. 2.

**526.**

Dict. Histor. Art. GREGOIRE.

**527.**

Vicende della Letteratura, Lib. I. c. 3.

**528.**

Hist. Litter. d'Italie, Tom. I. c. 2.

**529.**

Bayle, Diction. Histor. Art. GREGOIRE. Рем. М. Гиббон "Упадок и падение Римской империи". с. 45.

**530.**

Muratori, Antiquitates Italiae Med. Aevi. Tom. III. p. 853. ed. Milan, 1741.

**531.**

Tiraboschi, Stor. dell. Letterat. Ital. Tom. III. Lib. II.

**532.**

Там же.

**533.**

Petit-Radel, Recherches sur les Biblioth. Anciennes, p. 53.

**534.**

Eichhorn, Litterargeschichte, ed. Gotting. 1812.

**535.**

Lupi, Epist. 103. от 855.

**536.**

Там же. Ep. 91.

**537.**

Epist. 69.

**538.**

Ginguené, Hist. Litt. d'Italie, Tom. I. p. 63.

**539.**

Ziegel, Hist. Rei Liter. Tom. I. Hist. Liter. de la France, Tom. IV.

**540.**

Hallam's State of Europe during the Middle Ages, Vol. III. p. 332, 2d ed.

**541.**

Annali d'Italia, Ad. Ann. 899, &c.

**542.**

Epist. 130.

**543.**

Epist. 44.

**544.**

Antiquitates Italiae Med. Aevi, Tom. III. p. 818. Наиболее ценные книги из Боббианской коллекции были переданы в XVII веке кардиналом Борромео в Амброзианскую библиотеку в Милане; именно из обнаруженных там Боббианских палимпсест Май недавно отредактировал свои фрагменты ораций Цицерона и пьес Плавта.

**545.**

Mehus, Vita Ambrosii Camaldulensis, p. 157. ed. Florent. 1759.

**546.**

Ibid. p. 183.

**547.**

Petrarc. Epist. ad M. Varronem.

**548.**

Путешествия Теодора Дюкаса, т. I. с. 28.

**549.**

Vita Ambrosii Camaldulensis, p. 290.

**550.**

Ibid. p. 291.

**551.**

Ibid. p. 335.

**552.**

Roscoe's Life of Lorenzo de Medici, c. 1.

**553.**

Epist. Lib. V.

**554.**

Morhoff, Polyhistor. Lib. I. c. 7. Lomeierus, De Bibliothecis, c. 9. § 2.

**555.**

Ap. Mehus, Pref. ad Epist. Ambros. Camaldulensis, p. 33. ed. Florent. 1759.

**556.**

Ibid. p. 31.

**557.**

Ibid. p. 50.

**558.**

Ibid. p. 44.

**559.**

Ibid. p. 31.

**560.**

Roscoe's Life of Lorenzo de Medici, c. 1.

**561.**

Mehus, Pref. p. 67.

**562.**

Avogradi, De Magnificentiâ Cosmi Medices, Lib. II.

"O mira in tectis bibliotheca tuis!

Nunc legis altisoni sparsim pia scripta Maronis,

Nunc ea quæ Cicero --" и т. д.

**563.**

Roscoe, Life of Lorenzo, с. 7.

**564.**

Polit. Epist. Lib. IV. Ep. 2.

**565.**

Путешествия Феода. Ducas, с. 1.

**566.**

Berrington, Literary Hist. of the Middle Ages, Book VI.

**567.**

Polyhistor. Lib. IV. с. 10.

**568.**

De Luxurie Veterum Poet. Lat.

**569.**

Eichhorn, Litterargeschichte, Tom. III. p. 569.

**570.**

Evelyn's Memoirs and Corresp. Vol. II. p. 173. Второе изд.

**571.**

Morhoff, Polyhistor. Lib. IV. с. 11.

**572.**

Thuanus, Hist. Lib. LXXXIV.

**573.**

Handbuch der Classisch. Litteratur. T. III. p. 31.

**574.**

Osannus, Analecta Critica, с. 8.

**575.**

Præf. ad Plautum, ed. Lambini.

**576.**

Epist. Famil. Lib. V.

**577.**

Бандини, Каталог. Cod. Lat. Bibliothecæ Mediceæ-Laurentianæ, Tom. II. p. 243 и др.

**578.**

Mehus, Pref. ad Epist. Ambros. Camaldul. p. 41.

**579.**

Там же.

**580.**

Амброс. Camaldul. Epist. Lib. VIII. Ep. 31.

**581.**

Harles, Supplement. ad Not. Literat. Rom. Tom. II. p. 483.

**582.**

Renouard, Hist. de l'Imprim. des Aldes. Tom. I. p. 162.

**583.**

Мурет в письме, датированном примерно этим временем (1581 г.) и адресованном его другу Павлу Сакрату, упоминает в самых сильных выражениях сожаления и негодования, что Плавт, на исправление и исправление которого он потратил труд и изучение двадцати пяти лет своей жизни, был украден у него неким человеком, которого он допустил в свою библиотеку. (Epist. Lib. III. Ep. 28.)

**584.**

Дон Жуан.

**585.**

Maffei, Traduttori Italiani, p. 8. Прим. ред. Venez. 1720.

**586.**

Там же. 70.

**587.**

Paitoni, Biblioteca degli autor. Lat. Volgarizzati, Tom. III. p. 118.

**588.**

Курьезы литературы, т. I. Новая серия.

**589.**

Journal Historique. Амстердам, 1719.

**590.**

Биб. Lat. Lib. I. c. 1. § 8.

**591.**

Прим. к Johnson and Steevens' Shakspeare, p. 96. 3d Ed.

**592.**

Vol. I. p. 370.

**593.**

Путешествие Босуэлла на Гебриды.

**594.**

Ginguené, Hist. Lit. d'Italie, Tom. II. p. 290.

**595.**

Bib. Lat. Lib. I. c. 3. § 4.

**596.**

Polit. Epist.

**597.**

Бандини, каталог. Биб. Мед. Laurent. p. 264. Hawkin's Inquiry into Lat. Poet. p. 200.

**598.**

Dibdin, Bibliotheca Spenceriana, Tom. II.

**599.**

Minerva, o Giornal. de Letter. d'Ital.

**600.**

Argelati, Biblioteca de Volgarizzatori, Tom. IV. p. 44.

**601.**

Renouard, Hist. de l'Imprim. des Aldes, Tom. I.

**602.**

De la louange des bons facteurs en Rime.

**603.**

Sulzer, Theorie der Schönen Wissensch. Terenz.

**604.**

Baillet, Jugemens des Sçavans.

**605.**

Mem. de Trevoux, 1721.

**606.**

Goujet, Bib. Fran. Tom. IV. p. 436.

**607.**

De Vit. et Carm. Lucret. Præf.

**608.**

См. Good's Lucretius, Pref. p. 99. Eichstädt, De Vit. &c. Lucret. p. 65.

**609.**

Lib. XV. c. 2.

**610.**

Barbari, Epist. I. ad Poggium.

**611.**

Mehus, Præf. ad Epist. Ambros. Camaldul. p. 38.

**612.**

Renouard, Annales de l'Imprimerie des Aldes, Tom. I.

**613.**

Biblioth. Franc. Tom. V.

**614.**

Good's Lucretius, Preface.

**615.**

См. Goujet, *Bibliothèque Française*, Tom. V. p. 18. Фабриций, однако, говорит, что не знает, кто был автором этого стихотворного перевода, а мистер Гуд в предисловии к своему "Лукрецию" приписывает его некоему Джеймсу Ланглуа, который, по его словам, переводил не с оригинальной латыни, а с прозаической версии Маролла.

**616.**

Мемуары Ивлины, Том. I.

**617.**

Evelyn's *Memoirs and Correspondence*, Vol. II. p. 102, 2d edit.

**618.**

Spence's *Anecdotes*, p. 106.

**619.**

Литературные часы, № II.

**620.**

Noct. Attic. Lib. VII. c. 20.

**621.**

Maffei, *Verona Illustrata*, Part II. p. 4.

**622.**

Там же. Часть II. с. 6.

**623.**

*Sammtliche Schriften*, Tom. I.

**624.**

Символ. Epist. XVI.

**625.**

Часть. II. p. 5.

**626.**

P. 477.

**627.**

Брюггеманн, "Обзор английских изданий, переводов и т. д. древних латинских авторов" (Brüggemann, *View of the English Editions, Translations, &c. of the Ancient Latin Authors*).

**628.**

Mehus, *Præf.* p. 50.

**629.**

Epist. Ad Ambrosium Camald. Ep. 39.

**630.**

Gesner, *Præf.*

**631.**

См. Maffei, *Verona Illustrata*, Part II. Lib. III.

**632.**

Præf. Pet. Victor. in explicationes, suar. Castig. in Cat. &c.

**633.**

Præf. p. 20.

**634.**

Epist. Ad Marcel. Cervinum.

**635.**

Introduct. in Notit. Litt. Rom.

**636.**

Epist. 104.

**637.**

Warton, Hist. of English Poetry, Vol. I. Dissert. II.

**638.**

Fuhrmann, Handbuch der Classisch. Lit.

**639.**

Dibdin, Introduction to the Classics, Vol. II. p. 197.

**640.**

Fabricius, Bib. Lat. Lib. I. c. 9.

**641.**

Там же.

**642.**

Там же.

**643.**

Villaret, Hist. de France, T. XI. p. 121.

**644.**

Стюартовский "Саллюст", сочинение II.

**645.**

Epist. 37.

**646.**

Epist. 8.

**647.**

Biblioteca degli Volgarizzatori, Tom. I. p. 206.

**648.**

Villaret, Hist. de France, T. XI. p. 121.

**649.**

Plin. Epist. Lib. I. Ep. 20.

**650.**

Epist. Famil. Lib. IX. Ep. 12.

**651.**

Epist. 87.

**652.**

Tiraboschi, Stor. dell Lett. Ital. Tom. IV. Lib. III. c. 5. § 21. Maffei, Traduttori Ital. p. 41.

**653.**

Epist. Ad Vir. Illust. ep. 2.

**654.**

Mehus, Vit. Ambros. Camald. p. 213.

**655.**

Ginguené, Hist. Lit. d'Italie, Tom. II. Жизнь Пастуха Поджио. Бандини, Catal. Codic. Biblioth. Medic. Лоран. Том. II. p. 432.

**656.**

Paitoni, Bibliotec. degli Autor. Volgarizzati.

**657.**

Epist. 1.

**658.**

Hallam's Europe during the Middle Ages, Vol. III. p. 524. 3-е изд.

**659.**

B. Flavii, Ital. Illust. p. 346. ap. Meiners, Lebenschreibung Beruhmter manner, Tom. I. p. 39.  
Ginguené, Hist. Lit. Tom. II. Pet. Victor, in Castigat. ad Cicer. post castig. in Paradox.

**660.**

Лемприд. в Alex. Sev. c. 29. "Latina cùm legeret, non alia magis legebat quàm de Officiis Ciceronis et De Republicâ".

**661.**

Epist. Senil. Lib. XV. Ep. 1.

**662.**

Клейтон "История дома Медичи", с. 3.

**663.**

Вит. Аттик. с. 16.

**664.**

Epist. 69.

**665.**

Petrarc. Epist. ad Viros Illust. Ep. 1.

**666.**

Mehus, Vit. Ambros. Camald. p. 214.

**667.**

Fabricius, Bib. Lat. Lib. I. c. 8.

**668.**

Pet. Vict. Epist.

**669.**

Lagomarsini, ad Poggii Epist. I. 189.

**670.**

Epist. ad Vir. Illust. Ep. I.

**671.**

Бандини, Каталог. Bib. Laurent. p. 474.

**672.**

Lib. VII.

**673.**

Fuhrmann, Handbuch der Classisch. Lit. T. IV. p. 208.

**674.**

Epist. Lib. II. Ep. 15.

**675.**

Epist. 69.

**676.**

Tiraboschi, Stor. dell' Letterat. Ital. T. VI. Часть I. Lib. I.

**677.**

Beloe, Anecdotes of Literature and Scarce Books, Vol. VI. p. 140.

**678.**

Introduct. in Notit. Literat. Roman. p. 47.

**679.**

Ibid. p. 84.

---

## Примечание транскриптора

В электронной версии добавлено оглавление.

Приложение пагинируется отдельно. Номера страниц приложения имеют префикс "А-".

Слова "Там же" иногда напечатаны курсивом, иногда нет.

В оригинале приложение было напечатано более мелким шрифтом.

В книге много несоответствий в орфографии, капитализации и пунктуации, особенно в цитатах из иностранных языков, где иногда отсутствуют или неправильно поставлены диакритические знаки. Они не были исправлены или модернизированы, за исключением следующих мест, которые можно рассматривать как типографские ошибки.

стр. 8, "Liv." заменено на "Lib".

стр. 16, "Аппиан" заменено на "Оппиан"

стр. 22, "из" добавлено перед "города".

стр. 22, "questiones" заменено на "quæstiones".

стр. 23, "Cumae" заменено на "Cumæ", "sylvae" на "sylvæ", "villae" на "villæ"

стр. 28, "edile" заменено на "ædile"

страница 32, "Edile" заменено на "Ædile"

страница 40, "Theatreales" заменено на "Theatrales"

стр. 42, добавлена кавычка после слова "vitâ".

Страница 57, точка удалена после слова "Taciti".

стр. 68, "выветрился" заменено на "изобрел"

Стр. 68, запятая заменена на точку после слова "басни"

Стр. 71, "дарить" заменено на "дарить"

Стр. 71, перед "53" добавлено "в."

стр. 83, курсив удален из второго слова "Sat.".

стр. 87, "Sullust's" заменено на "Sallust's"

стр. 91, "а" заменено на "à"

Стр. 93, после слова "безуспешно" добавлена точка

Страница 117, "appropriate" заменено на "appropriate"

Страница 128, "restain" заменено на "restrain"

страница 128, точка удалена после слова "Дио"

Страница 129, "alnost" заменено на "почти"

страница 133, точка добавлена после слова "патриций"

Страница 139, "соерissent" заменено на "сœerissent"

страница 177, точка добавлена после слова "суд"

страница 178, "Филиппик" заменено на "Филиппики"

страница 188, "á" заменено на "à"

страница 191, "Bnt" заменено на "But"

стр. 195, "occured" заменено на "occurred"

стр. 204, "Praef." заменено на "Præf.".

стр. 210, "whe" заменено на "who"

стр. 211, после слова "Сципион" добавлена запятая

стр. 218, перед словом "философ" добавлено "а"

Стр. 220, добавлена кавычка после слова "abundo".

Страница 233, "перед" заменено на "из"

Страница 237, "представляя" заменено на "представляя"

Страница 241, "Metullus" заменено на "Metellus"  
стр. 246, "phiosopher" заменено на "philosopher"  
стр. 253 и A-61, "Natura" заменено на "Naturâ"  
стр. 253, цитата добавлена после слова "scribere".  
Стр. 262, добавлена кавычка после слова "отец".  
Стр. 268, двойное "их" удалено перед "известных персонажей"  
Стр. 268, кавычки добавлены после слова "мудрость".  
Стр. 272, "praebituram" заменено на "præbituram".  
стр. 279, "Cœlius" заменено на "Cælius" (дважды)  
стр. 284, "betwen" заменено на "between"  
стр. 285, "латинство" заменено на "латинство"  
стр. 285, "appellatæ" заменено на "appellate"  
стр. A-3, курсив удален из слова "Ер."  
страница A-3, точка удалена после "Ad", "Schutz" заменено на "Schütz"  
страница A-5, добавлена точка после слов "Epist" и "Frat"  
страница A-12, "Abbe" заменено на "Abbé"  
страница A-17, "Causaubon" заменено на "Casaubon"  
страница A-17, "седьмой" заменен на "семнадцатый"  
страница A-19, "Georenz" заменено на "Goerenz"  
страница A-19, после слова "MSS" добавлена точка.  
страница A-20, апостроф добавлен после "Scriverius"  
страница A-21, "Hundbuch" заменено на "Handbuch"  
страница A-28, запятая добавлена после слова "Ginguené"  
страница A-29, "Schmeider" заменено на "Schmieder"  
страница A-30, "Varard" заменено на "Verard"  
страница A-31, после слова "Goujet" добавлена запятая  
стр. A-34, после слова "MSS" добавлена точка  
страница A-44, "edite" заменено на "edit"  
стр. A-49, "Свейн" заменено на "Свейнхейм"  
страница A-57, "whch" заменено на "which"  
стр. A-59, "Jenae" заменено на "Jenæ"  
стр. A-62, "Tirannio" заменено на "Tyrannio".

Некоторые варианты написания не были изменены (например, "Ferrierres" и "Ferriers", "truly" и "truely").

---